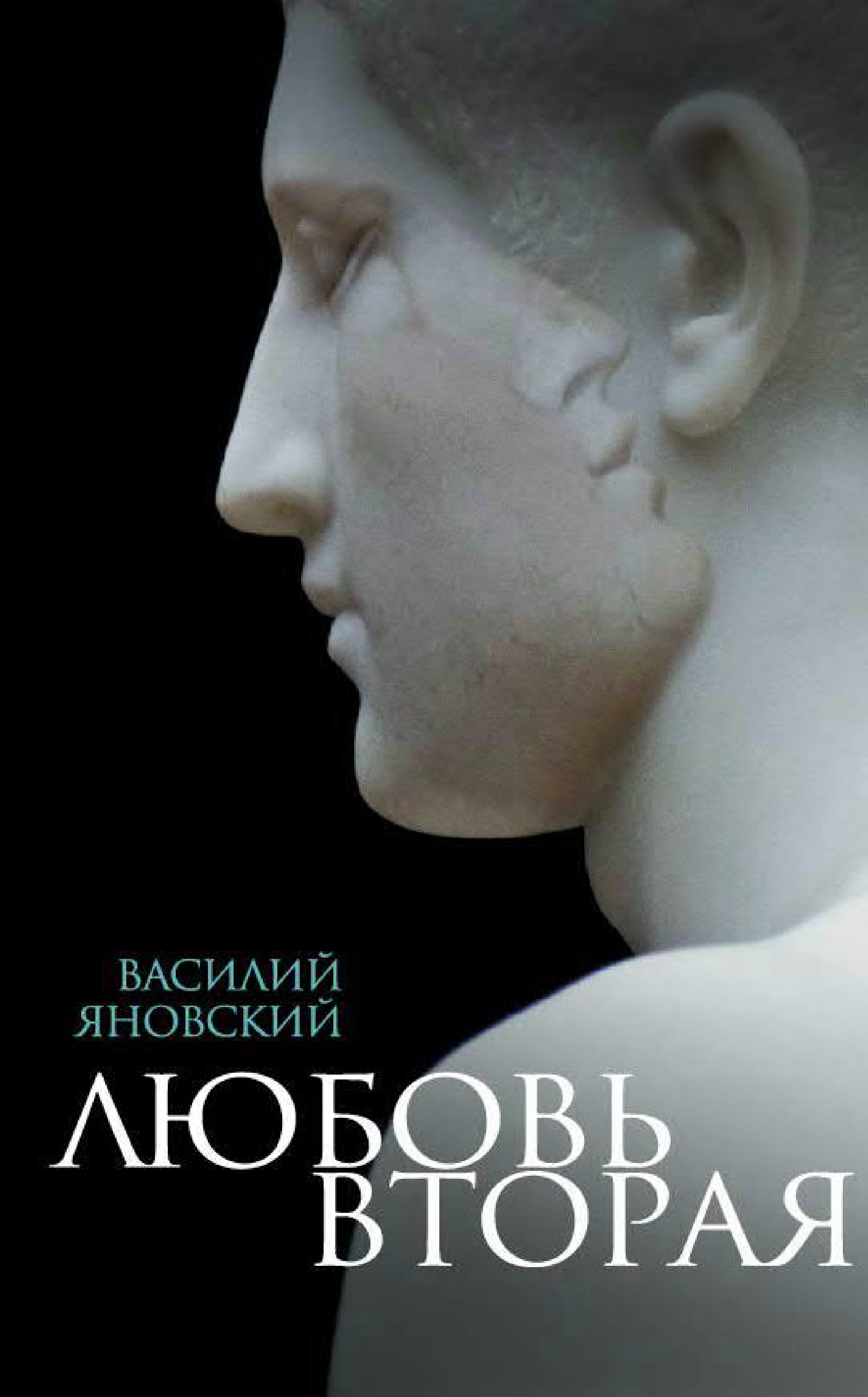

ВАСИЛИЙ
ЯНОВСКИЙ
ЛЮБОВЬ
ВТОРАЯ



Новое
Литературное
Обозрение



ВАСИЛИЙ
ЯНОВСКИЙ

ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Новое Литературное Обозрение
Москва
2014

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6
Я62

Яновский, В.

Я62 Любовь вторая: Избранная проза / Василий Яновский; предисловие, комментарии, пер. с англ. и франц. Марии Рубинс. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 608 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0164-2

Имя Василия Яновского (1906—1989), одного из самых противоречивых писателей русского зарубежья, знакомо российским читателям главным образом благодаря его колоритным, дерзким мемуарам из жизни русского Парижа тридцатых годов «Поля Елисейские. Книга памяти», а также не так давно опубликованным романам послевоенного периода «Портативное бессмертие» и «По ту сторону времени». Между тем литературное наследие этого автора очень многообразно и до сих пор неизвестно в полном объеме. В данный сборник включены ранние произведения Яновского, большинство из которых были впервые напечатаны ничтожно малыми тиражами в русскоязычных издательствах или в эмигрантской периодике довоенного Парижа и с тех пор не переиздавались. Эти ранние повести и рассказы не только проясняют истоки и диалектику творчества писателя, но и существенно дополняют наши представления о литературном вкладе «младшего» поколения первой волны эмиграции, которое нередко называют «незамеченным поколением» или «русским Монпарнасом». Помимо художественных произведений, в книгу вошли воспоминания Яновского об англо-американском поэте У.Х. Одене и писательнице, журналистке и известном деятеле русской диаспоры Елене Извольской, а также его эссе, интервью и рецензии. В приложение включен ряд откликов на творчество Яновского в эмигрантской критике и воспоминания о нем.

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6

СТРАННЫЙ ПИСАТЕЛЬ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Если представить себе русскую литературу XX века в виде географической карты, то все меньше становится на ней белых пятен, но они еще есть, и где-то там видится мне остров, перешеек или горный пик Василия Яновского. Того, кто побывает в этих краях, ждут интересные открытия.

Сергей Довлатов

Василий Семенович Яновский (1906—1989) был, пожалуй, одним из самых противоречивых писателей русского зарубежья. Столь же неоднозначны и отзывы о нем его знаменитых современников. Его вызывающее поведение, нелицеприятные высказывания, гротескная манера письма вызывали раздражение одних, восхищение других. В ранний, парижский период своего творчества Яновский пользовался покровительством Георгия Адамовича и Михаила Осоргина, симпатией Алексея Ремизова и Ильи Фондаминского, переписывался с Горьким и Рерихом, дружил с Борисом Поплавским и вместе с Павлом Горгуловым, будущим убийцей президента Франции Поля Думера,

совершал хулиганские поступки на улицах ночного Парижа. Переехав в начале 1940-х в Нью-Йорк, Яновский быстро вошел в круг транснациональной интеллигенции, которая сформировалась вокруг организованной Еленой Извольской экуменической группы «Третий час». В течение тридцати лет он был близким другом поэта У.Х. Одена, который принял самое непосредственное участие в публикации первых англоязычных романов Яновского. Набоков относился к нему с нескрываемым высокомерием и даже называл «солдафоном». В переписке Георгия Иванова и Романа Гуля Яновский предстает едва ли не как воплощение мирового зла. Напротив, Сергей Довлатов, сблизившийся с Яновским в эмиграции, отзывался о нем с неизменной теплотой и уважением. В гостеприимный дом Яновских неоднократно заходил Иосиф Бродский...

Долгое время имя Василия Яновского было известно российским читателям главным образом благодаря его колоритным, дерзким мемуарам из жизни русского Парижа тридцатых годов «Поля Елисейские. Книга памяти». Именно с этой книги, вышедшей в 1993 году с кратким предисловием Сергея Довлатова, началось «возвращение» писателя, а по сути, первоначальное ознакомление с его творчеством на родине. С тех пор «Поля Елисейские» неоднократно переиздавались, а недавно были опубликованы романы Яновского «Портативное бессмертие» и «По ту сторону времени». По одним этим текстам, однако, трудно судить о всем многообразии литературного наследия писателя, который не переставал упорно творить на протяжении более полувека, невзирая на двойное изгнание, напряженную работу в медицинской профессии, а главное — отсутствие за рубежом полноценной читательской аудитории и, соответственно, интереса со стороны издателей. В данный сборник включены более ранние произведения Яновского.

Большинство из них были впервые опубликованы ничтожно малыми тиражами в русскоязычных издательствах или в эмигрантской периодике довоенного Парижа и с тех пор не переиздавались. Эти ранние повести и рассказы не только проясняют истоки и диалектику творчества писателя, но и существенно дополняют наши представления о литературном вкладе «младших» писателей первой волны, которых также нередко называют «незамеченным поколением», по формуле Владимира Варшавского, или «русским Монпарнасом», по ассоциации с кофейнями в парижском квартале Монпарнас — месте ежедневных сборищ международной богемы в период авангарда. Кроме того, критика, эссе, интервью, а также воспоминания Яновского о его многолетней дружбе с У.Х. Оденом и Еленой Извольской позволяют оценить его не только как творца оригинального художественного мира, но и как внимательного и непредвзятого читателя мировой литературы и активного участника той литературной среды, в которой он находился как во Франции, так и в США.

Особый колорит творчества Василия Яновского связан с его вторым профессиональным призванием — медициной. Возможно, поэтому с самого начала своего пути Яновский был особенно восприимчив к модному в западноевропейской беллетристике физиологическому стилю, став, по мнению многих, одним из русских воплощений Л.Ф. Селина, автора нашумевших романов «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит»[1]. На протяжении всей

[1] Впрочем, через много лет в интервью Юлии Тролль Яновский отрицал влияние на свое творчество Селина, отмечая лишь общность восприятия: «Меня потом Бердяев несколько обвинял в том, что я подражаю Селину <...> Но мы оба были <...> докторами парижской школы, и очень многое, что он видел, я видел, и гуманитарные реакции к нищете, боли, нужде у нас могли быть те же. Я не думаю, что я был под влиянием Селина <...>» (Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 17).

своей жизни Яновский интересовался наукой, философией, теологией и пытался активно разрабатывать и пропагандировать новые формы духовности в целях объединения всего человечества. В деле осуществления этих несколько утопических теорий особую роль Яновский отводил литературе. В начале 1930-х годов в ответ на анкету парижского журнала «Числа», который обратился к ряду писателей с вопросом «Что вы думаете о своем творчестве?», он четко формулирует: «Акт творчества — это единственный и последний путь к свободе. С-в-о-б-о-д-а. Для меня, как медика по образованию, не может существовать иных надежд на биолого-физиологическую свободу (более "реальную"). И радость творчества (Это нелегкая радость!) именно в лихорадочной свободе создателя»[2].

* * *

Детство и юность Яновского пришлись на годы войны и революции. Из-за царившей вокруг смуты, переездов, утраченных документов, а также в силу того, что некоторые факты своей личной жизни писатель предпочитал до конца не прояснять, в его биографии много неточностей и противоречивых сведений. Он родился 1 апреля 1906 года (по старому стилю) в еврейской семье, проживавшей в Полтаве (хотя в одном из архивных документов местом рождения значится Житомир). Уже в зрелом возрасте, когда Яновский придерживался христианского мировоззрения, он утверждал, что родился в Страстную пятницу. Писатель увлекался гороскопами и верил в мистический смысл, заложенный в дате появления на свет каждого человека. В конце жизни, страдая от неизлечимой болезни,

---

[2] Числа. 1931. № 5.

он просил жену узнать о здоровье Сэмюэля Беккета, с которым, по его утверждению, разделял год и день рождения. Беккет родился 13 апреля 1906 года, Яновский же отмечал своей день рождения по новому стилю 14 апреля; умер Беккет, правда, всего на пять месяцев позже Яновского.

Василий был младшим сыном Симона Яновского и Ираиды (Иды) Капсовой, в семье которых было еще три старших дочери: Броня, Циля и Рая. Мать умерла в 1917 году, по-видимому, в результате неудачной операции по удалению аппендицита. Отец, который находился на государственной службе и много разъезжал по России, оказался на какое-то время отрезанным от семьи, и младшие дети остались на попечении Брони. Хотя Василий не имел возможности закончить школу в России, он с раннего возраста много читал, а в тринадцать лет уже пробовал писать стихи.

В самом начале 1920-х годов вместе с отцом и двумя сестрами он нелегально переходит границу и проводит около четырех последующих лет в Польше. В соответствии с архивными документами, он закончил гимназию в Ровно в 1924 году[3]. О годах, проведенных Яновским в Польше, ничего не известно, как доподлинно не известна и судьба его отца и двух сестер. По воспоминаниям племянницы Иды, дочери старшей сестры Василия Брони, ее родители периодически посылали деньги дедушке, который, возможно, продолжал жить в СССР. Сестры Циля и Рая, видимо, погибли во время Второй мировой войны. Броня с мужем и дочерью оказалась в Париже, а в 1942 году — в Америке; всю жизнь она поддерживала с братом близкие отношения.

---

[3] Город Ровно, отошедший к Российской империи в 1793 году, во время Гражданской войны неоднократно переходил из рук в руки, а с 1921 по 1939 год находился в составе Польши.

В 1926 или 1928 году Яновский приезжает в Париж, где вскоре поступает на медицинский факультет Сорбонны. В 1937 году он получает степень доктора медицины, защитив диссертацию на инновационную для той эпохи тему о роли диеты в повышении сопротивляемости организма разрушительным влияниям окружающей среды, в частности шуму от автомобилей и самолетов и другим источникам стресса. Жена Яновского Полина (урожденная Перельман) работает медсестрой, а сам он подрабатывает в больницах, однако жить приходится в крайне стесненных условиях, в отдаленных районах Парижа. Небольшой дополнительный доход приносит работа в мастерской по раскраске материй, организованной поэтом Валерианом Дряхловым и Леонидом Проценко. Вот как Яновский описывает эту авантюру в своих мемуарах:

«Дряхлов был компаньоном Проценко по шарфам и галстукам; он прямо заявлял, что Яновского надо прогнать, потому что его работа в убыток...

— Вот как Кнут, — ухмылялся Дряхлов очень по-татарски: ядовито и доброжелательно (у Кнута тоже была мастерская по раскраске материй). — Придет к нему поэт с Монпарнаса, он ему пять франков всунет, а на работу не возьмет, потому что сплошной конфуз.

Наш общий друг Проценко смущенно, однако и забавляясь скандальною сценою, полупьяный, размахивая обнаженными мясистыми, пропахшими красками руками, мягко успокаивал его, усовещивал, посмеиваясь, усаживал всех за стол, наливал вина. Через несколько минут Дряхлов, нежно склоняясь ко мне, говорил:

— Я знаю, вам теперь нужна работа. Не могли бы вы хоть немного аккуратнее печатать кружева, а то только плешины у вас получаются…

— Хорошо, постараюсь, — страдальчески соглашался я: мне завтра сдавать физиологию.

— Вы мои лучшие друзья, — говорил Проценко»[4].

Параллельно с медицинской работой и случайными заработками Яновский участвует в деятельности парижских литературных объединений, становится членом Союза русских писателей и журналистов и начинает активно печататься в эмигрантской прессе. Его первые рассказы появляются в конце 1920-х годов в варшавской газете «За свободу!» и подписаны псевдонимом Цеяновский. В этот период Яновский пытается экспериментировать с разными стилями, от экспрессионизма до библейского слога. Многие рассказы воспроизводят впечатления от Гражданской войны, акцентируя ужас человеческих взаимоотношений, упоение насилием; привлекают его и евангельские сюжеты; некоторые тексты оказываются гротескными зарисовками советского быта. Почти во всех рассказах намечен мотив, который станет доминирующим в более поздних произведениях писателя: обыденность человеческого существования, абсурдность судьбы, кажущаяся случайность смерти оттенены попыткой понять смысл каждой, даже самой заурядной жизни. Уход без осознания этого воспринимается как трагическая неудача. Наиболее ясно Яновский формулирует свою мысль в рецензии на «Повесть о сестре» Михаила Осоргина:

«Это сдержанно-страстное, напряженное, “бесхитростное”, недоумевающее повествование о гибели молодой, красивой, умной, по внешним признакам, казалось бы, созданной для всяческих успехов женщины. Она умирает от рака. И так как никому не понятно, зачем она жила, зачем была красива и талантлива, когда ей предстояло погибнуть такой ранней, такой мучительной смертью; и так как никто, даже сам автор, и вопроса такого не задает, то ощущение мучительного сожаления, горесть утраты, человеческой незначительности еще больше усугубляются»[5].

---

[4] *Яновский Василий*. Поля Елисейские. Книга памяти. М.: Астрель, 2012.
[5] Числа. 1933. № 7/8. С. 264—265.

Те же мысли пронизывают и его собственные произведения: «Так умер, еще не зная, зачем родился, студент Курлов», — с грустью констатирует повествователь в рассказе «Жизнь и смерть студента Курлова». С самых первых опытов в прозе Яновский пытается найти шифр, позволяющий в земном существовании раскрыть некий метафизический сценарий.

Вскоре он начинает сотрудничать в солидных парижских периодических изданиях: газете «Последние новости», журналах «Числа», «Новый град», «Русские записки», альманахе «Круг», а также регулярно печатает критические отзывы под псевдонимом Мирный в «Иллюстрированной России». Имя Яновского впервые привлекает внимание ведущих критиков русской эмиграции после публикации повести «Колесо» (1930), созданной на основе дневниковых записей автора и вобравшей в себя его впечатления о скитаниях во время Гражданской войны. Повесть вышла благодаря стараниям Михаила Осоргина, который прилагал немалые усилия для поддержания молодых талантов, расцветших уже за пределами России. Для этого он организовал специальную издательскую серию «Новые писатели». Впоследствии Яновский вспоминал:

«В 1929 году мне было двадцать три года; в моем портфеле уже несколько лет лежала рукопись законченной повести — негде печатать!.. Вдруг в “Последних новостях” появилась заметка о новом издательстве — для поощрения молодых талантов: рукописи посылать М.А. Осоргину, на 11-бис, Сквэр Порт-Руаяль.

А через несколько дней я уже сидел в кабинете Осоргина (против тюрьмы Сантэ) и обсуждал судьбу своей книги: “Колесо” ему понравилось, он только просил его “почистить”. (Подразумевалось — “Колесо Революции”[6]). <...>

[6] Много лет спустя, говоря о своей первой повести, Яновский сопостав-

“Колесо” прибыло из Берлина, где печаталось, и Осоргин пошел со мною в книжный магазин “Москва”; он один догадывался, что творилось с Яновским, сам я не понимал, что счастлив.

Парижская сырая зима, мокрые улицы возле Медицинской школы; рядом со мною заслуженный писатель: стройный — хочется сказать, гибкий, — в какой-то заграничной, итальянской широкополой шляпе, весьма похожий на Верховенского (старшего). На рю Мэсье-ле-Прэнс мы вошли в бистро и выпили по рюмке коньяку, трогательно чокнувшись. Все, что мы тогда делали, я теперь понимаю, было частью древнего ритуала.

В “Москве” нас встретил озабоченный и вовсе не романтической наружности гражданин с бритой головою и в тесном берете. Нам вынесли высокую стопку “Колеса” — живые, еще пахнущие типографией листы. Заглавие на обложке было набрано западным шрифтом: буква “л” казалась опрокинутым латинским “v”... Это была идея Осоргина, и он гордился ею. Я же тогда считал все вопросы касательно обложки, красок и расположения текста смешными, не относящимися к сути дела.

Михаил Андреевич достал из кармана список лиц, которым я должен был, по его мнению, послать книгу, и я начал вкривь и вкось выводить — “на добрую память... с уважением”. Забавно, что Ходасевичу, с которым Осоргин пребывал в ссоре, мы не послали “Колеса”»[7].

Усилия ли начинающего писателя по саморекламе дали желанный результат, или на рубеже двух межвоенных десятилетий столь силен был интерес к новым голосам

лял образ, подчеркнутый в ее названии, с «Красным колесом» А. Солженицына.

[7] Поля Елисейские. С. 280—281.

в литературе русской диаспоры, но повесть получила широкий резонанс в эмигрантской прессе. Вскоре повесть была переведена на французский под названием «Sachka, l'enfant qui a faim» («Сашка, голодный мальчик»), по имени главного героя. Переводчицей стала соотечественница Яновского, госпожа Габеле-Чехановски, уже долгие годы проживавшая в Орлеане со своим французским супругом. Надо отметить, что большинство писателей русской диаспоры существовало довольно обособленно от западной культуры, на иностранные языки переводились лишь немногие тексты «зубров» эмиграции, так что сам факт публикации на французском первого произведения молодого неизвестного автора можно было счесть невероятным успехом (хотя и не сулившим прибыли).

Критики почти единодушно отмечали неровный стиль Яновского, натурализм описаний, длинноты и повторы, погрешности против русского языка, пристрастие к мелодраматическим эффектам, сомнительный литературный вкус, банальные отсылки к Достоевскому, а некоторые даже усматривали влияние Леонида Андреева и Максима Горького. По словам критика «Возрождения», писатель не только не показал никакой «мечты», но «все нарисованные им картины говорят только о зверином одичании, безысходных страданиях и неумолимом коверкании коммунистическим бытом как самого героя, так и всех окружающих его лиц»[8]. Тепло откликнулся на повесть Николай Рерих. В письме от 30 декабря 1933 года из Нагар Кулу в Индии он пишет: «Спасибо за Вашу книгу КОЛЕСО. В ней так сердечно затронута одна из величайших тем современности. Пути молодого поколения скорби, молодых жизней, благородные стремления к победе духа, которые так звучат в каждом неокаменелом

[8] *В.Л.* [Левицкий] // Возрождение. № 1714. 10 февраля 1930.

сердце, должны быть близки всем. От души желаю Вашей книге успеха...»[9]

Письмо с комментариями было получено даже из Сорренто от Горького, который, впрочем, не выразил особого восхищения, посоветовав новоиспеченному автору настойчиво учиться литературному мастерству и работать поначалу в жанре короткого рассказа. Несколько откликов на перевод «Колеса» появилось и во французской прессе. Так, рецензент еженедельника «Ле репюбликен орлеане» отметил, что стиль повести отличается «беспощадной трезвостью, иногда цинизмом, который ему придают сами факты», сделав следующее заключение: «Залог подлинности этого замечательного повествования — в жизни самого автора, а его биографический очерк, предваряющий повесть, сам по себе составляет, в свернутом виде, подлинный авантюрный роман»[10]. В рецензии, опубликованной в самой авторитетной литературной газете Франции «Ле нувель литерер», Клодин Шоне сравнивает героя повести с Гаврошем и пускается в пространные рассуждения на модную во Франции той эпохи тему о загадочной славянской душе:

«Как истинный русский, отлитый по образцу Достоевского, он и революционер, и одновременно безоглядно смиряется перед роком. ...Мальчик Сашка олицетворяет слепую и величественную веру толпы, благословляющей ту силу, которая ее давит, и совершенно безропотно соглашающейся стать жертвой во имя воплощения в будущем великой идеи. В этой книге мы с радостью обнаруживаем те парадоксы, в которых всегда выражалась для нас поэзия славянской души: жалость бок о бок с жестокостью,

---

[9] Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 1.

[10] Bibliographie. Une nouvelle traduction de Mme Gaebelé-Cekhanowski // Le Républicain orléanais. № 18363.

неуместные раскаяния, насилие, заканчивающееся рыданиями. Но главное, в этой великой русской авантюре, пропахшей кровью и смертью, мы ощущаем дикий запах обнаженной жизни, освобожденной от всех пут и от всей собственности. В конце концов, это такая человеческая эпопея, о которой наша западная премудрость не позволяет нам даже помыслить»[11].

«Колесо» — это своеобразный «роман воспитания», показывающий процесс становления ребенка «в школе жизни». Но, в отличие от классических образцов этого жанра, в повести Яновского события показаны с наивной точки зрения ребенка без выхода на более общий уровень исторических или психологических обобщений; кроме того, в тексте отсутствует иерархия голосов, и за восприятием происходящего героем не ощущается корректирующего сознания взрослого автора. Нагнетание жутких картин нищеты, страданий, голода, смертей при отсутствии какой бы то ни было «литературности» и стилевого изящества заставляет вспомнить о популярном среди писателей «русского Монпарнаса» жанре «человеческого документа».

Молодая проза русского зарубежья формировалась на фоне наступившего после Первой мировой войны общеевропейского религиозно-философского, морального и эстетического кризиса, обостренного осознанием эмигрантами особой уязвимости собственного положения. Катастрофичность мировосприятия, свойственная молодым писателям (или, по крайней мере, активно ими декларируемая[12]),

---

[11] Les Nouvelles Littéraires 4 // III 1933. № 542.

[12] Не случайно, говоря о «русском Монпарнасе», Ходасевич как некое общее место отмечал «воздух распада и катастрофы, которым дышит, отчасти даже упивается, молодая наша словесность» (О смерти Поплавского // Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Согласие, 1996. Т. 2. С. 362).

порождала соответствующий стиль, поэтику и жанры. Одной из основных особенностей их риторики становится энергичное отрицание всех эстетических традиций, прежде всего художественного вымысла, и поворот к более документальному, автобиографическому и интроспективному письму. На смену роману в прозе молодого поколения приходят жанры дневника, письма, исповеди. Писатели стараются подавать материал как лично пережитое, как непосредственную фиксацию индивидуального опыта; большинство произведений пишется от первого лица, причем по облику, возрасту, судьбе повествователь практически совпадает с автором; акцент ставится на воспроизведении современной действительности.

Как особый жанр «человеческий документ» оформился в литературе натурализма XIX века, прежде всего в творчестве Эмиля Золя и братьев Гонкуров. В своей книге «Экспериментальный роман» (1880) Золя утверждал, что в текстах, написанных «по живому материалу», неуместны эстетская игра, чрезмерный полет воображения, «театральные эффекты», изысканный стиль. В XX веке Л.Ф. Селин возрождает и в то же время реформирует жанр человеческого документа с учетом экзистенциальной проблематики, а через него мода на своеобразную «антиэстетику» переходит и к младоэмигрантам. Они культивируют неотшлифованный язык, используют нелитературную лексику, подчеркивают уродливые физиологические подробности. Призванный быть в первую очередь «свидетельством», а не произведением изящной словесности, текст начинает оцениваться по критериям «подлинности», «честности», «безыскусности». Помимо Яновского дань «человеческому документу» отдали большинство молодых писателей-эмигрантов (Гайто Газданов, Борис Поплавский, Владимир Варшавский, Юрий Фельзен, Екатерина Бакунина, Лидия Червинская,

Сергей Шаршун и др.), и в этом было одно из проявлений их бунта против диктата старшего поколения, пытавшегося в новых, посткризисных условиях творить по канонам давно ушедшей в прошлое классики. Среди мэтров активным сторонником документальной стихии был Георгий Адамович, с которым яростно полемизировал Владислав Ходасевич, считавший документальный материал лишь подготовительной стадией в создании художественного произведения. А Георгий Иванов, также поддерживавший новаторские искания молодых авторов, даже создал свой вариант «человеческого документа» в «Распаде атома».

Неудивительно, что Яновский оказался особенно восприимчив к «человеческому документу»: он не только был тесно связан с литературным бытом молодого поколения, но и имел бесценный источник для физиологических описаний в своей медицинской практике. Впрочем, чисто документальная модель в повести «Колесо» смягчена несколькими эпизодами пародийно-интертекстуального характера: поиски украденной у незадачливого чиновника утки — пожалуй, единственные написанные с юмором страницы повести, — напоминают театр абсурда, а план Сашки задушить старушку, чтобы завладеть подвешенным у нее на шее денежным мешочком, и особенно «репетиция» его визита к ней отсылают к «Преступлению и наказанию». Неожиданное лирическое настроение создают цитаты в конце повести из стихотворения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре».

Отзвук тех же блоковских строк слышится и в одном из самых мрачных рассказов этого периода — «Тринадцатые» (1930): «На шестом этаже жила девушка. Она была в белом и пела: “Мне так хочется глупенькой сказки”... И однажды ее снесли по этой лестнице, посиневшую, и похоронили».

В рассказе повествуется о парижском дне, где русские эмигранты доживают свою жизнь среди проституток и сутенеров и где лучшим выходом из беспросветного существования многим представляется самоубийство. «Тринадцатые» — это «рассказ в рассказе», в котором демонстративно уничтожается грань между литературой и реальностью. Напечатанный в журнале «Числа», этот экспрессионистический рассказ Яновского многих шокировал своей образностью и лексикой, вызвав ожесточенную полемику.

Бурное одобрение выразил Борис Поплавский. Напротив, критик Лоллий Львов разразился гневной инвективой не только против автора, но и против самого журнала, в котором было напечатано это произведение: «Эти “тринадцатые” (вероятно, по аналогии с “Двенадцатью” Блока...) г. Яновского являются неслыханным по наглости и гадости писанием. <...> Кроме чудовищной непристойности [это произведение] таит в себе и оскорбление всего нашего зарубежья»[13]. Адамович дал ему в прессе ироничный ответ: «Признаемся, редакция поступила опрометчиво, напечатав рассказ Яновского. Она совсем забыла предостережения г. Лоллия Львова, Фаддея Булгарина. Булгарин еще сто лет назад писал в одной из своих рецензий: “Все это прекрасно, господа, но дамы! Ведь повесть эта может попасться дамам! Что же скажут дамы!”». В свою очередь, Петр Пильский, отметив «кляксы грубости, неопрятность выражений, загрязненный словарь», все же признал, что рассказ выдает «впечатлительную душу, живое, несколько мрачное воображение, — отсветы Леонида Андреева»[14]. Помимо аллюзий на Андреева очевидно использование в рассказе топоса, ассоциирующегося с популярным в эмигрантской

[13] Россия и славянство. № 97. 4 октября 1930.

[14] Сегодня. 15 октября 1930.

литературе репертуаром «достоевщины»: павшая лошадь, бьющийся в припадке падучей извозчик, седой туман грохочущего торгового города и т.п.

Годом позже Яновский публикует небольшой роман «Мир» (1931). Ходасевич критически отметил отсутствие четкой фабулы, распад повествования на ряд произвольных картин, огромное количество второстепенных персонажей и убожество философских дискуссий, которые ведут герои. Однако он подчеркнул и соответствие небрежной композиции текста представлениям автора о хаотичной архитектонике мира[15]. Гораздо мягче отозвался в частном письме Алексей Ремизов:

«Дорогой Василий Семенович.

Посылаю вам заказной бандеролью "Мир". Вся ваша сила и все ваше — в "чистосердечии" (как это называется у Достоевского). И если бы вы этим и ограничились, было бы любопытно. Вся ваша слабость и все не ваше — "философия" (что-то от Леонида Андреева и А.М. Горького). Словесно — я понимаю, как вам трудно и как вы много занимаетесь, чтобы овладеть языком. И этому вы научитесь»[16].

Вскоре в коллективной тетради стихов недолговечного поэтического кружка «Перекресток» появилась следующая эпиграмма, намекавшая на отсутствие в жесткой прозе Яновского «лирического элемента»:

Блажен прозаик, отстранивший лиру,
Он легкой музыкой несом:
То «Колесом» прокатится по миру,
То «Мир» прокатит колесом.

---

[15] Возрождение. № 2431. 28 января 1932.

[16] Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 1.

В «Рассказе медика» (1933) автор продолжает «пугать» своих читателей, живописуя болезненные процедуры, стоны неизлечимых пациентов, а также технику препарации трупов. Рассказ построен на характерной для Яновского оппозиции духа и плоти и на чередовании физиологических описаний с религиозными откровениями: не случайно морг, как воплощение уродства и конечности физической жизни, расположен прямо напротив часовни с надписью «Верующий в меня наследует жизнь вечную». Впрочем, у этой назидательной аллегории была, очевидно, вполне реальная подоплека: по всей вероятности, Яновский просто описал часовню, расположенную во внутреннем дворе старейшей парижской больницы Отель Дье, в которой он сам работал в 1930-х годах. Адамович увидел в рассказе «вариацию на толстовскую тему о страхе смерти»[17].

Впечатляет репертуар различных духовных систем, которые интересуют в эти годы Яновского: он зачитывается Анри Бергсоном, который был подлинным кумиром всего его литературного поколения, а одно время увлекается антропософией, сблизившись с группами Н.А. Тургеневой и ученицы Рудольфа Штейнера Татьяны Киселевой. Однако он осознавал и необходимость самоограничения в духовных занятиях. Так, из заметки Ек. Кусковой в «Последних новостях» (от 29 июня 1933 года) узнаем, что Яновский поместил в третьем номере «Завтра» призыв к самоограничению в знак солидарности эмигрантов с Россией, где царит голод: «Духовный паек советского гражданина пропорционален его мясному пайку. А мы? Какому канкану, какому словесному блуду, отвратительным излишествам — предаемся мы? Перед нами океаны религий, систем, культов. Как все это проглотить? Мы

---

[17] *Адамович Г.* Числа. Книга 7/8 /// Последние новости. 4320. 19 января 1933. С. 2.

обожрались, опились, ходим пьяные, бормоча страшные слова».

Особенностью мировоззрения Яновского, как, впрочем, и других авторов «русского Монпарнаса», был своеобразный синтез западных философских источников с русской традицией, из которой они часто выбирали в качестве своих духовных учителей представителей маргинальной линии, а не мажоритарного классического канона. Так, младоэмигранты немало способствовали созданию культа Василия Розанова, у которого они учились плюрализму мнений и оценок (в пику высокой «идейности» лидеров диаспоры), пренебрежению к социальным, культурным и лингвистическим концепциям, презрению к славе и успеху, приоритету частного над общим, поэтике фрагмента, совмещению художественного вымысла с документально-биографическим материалом. Помимо Розанова, Яновского с юности привлекало учение Николая Федорова, основоположника «космизма», видевшего цель человечества не в продолжении рода путем деторождения, а в воскрешении умерших предков на атомно-молекулярном уровне, подчинении природы воле человека, планомерном освоении Вселенной и установлении над ней разумного контроля. В 1938 году Яновский напечатал небольшую заметку о Федорове в журнале «Новый град», в которой он называет его самым оригинальным русским мыслителем, до сих пор не получившим подлинного признания. По его словам, несмотря на то что труды Федорова полностью не опубликованы и известны скорее по комментариям его учеников, его идеи каким-то таинственным, иррациональным путем проникают в самую гущу жизни и неосознанно живут во множестве людей. В ряды «учеников» Федорова Яновский зачисляет и большевиков, чье изобретение пятилетки представляется ему «куцей, оскопленной федоровской

идеей». Яновский так излагает свое понимание «Философия общего дела» Федорова:

«Весь наш пресловутый технический прогресс касается предметов роскоши. Мы в состоянии одеть мир в шелковые чулки и снабдить его презервативами. Но предметов первой необходимости (хлеба, здоровья, жизни) мы дать не можем. А бесплановая наука и промышленность, толкаемая разрозненными, эгоистическими интересами, ничего, кроме раздора, дать не сможет. Эта конкурирующая промышленность "шелковых чулков" рождает войны и революции; ее же родила похоть. Ценный для творчества сексуальный момент, очищенный от похоти, Федоров направляет на другое: вместо смертоносного зачатия — воскрешение отцов. Главное зло не социальное, а биологическое: смерть и ее производные. Братство и единство поколений: молодых и старых, живых и умерщвленных — вот новые "космические" лозунги, с которыми суждено встретиться российскому максимализму».

Особо подчеркивает Яновский основную мысль Федорова, заключающуюся в том, что смерть есть следствие отсутствия любви и «небратского состояния мира». Энтузиазм Яновского в отношении Федорова не угасал на протяжении всей жизни, о чем свидетельствует, в частности, его англоязычная статья о философе, опубликованная много лет спустя в США.

Человеческая разобщенность и поиск путей ее преодоления были темой творчества и самого Яновского. Одно из его самых значительных произведений тридцатых годов, «парижская повесть» «Любовь вторая» (1935), посвящена духовному перерождению молодой женщины. Бóльшая часть текста написана в форме дневника героини, что позволяет сопоставить его с другими произведениями от лица эмигранток (например, с повестью Нины

Берберовой «Аккомпаниаторша» или романами Екатерины Бакуниной «Тело» и «Любовь к шестерым»). Но в эпилоге в женское повествование вторгается мужской голос, принадлежащий хирургу, который оперирует героиню. Этот своеобразный отчет, полный конкретных медицинских подробностей и в то же время не лишенный некоторой религиозно-эротической экзальтации, отчасти предвосхищает некрофильскую сцену в «Распаде атома» Георгия Иванова. Опубликованный в 1938 году, «Распад атома» произвел эффект разорвавшейся бомбы, хотя для тех, кто был знаком с современным творчеством эмигрантов и, в частности, с прозой Яновского, потрясение от окончательной потери русской литературой невинности никак не могло быть столь сильным.

Михаил Осоргин не преминул поставить в вину Яновскому то, что в его тексте часто чувствуется не столько художник, сколько медик, «не могущий отделаться от запаха йодоформа и от впечатлений анатомического театра». Многие из рецензентов, отметив реалистичность изображения парижского дна, критиковали условность эпилога и неубедительность религиозного экстаза героини, который скорее напоминает прием *deus ex machina*.

Трудно не согласиться с критиками в том, что наиболее удачные страницы повести посвящены не навязанной автором теме религиозного прозрения, а изображению скудного эмигрантского быта. В текстах писателей молодого поколения именно современный им Париж, а не ностальгически воссозданная по памяти Россия становится главным хронотопом. В отличие от предшествующей литературной традиции и всех романтических мифов о столице Франции, созданных в русской культуре, Париж в их произведениях предстает с удивительно непривлекательной стороны. Вместо многократно воспетых поэтами и писателями старинных памятников, парков и музеев действие разворачивается

на фоне грязных окраин, вокзалов и рынков, в злачных заведениях и в крошечных каморках, где ютятся нищие. А набережные Сены фигурируют как место ночлега бездомных, а также как локус самоубийства. Для героини «Любви второй» набережная Сены оказывается тем пределом, дальше которого «идти некуда»:

«Очнулась подле Сены. Река упруго катила волны. Вода бежала, вода ни минуты не стояла. И в этом таился роковой смысл, строгое предостережение, обещание. И тут вдруг — впервые безо всякого кокетства и обмана — ясно мелькнула, обожгла возможность исхода: “а ведь на дне должно быть покойно!” Я облокотилась о парапет, завороженно созерцая открывающуюся внутреннему взору новую путину».

Париж 1930-х годов, каким он изображается в текстах писателей «русского Монпарнаса», нередко напоминает промозглый, сырой и туманный Петербург, в котором «маленький человек» чувствует себя отчужденным и потерянным, где он страдает и гибнет. Так в ином контексте получают новое содержание многие атрибуты «петербургского текста» русской литературы, а писатели русского зарубежья подспудно утверждают свою преемственность по отношению к отечественной классике.

Помимо набережных неотъемлемой чертой Парижа у Яновского является подземный лабиринт метро, оно напоминает ад, в котором подвергаются пыткам осужденные на вечные муки грешники:

«Так от станции к станции <...> меня бросало вместе с сонмом мне подобных. На Монпарнасе одной волной мы катились к линии *Nord-Sud* — давя передних, толкаемые задними. Электрические двери издали скрипели, прикрываясь перед самым носом. С рокотом останавливался за решеткой

поезд. Мы уныло дежурили в узком проходе, погруженные в душный, потный сумрак, в истерическое безразличие, перемежающееся с усталым раздражением. И это ожидание было похоже на кошмар, длящийся века, атавистический сон или бред умирающего ипохондрика. Мелькала догадка, что в аду грешники вот так без конца будут дожидаться».

В этом инфернальном лабиринте поджидает своих жертв современный Минотавр. Не случайно роковое знакомство героини с пассажиром русского происхождения (недвусмысленно созданным по образу и подобию Свидригайлова) происходит именно в метро. Образность Яновского в данном случае перекликается с описаниями зловещих подземных туннелей в текстах западных писателей. Для сравнения приведем отрывок из незавершенной книги немецкого критика Вальтера Беньямина о парижских пассажах, которая писалась как раз в тридцатые годы:

«<...> это метро, красные огни которого светятся по вечерам, указывая спуск в подземное царство названий. <...> "Елисейские Поля", "Жорж V", "Этьенн Марсель", "Сольферино", "Инвалид", "Вожирар" разорвали презренные цепи, которые привязывали их к улицам или площадям; здесь, в пронизанной молниями и пронзенной свистками тьме, названия превратились в безóбразных божков клоак, в фей катакомб. Этот лабиринт вмещает в себе не одного, но дюжины слепых и свирепых минотавров, требующих не одну фиванскую девственницу в год, а тысячи анемичных белошвеек и полусонных коммивояжеров каждое утро»[18].

В литературе тех лет подземный транспорт нередко символизирует тот аспект современной метрополии, который

---

[18] *Benjamin Walter*. Paris. Capitale du XIXe siècle. Le livre des Passages/Trad. Jean Lacoste. Paris: Les éditions du cerf, 1997. P. 109.

в наибольшей степени нивелирует и подавляет личность. Создавая благоприятные условия для извращенного вуайеризма, метро, связанное с представлениями не только о полной анонимности, но и о полной безнаказанности, оказывается местом наименьшей защищенности от бесцеремонных взглядов и поступков. Как некое пограничное пространство, расположенное за пределами привычного видимого мира и открытое для всякого рода трансгрессий, метро оказывается знаковым местом действия не только у Яновского, но и в произведениях других писателей русского Парижа, например в рассказах «Часы без стрелок» Владимира Познера и «Фонари» Гайто Газданова, в цикле эротических стихов Довида Кнута «Сатир» и т.д. Не случайно и то, что именно в вагоне метро умирает герой практически единственного подлинно «парижского» рассказа Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи» («В Париже»).

В повести «Любовь вторая» Яновский не только сгущает краски, доводя до крайности все аспекты монпарнасского «человеческого документа», но и пытается преодолеть этот жанр и утвердить положительный идеал. Именно с этим связан нарочитый контраст между гротескными описаниями парижского «дна» и вида просветленного, как бы неземного города, открывающегося с высоты колокольни Нотр-Дам — символического «высокого места». Кроме того, выбирая именно этот архетипный для Франции, да и всей Западной Европы, памятник для таинства просветления или «преображения» героини, Яновский утверждает для эмигрантки более всеобъемлющую, всеевропейскую и даже всемирную идентичность. И опирается он в данном случае как на французскую литературную традицию (Гюго, Готье, Нерваль), в которой Нотр-Дам предстает прежде всего как оплот католицизма, так и на сложившуюся в русской культуре Серебряного века интерпретацию собора как подлинно универсального памятника, бесценного наследия

общей цивилизации. Недаром для Мандельштама в знаменитом соборе соединяется «Души готической рассудочная пропасть, / Египетская мощь и христианства робость» («Notre-Dame»). Сцена на колокольне Нотр-Дам, описывающая снисхождение на героиню Яновского «любви второй», т.е. любви божественной, которая приходит на смену ее неудавшейся земной любви, перекликается и с западной мифологией и иконографическим каноном, в соответствии с которым явление божества смертной женщине изображается в виде золотого дождя или золотого света (сюжет Зевса и Данаи или сцена Благовещения).

Отрывок из повести «Любовь вторая» был опубликован отдельно под заглавием «Преображение» в 53-м номере журнала «Современные записки». Несмотря на дебют Яновского в самом элитарном журнале русского зарубежья, публикация текста в полном объеме не предусматривалась. В конечном итоге повесть была издана издательской коллегией по подписке — план этот был придуман самим Яновским и осуществлен им совместно с Юрием Фельзеном. Кроме «Любви второй» издательство выпустило «Письма о Лермонтове» Фельзена и «Роман с кокаином» М. Агеева, отказав в публикации романа «Домой с небес» Поплавскому (новоиспеченные издатели сочли, что столь объемный роман не окупит затрат).

Сотрудничество Яновского с «Современными записками» продолжилось публикацией рассказа «Вольно-американская» (1937). В том же году Яновский опубликовал рассказ «Ее звали Россия», признанный критикой одним из лучших в его предвоенном творчестве. Гражданская война предстает в нем как апокалипсис, страшная галлюцинация, показанная через наркотические видения двух соперников — коменданта и поручика затерянного среди степей бронепоезда. Как герои испытывают пограничное состояние между жизнью и смертью, так и гибнущая Россия

оказывается на распутье: между белыми и красными, между Европой и Азией. Повторяющийся в конце рассказа рефрен «О, седла! О, русские седла!» отсылает к древнерусской литературе, «Слову о полку Игореве», плачам и сказаниям о погибели русской земли.

В рассказе «Двойной Нельсон» (1937) Яновский обращается к шахматной теме, введенной в литературу эмиграции еще в романе В. Набокова «Защита Лужина»:

«Весною я вдруг, манкируя экзаменами, начал писать рассказ о дьяволе, формально о шахматах. Отправил свое произведение в “Современные записки” и тотчас уехал в Кальвадос, как мне чудилось, на вполне заслуженный отдых: плавание и велосипед до изнурения меня потом поддерживали всю зиму!

В августе я получил письмецо от аккуратнейшего В.В. Руднева[19] вместе с моею, уже потерявшей девственную свежесть рукописью “Двойного Нельсона”. Рассказ недостаточно хорош для “Современных записок”.

Несколько лет спустя мне удалось поместить этот рассказ в “Русские записки”. Тогда Ходасевич при памятных для меня обстоятельствах пригласил меня к себе для беседы. Он относился серьезно к своим обязанностям критика и считал нужным выяснить некоторые темные места, прежде чем писать статью для “Возрождения”. Узнав, что “Современные записки” мне когда-то вернули “Двойной Нельсон”, он пришел в бешенство.

— Ну зачем они берутся не за свое дело? Ну зачем они берутся не за свое дело? — повторял он с отвращением»[20].

---

[19] Вадим Викторович Руднев (1879—1940) — общественный деятель, журналист; один из основателей, соредактор и секретарь редакции (с 1936 года) журнала «Современные записки».

[20] Поля Елисейские. С. 58—59.

Кстати, судя по рассказам друзей и родственников, Яновский был страстным шахматистом; в тех редких случаях, когда он проигрывал, он испытывал приступы настоящего бешенства. По воспоминаниям сына его второй жены Изабеллы, однажды его победа над Яновским чуть не окончилась для юного шахматиста самым роковым образом: он до сих пор уверен, что остался жив лишь благодаря вмешательству их пса Бамбука, отважно бросившегося между игроками.

В самом конце предвоенного десятилетия Яновский начал публикацию своего основного произведения парижского периода, которое он и много лет спустя считал «своим лучшим романом»[21], — «Портативное бессмертие», отрывки из которого появились в «Русских записках», «Новом граде», «Новоселье» и «Новом журнале», а отдельное издание вышло в 1953 году в Нью-Йорке. Роман совмещает черты привычного для довоенной прозы Яновского человеческого документа с утопией. Один из героев изобретает чудо-лучи омега, пытаясь с их помощью усовершенствовать человеческую природу. В этом можно увидеть пародию и на прием *deus ex machina* (который сам Яновский использовал в повести «Любовь вторая»), и на завладевшие умами миллионов доктрины «механического» создания царства божьего на земле (от коммунизма до фашизма).

* * *

Перед самым началом войны, когда русская литературная жизнь во Франции была фактически сведена на нет, Яновский начал обдумывать проект романа на французском языке; впоследствии он вспоминал, что замысел пришел к нему, когда сложилась заключительная фраза романа:

---

[21] См. интервью с Ю. Тролль (Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 1).

«Ça sent mauvais les pieds d'un soldat» («дурно пахнут ноги солдата»). Однако роман этот так и остался ненаписанным.

Летом 1940 года Яновского, как, впрочем, и всех русских эмигрантов, ожидали самые драматические испытания с момента их отъезда из большевистской России. После длящейся несколько месяцев «странной войны»[22] немецкая армия внезапно перешла в решительное наступление, без труда прорвала линию Мажино и двинулась на Париж. Наступление немцев спровоцировало панику и массовый исход из города, в результате на дорогах Франции оказались миллионы людей. 10 июня, в день, когда правительство покинуло столицу, объявив Париж открытым городом, Яновский нашел способ отправить из Парижа на юг Франции свою беременную жену. Там Полина некоторое время пользовалась гостеприимством Бердяевых и Фондаминских, но вскоре вернулась в Париж, где 20 августа родила дочь Машу. Как указано в документах, обряд крещения Мари Яновской состоялся 20 мая 1941 года в марсельской православной церкви Воскресения Христа, 16, рю Руссель Дориа. К тому времени Яновские уже находились в так называемой свободной зоне[23], так как иностранцам, особенно еврейского происхождения, оставаться в оккупированном

---

[22] Странная война (от фр. «drôle de guerre», буквально «смешная война») — период с объявления войны Германии Францией и Великобританией 3 сентября 1939 года до 10 мая 1940 года, когда немецкая армия вторглась на территорию Бельгии и Нидерландов. В течение этих месяцев союзники практически не вели боевых действий против Германии, тем самым фактически позволив ей провести кампанию по захвату Польши и получить стратегическую паузу для продолжения войны на Западном фронте.

[23] Свободной зоной называлась южная часть Франции, которая с момента подписания перемирия с Германией 22 июля 1940 года и до вторжения немецких войск 11 ноября 1942 года формально сохраняла независимость от оккупационных властей и имела собственное правительство во главе с маршалом Петеном, располагавшееся в городе Виши. Площадь свободной зоны составляла 246 617 кв. км, или 45% территории Франции. После 11 ноября 1942 года получила название «южной зоны».

Париже было крайне опасно. Яновский начинает активно искать возможность эмигрировать в США. Для получения американской визы необходимо было собрать немалое количество документов и рекомендательных писем. Одно из них на имя американского консула в Марселе написал Павел Милюков; как редактор «Последних новостей» Милюков подтверждал, что, будучи сотрудником газеты, Яновский вполне разделял ее демократическую платформу, не занимаясь непосредственно политикой. Наконец хлопоты завершились успехом, и в 1942 году Яновский направился в Нью-Йорк.

Вскоре после прибытия в Америку Яновский расстается с женой. В 1943 году через своего приятеля Петра Браунштейна он знакомится с Изабеллой Михайловной Левитин, урожденной Гольдбиндер (1913—2004), которая до конца дней будет его верной спутницей, помощницей, переводчицей, редактором, самоотверженно выполняя непростую роль «жены писателя». Полностью разделяла она и его духовные интересы, соблюдала христианские обряды, вместе с ним посещала экуменические собрания[24].

Изабелла родилась и выросла в Берлине в русскоязычной еврейской семье; она училась в Германии, во Франции, в Швейцарии, Чехии и Англии. С детства она говорила на немецком языке, блестяще владела английским, а с момента встречи с Яновским основным языком для нее стал русский. Вскоре после знакомства Василий и Изабелла с ее годовалым сыном Алексисом поселились в скромной квартирке в Риго-Парк, в предместье Нью-Йорка (район Куинз). Первая жена Яновского Полина устроилась работать медсестрой и нередко на длительное время оставляла дочь Машу на попечении Изабеллы. Официально развестись

[24] Экуменизм — движение христиан, основанное на идее сближения и сотрудничества между разными направлениями внутри христианства.

с Яновским она, правда, отказывалась, поэтому с Изабеллой они поженились лишь после смерти Полины в середине шестидесятых годов.

Как и в Париже, основной профессиональной деятельностью Яновского в Соединенных Штатах, гражданином которых он становится в 1947 году, оставалась медицина. Вначале ему приходилось довольно трудно: из-за недостаточного знания английского языка ему долго не удавалось сдать экзамен и получить лицензию врача. Со временем, однако, его диплом был официально подтвержден, что позволило ему устроиться в больницу. По своему основному профилю он был анестезиологом, но на протяжении всей жизни продолжал расширять свой профессиональный кругозор. Так, в 1975 году он закончил курсы по иглоукалыванию. Уже в пожилом возрасте он изобрел и безуспешно пытался запатентовать весьма оригинальную вещь — «семейный» тюбик зубной пасты, из которого пасту можно выдавливать с двух концов, выкрашенных в разные цвета, красный и синий. Таким образом, по утверждению Яновского, супруги, пользующиеся одной и той же зубной пастой, не будут передавать друг другу микробы: зубная щетка каждого будет входить в соприкосновение только с его или ее концом тюбика.

Но все свободное от работы время он по-прежнему посвящает литературе и духовным занятиям. Уже в середине 1940-х годов совместно с журналисткой и переводчицей, дамой голубых кровей, дочерью царского министра иностранных дел Еленой Извольской и композитором Артуром Лурье, при финансовой поддержке Ирмы де Манциарли (некогда финансировавшей основной журнал писателей «русского Монпарнаса», «Числа»), он организует экуменическую группу «Третий час». Собрания «Третьего часа» проходят регулярно на протяжении нескольких десятилетий.

Группа вскоре начинает издавать одноименный журнал (первый номер выходит на трех языках — английском, русском и французском, последующие — только на английском), и Яновский фактически становится соредактором Извольской. «Третий час» привлекает самые широкие слои американской и международной творческой интеллигенции, обосновавшейся к середине 1940-х годов в Нью-Йорке. Именно на заседании «Третьего часа» в самом конце войны Яновский знакомится с У.Х. Оденом, и эта встреча перерастает в продолжительную тесную дружбу.

Уистан Хью Оден (1907—1973), один из крупнейших англо-американских поэтов XX века, находился в США с 1939 года. Зимой он обычно жил в Нью-Йорке и часто общался с Яновским. Лето он проводил в Европе, откуда регулярно писал письма Василию и Изабелле, как правило, вкладывая в конверт какое-нибудь новое стихотворение. В мемуарах Яновский вспоминает об их увлекательнейших беседах за неизменной бутылкой калифорнийского вина в одном из ресторанов Манхэттена, у них дома в Риго-Парк или в квартире Одена. У Одена, как и у Яновского, был самый широкий круг интересов помимо литературы (религия, история, политика, медицина), — и в этом, видимо, была одна из причин взаимного влечения и уважения. Изабелла помогала Одену с редактурой его произведений, перепечатывала его рукописи, создавала для него подстрочники немецких стихов, которые он собирался переводить. Со своей стороны, Оден помогал Яновскому находить издателей и литературных агентов.

В Америке писательская судьба Яновского сложилась не очень удачно. Регулярно он печатался только в «Новом журнале», пришедшем на смену «Современным запискам» и другим толстым журналам европейской диаспоры. Именно там был опубликован его роман «Американский опыт» (с 1946 по 1948), повести «Челюсть эмигранта»

(1957) и «Болезнь» (1958), отрывки из романа «Заложник» (1960—1961). В «Американском опыте» отразились первые впечатления автора от новой страны. С героем романа происходит метаморфоза почти по Кафке: белый человек просыпается и обнаруживает, что стал негром. Главный философский вопрос, который ставит Яновский на материале этого фантастического сюжета: в чем заключаются параметры человеческой личности, зависит ли индивидуальность от расы, национальности, пола?

В повести «Челюсть эмигранта» Яновский вольно развивает бергсоновскую концепцию линейной и вертикальной памяти. Как он объяснял в одном из более поздних интервью, линейная память связана с обычными ассоциациями, в то время как вертикальная память — это воспоминания души о «какой-то тайной, оккультной жизни», которую она вела до настоящего существования[25]. Сюжет опять взят из медицины, правда, из смежной — стоматологической — области. Героем является эмигрант Богдан, который предается воспоминаниям о всех обстоятельствах, при которых ему удаляли тот или иной зуб. Его больные зубы не только символически связаны с болью и страданием изгнания, но в его челюсти оказываются закодированы разнообразные переживания, следы многих стран и культур, через которые проходил его путь. В своей рецензии Федор Степун выделил несколько черт, с его точки зрения, характерных не только для этой повести, но и для всего творчества писателя, — отягощение произведения метафизическими вопросами и в то же время злоупотребление публицистическими приемами, особенно при создании желчных, резких характеристик персонажей[26].

---

[25] Необыкновенное десятилетие (запись интервью с В. Яновским) // Гнозис V—VI. Нью-Йорк, 1979. С. 16—21, 18.

[26] *Степун Федор.* Рец. на «Челюсть эмигранта» В.С. Яновского // Новый журнал. № 54. 1958. С. 296—299.

Отдельные художественные произведения, заметки, эссе и пьесы Яновского появляются также в иных журналах русского зарубежья — «Опыты», «Мосты», «Гнозис» и др. Гораздо сложнее обстоит дело с публикацией книг отдельными изданиями. И причина не только в обычном для эмиграции недостатке средств. Назвав Яновского «наиболее одиноким писателем эмиграции», Степун попытался сформулировать главную причину этого одиночества:

«Одиночество Яновского, которого широкая публика не понимает, а потому и не читает, связано прежде всего с тем, что его творчество чуждо основной традиции русской литературы: Толстой, Тургенев, Гончаров, Чехов, Бунин. Романы и повести Яновского не отличаются ни стереоскопической пластичностью описаний внешнего мира, ни углубленным исследованием человеческих душ; он не бытовик и не психолог. По заданиям своим Яновский ближе всего к Достоевскому: как и Достоевского, его интересует не отображение видимого, а постижение невидимого мира»[27].

Помимо спорности отождествления Степуном основного канона русской литературы с «описаниями внешнего мира» и «углубленным исследованием человеческих душ» его высказывания о Яновском указывают на несоответствие программных устремлений последнего «горизонту ожиданий» эмигрантского читателя. Как следует из эссе «Пути искусства», опубликованного в 1960 году в журнале «Мосты», задачу творчества Яновский видел не в описаниях и исследовании психики, а в раскрытии некой мистической «трансреальности». Таким образом, в американский период он все больше выходит за рамки русской традиции, к консервации которой стремились многие авторы зарубежья.

---

[27] *Степун Федор*. Указ. соч.

Испытывая трудности при публикации собственных произведений, Яновский пробует себя в художественном переводе. В 1952 году издательство имени Чехова выпускает роман Виллы Катэр «Моя Антония» (Cather W. «My Antonia») в переводе и с предисловием Яновского. Со временем Яновский решает пробиться на американский книжный рынок, предлагая свои романы в переводе Изабеллы Левитин, но и здесь его ждут многочисленные трудности. Самая крупная удача «англоязычного» Яновского — это публикация перевода его романа-притчи «По ту сторону времени» (1967)[28]. Решающую роль в ее осуществлении сыграл Оден, которому роман понравился и который незамедлительно рекомендовал его издателям. Кроме того, Оден написал предисловие к роману, чем Яновский очень гордился. Оден определил жанр романа как «фэнтэзи», отметив при этом юмор и образность в духе Вирджинии Вулф[29]. Роман действительно представляет собой попытку освоить этот популярный жанр западной литературы. Он переносит акцент с эмигрантской тематики на изображение жизни в современных североамериканских мегаполисах, с одной стороны, и на создание некой идиллической альтернативной реальности, с другой. Однако круг метафизических проблем, которые Яновский ставит в своем романе, остается по-прежнему созвучным его собственным духовным исканиям. Автор совмещает занимательный сюжет с философскими размышлениями о несостоятельности логики, об опасности восприятия событий в линейной прогрессии, о взаимозаменяемости причин и следствий, о множественности каждой личности и даже вплотную подходит к давно мучающему его религиозно-философскому

---

[28] No Man's Time. Translated from Russian by Isabella Levitin and Roger Nyle. With Foreword by W.H. Auden. New York: Weybright & Talley, 1967.

[29] Ibid. P. 7—13.

вопросу: столь ли совершенно творение божье, и в силах ли бог переделать то, что он сотворил?

Следующим опубликованным в английском переводе романом Яновского стал «Кимвал бряцающий»[30]. Кимвал (или цимбал) — это древний музыкальный инструмент, напоминающий литавры. Название отсылает к следующей строке из послания апостола Павла к коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я —лишь медь звенящая и кимвал бряцающий». В романе Яновский опять возвращается к представлениям о линейном движении во времени, пространстве и памяти, опровергая привычные интерпретации. Как отмечали многие рецензенты романа, две его части с трудом можно воспринимать как одно целое. Впрочем, Яновский намеренно называет их «Часть первая. Или вторая» и «Часть вторая. Или первая». Пролог и эпилог также оказываются взаимозаменяемыми. На основании романов «По ту сторону времени» и «Кимвал бряцающий» Вячеслав Завалишин определяет метод Яновского как «апокалиптический экзистенциализм с элементами неопифагорейства», т.е. учения о повторяемости сходных фаз в истории человечества[31].

Со временем Яновский стал сам писать по-английски, а Изабелла лишь редактировала его тексты. Его первой книгой на английском языке становится документальное исследование «The Dark Fields of Venus: From a Doctor's Logbook» («Поля Венеры. Из журнала врача»). В этой книге Яновский обращается к бюрократической системе здравоохранения, которая по абсурдности напоминает «наилучшие страницы Кафки, Беккета и Ионеско». Оден сразу оценил эту книгу.

---

[30] Of Light and Sounding Brass. New York: Vanguard Press, 1972.

[31] *Завалишин Вячеслав.* Экзистенциализм Василия Яновского // Новая газета. 12—18 июня 1982. С. 26—27.

Как вспоминает Яновский, он сказал ему по прочтении: «Это очень грустная и очень хорошая книга. У нее будет успех, но, разумеется, по ложной причине», — и незамедлительно рекомендовал ее нескольким издателям. Его стараниями книга вышла в 1973 году[32]. Кроме того, Оден написал рецензию на «Поля Венеры» для «New York Review of Books».

Вскоре Яновский завершил и свою первую художественную книгу на английском языке «The Great Transfer» («Великое переселение», 1974)[33]. Она была опубликована в том же издательстве, что и «Поля Венеры», в серии, созданной Элен Вольф. Рецензент в журнале «Нью-Йоркер» назвал роман «сложной метафизической притчей о смерти, трансмиграции и иных духовных химерах». Под великим переселением подразумевается переселение души. Герой романа Гийом присоединяется к эзотерической секте «Третье полушарие», расположенной в Карибском море, и проходит под руководством «посредника» курс подготовки к смерти и «великому переселению». Как и в предыдущих книгах Яновского, основным пафосом этого произведения является утверждение «нет времени, нет смерти».

На протяжении нескольких лет Яновский работал над книгой о философии науки «Medicine, Science and Life» («Медицина, наука и жизнь»)[34]. По словам автора, с помощью этой книги он пытался ввести «постквантовую физику в гуманитарные науки»[35].

[32] The Dark Fields of Venus: From a Doctor's Logbook. New York: Harcourt Brace Jovanovich (Helen and Kurt Wolff Book), 1973.

[33] The Great Transfer. New York: Harcourt Brace Jovanovich (Helen and Kurt Wolff Book), 1974.

[34] Medicine, Science and Life. New York: Paulist Press, 1978.

[35] Необыкновенное десятилетие (запись интервью с В. Яновским) // Гнозис V—VI. Нью-Йорк, 1979. С. 16—21.

Когда Оден готовил к публикации своеобразную духовную «автобиографию» — книгу, содержащую отрывки и цитаты из различных произведений, которыми он мог некоторым образом проиллюстрировать свое отношение к миру, — он попросил Яновского поместить в книге небольшую заметку об анестезии[36]. Оден решил озаглавить эту автобиографию, которую он называл также «картой своей духовной планеты», «A Certain World: A Commonplace Book» («Некий мир: Книга общих мест»). В заметке «Анестезия»[37] Яновский пытается дать философское обоснование своей специальности, но при этом он продолжает рассуждать о тех же вопросах, что и в своих художественных произведениях. Анестезия, по его словам, отрицает время, делая возможным его обратимость, утверждая одновременность вместо линейной последовательности. Он затрагивает и морально-психологический аспект анестезиологии, которая связана с неизбежным злом, состоящим в интоксикации пациента. Задумывается он и об интеллектуальном и духовном одиночестве анестезиолога в операционной. Заканчивается отрывок следующим утверждением: «Так, в операционной всегда можно отличить достойного человека от псевдогероя, нахала, притворщика. И это применимо — в разной степени и по разным причинам — к пациенту, хирургу и анестезиологу»[38]. Таким образом, операционная, в которой Яновскому пришлось провести много часов в тече-

[36] В архиве Яновского хранится либретто к опере И. Стравинского «Похождения повесы» с посвящением от авторов У.Х. Одена и Ч. Калмана, в котором обыгрывается его специальность анестезиолога: «All very well to put others to sleep but you must stay alert to this [libretto]» (Можешь усыплять других в свое удовольствие, но сам ты должен быть наяву [чтобы прочесть это либретто]).

[37] Yanovsky Basil. Anesthesia // Auden W.H. A Certain World: A Commonplace Book. New York : Viking Press, 1970. P. 18—21.

[38] Ibid. P. 21.

ние своей жизни, осмысливается им как некий сакральный локус, в котором можно сразу выявить подлинную человеческую суть всех занятых в этом медицинском действе лиц.

В своей книге о двуязычных писателях Элизабет Божур выделяет три главные сферы, определившие смысл всей деятельности Яновского: науку и медицину; философию и духовность; литературное творчество[39]. При этом все три области были у него тесно переплетены, естественно дополняя и обогащая друг друга. На протяжении всей жизни Яновский активно искал ответы на основные вопросы бытия, и искусству, которое он почитал за «высшую духовную деятельность», отводилась в этом процессе первостепенная роль. Свои взгляды на задачи и функции художественного творчества он наиболее полно сформулировал в эссе «Пути искусства». В этой работе Яновский сначала обращается к трем близким ему авторам, пространно цитируя и суммируя их «теории искусств». Он начинает с толстовского утверждения, что художник обязан «заразить» читателя эмоциями, затем переходит к Бергсону, который призывал «заразить» не просто определенным чувством, а творческим импульсом, и, наконец, комментирует позицию Пруста, для которого творить означало «найти законы (подобные физическим), управляющие жизнью сознания, общества, духа, — объяснить эти законы, найти для них формулу!»[40]. Яновский пытается синтезировать основные выводы этих трех мыслителей и развить свою собственную концепцию. Текст эссе не оставляет сомнений, насколько серьезно он воспринимал творчество. Яновский отрицает понятие искусства как

---

[39] Beaujour Elizabeth Klosty. Alien Tongues : Bilingual Writers of the «First» Emigration. Ithaca and London: Cornell UP, 1989. P. 148.

[40] *Яновский В.С.* Пути искусства // Мосты. 60. 4. С. 106—130, 144.

игры, попутно замечая, что по-гречески игра называлась «агонос». Он также уверен, что «ничто так не взрывает сущности угрожающего миру тоталитарного режима, как мысли о большом искусстве. Недаром всякая диктатура, чтобы уцелеть, должна утвердить выгодную для себя философию искусства и подавить враждебную»[41]. Без обиняков говорит Яновский и о том, насколько схожи между собой две великие враждующие супердержавы — СССР и США — в своем «архипримитивном» и утилитарном понимании искусства. В падении искусства винит он и «психологизм», — «ибо процессы жизни души и тела вне “психологии”»[42]. Наконец, он подходит вплотную к формулировке своего понимания высшей функции искусства: оно призвано преображать действительность за счет «открытия, описания, истолкования» «трансреалистической», космической реальности. Информация об этой реальности закодирована в человеческой душе, однако Яновский не считает опыт души ограниченным лишь рамками человеческой жизни, датами рождения и смерти. В соответствии с его мировоззрением душа «должна была обретаться до первого сгущения космических газов»[43]. Соответственно, душа будет существовать бесконечно и после физической смерти, и вне хронологического времени, поэтому «заглянуть» в поисках ответов можно и в это будущее. Наиболее же подходящим методом для подобного трансцендентного исследования оказывается искусство. Это эссе многое объясняет в творчестве Яновского как до-, так и послевоенного периода, делает более понятными его настойчивые попытки подвести героев к определенной черте, где за внешне хаотичными,

[41] *Яновский В. С.* Пути исскуства//Мосты. 60. 4.
[42] Там же. С. 127.
[43] Там же. С. 129.

абсурдными событиями их жизни начинает мерещиться некий высший смысл.

В последние десять лет жизни Яновский написал около десяти романов и рассказов на английском языке, большинство из которых до сих пор не опубликованы, включая «Lovers in the Ark» («Любовники в ковчеге»), «Burning Bushes» («Неопалимые купины»), «Temporary Infinities» («Временные бесконечности»), «Winged Companions» («Крылатые спутники») и др. Но главным произведением американского периода, безусловно, являются мемуары «Поля Елисейские. Книга памяти», в которых он обращается к своей парижской молодости. В радиоинтервью с Юлией Тролль Яновский называет этот период «необыкновенным десятилетием»: «То, что мы делали в Париже, это был, так сказать, синтез всего лучшего из русской культуры с лучшей западной или, вернее, французской»[44]. Над этой книгой писатель работал на протяжении десятилетий, и фрагменты из нее публиковались в эмигрантской периодике («Воздушные пути», «Русская мысль», «Гнозис», «Время и мы») задолго до выхода книги в 1983 году в издательстве Григория Поляка «Серебряный век». «Поля Елисейские» никого не оставили равнодушным, вызвав резонанс, подобный тому, который сопровождал в свое время публикацию крайне субъективных мемуаров Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой, а также книги «Курсив мой» Нины Берберовой. Яновский взял эпиграфом к своей книге высказывание Вольтера «О мертвых — только правду», тем самым сразу заявив о нежелании смягчать факты или обходить молчанием щекотливые вопросы. Неудивительно, что многие писатели, участники литературного Парижа 1930-х годов

[44] Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 1.

и историки литературы присылали ему письма с отзывами, критическими замечаниями, поправками. Книга написана ярко и динамично. При всем неизбежном субъективизме Яновскому удалось создать красочное полотно необыкновенной эпохи в культуре русского зарубежья. Именно публикация «Полей Елисейских», которые вскоре вышли и в английском переводе, привлекла наконец к Яновскому долгожданное внимание широкого круга читателей и критиков. У него брали интервью в газетах и на радио, просили дать комментарий к юбилею того или иного писателя, за ним закрепилась репутация летописца русского Парижа и его литературного поколения.

К своему новому литературному детищу Яновский относился чрезвычайно ревниво, что иногда приводило к курьезам. Как явствует из ироничного ответного письма Бориса Филиппова (от 30 января 1982 года), Яновский проявлял невероятную бдительность, выявляя случаи кажущегося плагиата и упрекая в этом провинившихся авторов:

«Многоуважаемый Василий Семенович!

Прошу прощения за то, что назвал сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Блока и изданный покойным ныне А.С. Стыпулковским, “Памяти Александра Блока”. Мало того, сборник своих рассказов, изданный в 1974 году, назвал “Память сердца”. Я просто не знал, что подзаголовок Вашей книги, отрывки из которой Вы публиковали в современной прессе, Вы назвали “Книга памяти” — и тем навеки закрепили за собой / запатентовали, что ли / слово “Память”. Не вините в названии книги “ученого мужа Иваска”: в книге, посвященной Блоку, он и не участвует, а книга, посвященная Достоевскому, заканчивающаяся статьей “ученого мужа”, увы, обошлась без слова “память”, — названа просто “Ф.М. Достоевский”. Ваших “Полей Елисейских / Книга памяти” / я, к сожалению, не читал, а потому это является

смягчающим вину обстоятельством. Может быть, и то, что моя книга рассказов, названная “Памятью сердца”, вышла еще в 1974 году, т.е. за пять лет до Вашей “Книги памяти”, тоже смягчит Ваше сердце? Во всяком случае, сообщите заранее всем пишущим: не закрепили ли Вы за собой навеки и слова “книга”, “поля” и “Елисейские”, в тех или иных сочетаниях, чтобы потом употребившим так или иначе эти слова не было стыдно...»[45]

Можно только пожалеть о том, что, за исключением мемуарных зарисовок, посвященных отдельным лицам (Одену, Извольской), Яновский не оставил столь же обширных воспоминаний о своей жизни в Америке. С начала 1940-х годов Яновский был тесно связан с русской диаспорой Нью-Йорка. В конце жизни он дружил с Сергеем Довлатовым, который жил неподалеку от него. Общался он и с Иосифом Бродским, хотя его отношение к знаменитому поэту было омрачено обидой на неблагодарность последнего. По одной версии, Оден, сыгравший столь важную роль в судьбе Бродского, впервые узнал о нем от Василия и Изабеллы, которые показали ему собственные переводы стихов опального поэта, известного им по проникавшим из СССР самиздатным выпускам. С тех пор Оден не переставал интересоваться судьбой Бродского, согласился написать предисловие для издаваемого на Западе сборника его стихов, а после эмиграции приютил Бродского в своем летнем доме в австрийской деревне Кирхштеттен. Он добился выделения Бродскому гранта от Американской академии поэтов, возил его в Лондон, где они вместе читали стихи перед самой изысканной аудиторией, представил Бродского всем своим знакомым в литературном мире, связал его со

---

[45] Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 1.

своим агентом и т.п. В письме от 12 июля 1972 года Оден пишет Яновским из Кирхштеттена:

«Дорогие Василий и Изабелла. Полагаю, вы уже слышали, что около десяти дней назад Иосиф Бродский, которого я считаю самым лучшим из ныне живущих русских поэтов, был выдворен из Советского Союза. В настоящий момент он находится в Вене, ожидая визу. Я дал ему ваш адрес и сказал, чтобы он с вами связался по прибытии в Нью-Йорк. Ему хорошо было бы познакомиться с кем-нибудь, кто говорит по-русски. Лично я нахожу его чрезвычайно приятным»[46].

Бродский познакомился с Яновскими, был пару раз приглашен в гости в Риго-Парк, однако особо теплых отношений между ними не возникло. Яновский явно избегал лишний раз упоминать имя Бродского в печати. Вспоминая об ужине в своем доме в День благодарения, когда среди приглашенных были Георгий Адамович и Уистан Оден, он описывает зашедший между гостями спор о том, кто является лучшим из современных поэтов, живущих в СССР. По словам Яновского, Адамович возлагал наибольшие надежды на Евтушенко. Однако любимого поэта Одена он предпочитает не называть, ограничившись сдержанной фразой: «Но Уистан упорно отстаивал иного поэта».

Кстати, с годами Яновский все острее воспринимал недостаток внимания и уважения к себе, особенно со стороны писателей-эмигрантов, которым посчастливилось добиться успеха на Западе. Чрезвычайно болезненно он переживал отсутствие участия к менее удачливым собратьям по перу со стороны Владимира Набокова. Свои мемуары «Поля Елисейские» Яновский заканчивает следующим эпизодом:

---

[46] Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 1.

«В “Письмах” *Nabokov-Wilson (Ed. by Simon Karlinsky, Harper & Row*, 1979) Эдмунд Вильсон, знаменитый американский критик и джентльмен, пишет Набокову:

“Июль, 1943. Человек по имени В.С. Яновский обратился ко мне за литературным советом. Он приложил маленький рассказ из ‘Новоселья’, который мне кажется неплох, и нелепый ‘сценарий’ романа, который звучит, как будто был написан для смеха. Знаете ли вы что-нибудь о нем? Он сообщает, что в ‘среде русской Франции он пользовался некоторой популярностью’”.

Я послал Вильсону рассказ “Задание-выполнение” и краткое резюме “Портативного бессмертия”.

Казалось бы, чего проще при этих условиях для русского джентльмена и писателя поддержать вновь прибывшего из Европы эмигранта и независимо от личных симпатий сказать влиятельному американцу: “Если Вам рассказ понравился, помогите литератору его напечатать”.

Но нет. Это было бы слишком “пошло” для Набокова. Вот его ответ:

“Июль, 1943... О Яновском. Я часто встречал его в Париже, и это правда, что его работы оценивались положительно в некоторых кругах. Он *he-man* <...> Если Вы понимаете, что я имею в виду”. Редактор или издатель писем поставил многоточие, обозначающее пропуск. Слово *he-man* трудно перевести, буквально — мужчина, пожалуй, грубый человек, солдафон.

И Набоков продолжает:

“Он не умеет писать. Мне случилось сообщить Алданову, что благодаря Вам я имею возможность печатать здесь свои произведения и, надо полагать, об этом все узнали, и теперь Вы начнете получать множество писем от моих несчастных собратьев (*poor brethren*)”»[47].

---

[47] Поля Елисейские. С. 387—388.

Яновский умер от лимфомы 20 июля 1989 года в нью-йоркской больнице Кэвэлри. Похоронен он был 26 июля на русском православном Ново-Дивеевском кладбище, где пятнадцать лет спустя была похоронена и его жена Изабелла. По иронии судьбы, мечта всей его жизни — о публикации его произведений на родине — осуществилась почти сразу после его смерти.

* * *

Все тексты приведены в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации.

Выражаю признательность Фонду Александра фон Гумбольдта (Германия) за финансовую поддержку в период работы над составлением данной книги.

Мария Рубинс



ПОВЕСТИ

ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ

Парижская повесть

П.Н.Я.

Я приехала в Париж с транзитной визой (сроком на три недели), выданной французским консулом в Риге. Долгие дни перед отъездом я провела в угарной, утомительной беготне из учреждения в учреждение, выправляя свои сирые, эмигрантские документы. На вокзале меня никто не провожал.

Я стремилась во Францию не потому, что здесь меня ждали или сулили хорошее. Казалось, хуже не будет; а душа моя не хотела мириться с будничным отмиранием, еще предчувствуя другие возможности. Каюсь, я намеревалась до последнего удара сердца бороться за материальное благополучие, рисуя себе романтические турниры современного человека, в гуще жизни завоевывающего избранное место. В действительности это выглядело по-иному. Да и о каком «месте», о какой удаче могла мечтать я, не первой молодости, много читавшая, многое чувствовавшая и так-таки почти ничему не научившаяся? (Мечтают же часто о выигрыше, не обладая лотерейным билетом.)

Я оставила Латвию, когда «кризис» достиг зенита, когда кругом все метались, точно клопы, почувствовавшие запах керосина, и стонали, в один голос уверяя друг друга, что будет еще хуже. Так сказал и Павел Кондратьевич, тот самый, который в продолжение шести лет объяснялся мне в любви, а потом сообщил, что женится на дочери попечителя учебного округа. Он поглядел на меня добрыми, подслеповатыми глазами, виновато мигнул, снял пенсне, подышал на стекла и, протирая их замшей, объяснил, как теорему:

— Франция — богатая страна, просвещенная. Там дышать легче. Там есть все, что и повсюду, плюс неограниченные возможности.

Я послушалась его совета. Он же мне и помог немного деньгами, усиленно рекомендуя беречь «больное сердце».

Из многочисленных впечатлений, овладевших мною на первых порах, по приезде, память сохранила отчетливо только те, что непосредственно были связаны с получением *carte d'identité**. Как ни странно, но проходной двор *Préfecture de police*** произвел на меня большее впечатление, чем *Louvre**** или *Cluny*****. Сколько сил растрачено людьми, шагавшими по этим свинцовым булыжникам, мимо казарменных корпусов, мимо суровых полицейских, мимо «незаметных» господ в черном. Резко стучало сердце, когда я взбиралась по траурной лестнице, отдыхая на заплеванных окурками площадках. Комната с голыми стенами, с деревянными столами и лавками, с пятнами цвета давленого клопа, такая претяще знакомая, оттого ли, что большинство просителей — выходцы из нищих славянских стран, или оттого, что присутственные места всего мира схожи?

---

* Удостоверение личности (*фр.*).

** Префектура, Главное полицейское управление (*фр.*).

*** Лувр (*фр.*).

**** Musée Cluny — парижский Музей Средневековья, расположен в Латинском квартале.

Меня принял толстенький человечек, вкрадчивый, добродушный и упрямо-надоедливый. Он разглядывал бумаги, все время неодобрительно покачивая коротко остриженной, крупной для его тела головой, делал отметки карандашом и повторял шепотом отмеченное.

Для доказательства материальной независимости — «заработка не ищу!» — я принесла два вскрытых «ценных пакета», присланных на мое имя милым Павлом Кондратьевичем пустыми, но застрахованных каждый в пятьсот франков. Чиновник долго выяснял, сколько, выходит, я проживаю в месяц, всегда ли так буду получать, да от кого, откуда, сколько часов езды, и списывал номера пакетов. Маленький, кругленький, не злой, с красным носом и с седыми усами, он цепко присасывался, выведывал; каждый мой ответ — широкий мазок кисти — встречал ровной стенкой новых и новых вопросиков. Как он выматывал душу. Толстенький, скрипучий, не злой.

Этот человек мне снился несколько раз: поднимается по лестнице — вот-вот зайдет, — медленно, бесконечно, шаром катясь вверх. И в действительности он меня удостоил визитом; благодаря предыдущим снам я испугалась до тоски, увидав его выросшим у своего порога.

Навсегда останется неясным, чего он хотел: по долгу ли службы являлся или ждал взятку. Он смотрел на меня, как — ну совсем — кот на сало; я было зажала в руке деньги. Сперва пять, потом десять, потом пять и десять. Сердце билось, как перед выпускным экзаменом. Стало больно и противно. Так и не решилась. Слава богу.

В продолжение нескольких месяцев, каждое 19-е число, я поднималась в узенькую, разделенную деревянным барьером на две части комнату возобновлять временное удостоверение. У женщины бывают периодические недомогания. Судьбе угодно было, чтобы эти сроки совпадали. Я шла, едва волоча ноги, в обычном полуневменяемом

состоянии, на аркане мрачных предчувствий: отказ, высылка?!

Добившись в первый раз отсрочки, я со всем усердием и беззастенчивостью иммигранта ушла в поиски работы: в кошельке сиротливо чахли последние несколько десятков франков.

Когда перед отъездом меня спрашивали, как я рассчитываю устроиться на далекой чужбине, я объясняла:

— Владею слегка французским, немецким и английским, умею немного шить и вязать, играю недурно на рояле. В крайнем случае буду продавать свои мускулы.

Но очень скоро раскрылось, увы, что «немецкий — английский» сами по себе не представляют какой-либо ценности: я встречала лингвистов по профессии в последнем бездолье или добывавших себе хлеб разными извилистыми путями. Отвлеченный «физический труд» тоже ускользал, распыляясь на «требуется горничная, умеющая готовить» (какая ж я горничная?) или «опытная *seconde main**» (где ж мне?). Предложений, главное, было анекдотически мало, на каждое объявление откликались десятки душ, достойных лучшей участи; мои же возможности были чуть ли не всегда наименьшие, благодаря отсутствию какого-то необходимого умения сразу выделиться, привлечь к себе внимание.

Если меня почему-либо уже отличали, то все же в конце концов дело расстраивалось: всегда требовалось на одно данное больше, чем я имела. Так, вначале меня укоряли: «Если б вы хоть имели постоянный вид...» А когда получила документ: «Будь у вас право работать...» А то для полного счастья не хватало только телефона; я обеспечивала в соседнем кафе вызов (улыбаясь гарсону и дважды в день выпивая горчайший *café nature***), но все проваливалось

---

* Подержанная вещь, предмет, приобретенный в комиссионном магазине (*фр.*). Здесь: специалист по реализации подержанных вещей.

** Черный кофе (*фр.*).

в тартарары из-за польского языка: необходим, чтобы успешно продавать граммофонные диски.

Плыли серые дни, в самой ткани своей уже таящие что-то похожее на гибель. Вот сноп свежих газет: надо успеть вырезать подходящие (красная, черная) предложения, сгруппировать. К трем часам я становилась в очередь у витрин *Intransigeant**, читать объявления: «Первой!» *On demande***. *On demande*. Два раза шла наниматься в прислуги. «Требуются молодые люди для интересной и выгодной работы». Вместе с толпой таких же бессмертных я дежурила полдня, дожидаясь приема. Мы узнавали друг друга уже по звонку: все те же отары кочевали по прихожим работодателей, вначале чуждаясь, робея и завидуя; затем почти все холодно сдружились — щедро раздавали советы, обменивались адресами, лукавя, стараясь дороже продать. Изредка появлялись новички: русые польки, румынские еврейки. А там иные исчезали, выходили за предел нашей досягаемости: одни — возвращаясь обратно в свои нерадостные орбиты, другие — уезжая в провинцию, находя себе любовника или кончая самоубийством.

В детстве я болела скарлатиной, поразившей мой сердечный мускул. Должно быть, поэтому так трудно мне осведомляться у грубых консьержек, подниматься на самый верхний этаж, звонить, дожидаться, отвечать правдоподобно на все расспросы и, выслушав отказ или жуликоватое предложение шустрых упитанных господ, возвращаться, проклиная себя, которую любой хам может безнаказанно кликнуть, заставить промаяться три часа, изъездить последние полтора франка. Но, видит Бог, эту тяжесть

---

* «Энтрасижан» (*фр.*) — название французской газеты, выходившей с 1880 по 1940 год.

** Требуется (*фр.*).

удесятеряли сиротливо, загнанно озирающиеся «конкуренты»: анемичные, плохо или слишком ярко одетые женщины, голодные юноши, с надеждой впивающиеся злыми зрачками в двери и тотчас же отворачивающиеся, видя, что входит такой же немощный гость.

Как я молилась и страдала за них; каким черным цветком мнилась жизнь, делающая нас врагами. Но, краснея, со слезами возмущения, я, не уступая места, проталкивалась вперед, чтобы лучше расслышать очередное предложение: собирать объявления для календаря, который никогда не выйдет в свет, или лечить от венерических болезней по переписке. Сколько раз мы выходили, гневно ропща, сетуя и удивляясь, отчего не существует надзора за всеми, что так зло измываются над нами?

Мы шли, гадая о близком будущем, а в самой глубине глубин, в уступах, на карнизах сердца шевелилось: как хорошо, не приняли, не впрягли в чуждый труд, можно, значит, еще гулять по своей воле, дышать и оглядываться.

Но назавтра печать приносила свежие страницы — мелко-намелко — шрифта, и начинался новый круг — все теснее, — унизительный, нелепый и убогий.

Так наконец — день за днем — в один осенний вечер я очутилась со свертком под мышкой, без крова, на улицах Парижа, по-новому для меня зашумевшего.

В обычный час, вернувшись в отель, я не нашла ключа от номера на своем месте. С улыбкой человека, недостойного прощения, я вошла в *bureau**: уже третью неделю оттягивала взнос платы («завтра», «в субботу», «в следующую, наверное»). Как это ужасно, думаю, для всех. Но есть люди грубее меня, ловчее или, наоборот, смиреннее, им не тяжело прибегнуть к чужой милости; к милости стареющей красавицы, хозяйки, держащей в трепете весь отель — от

* Бюро, контора (*фр.*).

грязной стряпухи до чернобрового, чернокудрого, взятого с улицы итальянца, своего мужа.

Я тихо попросила ключ. Комната № 28. Итальянец нырнул под портьеру. Как я молилась, чтобы все обошлось, чтобы грозной патронши не оказалось дома. Она вбежала разъяренная. Я не плачу за комнату и еще решаюсь водить к себе мужчин! Эта комната не для двоих, для двоих цена другая! Сейчас же платить или выезжать!

— *Madame*, — сказала я запинаясь, готовая разреветься и пугаясь, что она убежит, не дослушав меня. — Вы ошибаетесь. Я 28-й номер. В чем дело? Я заплачу, вот в субботу, а мужчин я не привожу, ко мне не ходят мужчины.

Покидающего наш отель на рассвете незнакомца спросили, где он провел ночь; тот ответил: «В 28-м».

Я тупо защищалась, как в полусне, смертельно раненная обидой. Хозяйке, себе, всему свету мстила я, когда, чувственно сося свое отчаяние, шептала: «Ну еще, бей меня, выволоки за волосы. Пускай хуже; еще, еще...» Сладострастие горя; мазохизм нищеты.

Итальянец, видимо, был на моей стороне, он было попытался сказать что-то, но оборвал под взглядом яростных, надменно красивых очей своей полусумасшедшей жены.

Я не знала, куда потащиться с тяжелым чемоданом, набитым (услужливым Павлом Кондратьевичем) всем необходимым, вплоть до пуховой подушки. Помогла несколько та же хозяйка: вещи она задержит, пока не расплачусь. И хотя в свое время, предвидя такую возможность, я осведомилась у знающих людей и удостоверилась, что этого она не вправе делать, я не возражала, не спорила. Во мне что-то согнулось. Воля к победе, столь необходимая, чтобы побеждать, чтобы жить, стерлась во мне, растопилась на время. Огромная пустота, покой усталости опустились на душу. Хотелось только скорее скрыться, уйти подальше от этого злого голоса. Она давила меня своим враждебным

чужим языком, хорошо откормленным телом, запахом крепких духов. Убежать, спрятаться; тишины!

Собрав несколько самых необходимых вещей, я кивнула пышноголовому итальянцу и протрусила к выходу, мимо устрашенно шарахавшихся под окриками патронши горничных, которые здесь сменялись еженедельно.

Помню ноющую, терпкую боль, на мгновение всю меня пронзившую, когда за спиной мягко стукнула стеклянная дверь с карточкой «*Essuyez vos pieds, s.v.p.*»*. Кто, одинокий, не лишался крова — не поймет.

Мне страстно захотелось курить: этому я научилась в долгие часы и дни ожидания. Я купила пакетик в пять штук. «*A douze sous*»**, — сиротливо прозвучал мой голос.

Затянулась дешевой папиросой и вдруг с взметнувшейся, облегчающей, ранящей силой ощутила кругом себя и холодный ветер вселенной, и тяжелую землю с бегущим по ней враждебным людом, и небо в серых, пятнистых, жестких складках. Чудовищный город, ревущий, давящий, глотающий, плывущий в своем русле; и себя, одинокую душу, затерянную, посеянную в месиве; одна, одна. Я почувствовала, что это не случайно, что в этом есть смысл, и как страх мой велик и отчаяние полно, так и цель, к которой меня ведет, должна быть значительной. Но это продолжалось всего секунду — пронзительное озарение, поднявшееся из глубин страха и унижения: вспыхнуло и заглохло. В моем кармане десять франков; тротуары жестки.

Я проходила с папиросой в зубах мимо постового агента; он взглянул на меня равнодушными серыми глазами знающего, бывалого служаки. Мне показалось: он прочел все мое прошлое — во всяком случае, настоящее, — и поставил прогноз будущего. Стыдливо прижав локтем узелок,

---

* Вытирайте ноги, пожалуйста (*фр.*.).

** За двенадцать су (*фр.*).

я уторопила шаг, стремясь поскорее скрыться от этих вещих глаз.

Для меня наступили дни, длящиеся века, полные созерцательного безделья, полусна в скверах, озаренных сиянием осеннего солнца и полногрудых, нежно-ярких клумб; звонко под ухом кричали дети, и расслабленно увещевали их няньки. Газета, оставленная небрежным читателем, благодарно подбиралась: днем — читать, ночью — подстелить. Жизнь билась в своем гнезде; телеграфные провода задыхались от нетерпения. По Монголии бьют японские пушки; доллар и фунт падают; под зловещий звон расползаются империи. Как это далеко и ненужно. Окурки папирос наполняют сердце благодарностью; я наконец поняла преимущество французских перед нашими, с картонными мундштуками.

Я дремала на широких скамьях *Gare de l'Est** под яростный грохот экспрессов. Кто-то уезжал, приезжал. Счастливцев встречали цветами и поцелуями; атаковали стаей вопросов, взволнованные, спешили к выходу. Мне некуда было идти.

Когда приближался контролер или полицейский, я принимала независимо-рассеянный вид, и тогда казалось, что я уже измерила собой всю тушу земного горя, предел лишений достигнут. Но и в этом, как мне открылось впоследствии, я ошибалась.

Я ночевала, пока водились мелкие деньги, в приюте Армии Спасения, в компании старых, лживых, кашляющих ведьм. Потом пробовала бродить до рассвета по Центральному рынку, отсыпаясь днем на стуле в монастырской тиши библиотеки Святой Женевьевы. Но жажда сна и «своего угла» согнала меня вниз, на набережную Сены, где (скрывшись от взоров полицейских) под сенью гранитных мостов, слушая ворожащий плеск воды, гул запоздалых поездов

---

* Восточный вокзал в Париже.

подземной железной дороги и шипение пара, выпускаемого в решетчатые отдушины, дремали в свалку бродяги, нищенки и безработные.

Только начало страшно; я спустилась вниз по широкой каменной лестнице с чувством, что никогда уже, никогда не подняться наверх.

Подстелив собранные за день «*Ami du Peuple*»*, я прикорнула невдалеке от группы аборигенов. Им было легче: сообща, не чуждаясь друг друга. Я видела мужчин и женщин в лохмотьях, спавших, тесно прижавшись друг к другу, жадно сохраняя общее тепло. Даже там я была отщепенцем.

Об этом и еще о многом я думала, лежа под тяжелыми мостами. Возможно, что мои мысли и не были сами по себе значительны, но ими ведь решалась моя судьба. Часами, не шевелясь, я прислушивалась к бесцельному бегу Сены. Река была черна, от нее веяло стужей, и омутом, и сыростью, вечной жалобой неприкаянной водной души. Помимо других соображений, мне бы нелегко было отважиться погрузиться в такую ледяную, чуждую стихию.

Страшила, кроме того, не самая смерть, а то, что после. Я не могла примириться с вещей мыслью, что меня, голую, станут осматривать, будут прикасаться, рыться в моих бумагах; я стеснялась и ужасалась той возни, которая неминуемо должна была возникнуть около моего тела.

Жалобно пищали хищные косяки крыс. На дне реки стояли мистические свечи малиновых фонарей мостов, резко гудело запоздалое такси, и тогда по волнам, пересекая реку, стремительно бежал его отраженный огонек. Если бы всегда ночь! Если б не всходило больше солнце. День — это жизнь. День — это борьба; плевки, издевательства и преследования. В темноте все равны; во сне судьба всех

---

* «Ами дю пепль» («Друг народа») (*фр.*) — название газеты.

одинакова. Если б всегда ночь и лежать без тревоги. Если б умереть в темноте!

Ненавистный, требующий усилий, надвигался рассвет.

В кафе бродяг у стойки можно съесть принесенные с собой припасы; пока я ем, кто-то другой отпивает из моего стакана. Иногда в Центральном рынке, ночью, можно получить за франк изумительное блюдо: «*arlequin*»* — смесь остатков еды больших ресторанов. Там, рядом с недоглоданным куриным крылышком, плавает сардинка, утыкаясь в компотную гущу, и все это растворяет смесь супа, пива и вина.

Я старалась поддерживать приличный вид; пыталась умываться, тут же в реке; но от холодного ветра кожа потрескалась до ран. Не причесываясь, не снимая платья, не меняя белья, я расхаживала негнущейся, одеревенелой походкой, водя плечами, ерзая и почесываясь. Когда на одиннадцатый день представилась возможность спать раздевшись, я увидела, что все мое тело покрыто густой розовой сыпью.

Решилась попросить милостыню: на девятый день я осталась без единого су; с ночи еще ничего не ела. Я ощущала первый приступ требовательной, болезненной необходимости подкрепиться. Он превращает в скота. Я шла, плевала под ноги прохожим и вслух бранилась. «Ведь пристают же иногда мужчины. Да еще в Париже. Павел Кондратьевич потратил много часов, рисуя эту опасность. Я потеряла образ женщины. Под мостами иногда случалось, но это другое. Как завидуешь, однако, тем, которые умеют устраиваться с комфортом». День плыл в чаду, мглистый, холодный, скованный. Смеркалось. Я брела по одной из безлюдных улочек *Passy***. Навстречу показалась дама в мехах, она вела за руку мальчика, одетого матросом.

---

* Арлекин (*фр.*).

** Район в шестнадцатом парижском округе.

Не знаю, какая внутренняя, бессознательная подготовка предшествовала этому, но я шагнула им навстречу и, отнюдь не удивляясь себе, протянула выразительно руку. Женщина растерянно меня оглянула, остановилась и раскрыла сумку. Мальчик капризно потянулся к ее рукам. Женщина достала монету и, улыбаясь материнской улыбкой, передала ее сыну. Мальчик, задрав голову, со страхом, замирая и колеблясь, медленно-медленно подступил ко мне. Я застыла костяком. Он протянул ручонку, но не решился дотронуться до моей — выронил на тротуар монету и отпрянул назад. Эту сцену видел человек с металлическим полым шестом, зажигающий газовые фонари. Я стала обладательницей 25 сантимов. *Petit pain** стоил 35 сантимов. Я отдыхала час. Снова решилась. Шесть раз протягивала я руку. Когда-то я удерживала себя от желания подать что-нибудь каждой встречной попрошайке соображением, что «у ней в чулке тысячи». Может быть, так же думали дамы, к которым я обращалась. К мужчинам я не пробовала подойти.

Ночь была особенно жестокой. Под соседним мостом кричали. Полиция спускалась вниз. Рассвет я встретила в *Halles***. Удалось подобрать несколько морковок. Проглотила, не разжевав. Сразу же заболел живот. И тут вдруг в моем затуманенном сознании, как рыба в аквариуме, мелькнули лицо и голос одной знакомой курсистки. Она мне чужая. Но ведь мы все — люди. Ну посижу у нее. К тому же могло прийти письмо. Потеряв отель, я сообщила Павлу Кондратьевичу ее адрес, прося помочь. Конечно, я ее не обеспокою в такую рань. Потерплю еще немного... Увидев хоть какую-то цель пред собой, я немного окрепла. Не помню, где я провела эти несколько часов парижского, почти уже зимнего рассвета. Я нашла себя шагающей по

---

* Хлебец (*фр.*).

** Район рынков в Париже.

мостовой, размахивающей руками и вслух бранящейся; издевалась над собой, вспоминала некоторые эпизоды из своей юности, полной обычных мечтаний, и цинично высмеивала их. В десятом часу добралась до отеля курсистки на *rue Monge**. Разумеется, она уже вышла. Когда обычно возвращается? После обеда, в час-два. Я направилась к бульвару Сен-Мишель. Может, я ее встречу здесь, в центре студенческой жизни. Кругом мелькала, сновала молодежь в беретах, с папками, портфелями, тетрадями. Слышалась оживленная, разноязычная речь. В *Café de la Sorbonne*** брали с бою тартины с маслом. Под желтым тентом сидели напомаженные брюнеты, хромающие девчонки улыбались им, проходя мимо.

Я разгуливала от улицы Суффло до площади Святого Михаила и обратно, вверх к *Gare du Luxembourg****. Около ярмарочных рулеток уже толпились игроки, любители. Раскрашенные женщины и полногрудые мужчины без воротничков собирали ставки, безразлично-зазывающе выкрикивая номера. Призрачная жизнь текла, полнозвучно ворочаясь в своих обычных берегах.

Я чувствовала колющую боль. Слева. Мое сердце. Оно болело насквозь, спереди и в плечах. Весь мешок. И справа, под ключицей — должно быть, аорта. Я когда-то брала у Павла Кондратьевича популярные книги по медицине, заучивала термины. Я тогда этим очень гордилась.

Ноги мои подкашивались; я скрючилась влево: так легче дышать; между глазами и предметами то и дело взлетали светлые, пустые маленькие диски. Я думала приблизительно так:

«Если б упасть, если б упасть вот здесь на колени, возвести руки вверх и закричать: о горячем супе, о чистой

---

* Улица Монж (*фр.*).

** Кафе «Сорбонна» (*фр.*).

*** Люксембургский вокзал (*фр.*).

постели, о праве на осмысленную жизнь... неужели, неужели во всем этом месиве столицы не найдется никого, кто бы помог, сразу, до конца? В Париже представлены все расы. Здесь пересекаются нити всего мира. Неужто же по всей земле не найти человека, который без слов взял бы меня ласково за руку, увлек бы куда-нибудь, спрятал, привел в себя?»

И помню, тогда же у меня мелькал ответ, что это неправда, люди не столь серы, многие, наверное бы, откликнулись; но для этого нужны большая чистота и мужество: мое сердце еще до многого не доросло. Чем больше горя, тем больше гневом исполнялось оно, оскорбленной гордостью, ужаленным самолюбием, словно кто-то определенный оттолкнул мою доверчиво протянутую руку.

Я ехала в Париж, как на последний смотр. Я мысленно подсчитывала свои силы: молода, не урод, во мне русская кровь, закаленная «Анной Карениной» и Софией Перовской. Я жажду жертвенного подвига, готова любить, сумею понять... неужели же все это ни к чему, никому ни к чему? Самыми большими недостатками моего характера были: что я неглупа, самостоятельна, не лентяйка — одним словом, именно те свойства, которые можно счесть за положительные; благодаря им я считала себя достойной лучшей участи и, не находя ее, чем бы усомниться в правильности всего моего устремления, только зверела, обиженно томясь, топчась на одном месте.

Курсистка меня узнала. Я боялась, что она постыдится раскланяться со мной (вот какой я была). Она меня давно ищет. Ведь нельзя же так. Идем к ней. Напьемся чаю. Она мне представила своего спутника. Невзрачный, вихрастый, угловатый разночинец Онучин.

От Павла Кондратьевича писем нет. Курсистка попробовала задать несколько обычных при встрече вопросов, но тотчас же осеклась. Мы поднялись в номер. Без лишних слов она зажгла спиртовку. Снять пальто она не предложила, догадавшись, вероятно, что я постесняюсь. Онучин, вздорный

тридцатилетний юноша, решил меня занимать. Он рассказал о себе всю подноготную. Он беседовал со мною, как со старым другом (позже я узнала, что говорит он искренно и с интересом только с людьми, мало ему знакомыми). Он поэт, художник и спиритуалист. Он не любит женщин, так как они вносят специфический дух. Его двое приятелей дружили между собой; то были интересные и достойные люди; один из них изнасиловал даму другого — с тех пор они поссорились из-за такого, в сущности, пустяка. Онучин бы поступил иначе. Вот что такое женщина. Он живет с одной, но он ей всегда повторяет, что не любит ее.

Хозяйка поставила предо мною боль*, плеснула чаю, дополнила молоком, подсластила и отвернулась. Со спокойствием эпилептика, отмечающего некоторые симптомы, быть может, надвигающегося припадка, я медленно нагнулась к чаше и отпила.

Первый глоток; горячего; сладкого; после двух дней вынужденного поста; кто забудет тебя? Нежный огонь в груди. Острый коктейль. Сладостный восторг. Высокохудожественные впечатления. Хочется то вскрикнуть, то радостно завизжать; плакать всем своим истощенным естеством. Вскочить, опрокинуть стол, смести все, разорвать, пророчески ругая хозяев и угрожая им. Ощущение неземной легкости: вот сейчас взлечу?! А трудно подняться, ноги не держат, упаду? Чувственное наслаждение отрешенности. Страх: невозможно ручаться за свои поступки; быть может, вскрикну, быть может, расплачусь. Первый глоток; горячего; сладкого; после двух дней вынужденного поста; кто забудет тебя?

— Кушайте, пожалуйста, ешьте круассаны, — пригласила хозяйка.

— Хорошо, я возьму, — охотно согласился Онучин, не переставая нас в чем-то убеждать.

---

* От фр. *bol* — чашка без ручки, похожая на пиалу.

— Спасибо, — отозвалась я и протянула сведенную корчей руку к подносу с тем характерным, жалостным движением, с каким мнительный гость тянется через многолюдный стол к пирожному.

Я откусила тесто с некоторым страхом: для меня в ту минуту глотать не было простым, обычным действием — я боялась чуть ли не какого-то припадка; и в то же время было грустно от предчувствия, что вот сейчас придется расстаться с этим ощущением неземной, ангельской легкости поста.

Я съела второй круассан, от третьего отказалась, сдержанно поблагодарив.

Попрощалась с курсисткой. Она мне ничем не может помочь. Просила заходить. Дала десять франков, незаметно сунула их. Мы обе покраснели и на минуту возненавидели друг друга. За мной увязался Онучин. На него мое общество действовало, как он выражался, благотворно. Он болтал, болтал без умолку. Читал стихи. Спрашивал о Боге, о Блоке. И, не дослушав, продолжал трещать. Он осведомился:

— Вы куда, можно вас проводить?

И вдруг я, неизвестно чем подготовленная к этому, возбужденно, однако безо всякой слезливости, начала ему повествовать о последних одиннадцати днях моей жизни. Я закончила, рассказав, как однажды, в сумерки, спряталась под кустами городского сада; как я была смертельно испугана кравшимися в темноте к пруду людьми — то оказались сторожа, ночью ловившие муниципальную рыбу; как они меня обнаружили, но не решились оштрафовать, опасаясь доноса об их воровстве.

Я прервала себя, когда почувствовала готовность разреветься. К счастью, Онучин был увлечен; весь загорелся. В нем было много мальчишеского, которое сейчас мне оказалось на руку. Вдохновился: он меня устроит; непременно. Ах, какая я, должно быть, сильная и интересная.

— Поймите, — объяснял горячо. — Мы здесь все изнываем без общества русских девушек! Этого тихого, благостного влияния нежных, родных существ мы лишены! Эмиграция — это эвакуированная армия. Некоторые вывезли своих жен! Но девушек, наших губернских барышень, нет. Какие были, те растлились. Здесь нет больше девушек. И благодаря этому, именно этому, мы теряем типичные особенности нашей расы! Женское общество сильнее климата. И вот вы, русская, подлиннейшая, по крови и кости, да ведь здесь вы пойдете на вес золота! Ах, как я счастлив!

Общество нашей знакомой, курсистки, для него не представляет интереса:

— Либо она не русская, либо — не девушка, — безапелляционно решал Онучин.

Я старалась умерить лихорадку этого легко возбуждающегося немолодого мальчика, по опыту догадываясь, что если весь его не особенно большой запас предприимчивости уйдет на декламацию, то услужить он уже не сможет или не захочет. Кое-как удалось перевести беседу на деловые рельсы.

— Вы умеете рисовать? — спросил он.

— Умею.

— А обводить?

Я не поняла. Он объяснил.

— Нет.

— А вы способная?

— Да. Да! — Не я, а все во мне вскрикнуло.

— Идемте, я попытаюсь, — озабоченно решил Онучин, уже потускнев.

Мы предстали перед белокурым, белобрысым человеком с выправкой военного. То был Санитаров, официальный контрмэтр* (фактическим был все тот же Онучин). Хозяина, которого все звали Иудушка, не было, и, должно быть,

---

* От фр. contre-maître — бригадир.

поэтому так легко совершился мой переход за «китайскую стену»: меня приняли; как ни злостны казались предыдущие поражения, все же моя теперешняя удача — так всегда мнится — была еще чудесней по легкости и быстроте случившегося. Мне положили три франка в час, предупредив, что остальное зависит от рвения и от «сезона»; до первой получки позволили ночевать в «конторе». Именно когда вопрос о крове разрешился, силы меня оставили: я гнулась во все стороны — связки словно размякли. Я мечтала, подобно улитке, обрести вдруг твердый футляр-опору. В клетушке, где мне предстояло спать, ютилась дряхлая, вероятно, блохливая тахта; пол ступеньками; окна не было. С каким сложным чувством я несколько раз ходила смотреть на свое ложе. Так новобрачная заглядывает в спальную.

Я долго мылась перед сном: и это мне доставило такое плотское, такое острое наслаждение, что даже стало совестно. Мое тело было покрыто равномерной крупной сыпью. Фиолетово-красные пятачки. От воды они побледнели. Я сменила белье и улеглась с чувством жаждущего, погорельца, припадающего к источнику. Мне приснилось, что, белокрылая, я летаю в обществе забытых, ушедших, потерянных друзей. Я стонала от радости, заливаясь счастливыми слезами; почесывалась.

Ателье, куда я попала, было русское, то есть со странностями. Хозяин, в прошлом генерал, женился на француженке со «ста тысячами», которой принадлежал модный магазин — *haute couture**. Он решил, между прочим, затеять декоративную мастерскую. Его убедили, что денег на это дело не требуется.

— Иудушка приехал, — громким шепотом докладывал паралитик, специалист по бархатным подушкам, седой, бритый холостяк, скрюченный болезнями, на подгибающихся

* Высокая мода (*фр.*).

ревматических коленках. За дверью слышались скребки, постукиванья, стоны. То бывший генерал счищал с двери краски. Каждый день по этому поводу происходил разговор:

— Опять загрязнили дверь?

— Это не грязь, а охра! — объяснял паралитик.

— Зачем же кляксать двери? Ведь жалко, — говорил хозяин.

— Патрон, — оглушал его Онучин. — Кнопок нет.

Генерал злобно нас оглядывал, для безопасности отступал в угол и жалобно повторял:

— Кнопок?

— Да. Кнопок.

Генерал опускал глаза на засоренный пол, затем, с неожиданной легкостью подскочив к столу паралитика, нагибался и, подбирая что-то, радостно возвещал:

— А вот, вот же кнопки.

— Так они согнутые! — обижался «паралитик».

— А вот сейчас мы ее отогнем. Отогнем! — возбужденно обещал генерал. И, схватив плоскогубцы, исчезал в «конторе». Кнопками он занимался до самого вечера.

Онучин с хохлом Прокопенко насмешливо фыркали, что-то крася. Волоподобный Кол, бывший судейский, всё искал камень для точения пошуарных* ножей. Ателье медленно съедало сто тысяч генеральши.

В субботу утром Санитаров, контрмэтр и главный представитель фирмы, приносил деньги. Но платили только после полудня, даже если работы и не было.

— Позвольте, — горячился гоноровый паралитик. — Заказа нет ведь! Чем бы по домам разойтись, извольте ждать ваших паршивых грошей.

---

* От фр. pochoir — пошуар, техника нанесения цветных пятен на изделия из металла, картона и других материалов по трафарету (синоним — сериграфия).

— В два часа, — отчеканивал генерал. — Как в больших мезонах*.

Платили в три. Час уходил на спор паралитика с патроном. Месяца два тому назад он вырезал пошуар для рождественских дедов. По каким-то соображениям генерал решил за него не платить. Вот об этом «историческом» — как его звали — долге пререкались каждую субботу.

— Эти каракатицы нас всех со свету сживут! — негодовал Онучин.

После ухода патрона все оживлялись. Небрежно заканчивали работу, какая была. К часам пяти являлись агроном Кишкин и поэт Вайс. Агроном приносил вино, дешевый камамберт**, прогнившие мандарины и еще какую-нибудь тухлую «экзотику». Прокопенко радушно кланялся на все стороны и мыл стаканы. Пили, сразу добрея и веселея. Кишкин просил Зою, по вечерам подрубавшую платки, бросить иглу: он платит ей за часы отдыха. Прокопенко поминутно убегал докупать вино. Пили, беззлобно шумя и гогоча. Поэт Вайс уверял, что душа человека бессмертна. Онучин рассказывал о тайноведчестве Рудольфа Штейнера, основоположника антропософии.

— Почему вы так думаете? — чокался Кишкин то с Вайсом, то с Онучиным. — Меня интересует, из каких мотивов вы исходите?!

Потом агроном сидел на коленях огромного, как вол, судейца. Судеец пел совершенно стальным голосом «Ревё тай стогне Дниипр широки...», время от времени целовал Кишкина в лысую макушку и уговаривал его жениться, пока не поздно:

— Жениться. Жениться на вдове. На вдове с ребенком. Крепче будет.

---

* От фр. maison — дом, фирма, компания.

** Имеется в виду французский сыр камамбер.

Кишкин приподымал руками — словно кружевную юбчонку — полы своего смятого пиджачка, изображая кафешантанную певичку. И, дрыгая в воздухе одной ногой, шепелявил: «Мой милый неврастеник, поменьше слов, поменьше слов, побольше денег; трам, трам, трам-там-там», — пускался он стрекозой по ателье.

Зоя спала безмятежным сном за счет агронома. Он ежеминутно подбегал к ней, заботливо укрывал, с чувством хозяина; неловко, боязливо гладил. Лысый, добрый, пьяный.

Так моя жизнь, казалось, складывалась не хуже, чем у большинства, но от этого мне было не легче.

Когда нечего есть, ищешь только хлеба, но, получив его, вздыхаешь: этим нельзя жить. Я делала нехорошую, томительную и, главное, нелюбимую работу. После первой получки мне пришлось снять комнату, и хотя я взяла самое неприхотливое: на окраине, без отопления (Онучин мне рекомендовал отель на *Porte de Versaille** — все в один голос уверяли, что так дешевле), — всё же это отяготило мой и без того нищенский бюджет.

В будни, чтобы поспеть вовремя, я вставала очень рано. В нетопленой комнате было неуютно, как в мертвецкой. Наскоро глотала чай из того же стакана, из которого только что полоскала рот, и, тщательно заперев дверь, бежала с лестницы. Хотя времени было достаточно, но, подхваченная грозно катящей ко входу в метро толпой, я тоже пускалась унизительной рысью, спеша за билетом «*allez-retour*»**. Вагоны подавались пустые, наполняясь в пути. На *Montparnasse**** я пересаживалась вместе с густым стадом сгибающихся от нетерпения людей. Поезд брался с бою. Злобно визжали усатые женщины; угрюмо, нехотя

* Версальские ворота на южной окраине Парижа (*фр.*).

** Туда и обратно (*фр.*).

*** Монпарнас», станция парижского метро (*фр.*).

толкались мужчины, не отрывая глаз от газет. Вагоны плавно скользили в туннель, и казалось, что их деревянные стенки не выдержат этой духоты, тесноты, и под напором тяжко бьющих человеческих сердец разорвутся. На станциях мелькали истошные рекламы: «смерть мышам», печи «*Salamandre*»* — и тупыми гвоздями колол мозги: «*Dubonnet*», «*Dubonnet*»**. На узловых остановках менялась часть пассажиров. Входили новые: на *Odéon**** — студенты, на *Halles* — пахнущие овощами торговцы с мешками, корзинами, ящиками; на *Réaumur-Sebastopol***** — насурьмленные мидинетки, приказчицы модных магазинов. Бывалые ездоки упрямо лавировали поближе к концу вагона, где раньше могли освободиться места. И снова плыли туго набитые плоты, закупоренные бутылки вагонов; а подземелье, как гад, высасывало — минута за минутой — годы, годы неповторимой жизни.

На *Gare du Nord****** я дергалась, пробиваясь к выходу; топча одних и толкаемая другими, семенила вприпрыжку наверх, опасливо переступая через ступеньку, над которой висела табличка: «*Au dela de cette limite les billets ne sont plus valables*»*******. Иногда случалось спуститься в метро при солнце, а выходить в дождь или наоборот. И это поражало, привлекало внимание, пугало. Но мелкая сутолока существования не позволяла, однако, остановиться мысленно, додумать сразу, до конца: что таится за этим?

Я работала от девяти до восьми вечера с обеденным перерывом: обводила «клеем» метровые квадраты крепдешина. Пространства, обведенные непроницаемой массой,

---

* «Саламандра», марка обогревательных печей (*фр.*).

** «Дюбонне», марка французского вермута (*фр.*).

*** Площадь Одеон на левом берегу Сены (*фр.*).

**** «Реомюр—Севастополь», станция парижского метро (*фр.*).

***** Северный вокзал в Париже (*фр.*).

****** «Далее билеты недействительны» (*фр.*).

закрашивали в разные цвета уже другие. Надо было от руки вести прямые линии, идеальные круги, стрельчатые зигзаги. *Chine** лежал поверх кальки, и нарисованный на ней узор просвечивал траурно-мертвенно. Эта работа мне казалась подобной пляске на канате: до последней минуты нельзя быть уверенной в благополучном исходе: несвоевременная дрожь фаланги — и все испорчено; надо чистить бензином или смесью эфира с нашатырем, надышавшись которой, испытываешь боль в правом мозговом полушарии: тошнит и позывает ко рвоте. За время «чистки» мне не платили; иногда кляксы уже нельзя было вытравить, тогда за метр шелка мне вычитали пол рабочего дня. Мой нищенский заработок съедали эти порчи!

В восьмом часу я уходила, унося с собой запах бензина. Дул ламаншский ветер. Автобусы мчались, гудя, как разъяренные шмели. Группы пешеходов бессильно обступали переполненные трамваи. Звонили у входа в *cinema***. Съестные лавки отпускали голодной толпе куски подешевле, получше. Куда спешить? День, слава богу, на исходе. Дома меня никто не ждет. Но такова власть насыщенного нетерпением города; он захватывает в свои поршни, и трудно не поддаться его худым чарам, как мучительно слушать военный марш и идти не в такт с ним. Только вернувшись в свой отельный номер, я соображала, что, собственно, можно было еще остаться в «городе». Но гулянье по городу само по себе ничего, кроме разочарования и усталости, не приносило. А посещать места, которые казались интересными, у меня не было средств; да и это была ошибка. Так, от станции к станции, от *direction* к *direction**** меня бросало вместе с сонмом мне подобных.

* Крепдешин (*фр.*).

** Кинотеатр, кино (*фр.*).

*** От линии к линии (метро) (*фр.*).

На Монпарнасе одной волной мы катились к линии *Nord-Sud**, давя передних, толкаемые задними. Электрические двери издали скрипели, прикрываясь перед самым носом. С рокотом останавливался за решеткой поезд. Мы уныло дежурили в узком проходе, погруженные в душный, потный сумрак, в истерическое безразличие, перемежающееся с усталым раздражением.

И это ожидание было похоже на кошмар, длящийся века, атавистический сон или бред умирающего ипохондрика. Мелькала догадка, что в аду грешники вот так без конца будут дожидаться. Пошатываясь на натруженных ногах, все грозно озираются на облокачивающихся соседей; должно быть, лампы горят, а в зрачках темно, темно.

Вагоны здесь уже полупустые. Просторные, светлые. Я опускалась на фанерную доску сиденья и, податливо покачиваясь, закрывала глаза. В этот час, единственно за весь день, в электрическом поезде, глубоко под землей, мне удавалось наконец «остановиться», задуматься, взглянуть на себя со стороны. Мелькали крылатые названия станций. Сонные пассажиры таяли по пути. И за эти десять минут я успевала ощупать всю свою жизнь той тусклою мыслью, которая нечасто рождает действие. Я думала приблизительно так:

Вот уже несколько месяцев, как я в Париже. В столице мира. Куда ведут большие дороги, вся земля представлена. И если здесь моя жизнь так унизительно сера, то где же и когда она будет полнее?

Встаю в семь. Непримиримая стужа номера-камеры. Бегу вприпрыжку. Метро. От девяти до семи грошовая, чуждая работа. Вечер. Подземелье; темные огни. Пересадка на Монпарнасе. Некрашеная лестница холодного отеля: круг завершен. А завтра в семь вставать.

---

* Линия метро, идущая с севера на юг (*фр.*).

Воскресенье начиналось поздно, долгожданное, разменивалось на мелочи: чистку, штопку, мытье головы... оставляя горечь и сиротливую боль. Сочиняла письмо полувымышленной подруге.

(«Сегодня мне особенно грустно. Прошел еще один ненужный день, каких много позади и впереди. До полудня валялась в постели... Быть может, все это не так и я не имею права так думать... Но искренне говорю тебе, родная моя сестра, я потеряла путь...»)

Такого письма нельзя кончить. Его нельзя послать. Да и подруги-то, кажется, не было.

Конечно, я обошла некоторые музеи. Вместе с праздничной толпой семейных французов, иностранцев с каталогами и неряшливых безработных становилась в очередь у желтой Джоконды; застывала у Венеры Милосской. Но живописи, как большинство из этих посетителей, я не любила, мрамора не понимала и уходила усталая до обморока, голодная, с мигренью и с унизительным, рабским сознанием, что воскресенье-то ушло. А завтра с семи постылый, ненужный труд.

В этом аукающем, стучащем, порочном круговращении во мне все требовательнее и требовательнее назревала необходимость найти что-то не убегающее, не скользящее вместе со всем окружающим меня призрачным миром; обо что бы я могла опереться. Нечто если не совсем стойкое, то хотя бы перемещающееся по-иному. А без этого мне трудно, постепенно невозможно, становилось жить.

Я родилась в семье захудало-дворянской, чиновничьей. Моя мать рано умерла, оставив только несколько поблекших карточек, на которых она снята во весь рост, с огромной, толстой, жутко тяжелой косой до пола и с угрюмым, неудовлетворенным взглядом, устремленным все куда-то в сторону. В детстве я часто хворала, и отец меня буквально пронес на руках сквозь строй всех инфекционных

заболеваний. Я уцелела благодаря чуду, и естественно, что мы все связывали с этим надежды на хоть какую-то осмысленную жизнь. В 15-м году мы эвакуировались, бежа от немцев вглубь России. От 18-го до 22-го я проходила в деревяшках на босу ногу; простояла в очередях, декламируя Блока; прислушивалась к ружейной пальбе. Может быть, почти наверное, в этом скрывался какой-то смысл, но я его не видела. В 22-м, потеряв в пути отца, дорвалась до Риги, где была поражена белым хлебом, королевскими сельдями, шелковыми чулками и тем, что словно «ничего не случилось». Само собою разумеется, что и не для этого периода стоило родиться. Я жила подобно всем подросткам, как бы не ведая, что творю. Впервые встречалась с некоторыми явлениями природы, иные одолевая, перед другими отступая; боролась за существование; но все это как-то походя, уверенная, что это «пока», а настоящее — погодите! — начнется после. Служила. Училась. Любила. Я вынесла достаточно горечи и холода, и совершенно очевидно, что не только для этого болотца я уцелела. А мысль, что можно родиться, расти и умереть без назначения, без смысла, была мне непривычна; и когда я начинала к ней склоняться, она приносила с собой такую смрадную пустоту, с которой жить становилось невмочь. Если б находиться в холе и неге, если бы я чувствовала в земных радостях — премьеры, тропические страны, забавное общество, — может быть, тогда легко и примириться. Но чтобы осилить каторжное одиночное заключение, которое и составляло мою жизнь, надо было узнать: к чему?

Когда-то молодежь моего круга и темперамента уходила в революцию. Туда пошла моя мать и все родные с ее стороны. Ледяной ветер 17-го года сдул верхний пласт привычного мира. Под ним оказалось бурное, черное и глубокое море. Надо было взвалить на себя груз новых

поисков. Старое размело, как жировые пятна по воде. Недостаточно бороться с неправдой, чтобы быть правым. И во всяком случае, для себя в этом я не находила подлинного места.

Мужчины окунаются в дурман страстей: вино, разврат, спорт. Может быть. Но у меня не было для этого возможностей.

Любовь? Конечно, когда-то я связывала с этим большие, а одно время и все, надежды. Но тот опыт, который я приобрела при ближайшем участии Павла Кондратьевича, потихоньку, с содроганиями и угрызениями совести, развращавшего меня (как, впрочем, все дарившие меня вниманием мужчины), сделал свое. Скажу кратко: думаю, самое жестокое разочарование для женщины — это брак. Разумеется, я понимаю, хорошо полюбить, иметь сына. Но есть в этом чувстве та смиренная горечь, с какой поздней осенью человек покупает печь (хорошую, *feu continu**); но если б солнце грело, ведь он бы о ней не подумал.

Вагоны дергает; на заворотах открывается перспектива туннеля с гирляндой тупых огней. Трубят, казалось, самим себе надоев, сигнальные рожки. «*Dubonnet*», «*Dubonnet*».

Всего десяток минут. А чего, чего не переберешь. Не думами, не словами, а тем, что рождает и мысли, и зачаточные движения языка. Отрывочная сигнализация. «Твое положение — дрянь», — мягко кивала я головой, с жестоким любопытством отвращения разглядывая в окне вагона свое собственное отражение, с которым никак нельзя расстаться. О, как я себе опротивела, вся, всегда; и только потом догадалась, что это от излишней любви к себе. «Твое положение незавидное». И проверяла наспех: *avis favorable***, «каторга», полуголод... «Подумай,

---

* Здесь: печь с непрерывным огнем (*фр.*).

** Рабочая карточка (*фр.*).

что тебя ждет? Чудес не бывает, из настоящего рождается будущее. Повезет, получишь право на работу; и службу, лучше оплачиваемую. Довольна?» Улыбка. «Нет? Второй вариант. По вечерам занимаешься; тебе даются языки; пять языков, *steno-dactylo**, 1500 франков *pour commencer***; работаешь весь год, приоденешься; белье, шляпа, перчатки; в августе — к морю; песок, запах; месяц ничего не делаешь, загораешь; вернешься свежая, смуглая, и снова год работы. Удовлетворяет? Нет... Тогда последний вариант: следишь за наружностью и прочее; муж или прочее; Онучин говорит... Обеспечена, будешь вставать в десять утра. Нет! Нет!» — вскрикивала душа.

Если б действительность походила на эти образчики, может, я бы временно как-нибудь и примирилась; но она роковым образом уступала даже им, поражая своей безвкусицей и ничтожеством. У меня не было спасательного клапана, пусть мнимого, но все же дающего людям возможность существовать; никакого «мифа», скрывающего грубые швы налаженного другими, вопиющего порядка жизни. Я прозябала в постоянной боязни всего и всех: в ателье — хозяина, который мог недоплатить, контрмэтра, который мог лишить нелюбимого, бесполезного труда, сослуживцев, которые могли нагадить; на улице — жадных мужчин, наглых женщин и представителей власти: крылатка постового агента, фуражка полисмена-велосипедиста и даже зычный окрик кондуктора автобуса... таили в себе угрозу, предупреждение: я бесправная, я ненужная, я преступница. В этом большую роль сыграли дни моего бездомного побирания: всякий может обидеть, всякий может прогнать. (И обижали, и гнали.) У себя в отеле я избегала встречи с патроном, робела перед прислугой, уступала

* Стенографистка-машинистка (*фр.*).

** Для начала (*фр.*).

дорогу жильцам; каждый стук в дверь воспринимала как приближающееся несчастье.

Все это, позорное, противное и неестественное, выпирало, заставляло остановиться, сосредоточиться, подумать. А осмыслив, я отчаялась. Это отчаяние овладевало мною незаметно, оно зародилось уже давно, постепенно уходя вглубь и вширь, подбираясь к таким центрам, что дышать становилось нечем.

Еще в отрочестве, когда случалось смотреть вниз с веранды высокого этажа, я спрашивала: броситься? И не то было странно, что вопрос возникал, а то, что в принципе он давно словно был уже разрешен, и в уместности этого — и даже обязательности — не приходилось сомневаться. Я родилась с тем характером, который в иную эпоху заставил бы меня легко умирать за освященную традицией идею, идти на каторгу, петь под свинцом пуль. Но на мою долю выпала неожиданная тяжесть новых поисков. «Чем жить?» — спрашивала у окружающих. «Тем, что жуешь». Невозможно. Да и жевала я дешевку. «Найди себе отдушину: азарт игр, развратец, кинематограф!» — советовали все молчаливым примером.

Я пробовала бороться. Записалась в библиотеку! Когда-то книги на меня действовали как утешительный сон. Но за малым исключением на этот раз отдушина не помогла. Очевидно, есть времена, когда необходима более реальная помощь. Старые авторы прекрасны. Но несколько как бы наивны. Читаешь будто о другой системе, где важно не то, что для меня главное, и наоборот. Молодые же в лучшем случае страдают незнанием, как и я.

К тому же времени для чтения у меня будто не оставалось. Пробовала вести дневник и бросила: когда писать-то? А главное: словно и ни к чему?!

Посещала литературные собрания. Там десятка два ненавидящих друг друга неудачников говорили, вероятно,

о том же, о чем я думала. Но они были отравлены профессиональными соображениями и условностями; их вдохновляла в большей степени честь открытия истины, чем самая истина. Каждого из них заботило главным образом, как бы другой не пошел дальше его. Это отталкивало. К тому же меня не занимал отвлеченный спор «Что есть жизнь?». Мне необходимо было только найти источник силы, чтобы захотеть дальше примиряться с этим существованием. «Во имя чего?» — настойчиво подтачивал меня инстинкт самосохранения.

Иногда я, чтобы развлечься, проводила вместе с Онучиным воскресный день на толчке. *Marché aux puces** было его излюбленным местом. Здесь он освобождался от своей угловатости, становился самим собой: это один из его спасательных клапанов.

Я однажды спросила, почему, если это так соответствует его природе, он не напишет поэмы о толчке? Он горько ответил, что на *Marché*** люди ходят дешево купить штаны, а не слагать рифмы, потом добавил грустно: «Конечно, поэт не должен быть заинтересован в ходе жизни». Но вид брошенных на землю, смешанных с рухлядью пыльных хламид его околдовывал. Он шнырял по рядам, копался в дырявых сосудах, рылся в грязном белье, безошибочно из жуткой груды рваного тряпья добывая шелковую рубашку или английского сукна жилет. Он владел двумястами подержанных галстуков, хотя в ателье Онучин сам их раскрашивал и мог брать новые. Такая страсть; он был точно азартный игрок, не нуждающийся в выигрыше. Впрочем, приобретая иногда по сравнительно высокой цене несессер с серебряной инкрустацией или ветхую тигровую шкуру, он мечтал, что подвернется выгодный покупатель, так как ему

* Блошиный рынок (*фр.*).
** Рынок (*фр.*.).

эти вещи ни к чему; но пропустить их не мог: «В магазине они стоят тыщу!»

Мне тоже нравилось бродить по этим пахнущим выгребной ямой сорным лабиринтам, одному Богу и Онучину известным, где можно приобрести всё мыслимое: от подержанной кровати для новобрачных до покрытого плесенью гробика для недоноска, смотреть на бывалых людей (восседающих за грудами медных канделябров, подзорных труб, ржавых пищалей и выцветших портретов), завтракающих на умытых дождями матрасах, пытливо оглядывающих прохожих, иногда стреляя им вслед блатным словом или презрительным плевком.

На главных артериях этого городка играют граммофоны, свистят радиоаппараты, тужась через потрескавшиеся громкоговорители пропихнуть человеческий голос. Здесь расположилась местная аристократия, люди латинской расы. Они глядят поверх своего товара, неохотно отвечают на вопросы, курят трубку, красные, полнощекие, медлительные и мудрые. За каждым и каждой из них — бурная жизнь. Им случалось продавать и покупать все, что вмещают в себя три измерения нашей планеты, и оттого, должно быть, такой снисходительной, равнодушной ленью, такой брезгливой флегмой веет от них. Эти женщины начинали акробатками, балеринами, содержанками богатых купцов. У них были драгоценные камни, кокаин и любовники; богатство приходит, богатство уходит; все покупается в мире, немного дороже, немного дешевле.

Испитое лицо немолодой женщины с черными — смола — волосами, считающей деньги. Косматая ведьма — хиромантка, — глядящая в окно пестрого домика на четырех колесах. Детвора с цинковыми котелками, в бутафорской обуви, шлепающая посередине мостовой. Краснощекий табетик*, после литра вина и ливра мяса, с улыбкой мудреца и стоика старается угадать, что нам нужно.

* От лат. tabes — страдающий сухоткой спинного мозга.

— Двадцать, — говорит Онучин.

— Тридцать пять, — спускает философ без воротничка и застывает, как факир. В боковых переулках протяжно гомонят.

«Это выходцы из России», — осклабляется Онучин. Горестные лица евреев. Лохмотья местечек приистляндского края. Смесь языков. Божба и ругань. Древняя старуха со странными, глубокими, как на коленях слона, складками толстой кожи лица сидит идолом, окопавшись в груде невозможно дрянных, зловонных тряпок; неподвижная, безмолвная, отдаленная: даже не надеется, что вот пойдут, купят мусор. Одиноко; голодная, стараясь не тратить последнего тепла, застыла она, ничем не тревожимая. Когда она умрет — вот так незаметно одеревенеет... вероятно, пройдет много часов, прежде чем это заметят.

Граммофон играет «Только раз бывают в жизни встречи...»[1]. Продавец старых дисков, малоросс со злым, опухшим лицом подагрика, суетливо тычет свою руку в трубу. Рядом стоит русская дама — покупательница. Как назло, аппарат испортился, и пластинка гнусаво подвизгивает.

Еврейская божба, русские восклицания, польская ругань непринужденно порхают над парижским предместьем.

В ресторанах за полтора франка можно получить блюдо *pommes frites** или *moules***. Их подают на тарелке с кромкой хлеба, без вилок, без ножей. Едят руками; пьют красное вино, поминутно оглядывая купленное: то с сомнением, то с удовлетворением или неодобрительно качая головой — вспоминая о пропущенной дешевке. Торговцы заказывают вторично то же самое; едят с толком, пьют, смакуя всеми чувствами, не отвлекаясь, не суетясь: здесь они у себя, у цели, и священнодействуют. У них за плечами бурные

---

* Жареный картофель (*фр.*).

** Мидии (*фр.*).

плаванья. Онучин с некоторыми знаком. Вот корсиканец. Был в Аргентине депутатом, судился за убийство девушки и бежал. Его жена торговала блондинками. Когда она была моложе, ей многое прощали. Но разум приходит, когда все остальное утеряно. О прошлом жалеть? Не лучше ли кушать жирные *moules* и запивать красным? Философы в чулках разного цвета; стоики с багровыми затылками. С каким приоткрывающим тайные двери страхом я глядела в ваши круглые, лакированные глаза!

Домой возвращалась усталая, сосредоточенная, дорожа накопившимся за день чувством высокой печали, в ткани которой светилась неясная возможность грядущего какого-то счастья. Я заботливо впитывала в себя, всасывала весь этот кавардак, бессмысленный балаган, где в сжатой проекции представлялся мне образ нашего мира: нищих, убогих, калек, надеющихся еще преуспеть, с гнусной элитой, где дорожат ржавчиной и хлопочут о мусоре.

Немыслимо!

Этим исчерпались мои попытки развлекаться. Еще, как-то в праздник, я побывала в Медонском лесу. Сидела среди просаленных газетных листов и недоверчиво оглядывала рахитичные деревья. Да раз «паралитик» повел меня на собрание евангельских христиан. Целый вечер я слушала их сокрушенные молитвы, проповеди и свидетельства о Спасителе и Боге, Иисусе Христе. Они пели нескладные гимны. Пели родными, русскими голосами, отуманенными скорбью и пугающим посторонних торжественным чувством отрешения.

Я ушла от них, благодарно прижимая локтем подарок — Евангелие от Иоанна, — растроганно вспоминая этих наивных людей. Приводными ремнями жадности мертвенно и страстно вращались поршни существования. Дома стояли как вздернутые на дыбы уснувшие звери. Злыми шмелями кружили автобусы, готовые задавить все остановившееся. И было жутко подумать о горсти бойцов, решившихся

выступить против земного, всесокрушающего, свирепого бога. А я, православная, не безбожница, а на Пасху и совсем верующая, вот уже полгода как не была в церкви. И тут же я мысленно поклялась в ближайшее воскресенье сходить к обедне. Но и это забылось.

К тому времени в нашем ателье подоспели крутые перемены. Однажды, после обеденного перерыва, когда я, согбенная, подсчитывала обведенные платки, выясняя, «держу ли пропорцию», пришел патрон и, переругиваясь по-обычному с паралитиком, сообщил, что сосед, художник Дёмов, уезжает на юг и предлагает купить свое ателье. Годовая плата 1500. За шесть комнат. Отступного восемнадцать тысяч.

— Да, — многозначительно и упрямо мычал паралитик.

— Может, он уступит за пятнадцать тысяч, — оживленно уверял себя и нас патрон. — Тогда расширим дело, поставим аэрограф.

А к вечеру он ввалился возбужденный и нервно сообщил, что все улажено, деньги уплачены, художник расписался и передал ключ. Завтра он освободит помещение.

На следующей неделе хозяин дома прислал к нам человека с требованием возвратить оставленные Дёмовым ключи. Генерала не было, за ним послали; когда он наконец прибежал, то нашел замок от квартиры Дёмова сорванным, двери распахнутыми и рабочих, постукивающих молотками. На все уверения, что живописец ему переуступил ателье, «а вот расписка»... следовал ответ:

Monsieur Demoff переуступать не имел права, так как у него нет контракта. В заключение же генералу предложили освободить в двухнедельный срок и его помещение, так как вся эта коробка по дряхлости разрушается, — будут строить новый дом, *moderne**.

---

* Современный (*фр.*).

— Вот тебе кнопочки собирать, скопидом дотошный, — встретил хозяина паралитик. Он хотел было продолжать, но, взглянув на генерала, отпрянул в угол.

Приехал *représentant** и *contre-maître* Санитаров.

«Это миллионное дело!» — взвизгнул он еще на лестнице. Увел генерала в «контору» и громким шепотом стал объяснять: раз выселяют, причиняют убыток фирме, обязаны дать отступное. Был такой случай. Двести тысяч. Генерал разразился истерическим хохотом. На него больно было смотреть. Жалкий, старый и глупый.

Недели через три пришла консьержка осведомиться, когда мы переселяемся. Обученный друзьями, генерал ответил, что идти ему некуда, денег снимать квартиру у него нет и все это ему даже странно слышать. Час спустя явился хозяин с двумя синеблузниками. Они закрыли газ, перерезали электрические провода, заклепали водопроводные трубы, отобрали торчащий в дверях ключ и, предварив, какие неприятности ждут иностранцев, если они озорничают, удалились.

— *C'est moi le patron!*** — многократно повторял хозяин. Он разорился, его дом объявлен к продаже с торгов. Молодой, спесивый, он, видимо, больше всего страдал от уязвленного самолюбия. В каждом очередном выпаде видел не «коммерческий ход», а личное оскорбление: прогнал консьержку, прибил арендатора ближайшего бистро и теперь занялся генералом.

Пока Санитаров брызгал водой на умиравшего в обмороке Иудушку, а кстати пришедший Кишкин привинчивал к дверям поспешно купленный Колом новый замок, мы все сгрудились в дальнем углу, курили и шептались, как при покойнике. Онучин и Прокопенко уславливались идти

---

* Представитель (*фр.*).

** Это я хозяин! (*фр.*).

служить к нашим конкурентам. Паралитик мечтал о карьере кинематографического декоратора. Мне же некуда было податься. Я, улыбаясь, прислушивалась к внутренней боли и думала, что вот жизнь ставит еще один барьер, и если она была столь постыла до сих пор, то как же осмыслить и освоиться с этой новой тяжестью, как ее осилить, ничего не зная и не любя?

Représentant одел согбенного генерала и, поддерживая его, увел к адвокату. Вернулись они в состоянии полного разложения, переходя от ругани к нежностям, от шуток к причитаниям. Юрист уверял, что, с одной стороны, они правы, с другой — виновны; можно выиграть, но нетрудно и проиграть. Отступное не полагается, так как контракта нет. Вознаграждение полагается, потому что хозяин ворвался силой в чужую квартиру и самочинно в ней распоряжался. Визит — пятьдесят франков.

Генерал лихорадочно бегал по ателье, жаловался без умолку, визгливо ругал контрмэтра и заискивал перед паралитиком, связывая свои неудачи почему-то с ним.

После третьего визита к адвокату генерал отчаялся. Побежал к хозяину и взмолился о мировой. Ему кто-то сообщил, что могут выслать. Этим дело кончилось. Нам объявили расчет, предприятие ликвидируется. Жена генерала пресекла деятельность своего мужа. Нас распустили, недоплатив каждому половину причитающейся суммы. И в том, что недоплатили ровно половину, чувствовалась еще какая-то порядочность.

То было в пятницу, вечером — в *cinema* сменилась программа, — когда на парижских бульварах я снова почувствовала себя такой свободной от всего, что становилось боязно дышать.

Такой огромный город; и каждый для себя; и каждый о себе; мертвый город. Я закурила «синюю», глубоко затягиваясь, упиваясь сложной смесью душистого горького дыма,

страха и сладостной боли. Контрапункт чувств. Моя наличность — 56 франков; за комнату уплачено до воскресенья.

Если б мне предстояли испытания какого-то нового порядка, пусть нелегкие, но хотя бы не столь знакомые, постылые, приевшиеся!.. Но опять по утрам: объявления, метро, робкий звонок, — прислушиваясь к замирающему сердцу: бьется оно или не бьется, — скорее бы отказали. А сердце — что за галоп, что за дикую лезгинку откалывает оно. То остановится, то забежит вперед, взвизгнет кровь в аорте, перед глазами диски. Ключ Морзе, стучащий в горле. От недоедания, от всевозможных страхов мои «сердечные» дела, должно быть, сильно пошатнулись.

Конечно, за время службы у генерала я собрала кое-какие адреса: одни подслушала, о других догадалась, несмотря на общую скрытность. И первое время я втайне — втайне от самой себя — верила, что теперь все легко устроится: я человек уже небеззащитный, с профессией и со связями. Но все это, как часто бывает, оказалось ничего не стоящим; на третий день, обойдя всех знакомых, я очутилась в том же одиночестве, в каком была раньше.

Заметалась по объявлениям.

Так случилось, что к этому времени подоспел период менструации (это всегда так бывает). Об этом бы стоило многое рассказать, но не принято. Бог знает почему! Вероятно, благодаря общему ослаблению, этот недуг у меня приобретал форму болезненно острую. Еще за неделю до того я испытывала недомогание, боли, рези, ломоту; и никогда, никогда не догадывалась, что это именно то, хотя приходило это ежемесячно, — такое помрачение. За день до того я уже была вся во власти темных бесов. Мною овладевали ипохондрия, чувственная раздражительность (до буйства); мании: меня преследовали запахи, цвета, жажда сокрушения, уничтожения (бритва), будь то окружающих или самой себя. Затем наступали самые дни, всегда неожиданно для

меня, всё объясняющие и даже успокаивающие, несмотря на приносимое ими физическое и душевное истощение. А через три недели все сначала — четверть жизни тратилась на это, и нельзя пожаловаться; не принято. «Полежать бы денек», — вздыхала я, группируя газетные вырезки, на ходу прожевывая *petit pain*, шлепая по добытым адресам: так пересиливала себя.

В награду за выдержку неожиданно получила службу; гувернанткой к ребенку. Ночь продержалась, а к утру ушла: девочка помешанная (скрыли от меня), лупит головой об пол, трясется, синеет, ловит кого-то ручонками — это ночью-то со мною наедине. Не по моим оказалось силам. Унесла десять франков (за месяц триста — мать правильно рассчитала). И снова подземные разъезды; вылезешь из кротовины: наверху небо, приволье, кругом особняки, витрины магазинов — довольство, богатство; а ты нуль, нуль. Кажется, все лучше, значительнее тебя; поменяться бы, неважно с кем: вон с этим безногим, с той проституткой? — лишь бы не быть собой: так опротивела себе.

Нежданно меня посетил Онучин. Он «застучал» обрадованно и оживленно, как при нашем знакомстве. Такой уж это человек: когда мы работали рядом, я ему была безразлична и он, часто незаслуженно, зло покрикивал, а теперь — патока из уст: я самая умная из всех его знакомых, умею молчать, тра-та-та да тра-та-та. Малокультурный, грубой складки человек, с проблесками благородства, изящной легкости и неустойчивой честности.

Он предложил пойти погулять.

Разговор шел онучинский: у Зои огромная жирная грудь — и этого он ей не может простить, — создает определенную, всегда одну и ту же атмосферу!

— Это у вашей жены-то? — удивилась.

— Какая она мне жена? — смутился Онучин. — Она мне не жена.

— Ну, как не жена? Живете вместе...

— Живу. Ну так что. А венчаться не думаю.

— А мне сказали, что вы намеревались жениться!

— Это Прокопенко. Он, балда, всегда напутает! Я только сказал, что в начале нашего знакомства ее почти любил, а значит, готов был счесть и женой.

— А теперь не любите?

— Ну конечно нет! — сожмурился, и на минуту в нем отразилось, как в зеркале, жирное, бледное лицо его близоруко щурящейся подруги. — Конечно не люблю, — уверял Онучин.

Как мне хотелось его ударить.

Как-то, еще в ателье, они подрались: Онучин просил ключ от квартиры (собирался вернуться поздно). А она говорила, что ключа не даст, будет его ждать: ей приятно ему отпереть дверь, знать, что уже вернулся. Все это ровным, невысоким голосом, внешне не обращая внимания на нас — посторонних, — а внутренне страдая, содрогаясь. Затем пили вино, и она вылила часть Онучина на пол (от вина он всегда хворал и жаловался). Он бросился ее бить: по слабости ли или по неумению драться щипал ее по-бабьи, ломал, выворачивал суставы пальцев, она же мужественно отбивалась, наседала и стучала кулаками по его спине. Потом они громко отдувались: она — утирая слезы, он — гладя ушибленные места, роняя последние объяснительные фразы. «Я тебя прогоню вон», — угрожал Онучин. «А вино я выплеснула», — бесцветно, как загипнотизированная, вторила Зоя...

Я часто гадала: откуда черпает она эту готовность мириться со всем? Спросить же ее нельзя: за свои унижения она готова была мстить невинным. Но однажды Онучин проговорился, что Зоя в ответ на его восхищение мною — как всегда, вздорное; за глупость превознесет, а стоящего не заметит, — сказала, что удивляется, как я могу переносить свою грубую, суровую долю без тепла, без ласки. И тогда

я все поняла: каждый человек относится к своей судьбе, словно к им заношенному белью; оно, грязное, но все же знакомое, родное, кажется лучшим, чем чужое, и во всяком случае не столь гнушаешься.

Мы выпили кофе. В соседнем синема давали фильм из морской жизни. На минуту с цветных афиш на нас дохнуло бескрайней волей океана. Мы вошли. От музыки ли или от света, только я набралась храбрости и предложила Онучину мне опять помочь как-нибудь устроиться. Он сразу оживился (с каким страхом я следила за угасанием этого оживления).

Действительно, у них требуется рабочий. Но как сделать? «Кружева» я умею; каталанами он заведует — значит, уладит. Но вот аэрограф? Аэрографом распоряжается его лютый враг, и если Онучин будет хлопотать за меня, то добьется обратного. А работа пустяковая, за час практики можно усвоить начала.

— Есть исход, — поморщился Онучин. — Ленька, — его враг, — является в девять часов: придите в восемь. Я вас буду ждать. Дам «пистолет», и постреляете сколько влезет. Специальность простая.

Я знала, что он скоро увянет, и поэтому с грубоватой торопливостью стала уславливаться насчет времени, места и других частностей свидания. Я угадала. Он изменил свое решение. Рекомендовать меня он не может. Подумайте, если все откроется, какая будет компрометация, уж Ленька использует.

Что же делать-то?

А вот что. Идти прямо к хозяину, он на редкость вежливый, хороший человек, еврей, только деньги неаккуратно платит. Женщин он очень уважает и даже побаивается. А главное, в работе никогда не откажет, хоть на неделю, а поручит что-нибудь красить. Пойти прямо в контору, объясниться, он даст записку к Леньке или протелефонирует.

А назавтра к восьми утра Онучин меня будет ждать в ателье: «постреляем» до девяти. Надо сделать вот такие

спирали. В этом заключается Ленькин экзамен. «Балда, можно быть приличным специалистом и этого не суметь». Но я подготовлюсь и выдержу испытание. К тому же Ленька бабник.

Онучин ежеминутно отвлекался, перескакивал с одного предмета на другой, беспрестанно перебивал: спрашивал мое мнение о проходивших женщинах. Я уславливалась о времени посещения хозяина — «завтра в час»; он декламировал Гумилева: «Так век за веком — скоро ли, Господь? — под скальпелем науки и искусства страдает дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства»[2].

— Не спросят ли рабочую карту? — робко осведомилась; тема чересчур рискованная, да и бестактно приставать с этакой прозой.

— У вас нет карточки? — даже возмутился Онучин. Такой уж он есть: четыре месяца я изо дня в день вздыхала о праве трудиться, а он все не запомнил. — Ну, тогда ничего не выйдет! — решил он, радуясь, что делает мне и себе больно. — Нечего и пробовать, они безумно трусят: сейчас строго.

Опять и опять расспрашивала я, уговаривала и наконец повлияла: решили, что попробовать стоит. В отсутствии *avis favorable* никак не сознаваться: забыла документ. «Забывать» его, пока не прогонят, — неделю, месяц? А может, повезет, чудо какое.

Я на левую руку надела перчатку с правой руки[3].

— Если вас спросят, у кого вы работали аэрографом, скажите: у Жака... обучал Онучин.

— Хорошо. Только я ведь его не знаю.

— Ничего. Он его тоже не знает. Это на *Clichy**.

На экране бушевал шторм. Матросы изнемогали в рукопашном бою. Под знойным солнцем, на тропическом острове, рослые туземки, сладостно улыбаясь, убирали

---

* Клиши — район на северо-западной окраине Парижа (*фр*.).

диковинные злаки; к вечеру поля хмелели от красок и линии горизонта были насыщены эдемским — где нам — покоем. Онучин воровски просунул руку кренделем, неумело обнял меня. Боязливым, спрашивающим усилием притянул к себе, поцеловал в ухо, бррр. Я боялась шевельнуться, чувствуя совсем близко его губы, его бородавчатое бабье лицо. Корчась, как от студеных капель, стекающих за воротник, я неуверенно отбивалась, все еще стараясь сохранить остатки какого-то приличия, дружеских отношений и взаимного понимания. Я не нашла возможности отодвинуться, не обидев его. А обидеть не имела сил.

Корабль шел черной птицей по серебристым барашкам. Как огромен, как целомудрен простор. Как велика земля. Какой легкой могла бы стать жизнь. Онучин меня упорно целовал в ухо. Я чувствовала его судорожно подрагивающий локоть, повисший в неловкой позе. Эта мука продолжалась добрых полчаса. Стыдно; но силы мои очевидно убывали. Мы вышли в толпе целующихся парочек. Еще раз продолбила ему урок: «Завтра в час (постарайтесь со мной встретиться); а там: в восемь — ателье — пистолет...» Мы расстались: вырвала руку и, конфузливо, чуть ли не обнадеживающе улыбнувшись, убежала.

«Я хорошая. Я стремлюсь к доброму... Меня заставляют делать пакости — чья вина?!»

Но эти рассуждения уже не могли меня удовлетворить. Я плакала, укладываясь в свою двуспальную, холодную, как снег, кровать. В отеле у нас не топили, по утрам вода для туалета замерзала в миске, простыни по углам покрывались инеем; я испытывала какой-то не совсем оправданный, атавистический страх: мне трудно было себя заставить раздеваться, окунуться в этот ледяной сугроб. Чтобы согреться, я клала к ногам бутылку с горячей водой, но достигала обратного действия — физиологи, вероятно, найдут этому объяснение. Я бросала поверх одеяла все, чем

владела, — начиная от пальто и платьев, кончая чулками, чистым и грязным бельем. И оттого мне казалось, что я лежу в глубокой, глинистой, промерзлой могиле, а над головой высится холм — ох, какой тяжелый. Проснешься ночью, и не понять: где я, что? Еще меня мучили злые сны, мой позор, мой страх, моя тайна. Меня грубо преследовал мужчина. И чем преступнее казался он с виду, чем отвратительнее прикасался, тем полнее, безумнее и ужаснее было.

Все это не то. И мне трудно передать, очевидно, невозможно, как гадко, как беспримерно скучно сражаться, не разбираясь в средствах, по инерции, за серую, постылую жизнь; как хил, как не нужен бывает человек, пока он сам по себе.

Назавтра уже в одиннадцатом часу я приближалась к воротам конторы: всегда лучше загодя, мало ли что случается, к тому же других дел у меня нет. Метро *Gobelins**. Мрачный двор, старый, темный, чистый, мещански порядочный, хищнический. (Почему-то вспомнила: «На брюхе шелк, а в брюхе щелк».) В моем распоряжении чуть ли не два часа. Стала слоняться вверх и вниз по авеню.

Ах, это ожидание. Целыми часами перебирать в памяти, что именно говорить, в каком порядке, что подчеркнуть, чего не должно упоминать (как назло, почти всегда прорвет) и где, ответив одно, необходимо создать впечатление противоположного (только бы не усомниться — необходимо ли?)!

Снова и снова рассматриваю свои «карты»: аэрографа не знаю (но Онучин покажет), каталаны — авось, кружева — умею, а «карточки» — нет, Ленька — бабник. Игра неважная. Я останавливаюсь перед витриной галантерейного магазина — в зеркале отражена во весь рост. Ничего, довольно

---

* Gobelins — «Гобелены», станция парижского метро, расположена на проспекте Гобеленов. Названа так в честь знаменитой королевской мануфактуры, основанной в XVII веке братьями Гобелен и изготовлявшей шпалеры высокого качества, которые впоследствии стали называть гобеленами.

выразительное лицо, рослая и одета удовлетворительно, только перчатки, недостает перчаток. За стеклом лежат в беспорядке лайковые перчатки, они душат друг друга, сжимают бескровные пальцы в сухом и страстном рукопожатии — это как бы протянутые из иного мира цепкие объятия; в их расположении, в их позах столько внутреннего движения, что по сравнению с ними я кажусь манекеном.

Случайно ли я попала на эту распродажу? В нашей жизни, где внешне все, кажется, зависит от «одной минуты», становишься суеверной. Задумываюсь: так хмурится полководец перед наступлением. Минута колебания. Надо вести политику дальнего прицела. Вхожу в магазин. Почти неожиданно для себя становлюсь обладательницей пары перчаток. 15 франков. Для меня огромная сумма. «Вероятно, не случайно!» — обнадеживаю себя, стараясь подогреть мое уже остывающее вдохновение. А перчатки — «шикарные». «Не опоздала ли?» Бегом к висячим часам. Нет, всего двенадцать.

Купила фунт яблок и *petit pain* — съем в ближайшем сквере: надо подкрепиться, чтобы не иметь несчастного вида.

Вот уже волоподобные рабочие в синих блузах рассаживаются за ресторанными столиками. Перед ними вырастают литровые бутылки вина и кровавые куски мяса. Стриженые кельнерши улыбаются золотушной улыбкой. Хриплая торговка продает овощи *pour finir**. Как я им завидовала. Всем этим жирным лоточницам, бородатым газетчикам, толстомордым рабочим и развратным кельнершам. За то, что они сыты и довольны, краснощеки, имеют родину, семью и привычный труд. Растолковывала себе, что вряд ли и они счастливы, либо уж очень тупы. Пусть, пусть звериная тьма. Надоело искать в вёдро и непогоду. Вечно искать; я устала подниматься по чужим лестницам, спешить,

---

* Под конец; остатки (*фр.*).

постыдно подпрыгивая, заискивать, робеть и голодать. Съела все яблоки. Их было много. А выбросить жалко. Вот и доела. И в животе точно поршень пришел в движение.

Без четверти час мое нетерпение начало достигать крайних точек. Обычно за этим зудящим, знобящим подталкиванием времени приходила некая досадная потребность — оправиться. Знаю, это внушение или невроз: всего лишь час назад были приняты все необходимые меры, и уже с вечера старалась поменьше пить. Что ж поделаешь: меня приводила в трепет мысль о возможной катастрофе. От болезни ли, от недомогания некоторые удерживающие центры ослабли, и я должна была опасаться вещей, с которыми мирятся только в детстве. А в некоторые периоды все это усложнялось до отвращения. Знаю, многие предпочитают не останавливаться на таких подробностях, но внутренний голос, голос совести и правды, учит меня другому.

Я вошла в ближайшее бистро, на ходу заказала кофе и скрылась в уборной; в зеркале имела возможность любоваться своим зеленеющим, подергивающимся, изведенным лихорадкой волнения лицом. Взглянула на себя с отчаянием, с ненавистью и презрением; взглянула, точно плюнула: почему я такая ничтожная?

Кофе оказалось холодным, тухло-кислым; к тому же не могло быть сомнения: разбаливался живот. «Это яблоки, яблоки». Но времени больше не было.

Я спешила к дому № 13. Пробежав несколько шагов, остановилась: ровно час, не лучше ли опоздать минут на пять, для «независимости»? Повернула обратно. Через мгновение снова бросилась к воротам: Онучин сказал в час, значит, есть причины. Так, по обыкновению меняя темп и направление своей рыси, достигла нужной мне старой стройки, мрачной подворотни. В глубине оказался другой двор, и там, в конце, ютилась контора господина Шаца. Третий этаж, левая дверь: консьержка повторила дважды, точно самой себе не доверяя.

Лестница, тусклая, прочная, позолоченная, носила отпечаток давних тревог «быть как все», скопидомства и разорения. Мне показалось все кругом словно бы с детства знакомым — герои Диккенса должны были дышать таким воздухом. Запах времени, холодеющих стариков, подолгу откашливающихся на площадках, бухгалтерских книг. Сумрачные витражи окон, паутина — немного подальше, выше, где небрежная рука ленится пройтись тряпкой, карнизы в темных синяках, пыль на позолоте. И медная дощечка, ввинченная в дверь: *L. Schatz*. От нее несло тайной горечью, духом тщеты, напрасных стараний и мудрой снисходительности ко всему. Он меня успокоил, этот тусклый прямоугольник со стертыми, как бы гофрированными буквами; я чему-то радостно улыбнулась. «Домби и сын», — прошептала, позвонив. Звонок, очевидно, действовал, за дверью слышались голоса; толкнула дверь — она открылась без скрипа. Разумеется, есть свое очарование в таком прохождении по многочисленным норам: вторгаться в чужую, хотя бы и внешнюю жизнь, видеть пеструю обстановку, легионы лиц в их домашнем быту; но тяжко, как тяжко нуждаться в их помощи.

Я попала в темный без окон коридор, в который выходило несколько распахнутых дверей. Из одной комнаты доносились обрывки спора; я двинулась на голоса, издали разглядев неряшливую голову Онучина.

— Вам что? — мешковато поднялся навстречу человек с оливкового цвета рассеянным лицом, с круглыми черными, совершенно неподвижными глазами совы: — Вы что?

Я объяснила, что пришла по частному делу.

— Так, сейчас? — удивился. — Нельзя ли вечером? Какое дело? — Он бросал множество кратких вопросов, точно не имея терпения дослушать ответ.

Я рассказала, что ищу работу, он будет мною доволен, ему всегда пригодится специалистка, пожалуйста... Все это произнесла шепотом, мучительно краснея и спеша, как нетвердо усвоенный урок, стыдясь Онучина, который,

отвернувшись к окну, застыл пойманным школьником, тоже покраснев и с той улыбкой на лице, какая бывает, когда прислушиваешься к начинающейся застарелой зубной боли.

— Почему вы не пришли раньше? Я бы вам дал работу. Теперь много кандидатов. Мы дали объявление.

Мягко мигая, я слушала его, слегка кланяясь, словно подталкивая к желанной цели.

— Что вы умеете делать? Каталаны дешевые умеете делать? — Я кивнула утвердительно. — По полтиннику? — Я нашла уместным сознаться, что это мало. — По семьдесят пять! — примиряюще решил он. — А из «пистолета» вы скоро работаете? Как скоро? Вы где раньше служили?

— У Жака.

— Черненький такой, маленький?

— Это на *Clichy*, — отозвалась едва слышно.

— Хорошо, пускай вас посмотрит Леонид Иваныч. Придите завтра к восьми в ателье. Вы знаете, где ателье? Там будут еще кандидаты, вас испытают. Я вам дам карточку к Леониду Ивановичу! — решил он и направился к столу.

Я озиралась по сторонам — так душно, так нечем было дышать, — словно ища глазами воздух. Комната сумрачная, темная, большая и все же тесная благодаря всюду наваленным разнороднейшим предметам. Вдоль стен серели прислоненные холсты, почерневшие от пыли статуэтки, фарфоровые вазы, деревянные идолы. Письменный стол старинного ходатая, законника: трухлявые папки, перья, ручки, выцветшие письменные приборы, темные, в кляксах, старинная посуда для цветов, купленная по случаю.

Сумрачно, грустно и тихо; всякий шум сейчас же глохнет, он звучит отдельно, не смешиваясь с этой густой, крепко устоявшейся тишиной. Здесь горько, спокойно, прохладно и утешительно, как в ломбарде или в аукционном зале, когда публика еще не собралась. Ибо как там, так и здесь, благодаря

наваленным со всего света предметам человека, скрещиваются атмосферы разных жилищ, рас, племен и людей — их владельцев, — знаменуя бренность всех вещей, временность земных привязанностей и их превратность. Об отрешении, о старости, о нищете вспоминала, оглядывая эти непроницаемые для воздуха стены, пока мешковатый хозяин с неприятно-сырым, застенчивым и растерянным лицом стоя писал записку.

Онучин барабанил пальцами по ручке кресел; у него хватило такта, до конца оставаясь посторонним наблюдателем, не подать и виду, что мы с ним знакомы. У его ног, на полу, блестел серебряными замками большой синей кожи несессер и лежали две теннисные ракетки.

Л. Шац мне протянул карточку со словами: «Не опоздайте только. Вы ему покажете вашу работу...» — и повел меня к дверям. Прежде чем сообразила, что бы еще добавить, укрепляющего мои позиции, она прикрылась.

Я устроилась в угловом кафе; оттуда видны ворота № 13. «Какой номер! Это к счастью», — убеждаю себя. «Здесь я дождусь Онучина. Узнаю, какие возможности, впечатления; условлюсь, что да как. Только бы не пропустить; глядеть в оба».

В сердце начало предательски, тягуче покалывать. Сперва несерьезно, с перерывами: кольнет да перестанет, увильнет боль. Потом все шире и шире, все грознее и суровее, острым, нестерпимым ожогом — как же дышать?! Задержу дыхание — словно легче; но душно, душно: ведь нельзя! Дохну — смертельный укол насквозь. Хочется лечь, зарыться головой в холодную землю, замерзнуть, пока не пройдет. Нет, не в землю, а в кислород. Дышать чистым озоном. Этот перегар доконает хоть кого. Ах, в поле бы, вольного ветра, вечернего мира.

— Павел Кондратьевич, где вы теперь, думаете ли вы обо мне? Я сейчас упаду.

«Душно. Ду-у-у-ш-ш-но. Разорвусь. Сердце выпрыгнет. Нет: разорвется; разорвется. Разо-р-р-вется. Сейчас или когда-нибудь?! Когда-нибудь или сейчас».

Не дышать — задохнешься. Дышать — больно. Свистящей, ноющей, дурной, специфической болью.

Лечь бы. Лечь бы. Застыть. Переждать. Пускай смотрят. Ведь одно неловкое движение — и конец. Неуютный конец в дешевом кафе.

Подбадриваю себя. Рядом стоит черный кофе. Неужели мой? Противный, тепловато-горький. Дотрагиваюсь до ложечки: металлический ледок. Незаметно просовываю ее за декольте, глажу холодным у сердца. Гарсон недовольно и пристально всматривается. Заказываю *demi**, смеюсь: смеяться можно — нельзя только дышать, а все остальное как бы здоровое. В самом деле, ведь смешно, может, через минуту я умру, и все же я как ни в чем не бывало приказываю гарсону, а ему и невдомек.

Только бы меня не трогали. Тише. Ти-ше. Ти-и-и-ше.

Глотаю горькое, студеное пиво. Понемногу, нехотя — сердце неуверенно крепнет, удары выравниваются. Боль глохнет, отступает вниз, на самое дно глубокого вдыхания: значит, надо дышать поверхностно, тогда легко. Какая радость... Я готова благословлять каждую крупинку жизни. Люблю всех людей; благодарна всем за спасение.

Постепенно овладеваю собой. Облегченно оглядываюсь по сторонам. Как жарко; в зеркале отражено лицо: зеленое, скомканное, влажное, с огромными глазами, на переносице блестит испарина.

С оттенком независимости поправляю платье, пудрюсь, небрежно снимаю и надеваю новые лайковые перчатки. Лакей удовлетворенно зевает и отворачивается.

Зимний день умирает. Незаметно разливается вечер: только что он робким гостем подошел к порогу, а вот уже грубо развалился хозяином и задрал ноги. Моросит дождь. Туман, смешиваясь с дымом города, образует сырой студень, где вязнут и слепо бьются шумы улицы. Зажигают фонари.

---

* Половина, полпорции пива (*фр.*).

Как жалостно это последнее колебание весов, переход, первое мгновение искусственного света. Сгущаются тени, вокруг ламп виснут пепельные, мглистые шары, наполненные порхающей водяной пылью. В такой вечер хорошо быть среди близких, одеться в боты, в плащ, идти об руку, смеясь и лукавя, потом слушать пианино, читать стихи.

Конечно, я бы пропустила Онучина: это он меня заметил и окликнул.

Он догадался, что я где-нибудь поблизости околачиваюсь, жду его. Дело — дрянь. Ленька одного уже принял, а второго ищет опытного; кроме того, ему обещали надбавку, поэтому он рьяно служит, является ежедневно на рассвете, так что подготовиться к «экзамену» в ателье нечего и думать.

— Спиральки, — говорит Онучин, — это пустяк. Тут и учиться нечему, ей-богу.

Опять я покорно слушаю, всем телом следя за его губами: начнет он слово, а я вся наклоняюсь вперед, подталкиваю.

— Выход такой, — решает Онучин.

Есть один добрый знакомый, предприниматель, владелец аэрографа; я пойду к нему с письмом Онучина, может, тот не откажет — разрешит «пострелять» у себя.

— Видите ли... — конфиденциально наклоняется Онучин. Его взгляд встречается с моим, он что-то вспоминает и кладет свою руку на мою, гладит некрасивой, испачканной спиртными красками, сырой ладонью. У него пестрые пальцы с обгрызенными до крови ногтями.

— Видите, в чем дело, он простой человек из старых, так что очень любит «интеллигенцию»: нуждается человек, образованный, из хорошей семьи, всегда поможет! Он еврей. И понимаете, — Онучин перешел на шепот, — еврею он всегда поможет. Даже денег даст. Вот, — отвел Онучин глаза. — Хорошо бы вас отрекомендовать как еврейку.

Как же...

— Это нетрудно. Тут все перемешалось. Нынче по лицу не судят! — убеждал Онучин, улыбаясь, с той особенной своей теплотой, которая, чувствуется, вот-вот пройдет, оборвется, и он останется равнодушным или увлеченным другим увальнем. — Вы молчите. А я только намекну, черкну: «из ваших» либо «свой человек». Он уже поймет. Разговаривать об этом не станет: он рад помочь. Это ему только нужно для какой-то особенной совести. Когда случается вот такая бескорыстная морока, он сам себя и жена всегда спрашивают: «Ну, зачем это нужно было?» А тут и ответ готов: как же своему не помочь? — Онучин, хохоча, начал рассказывать их совместные похождения; они вдвоем обманули кого-то — перепродали смывающуюся краску: Онучина все возненавидели и долго мстили; Исаака же Лазаревича все продолжают любить и уважать: так легко, так мягко, так человечно тот умеет жульничать.

Онучин пил кофе, жадно заедая круассаном: он еще сегодня не обедал. Осторожно, запинаясь, я его просила не писать Исааку Лазаревичу, а лучше съездить нам вместе: «Может, он занят, отсутствует, болен; ведь мне завтра в восемь — на испытание. Если вы не особенно спешите, пожалуйста, проводите меня...»

Онучин оглядел меня с интересом, хитро усмехнулся, потом насупился. «Хорошо, я пойду! — мирно согласился. — Только кофе еще закажу». Кофе пил он без сахару: зубы у него разбаливаются от сладкого — лечить же их он, конечно, не догадывается. Круассаны в его руках окрашивались в фиолетовые тона. Стараясь не замечать эти неряшливые повадки, я подбирала незатейливые фразы, которые могли укрепить в нем принятое решение.

Он допил, доел последние крошки, осклабился на свой блестящий чемодан с ракетками и сказал:

— Вот мне в теннис сейчас играть, на закрытом корте, а из-за вас... Я ведь за это деньги плачу.

Затем мы поехали на *Odéon*. Там Онучин снова пил у стойки кофе. Я дожидалась на улице.

— Мне бы сейчас в теннис играть на закрытом корте, — объяснил он, выйдя из кафе.

Молча мы свернули на улицу *Mazarine**; долго разыскивали квартиру; попали наконец в странное помещение, похожее на лавку после разгрома или банкротства. Нам поднялся навстречу лысый юноша с добрым глуповатым лицом, с горбатым, слегка искривленным носом, придававшим ему выражение смазливой чувственности.

— Здравствуйте, Исаак Лазаревич! — самым радушным, задушевным раскатом поздоровался Онучин.

Нельзя сказать, чтоб Исаак Лазаревич нам обрадовался: стоял неподвижно, не мигая, молча нас разглядывая. Даже когда Онучин кончил свои объяснения, он все еще с добрую минуту изумленно чего-то дожидался, как бы не доверяя. Потом встряхнулся и, заикаясь, обращаясь исключительно ко мне, очень вежливо выразил свое согласие.

Возникли некоторые технические затруднения: в мастерскую Исаак Лазаревич нас не мог впустить: там хранятся разные секреты, которые Онучин не преминет расшифровать. С общего согласия решили установить аппарат тут же, в конторе. Пришлось кое-что убрать, отодвинуть. Исаак Лазаревич был в достаточной мере любезен. Юркнул вглубь, вверх, нырнул по лестнице вниз. Пыхтя, битюгом, притащил огромный снаряд со сжатым газом. Я суетилась, старалась помочь, чувствуя, что мешаю.

«Пистолет», действительно похожий на маузер, соединенный кишкой с баллоном, заряжался краской. Струя газа распыляла стекающую от нажима гашетки краску на мириады ровных брызг. Подстелили лист упаковочной бумаги.

---

* Улица Мазарин (*фр.*).

Онучин, сбивчиво объясняя, сделал несколько рисунков и передал прибор мне. Я нажала собачку; с мокрым звуком дуло выплюнуло кляксу. Онучин захохотал. Нет, он не может смотреть. Ха-ха-ха-ха. Ведь так просто. Исаак Лазаревич отстранил Онучина. Спокойно растолковал. Его взгляд знающего себе цену человека со сдержанным достоинством скользил, не задерживаясь, по мне, стараясь внушить, ободрить. Он придерживал мешавшую кишку, направлял руку, серьезно приговаривая: «Ничего, ничего, привыкнете». И я начертила первый контур: почувствовала тяжесть гашетки, соразмерила. Меня похвалили. Раскрасневшаяся, гордая, я с четверть часа водила дулом, в упор расстреливая бювар. Научилась Ленькиным спиралям (о, как я его боялась); медленно водила всей рукой (до плеча), покрывая «большое пространство». «Пистолет» закашлял, зашипел, зафыркал. «Краски мало», — отвернувшись к стене, буркнул Онучин. Исаак Лазаревич покраснел и долил краски.

Наконец Онучин решил: «Будет!» — потом засуетился: «Благодарите, благодарите любезного Исаака Лазаревича!» — напыщенно повторял он. Я поблагодарила. Исаак Лазаревич сконфуженно кланялся; снова замелькал вглубь, вверх, нырнул по лестнице вниз, расставляя приборы по местам. Мы вышли. Вверху темнело ночное небо, кудлатое, злое, такое далекое, что сердце медленно сжималось: не догонишь, не достанешь, никак, ни к чему.

«Вечер, холодно. Целый день не ела горячего. У *Porte de Versaille* сумрачная, нетопленая камера. Завтра к восьми на *Cadet*, экзаменоваться у Леньки. Ну зачем, ну зачем я живу?»

Вагоны бросало с железной рьяностью. До Монпарнаса надоедают святые: *St. Germain*, *St. Sulpice*, *St. Placide*...

А там идут крылатые станции *Volontaires*, *Vaugirard*, *Convention**. Колеса взвизгивают на стыках рельсов. Они

* Перечисляются станции парижского метро.

угрюмо что-то одно повторяют, захлебываются. Можно найти под их музыку слова. Я долго подбираю: «Это время, мой друг, это время бежит».

* * *

За полчаса до восьми я уже караулила подступы к ателье. Видела, как, спеша, в подворотню вбегали люди. Это Ленька? Это Ленька? — гадала. Без пяти восемь свершила свой жалкий ритуал: подкрепилась круассаном, напудрилась, накрасила губы, чтоб не иметь такого несчастного вида.

Ателье гнездилось, разумеется, высоко. Дурной знак. Мое сердце шумело, преодолевая крутую лестницу.

О чем думаешь, поднимаясь вот так на пятый этаж? Память не удержала. Комок, где в сплетении символов мелькают обрывки мыслей, звуков, запахов; попурри из прошлого и настоящего, из серьезного и незначительного. Скверно. Тошно. И должно быть, чтоб скорее отделаться от этого сумбура, я так невоздержанно быстро взбегаю наверх.

У двери остановилась было отдышаться, передохнуть, но сердце от всяческих предчувствий так взволнованно и растерянно барабанило, что, не размышляя, я дернулась вперед — скорее уж.

Вошла в малую светлую комнату, где на лавке в позе людей, пришедших по объявлению, сидели две дамы. Часы показывали восемь пятнадцать. Пахло шелком и денатуратом.

Подошедшая девушка в сиреневом халате прочла мою записку и строго приказала подождать.

Я села, незаметно оглядывая соперниц. Гадкое чувство. Видишь: вон у одной стоптаны каблуки летних туфель, а у другой — такое прозрачное, анемичное лицо, что впору подойти и согреть ее своею кровью. Они сидят рядом, но не разговаривают, не смотрят: пришли отдельно и разойдутся каждая в свою сторону. Всем нам, верно, друг друга жалко,

но очереди не уступишь: косо поковыряешь взглядом их сумочки и сокрушенно подумаешь: «А что у них там? Есть ли позволение работать? Какое удостоверение хранится?» Подумаешь и ожесточишься. Как это трудно: жалеешь, а хочешь отнять насущный хлеб. Иногда и самую жизнь. Кому нужнее? Разве на такое ответишь?

Мимо прошел Онучин. Не поклонился, казалось, неодобрительно поглядел. Из мастерской вышел крупный, гладкий мужчина и, делано весело рассмеявшись, брякнул:

— Ну, я принят. Только жалованье малое.

Маленький черный широкоплечий человек, гном, с заячьей губой и таким взглядом, какой бывает у горбунов или уродов, показался на пороге:

— Чья очередь?

«Ленька!» — догадалась.

Одна из дожидавшихся метнулась, засуетилась и скрылась в дверях. Потом вторая. Они появлялись, собирали вещи: горжетку, зонтик... и, тяжело стуча каблуками, уходили. Грустно и безжалостно звучали их шаги: больше никогда не встретимся. А хотелось выведать: «Что же сказали?»

Я встала — сейчас!

Ленька все не показывался. Ужасно. Сразу бы головой в омут. Как трудно оставаться неподвижной. С мольбой ощупывала свою правую руку — указательный палец, — она сейчас будет «стрелять». Словно кипяток разливается от солнечного сплетения, вверх, разветвляясь. Под мышками колет. Угомонись, сердце, невыносимое.

«А не убежать ли мне?» — мелькнула такая простая, такая благая мысль, что от одной этой возможности я вся засветилась.

— Очередь чья? — донеслось буднично и раздраженно.

Я шагнула на голос. Ленька удивленно отступил, должно быть, пораженный моим, в сущности, весьма примечательным видом (как нищенски мало выражает человеческий облик).

Ленька угрюмо читал записку своего принципала. Опыт просительницы меня научил, что человек часто становится таким, каким его мыслишь; если в глазах затаено — «ты хам и дурак», то он действительно превращается в такового. Глядя на Леньку, я твердила: «Какой ты добрый, какой ты умный, как Бог тебя любит».

Мы вошли в мастерскую — светлый барак во много окон.

Тянулись длинные и потому узкие столы, за которыми хлопотали декораторы. Меня вели в пустынный конец, откуда устрашающе глядели контуры аэрографа, — с таким чувством смертник шагает к гильотине.

– Вы сделаете несколько таких штучек, — равнодушно предложил Ленька и ловко вывел ряд петель. То не была спираль. То был спирально разматывающий квадрат.

Беспомощно оглянулась. Кругом люди деловито трудились. Тепло, как-то по-особенному уютно. Так захотелось вдруг здесь остаться навсегда, обжиться, обвыкнуть.

— Вы где прежде работали аэрографом? — спросил Ленька, поводя головой так, словно чувствуя на лбу тяжелые рога.

— У Жака.

— Это какой?

— На *Clichy*, — едва слышно солгала. Решительно мне становилось дурно; холод изнутри, из кишок, заливал меня, вызывая тоскливую дрожь, переходящую в спазмы; я пересиливала их: сжималась в комок, старалась не дышать. Протянув руку, подняла «пистолет», но тут же бросила: к горлу подкатил ком. Всхлипнула и прижала руки к лицу. Из глаз, из носа, изо рта потекли рвота, сопли, слезы.

— Вам дурно? Вам дурно? — допытывался Ленька с таким видом, точно ответь я: «Нет...» — и он успокоится.

Из всех углов, отделений, перегородок нас щупали бесчисленные глаза. Мелькнула склонившаяся с галереи вихрастая голова Онучина.

Ленька меня полуобнял и потянул за собой:

— Пойдемте, отдохните, испейте воды.

— Нет, нет, сейчас! — бестолково, но упрямо я твердила, цепляясь за «пистолет», чувствуя, что отойти нельзя, что все потеряно.

Затравленная, бледная, мокрая, я была, вероятно, очень жалка и все же продолжала бороться: стала в позицию, занесла аппарат.

Но второй припадок надломил меня всю как-то пополам: я скрючилась, икнула, всхлипнула... И поднесла ладони ковшиками к лицу. Ленька меня усердно тянул за собой. Мы заковыляли к дверям: он низенький, я высокая. Кругом глазели люди.

— Садитесь, — шептал Ленька, толкая меня в маленькую клетушку.

Села, все не отнимая рук от лица, тщась уйти, спрятаться, провалиться сквозь землю.

— Воды! — скомандовал Ленька.

— Оставьте меня. Ради бога! — взмолилась. — Это пройдет.

Он послушался и вышел. Я все продолжала сидеть в той же позе. Приступ уже миновал, но не хотелось двигаться, говорить, что-то опять делать, только бы не шевелиться, не жить, не обращать на себя внимания.

Украдкой оглянулась: маленькая каморка, газовая машинка — кухня? Две двери, через одну мы вошли, вторая, вероятно, на лестницу. Я не могу больше показаться на глаза этим людям. Воспоминание о трусливо-укоризненной морде Онучина, свесившейся с перил, вызывало краску стыда и бешенства. Тихо поднялась, приоткрыла дверь и со всех ног рванулась вниз, скользя на поворотах, мечтая сломать наконец шею, превратиться в бесчувственный костяк.

Мои перчатки, мои лайковые перчатки остались в приемной на столе.

По улице разливался туман. День выглядел вечером. Я шла, не разбирая дороги. После завтрака — была суббота — изменились одежда, походка, выражение лиц прохожих. Показались гуляющие семьи; в колясках, паразитически пяля глаза, лежали младенцы. В кафе играла музыка, они быстро наполнялись счастливыми своей свободой, развлекающимися обывателями. Вырвавшись из скучной конторы, из зловонной лаборатории, из резко освещенной мастерской, толпа теперь торопилась взять все, что можно, от жизни: до понедельника, до понедельника.

Мужчина с дерзкими, спокойными глазами спортсмена, стройный, в сером дорогом пальто, прошел навстречу. Я пристально поглядела; он оглянулся; я тоже. Вероятно, мой взгляд был выразителен: он повернул и вкрадчиво последовал за мною, то нагоняя, то отставая.

Трудно растолковать мое состояние: разумеется, в какомто смысле я не владела собою, но в то же время все замечала, все запоминала, будто даже с удесятеренной силой. Я дрожала, ощущая на себе его настойчивый взгляд: казалось, что меня ощупывают со всех сторон, поднимают, взвешивают, обглаживают. Отдельные части моего тела истерически дергались. Я шла, как по горячим углям. И все же какая-то сила заставляла меня оборачиваться, ободряюще кивать, зазывающе подмигивать. Чем энергичнее я действовала, тем нерешительнее и робче становился преследовавший меня. Я же краснела от нетерпения, жестикулируя цинично и грубо. Наконец я как-то вильнула бедрами из стороны в сторону. Не знаю, изобрела ли я это движение или подметила на бульварах; может, инстинкт мне его подсказал? Символически он мог обозначать половую негу, обещание совершенного удовлетворения. Спортсмен в сером пальто повернул и решительно зашагал прочь. Кажется, я еще пробовала его догонять.

Очнулась подле Сены. Река упруго катила волны. Вода бежала, вода ни минуты не стояла. И в этом таился роковой

смысл, строгое предостережение, обещание. И тут вдруг — впервые безо всякого кокетства и обмана — ясно мелькнула, обожгла возможность исхода: «А ведь на дне должно быть покойно!» Я облокотилась о парапет, завороженно созерцая открывающуюся внутреннему взору новую путину.

Сена катила волны; неумолимо вода все неслась; стремительно бежала; озабоченно всплескивала. Ни минуты не задерживалась она. Вот эти волны были для кого-то вчера, у истока, тем, чем для меня — сегодня. Они вещали о том, что все меняется, все уходит: река в море, день в день, горе в радость. Еще о многом, об одном. О быстротечности времени: как ни спеши — не догонишь. И кроткая надежда: может, в этой подвижности есть постоянство. Мне трудно повторить, но студеная Сена, в этот вечерний час катящая, с глухим стоном, в тесном ложе зимние воды, несла с собой почти откровение: я словно почувствовала за спиною своей широкие синие крылья и небо, многопудовой тяжестью навалившееся на них.

«Я вернусь. Твоя!» — решила, отрываясь от каменной ограды. Торжественная, нерушимая печаль поднимала меня: я не чувствовала больше земли под ногами.

Горели огни театров Шатле и Сары Бернар. На площади *Saint Michel** архангел Михаил, почти греховно улыбаясь, пронзал повергнутого дьявола; из пасти драконов яростно били фонтаны. *Prix fix*-ы** наполнялись стадом жующих. И вдруг я — словно ток пронесся — ощутила всю себя, от головы до пальцев ног, на тротуаре: вечером, голодную, озябшую, одну. Как бы увидела свою сердцевину анфас и в профиль. Жалость — к себе, к своему телу, к своим красивым волосам, зря — никому — пропадающим, к своему будущему — оно замаячило, выступило, как при молнии

---

* Площадь Святого Михаила на левом берегу Сены, украшенная фонтаном со статуей архангела Михаила (фр.).

** Здесь: ресторанчики с комплексным меню по установленным расценкам (*фр.*).

очертания прибрежных скал, — ударила меня, потрясла до корней. Я подняла голову, прислушиваясь к внутренней боли: все ополчились, гибну! И вдруг, из-за этой боли, на карнизах души, в мансарде, в погребе ее, под спудом, шевельнулось что-то бесформенное, огненно-радостное, пронзающее; гордость, экстаз... поднялись, мелькнули и пропали, недоразгаданные.

Куда идти?

— Домой. «Домой», — повторила и направилась к метро. Видит Бог, с каким ужасом, отвращением я спускалась в подземелье; чего бы только не дала, чтобы в этом состоянии тошноты, полуобморока, полуистерики избегнуть страшного, отвратительного ада. Но выбора не было. Я предчувствовала: поездка, где необходим какой-то запас душевных сил, чтобы преодолеть очередные унижения и преграды, мне сейчас не по силам; но автоматически, рефлексом, ноги меня снесли на ненавистный перрон.

Вот уже некоторое время, как путешествия под землей превратились окончательно в пытку благодаря скотским приставаниям мужчин. И раньше случалось, меня дергали за руку, говорили похабные любезности, шлепали по заду, и приходилось умерять свою ярость рассуждениями, что ведь люди эти из самых низов — по-ихнему это даже комплимент, а у нас низы и того хуже себя ведут. Оттого ли, что, обновив туалет, я выглядела приличнее, или, что всего вероятнее, тут играли роль «сезонные» причины — наступал март, — злоупотребления приняли вопиющие формы. Женщина многое замечает и не любит распространяться на этот счет. Но безобразия превышали границы допустимого. Собачьи свадьбы. И уйти некуда: кругом слипшаяся толпа, одно воспоминание о которой было теперь мучительно, по тем же, возможно, непонятным причинам, по каким я только что, на улице, преследовала мужчину.

И конечно, в пути мне стало дурно. Укачало, затошнило. Я не упала только потому, что успела вовремя за что-то уцепиться; начало рвать. Не хватало воли поднести платок ко рту. Коренастый, должно быть, невероятно сильный, широкоскулый человек (мне отчего-то подумалось, что он служил в подводном флоте) подошел со словами участия, предложил свою помощь.

На первой остановке я выскочила из вагона (позже я узнала, что тут было нечто осмысленнее простого «стыда»), села в другой вагон того же состава. Снова приступ тошноты; пересиливала себя, гнула, ломала, уговаривала. На очередной остановке подошел все тот же «моряк». Он следил за мною: нельзя же так оставить человека. Он во мне тотчас же узнал русскую. «Мы соотечественники», — сказал, и это слово меня поразило.

Мы вышли из вагона. Я хотела отдохнуть на скамье, а затем продолжать путь. Он настаивал: «Нужно подняться на чистый воздух!» Я протестовала. Он меня почти силой вынес наружу; кликнул такси, усадил, заставил дать адрес — ласково, но как-то уверенно и привычно.

Мы ехали по какой-то извилистой, темной и бесконечной улице, или то был ряд улиц, друг друга продолжавших. Я лежала почти без сознания: кололо в сердце навылет. Он меня обнял и начал целовать, потом задернул занавески и изнасиловал. Я не могла шевельнуться. В груди жалобно и безразлично ныло сердце.

Соотечественник меня столкнул на тротуар.

— Деточка! — сказал он заботливо, умиленно и умчался.

До отеля оставалось несколько минут ходьбы. Прошел ли час или сутки до того, как я попала к себе, не знаю. Со стены комнаты глядело подслеповатое, виновато мигающее лицо Павла Кондратьевича. Проходя мимо, я зачем-то сорвала фотографию и швырнула в сорную корзинку.

Кажется, на следующий день, отчетливо постучав, в номер вошел моряк. Я глазам не поверила; обомлела в ярости и в испуге.

— Однако вы лихой воин, — сказала. Кто за меня заступится?

Он пришел извиниться; объяснить: был пьян, к тому же контужен в голову. Совесть ему не дает покоя; должен вымолить прощение. Он мне все растолкует: это сложные «недра».

— Я преступник, — угрюмо сообщил он.

— Ступайте вон! — крикнула что было силы, распахнув настежь дверь. — Патрон!

Ушел.

А вечером снова постучали.

Я выглянула и опять столкнулась с ним; рядом стояла дама. Он что-то объясняюще помахал рукой и убежал. Женщина нерешительно, но наседая на меня, вошла в комнату. «Я ему жена», — объяснила.

— Мне от этого не легче. Как вы смеете издеваться?! — Я заплакала.

— Мы сожалеем очень, — возразила она покорно. — Я пришла, если можно, познакомиться. Со мной то же когда-то было.

Она просидела до поздней ночи. Рассказывала все о себе — унылое: сестра милосердия, война — брюшной тиф, революция — сыпной, эвакуация — возвратный. Муж: капитан артиллерии, ранен в голову, эпилептик, приученный болями к наркотикам. На его заработки рассчитывать не приходится (карты, бега, свипстайк*). Неответствен за свои поступки — его нельзя отпускать одного: однажды стрелял в шофера, обругавшего его. Кормить надо семью; двое детей, старшей — одиннадцать

* От англ. sweepstakes — лотерея.

лет. Они все плетут соломенные туфли. Дамская летняя обувь. Она антропософка.

Я заявила, что если им это важно, то пусть, я прощаю ее мужа, но видеть его не хочу. Она согласилась, сказала, что он сам понимает и только просит не разочаровываться в искренности людского участия, что, когда меня уговаривал возвращаться в такси, он ничего в мыслях не имел, кроме хорошего, а потом вдруг «нашло», и никак не объяснишь, только он офицер и готов умереть от мысли, что обидел доверившегося ему.

Не расспрашивая, она догадалась о материальных условиях («объявления», «анонсы») и предложила давать на дом плести туфли. Я пробовала уклониться, но она настаивала, говоря, что мы теперь очень близкие, она чувствует и свою ответственность: так всем будет легче. Это мне показалось справедливым. Я решила временно принять помощь, в которой уже не нуждалась.

Пробовала обиняком задать еще несколько вопросов, но видя, какое впечатление это производит на меня, она, несмотря на свое законное, пожалуй, любопытство, осеклась.

Недели полторы я работала по новой специальности. Я плела обувь, часто улыбаясь мысли, что никогда дама, которая ее примерит, не догадается, через какое сплетение страстей, подлости, величия и смирения прошла эта пара туфель, прежде чем к ней попасть: не ремни, а венчик из живых душ обнимет ее ногу.

За двенадцатичасовой (истошный) рабочий день можно было выгнать двадцать франков. Не всегда были заказы: Анне Григорьевне, очевидно, было трудно выкраивать что-нибудь и для меня. Все же она силилась это делать.

Одна отрада — девочка.

Дни, когда приходила Галочка, ее дочь, с материалом, превратились в праздники: я ее полюбила. Ласковый, грустный, большеглазый гном. Мне все не хотелось лишать себя

этой, вероятно, последней радости; и я терпеливо ждала близкого, естественного конца. Он наступил.

Как-то она не явилась в условленный час. Миновал день, два; прибыло письмо от Анны Григорьевны. Из Бельгии. Муж чего-то опять набуянил, нагрубил чиновнику — такое несчастье, — выслали. Она никогда меня не забудет.

У меня осталось несколько пар незаконченной обуви — продала их, выручила что-то около ста франков. Ничего больше не обдумывала, не решала, само собой отстоялось: я ничего не предприму для спасения.

В эти дни, свободная, как никогда, ото всего, что обрамляет жизнь, я бродила без устали по городу, закусывая, подкрепляясь на ходу, все кружа возле Сены: я ее исходила далеко вверх и вниз, знакомясь и примериваясь, беседуя с ней, как с родным, дорогим существом, матерью или сестрой, близкой, но не совсем понятной и нелюбимой.

Слоняясь преимущественно в малолюдных местах, я никогда не встречала знакомых. Раз только столкнулась — лоб в лоб — со старым сослуживцем: с «паралитиком».

Пришлось остановиться. После первых слов приветствия он сразу начал меня убеждать (точно я уже раз отказалась) своим тихим, настойчивым голосом:

— Идемте, идемте!

— Куда?

— Да к нам. На собрание. К евангелистам.

Я подумала и согласилась. Несмотря на дальний путь, шли мы, разумеется, пешком: на этом настоял «паралитик». К моему удивлению, двигался он быстро, почти бежал, согнувшись и прихрамывая. К началу все-таки опоздали.

Немолодой, с виду упитанный проповедник, с очень несимпатичным лицом, говорил громким, ясным, должно быть, проникновенным голосом. Как я скоро поняла, он рассказывал о себе, о том, как пришел к своей теперешней вере. В его словах не было ничего глубокомысленного

или чудесного, но они казались сильными и убедительными своей простотой, точностью, внутреннею правдивостью и какой-то вразумительной зоркостью. Он рассказывал, как в молодости ужаснулся злу и беспомощности окружающего. Ему хотелось — были силы — стать лучше, совершеннее. Естественно, он обратился к науке, но знание не научило его честности. Он стал социалистом, но от этого не творил меньше зла. Тогда он обратился к учению Толстого. Этот путь, казалось, все разрешает. Надо принять социально-нравственную часть учения Нового Завета.

Это верно, но где взять умение любить друг друга? Откуда черпать силы не прелюбодействовать в мыслях, не творить дурного, не бесчинствовать? Всё хорошо, но как это выполнить? Обо что опереться, за что уцепиться? Собственных сил не хватало. Так родился его союз с Богом, Христом.

Эти слова были просты, немудрены, за ними чувствовался большой житейский опыт, даже мудрость, и, главное, они как-то беспощадно метко ударяли по мне, находя себе соответствующую колею. Я слушала, почти в каждой фразе узнавая себя, свои думы, свои лишения.

Затем проповедник попросил всех ищущих духовного мира, добра и Бога пасть на колени и просить Его открыться нам. И Господь по неизреченной любви своей не откажет ищущему — сойдет в духе, и свершится чудесная вечеря блудного сына с Отцом.

Некоторые опустились на колена. Спереди молодая женщина в немодной шляпе громко — то медлительно, то напряженно спеша — зашептала молитву-импровизацию, свидетельствовавшую о такой истерзанной, израненной, падшей, чающей воскресения душе, что рядом с нею мой жребий казался счастливым.

Но собрание скоро кончилось, и то тепло, которое встало, разлилось было по мне, заглохло, потухло, как коченеет

мотор, когда не хватает горючего. Я снова осталась во власти старых обид, унижения, мытарств и недомоганий. Кругом люди с радостно-смешными лицами подходили, здоровались, заговаривали. Слышались слова: «брат», «сестра»... Ко мне тоже обращались, но я чувствовала себя отщепенцем, чужой, одинокой, уязвленной и снисходительной.

Сто франков подходили к концу: со сложным чувством меняла последний «билет»*. Тот день я весь провела вблизи Сены. Рассеянно слонялась. Ела круассаны и уродливо-бесплодно размышляла. Не помню всего, что перебрала. И разве можно такое повторить? Окружающее меня слилось, потеряло очертания, выпуклость. Я едва помнила, мельком, как о давно, давно минувшем, свою недавнюю жизнь: последние недели, вчера, сегодня. Внутренний взор безучастно скользил по этому забытому уже ландшафту, не задерживаясь ни на чем, не придавая ему значения, как по лишенной интереса, расплывчатой картинке с выцветшими красками. Зато впечатления прошлого, в особенности раннего детства, чем дальше они уводили назад, тем большую приобретали реальность, полноту, неоспоримость. Как будто смыкался некий круг, и я подходила близко к исходным точкам.

С моего лица не стиралась бледная, отраженная улыбка; я вспоминала разные эпизоды из своего детства; проказы, игры, слезы; видела родных, далеких, себя в розовом платьице, подруг; все это воскресло, оно не умирало, оно приобретало вдруг какой-то второй смысл, сокровенный и отпускающий.

Однажды все разошлись из дому. В большой квартире остались только я да горничная. Были сумерки, горничная убирала в детской и усадила меня там же на столе. Ступая босыми ногами, она мыла пол и пела. И вдруг я зарыдала.

* Билет — здесь: банкнота.

Плакала громко, безудержно. Пришла из города мать. Она стояла возле меня (я ее обнимала ножками), строгая, рослая, в черном, недоумевающе озиралась, беспомощно утешала, стыдила, предлагала сласти, игрушки. Я же того еще пуще рыдала — так и заснула в слезах. И никто, никто не догадался — с чего вдруг?

Теперь на набережной Парижа я знала, поняла, отчего стенала тогда, в сумерки, под негромкую песню русской девушки: то было предчувствие грядущего, прозрение, проникновение в жизнь. Я узрела, что эту суровую женщину — мать — разлучат со мною; скорбь жизни, тяжесть расставания услышало мое сердце. О потери, о гибели, о неминуемых утратах вещала мне заунывная песня в сумерки. И напрасно взрослые, со всем высокомерием старшинства, утешали меня.

Время от времени в ушах звенел знакомый пустой голос: «Деточка, деточка...» Я подскакивала, ежилась, оскаливалась, изгибалась, по спине точно просачивалась газированная вода. Я не помню всего, что со мною творил моряк. Но предельно кощунственным, усвоенным, что навязчиво врезалось в память, изводя и мучая, подхлестывая, было это слово, сказанное на прощание, когда, едва завернутая в пальто, растерзанная, я стояла на тротуаре перед еще не захлопнувшейся дверцей такси:

— Деточка! — и не само слово, а выражение: рассеянности, благодарности и разочарования. Благодарности.

Я с малых лет не выношу шуршания войлочной подошвы об пол, скрипа закрываемой коробки с пудрой (если косо насадить крышку), скребка старой колоды карт, когда ее, тасуя, «режут», или треска отгрызаемых ногтей: кривлюсь, дергаюсь, оскаливаюсь, мотаю головой. И так же точно я извивалась теперь, когда воспаленная память услужливо преподносила, из какой-то своей музыкальной камеры, мучительное: «Деточка. Деточка». Головой — в воду. Чтобы

пресечь тупое ощущение внутреннего грызка, гнойной раны, заставляла себя развлекаться — останавливаться, угрюмо наблюдать за катящейся тут же у носа примитивной столичной жизнью. Люди в толпе похожи: все на одно лицо. Но если избрать какого-нибудь и долго следить, то это почти всегда занимательно.

Помню одного. Он пересекал улицу по «пассаж клутэ»*, шагнул на тротуар и на самом краю резко остановился. Его ладони, судорожно вращаясь вокруг осей, начали смыкаться, приближаясь к лицу. Именно эта необъяснимая жестикуляция — как бы отталкивание чего-то — и привлекла внимание, была первым, что я заметила, потом уже разглядев всего человека. Он стоял у края в этом месте довольно высокого тротуара в стеклянной неподвижности. Сзади, с грохотом нагнетая воздух, неслись автокары, плыли лимузины, «взрывались» мотоциклеты. Человек застыл, чудесным образом удерживая равновесие; и только руки его смыкались, медленно, скачками, и ладони плясали, дрожали, как треплемые осенним ветром листья. Наконец руки поднялись вверх, ладони повисли против лица: он защищался от какого-то лютого образа? На перекрестках звонили ажаны**, автобусы мчались с опущенными забралами: «*complet*»***... Полнозвучно и зря тратила себя будничная жизнь; а он в каталептическом величии, вытянувшись чужим себе телом, недвижно спал, унесенный в другой мир. Ближайшие прохожие уже останавливали свой бег. Это длилось всего несколько мгновений: он резко разорвал сведенные у лица запястья, отряхнулся, словно отгоняя томительное — ох, какое тяжелое — наваждение, и открыл глаза. Только тогда я заметила, что глаза смежены,

* От фр. passage clouté — пешеходный переход.
** От фр. agent — полицейский.
*** Мест нет (*фр.*).

когда он их уже открывал. Сколько усталости было в этом голубовато-мутном взоре. Руки падали, зигзагообразно и сокращенно повторяя все движения своего восхождения. Он покачнулся, тряхнул головой и шагнул, будто откуда-то из пропасти в жизнь. Несколько человек, мы смотрели ему вслед. С виду он ничем не отличался от нас. Смешался с толпой, растаял, испарился.

«Как можно? Как можно?» — повторяла я, не понимая всего. Ошеломил не столько припадок (нечто подобное пляске св. Вита[4]?), а вся постановка; внезапность, не поддающаяся учету (налетел среди шумной улицы и вырвал из рядов себе подобных; унес далеко-далеко — тело ждало, вытянулось недвижно, а душа отсутствовала, странствовала; где?).

Ведь невменяем, безответствен, а ушел вдаль (затерялся в муравейнике) — и никто ничего. Есть еще такие? Вот шофер или газетчица? Разумеется. «Моряк!» Не так, значит, по-другому. А я-то сама что замыслила. Сегодня, сейчас, либо завтра перешагну, упаду в Сену; на дно, и никто ничего. У входа в *Notre Dame de Paris** разносчики продавали открытки, планы, сувениры. Я еще не была в самом храме; все не удавалось — на минутку, мимоходом, не хотелось забегать, — с детства слышала о нем, полюбила и всегда волновалась при мысли о встрече. Как-то раз нарочно приехала, но в тот день не пускали. И сейчас, увидев перед собой открытую, резную или лепную, темную дверь и группу задирающих головы туристов, я направилась туда, не размышляя, по инерции давнего желания. Уже на пороге подумала: «Куда я? Разве время?» — и хотела было вернуться, но тут же решила: «Отчего не осуществить давнишней мечты? Даже кстати. Одно другому не помешает».

---

* Собор Парижской Богоматери (*фр.*).

В церкви плыли сумерки. У входа монахиня с фальшивой медлительностью потряхивала кружкой, в которой тускло звенели монеты. В приделе, тут же, слева, в лесу желтоватых свеч, стояла на возвышении женщина, держа на руках младенца, и не верилось, что это Богородица.

Пошла направо. Мимо распятого Христа, знамен и многочисленных кружек для пожертвований. Дальше, в центре, одетая в пышную мантию, нежно-величественная, в короне, более похожая на владетельную средневековую королеву, легкая, как кружево, парила, должно быть, парижская Богоматерь. В стороне скромно приютилась святая Тереза с лицом тихим, скрытным, знающим.

Высоко в сводах синели, голубели, розовели окна: круглые, со спицами рам и оттого похожие на колеса; и казалось, что все кругом — огромный, пустынный, таинственный крейсер, плывущий по цветным небесам.

Я села, наткнувшись на группу низеньких стульев. В полутьме изваяния походили на памятники; казалось, что я на кладбище. На пестрых витражах — цвета крыльев тропических насекомых — апостолы, повисшие в воздухе, разыгрывали трогательные, сурово-наивные сцены из Священного Писания; им помогали ослики, львы, барашки и другие библейские животные. Мимо ходили, глазели, шептались какие-то; их голоса гасли, зарываясь в камень, шаги доносились глухо, как удары лопатой. И хотелось лечь в тиши на этот пол и умереть. Чтобы положили в дубовый гроб, похоронили тут же под одной из плит. И только изредка чтоб доносились торжествующе-скорбные звуки органа или, еще лучше, одинокого хора поющих монахинь. Какое это счастье.

Пошла дальше по кругу. В центре человек двадцать аббатов в пестрых одеждах, разделившись на два стоящих за столами, друг против друга, ряда, громко читали, должно быть, псалмы. Ряд начинал, другой откликался.

И отдельные латинские слова, произнесенные почему-либо громче, путались, напоминая непривычному уху гоготание стада взволнованных гусей.

Обогнула молящихся священников, прошла решетчатой калиткой, где мне открылось прекрасное видение, потрясшее меня и обнадежившее. Я была в готической галерее, прямыми, мрачными линиями уходившей далеко вверх и вперед: на самом конце этого темного сводчатого коридора сияли огни восковых свеч и стройная монахиня в снежной наколке неторопливо творила обряд. Я подумала, что вышла за пределы доступного всем храма, что к храму примыкает монастырь, где вдалеке, в предельном уединении, Христовы невесты несут высокий послуг. О, как душа моя, ущемленная, потянулась туда! Нерешительно оглядываясь, я сделала несколько шагов, ища надпись «Посторонним вход запрещен». Мгновение спустя уже догадалась, но не хотелось сдаваться — я описала круг: и пылающие свечи, и монахиня были те самые, что стояли у входа; это они открылись взору, с другого конца, и в перспективе дремлющих колонн так сладостно, так мучительно, из глуби, меня прельстили.

А там выходные двери. И оттого ли, что смерть меня сторожила за ними, или желание как можно больше заполнить этот последний мой день, а может, сказалось и другое чувство, только я, прочитав надпись «Вход наверх через те двери. Цена два франка», вспомнила, что наверху находятся знаменитые химеры, на вышках, откуда виден Париж, и решила подняться.

Держась за сердце, шла вверх по каменной винтовой лестнице, похожей на туннель или на трубу со ступенчатым полом; громоздко, черно и непроницаемо. Время от времени в боковой стене обрисовывалась длинная узкая щель, похожая на бойницу, — при виде толщины камня, в котором прорублено древними масонами отверстие,

плечи сгибались, осознавая всю тяжесть нависшей кругом массы. И снова дуга грузно уводящих в гору ступенек-плит, одна подобная другой, все одна и та же, бесконечный подъем. Иногда коридор сужался — встречалась решетчатая, проржавленная калитка с пыльными болтами и цепями, за которой серели сумрачные галереи; и почему-то хотелось свернуть именно туда: так манит, влечет запертая дверь. В оконные амбразуры видны были сперва парадные фасады соседних домов; потом открылись задние, глухие стены, дымные, словно рваные, от разной кладки дымоходов; дворы-бочки с тинистыми, сырыми днами. Затем обнажились крыши, незатейливые, убогие, с роем глиняных труб, похожих на горшки вазонов. А там замаячило небо. Припав к отверстию, долго глотала, всасывала образ молочной бездны, реющей над отступившим городом. Это небо я видела давно, много лет назад; вдруг съежившийся город, потерявший шум и текучесть, тоже знала. Отчего же в хмуром, древнем, каменном мешке я с такой жадностью глядела наружу, хмелея? Как прекрасен мир через щелку!

И снова лестницы ровный нарез, словно дуло винтовки, отлитой для большой пули. Снизу доносился топот крепких ног, крики, молодой смех. Однако, сколь бойко там ни бежали и как я ни старалась пропустить их вперед, нам долго, очень долго не удавалось разминуться. «Как это высоко», — представилось мне. Они прошли шумной оравой, девушки-туристки, разглядывая и меня как достопримечательность; было в этом месте так тесно, что гуськом они все же меня задевали. «Пошлые лавочницы!» — выругалась, раздраженная грубым говором, непонятной речью, порывистым дыханием и всем ореолом беззаботной юности, окружавшим их. Они прошли — я вспомнила потом эту встречу, — и шум, поднятый ими, очень скоро и совершенно внезапно оборвался. «Скоро площадка», — догадалась; и эта сообразительность мне доставила одинаковую боль

и радость. Я зло улыбнулась. «Этот ум, смелый, точный, столь любимый мною ум, должен погибнуть, — вскрикнула душою. — Ведь сейчас конец!» И беспомощное недоумение подступило, залило, как бы накачиваясь в меня, поднимая чуть ввысь, лишая веса и желанной опоры. Тело обрекают на гибель — это почти уже понятно; но что будет с моими способностями к языкам, со знанием таблицы умножения? Куда денется искусство из нескольких второстепенных данных сделать отважный общий вывод? У газетного киоска, где висят журналы с восточными заголовками, я всегда вспоминаю кошачьи зрачки, перпендикулярно надрезанные, похожие на азиатские рисунки букв; достаточно только вспомнить «Голод» Гамсуна, чтобы у меня разболелись зубы: я читала эту книгу ночью, во время первой зубной боли. Что станется со всеми этими особенностями, знаниями, оттенками, качествами? Сгниют? Но это не мясо. Ответ все ускользает; как близко, однако: прыгнуть бы, догнать, додумать. Без хлеба, без крова, без друзей, видит Бог, не поэтому я должна умереть. О, как легко я могла бы пройти мимо этих невзгод. Оглянулась по сторонам: стало вдруг страшно. Держась за грудь, бросилась вперед, прыгая через ступеньки. Мелькнул молочно-светлый прямоугольник — выход на первую площадку. Вынырнула наружу. Девушки-туристки, опередившие меня, с серьезным вниманием изучали доступное глазу, видимо, смущенные и боясь показать, что разглядываемое не поражает их и не занимает.

На каменных перилах, бегущих вдоль узкой открытой галереи, стояло крылатое, рогатое существо с горбатым носом, опирая характерный подбородок о ладони рук и внимательно глядя вниз, оно словно старалось осмыслить, проверить, понять открывающееся ему; казалось, оно уже раз видело, но честно, желая убедиться всеми доступными средствами, снова припало, напряженно, добросовестно и спокойно всматриваясь в даль, — и лицо

его вот-вот содрогнется пред ужасом представшей ему правды.

Немного поодаль застыла большая птица; с головы ее ниспадала, скрывая контуры тела, как бы шаль, что — с горбатым клювом — придает ей сходство со старой злой ворожеей. Ее клюв широко раскрыт. Захлебываясь от горя, радости и страха, она упоенно каркала. Она вещала про смерть, голод, войну; разливы рек, поветрия, землетрясения; убийства, кровосмешения и пожары. Ее надо было убрать, Каинову птицу, дубинкой размозжить череп, но ее почтительно обходят, и столетия она продолжает изрыгать проклятья на беззащитные головы обывателей.

Взмывали тучные голуби; бородатые апостолы голубовато-зеленого цвета, похожие на каменщиков, лестницей всходили и нисходили. На кресте игрушечный петух мечтал о летнем ветре. Колокольни казались картонными. С кружевной громоздкой легкостью взбегал гранит.

Побрякивая ключами, подошла рыхлая женщина, привратница. Она торговала открытками, брелоками, планами и др. Туристки приобрели несколько снимков собора и тут же, на каменных перилах, надписали их, поделившись на несколько пар или троек, став друг к другу спиной; и сразу стало очевидным, что там, на своей родине — Голландия, Скандинавия? — они не все между собою равны и близки.

Внизу — перешагнуть! — стелился пористый ковер, и сверлила дума — голова кружилась, — что так и невозможно, и легко прыгнуть.

Привратница сообщила — кто не пойдет с нею, не увидит колокола. Все повалили за нею, и по странной природе человека я тоже. Нас провели через низкую тесовую некрашеную дверь. Ступеньки — неровные, деревянные; пол — настил из досок; все напоминало маленькую сельскую мельницу. Рыхлая привратница, как все гиды, почти не скрывала презрения к нам, оттого что она в роли проводника, а мы

послушное стадо; что мы — глупые, осматриваем ненужные и неинтересные вещи.

Колокол, огромная туша серо-зеленого цвета, сосредоточенно покоился меж сваями. Не было впечатления, что он висит. Привратница заставила всех, и меня в том числе, взойти под колокол. Мы поражались не ширине его, не толщине стен, а высоте — глубокий, убегающий в седые потемки купол. Потом привратница возвестила, сколько тонн он весит, ударила по нему в различных направлениях железным скобелем, показав многообразие, чистоту и величественность издаваемых звуков; и предложила всем выйти. Она стала у дверей — рука копилкой, — сперва глядела, бегло, что в нее попало, затем — в лицо дающего; и благодарила.

Туристки повалили на верхнюю площадку. Я замешкалась немного, чтоб подняться одной. Привратница у своего ларька домовито вязала. Внизу шныряли рои машин, точек, гусениц. В госпитале *Hôtel Dieu** распахнулись ворота, и выехал закрытый автомобиль — должно быть, «Скорой помощи». Не торопясь пробили часы.

На верхнюю площадку долго поднималась по такой же крутой — только еще уже — лестнице; и опять через узкие скважины глядели на меня лучистые образчики небес. Кое-где, на сумрачном камне, как на могильных плитах, были жадно выцарапаны инициалы и даты.

Наверху — просторный мир. При закатном небе Париж влажными складками уплывал за черту. Я долго ходила кругом по вышке, впитывая, запечатлевая волнующий вид отступившего, заглохшего города, как бы давно оставленного смертными, — побелевший, потерявший определенность линий, просветленный.

---

* Отель-Дье (фр.) — больница, основанная в Париже в VII веке. Расположена в непосредственной близости к собору Парижской Богоматери.

Глубоко, далеко стелились кладбищенскими склепами игрушечные строения, разобщенные узкими рвами; и среди них траурными кораблями дымно носились главы церквей. Сахарно-белый, на холме, *Sacré Coeur**, налево, должно быть, *St. Germain des Prés***; еще, и еще, и еще купола, пагоды, кресты и колокольни. Что-то плоское: триумфальная арка, Пантеон? Ликерная бутылка — Эйфелева башня. Под канатами мостов, в плену, спит Сена. Не видно, чтоб она текла, волновалась, — раба, проститутка, покорно опочившая в гранитной засаленной парче. Она так мала, ничтожна, что просто обидно: в ней мое спасение? На этом жалком дне? Ничтожная лужа. А ведь я должна умереть. Должна, а не хочу. То-то оно и есть. Не хочу. Не могу (участвовать). Господи, как прекрасна жизнь, только какой-то мелочи недостает — необходимой, а чего — не поймешь. Распахни мои глаза, Господи, меня тащат, тащат — озиралась я, чтобы лучше разглядеть, кто тащит. Кругом — никого, и все же я чувствовала, как в колодках, на аркане меня волочат к проруби; я вырываюсь, пячусь, не хочу, — точно во сне, когда даже «спасите» внятно крикнуть невмочь, — но все ближе и ближе топь. Небо, необычайное небо парижского заката, реяло вверху. Спокойное, совершенное, уводящее. На западе собрались бруски облаков, и, как это часто бывает, солнце, прорвавшись меж ними косыми лучами, внезапно разлилось розовым нежным багрянцем. На горизонте город таял в молочном тумане, казалось, что он окружен со всех сторон дремучим лесом; а там, в рдяной росписи, меняя ежеминутно оттенки, вспыхивали, по-

---

* Базилика Сакре-Кёр, или Святого сердца (*фр.*) — католический храм, построенный между 1876 и 1910 годами по проекту архитектора Абади в северной части Парижа на холме Монмартр (высота 130 м).

** Самое древнее в Париже бенедиктинское аббатство, основанное в начале VI века. Памятник архитектуры романского стиля. Расположено на левом берегу Сены.

тухали, разгорались ржавые поля заката, убегая меж растопыренными пальцами облаков: там — тихая, райская обитель, где нет ни печали, ни воздыханий. Так прекрасен был этот приоткрывающийся мир, так бесчеловечно жестко давило близкое, окружающее, что совершенно серьезно мне захотелось перепрыгнуть через перила и, шагая над городами и селами, пройти в эту зовущую страну таких совершенных красок. «Господи! Что же мне делать? — неистово взмолилась. — Полон, насыщен окружающий меня свет, но туго, веревками, перехватили всё существование пошлости, тупости, незначительности крепко впившимися пиявками-цепями».

На площадку взошла пара: накрашенная и парень в берете. Полуобнявшись, они остановились, измеряя взглядом Эйфелеву.

Я бесцельно кружила по четырехугольнику вышки. Внизу каменные стены насупились, потемнели, может, благодаря перемене освещения; но мне мерещилось, что они хмурятся за неопознанную красоту мира.

Парень закурил папиросу, потухшую спичку бросил за перила, барышня засмеялась; выпуская облака дыма, какие бывают вначале, пока раскуриваешь папиросу, он полуобнял свою спутницу и, нагнув голову набок — щека к щеке, — повел к каменной вышке; не взглянув в мою сторону, они скрылись.

Я пробовала продолжать свое ни к чему не обязывающее кружение, но в голове застучала мысль, мутя и подхлестывая: приближается вечер, через полчаса меня отсюда погонят, идти некуда — смерть. Слово «смерть» ничего не означает: я внутренне оглянула, ощупала всю себя — от первой до последней возможности — и увидела: лёд! Показалось счастьем: если б все по-старому! Усмехнулась.

«Надо молиться. Надо молиться», — где-то зашевелилось чувство раздражения, бессилия; я старалась его

отогнать, стряхнуть. Эту трусливую ярость мне случалось испытывать во сне — когда тщетно отбиваешься от неуязвимого преследователя.

Я царапала перила, металась по каменной вышке, пробуя физическим усилием освободиться из плена, что-то прорвать, вылупиться из какой-то скорлупы. Потом застыла недвижно, вся напрягаясь чем-то внутри, чему название только — душа; я чувствовала, что могу сейчас упасть замертво, но в то же время знала: меня окружает завеса, все путающая, скрывающая правду, однако если хорошо теперь напрячься, то она может рухнуть, взвиться, и я увижу то, без чего нет жизни.

«Господи! Освободи меня. Освободи! — шептала бесконечным шепотом. — Сейчас. Господи, освободи!» — чувствуя такое смешение желаний, инстинктов, посулов, отчаяния и надежд, в коем разобраться мне не дано.

Прошло мгновение необычайного напора всех сил. Я боялась перевести дыхание, полагая, что от любого движения, колебания все может кончиться, распасться, съежиться: вместо радужного столба неземного, но человеческого счастья, который, подобно смерчу, начинал приближаться, я увижу опять постылое, что окружает человека: небо, крыши, лица и пр. без их внутренней связи, веса и меры; не как целое, сплавленное, слитое, озаряемое одним сиянием со мною, а собрание разнородных предметов, повернувшихся друг к другу спиной; я снова найду себя — ублюдком, отрезанным ломтем, без места, самому себе осточертевшим, травимым всеми зайцем.

«Господи, Господи! Что это? — онемело повторяла, уже труся: сейчас, ведь в невменяемом состоянии, я могу упасть, заголосить, испариться?! — Что это?» Кто-то во мне делал судорожные усилия, стараясь — как будто это очень важно — удержать контроль: ложный ли это стыд или боязнь давно жданного, всеразрешающего и непоправимого? Близость

несущейся, победоносной силы и вложенный в человека роковой инстинкт отпора? И в этой борьбе неистовой от физического противления, нематериальной стихии высекся, вспыхнул огонь.

Я свидетельствую тут о чудесном и в то же время о самом реальном, что когда-либо случалось со мною.

На меня хлынул поток, ударивший меня в грудь. Скрючившись, цепляясь ладонями, все еще как бы упорствуя, я упала на пол, укрываясь от трепавшего меня ветра. Я слышала шум бури над головой, широко вещавшей и ломающей многое. По всему телу рокотало пламя. Свистящий ураган пронизывал меня. Дух, страшный своею неисчерпаемостью, дул, слегка только, краем задевая меня; я чувствовала: если напор чуть увеличится или продолжится еще немного, от меня мокрого места не останется.

Лежала, отдавшись, с закрытыми глазами, пригнув голову, как во время сильного шторма; заденет — снесет, раздавит. Сердце вздувалось, разливалось, заняло все тело: оно билось всюду со все ускоряющейся быстротой, вены и артерии горячими трубами опоясывали тело; я слышала свист, необычайный, острый. Мощный дух вливался в меня. Я задыхалась от страха и тяжести. Он раздирал на части, проходя насквозь, расщепляя на атомы все молекулы и клетки, и благость его была в том, что только часть волны шла на меня.

— Спаси. Не убий. Пройди скорее! — почти кощунственно молила. — Я не могу. Прости. Я сейчас умру...

Сколько это продолжалось? Не ведаю, что творилось кругом, хотя я все же сохранила одно впечатление внешнего мира — впечатление его неподвижности. Медленно приходила в состояние покоя — не в себя: со мною явно что-то произошло, и та, к которой я вернулась, существенно отличалась от прежней. Вся в облегчающих, безотчетных слезах — с шумом в ушах, —

смятая, расслабленная, как роженица, я улыбалась растерянной, изнеможенной, блаженной — птичьей — улыбкой. Едва сознавая, что наконец произошло долгожданное, что только снилось и предчувствовалось: таинственное, благостное, непоправимое, главное... и, хмелея, захлебываясь от этой победы, я поднялась на слабые, гнущиеся, как после кризиса, ноги. И вдруг почудилось опять приближение знакомого уже рокота. Заслонив голову, собравшись, я прождала и этот порыв. Он прошел стороной со все ослабевающей силой: последний вихрь ушедшей бури. И снова дикая, растерянная, младенческая усмешка — незаслуженного, непонятного, но прочно обретенного вдруг счастья.

Я заговорила вслух, бессвязно, не только потому, что было трудно подбирать нужные слова, но это казалось ненужным, неважным, противно-мешающим.

Пришла сторожиха, объявила, что закрывают; я отвернулась, боясь ее обидеть беспричинным смехом. Ей бы надо было «все» рассказать, но я не сумела; в глазах светились слезы. Не заметила дорогу вниз. По тротуарам ходили еще не знавшие всего и потому озабоченные люди; хотелось их порадовать, поведать о случившемся. Какой-то инстинкт меня удерживал. Я экономила в каждом движении, походка изменилась: шла, как ходят с доверху наполненным сосудом, стараясь ничего не пролить. В груди чувствовала одну точку — часть сердца, оно отчетливо, казалось, замедленно, покойно, равно-мирно сокращалось, я ощущала его биение, не прикладывая руки, в любом положении; оно чуть болело, и было что-то невыразимо прекрасное, укрепляющее и нормальное в этой боли. Там, в груди, зажглась, словно горела, свеча, и это от нее исходило тепло, и свет, и счастье; надо было только сообразовать каждое свое движение, желание и мысль, чтобы не притушить, не уменьшить, а, наоборот, раздуть и укрепить отзывающееся на все пламя. И то, что увеличивало этот свет, было добро; а то, что могло погасить

его, было зло. Больше не надо колебаться, страдать от сомнения; я знала «все», так как непосредственно ощущала живое тепло в груди, подобно градуснику, обрела меру всему, и это одно уже могло насытить счастьем, но еще неожиданнее было полное согласие, симметрия, равновесие.

Мне говорили, что Бог всюду, во всем; разумеется, я это слышала, но, когда собиралась молиться, шла в церковь или у себя становилась на колени, по детской привычке, у кровати, захватывая взглядом часть неба и образок, шептала что Бог на душу положит. Теперь я и не думала молиться, но весь мой путь домой (и дальше, потом) был сплошным общением, молчаливой беседой с Богом, тем горячее, тем интимнее, что не надо было глядеть куда-то вверх, а, наоборот, углубиться в себя, окунуться, внедриться, так как Бог был, светил во мне; и единственно достойная часть меня оказалась слитой, связанной с Ним — словно восстановилась забытая циркуляция, — и беседовать с Ним было так же просто, и необходимо, и легко, как мыслить и дышать.

Все, что терзало, мучило прежде, раскрошилось, осыпалось шелухой; все, что мнилось неотвратимо-важным, оказалось только чудовищным нагромождением теней; я удивлялась, как можно было придавать значение. Не то чтоб я увидела, как все обойти, — совсем об этом и не думала — оно уже не существовало. Ну что такое Павел Кондратьевич, «деточка», служба, Ленька? Они выцвели, отстали, их отнесло в сторону; настойчивой и мудрой рукой меня вели к цели. Но это уже рассуждения, а тогда я не мудрствовала, потому что ни к чему было; мне открылось все, что нужно для жизни, — без чего: стойло, — а остальное меня не занимало.

О, в какой неизреченно-блаженной, сосредоточенной, просеянной атмосфере я двигалась!

В вагоне метро села было, но тотчас же уступила место ласково поблагодарившей старухе. (Как жаждала служить!)

Пассажиры глядели на меня светло, с уважением. Случайно ли, но среди них встречались приятные, человечные лица: пусть крашеные, порочные, жирные, угреватые, но вовсе не злые и, главное, не противные, а знакомые и родные. Отношение ко мне тоже изменилось: не приставали, но в то же время не чуждались: замечали, оказывали знаки внимания. В дверях не толкались, не теснились — кто спешил, прошел вперед, — и в каком-то сплошном, взаимном, возвышающем всех уважении, извиняясь и уступая дорогу, мы пересели на *Nord-Sud*. Несколько мелких, такую радость мне доставивших услуг соседям вызвали тотчас же ответный, радужный сноп.

Домой шла, прислушиваясь к отчетливо, слышно мне, бьющему сердцу. Оно выстукивало целые фразы; одну фразу; я нашла текст: Господи, вся Твоя...

И опять: Господи, вся Твоя. Я чувствовала сердце, оно немного кололо, но боль эта была иная: переносимая, желанная, точно необходимая для сохранения нового состояния (пустить корни). И я подумала со страхом: может быть, то, чего я удостоилась, приблизит мою смерть, может, оно дается только обреченным? Вполне допустимо: слишком остро и, возможно, не по силам человеческим такое общение с Богом. Но тут же с уверенностью решила, что Отец в доброте своей неисчерпаемой, вероятно, меня исцелит. Однако и мысль о смерти не испугала. Как будто духовная гроза, испепеляющий огонь, лившийся в мои поры, разъединил, разложил ткань на основные части, и я восстала перерожденная, явственно и отчетливо разделенная на телесную оболочку и нутряное «я». И что мне до разлуки с хилой, надоевшей плотью, когда единственно близкое, существенное оставалось навеки со мною. Такое рассуждение книжно, мне знакомо давно. Крайняя убедительность заключалась в том, что теперь я так чувствовала, а не размышляла; и не так еще, а гораздо острее, ярче

и глубже; только желая, готовясь кому-нибудь растолковать мое видение, я подбирала эти не совсем исчерпывающие предмет объяснения.

Обычно, возвращаясь поздно в свой номер, я сочиняла горячий ужин, всем разумом заботясь о здоровье, памятуя, что за весь день ничего почти не ела. Улыбнулась самой мысли: казался отталкивающим процесс еды — жевание, глотание, переваривание; отвращение увеличивалось догадкой, что этим я, может, частично взбаламучу наступившее просветление. Но тут же осенило: «Не объясняется ли все случившееся сегодня именно голодом, истощением и прочей физиологией?»

Решила подкрепиться: восстановить обычное равновесие.

Вся тянулась к Евангелию: хотелось уже открыть книгу, читать. Но я постановила проверить себя и в этом, не усугублять возможного влияния, лечь поспать, убедиться, не случайно, не преходяще, не лживо ли то сознание законченности, счастья, истины, с которым я двигалась, словно с драгоценным кувшином на голове: не поломать, не расплескать.

Мне представлялось: если после ночи отдыха я проснусь без своего блаженного, молитвенного подъема или хотя бы с несколько ущербленным, значит, все это не «то». Воззвав: «Не оставь меня, не отбирай света радости и любви — единственно желанного и сущего, — Боже...», — я усилием воли выключила, остановила этот ровный поток слов, непрерывно расшифровывающий теплые волны, лучи, испускаемые мною в пространство, выполняя принятое решение: не воздействовать. Я была похожа на нищего, которому возвестили, что он, вероятно, унаследует имущество Креза; его ввели по просторной аллее в особняк, позволили расположиться как душе угодно, но намекнули: «Может, близкий родственник еще найдется,

тогда придется вам уходить. Это выяснится в ближайшие дни». Бедный человек должен был ответить: «Я лучше поживу в своей норе, пока вопрос не разрешится окончательно».

Однако все это — в мыслях. Чувством же я ни в чем уже не сомневалась. Улыбаясь блаженно, сосредоточенно, сквозь пленку радостно-тихой грусти (за ушедшие впустую годы, свои и чужие?), предвидя всю необыденность наступающей жизни, отдаваясь ей, счастливо посмеиваясь и благодаря, я легко, без усилия, по-новому, незаметно перешла — уснула.

Проснулась невзначай (не как обычно), с ясной, свободной от тяжкой путаницы едва осознаваемых кошмаров головой. Солнечное утро; пегий сноп золотистой пыли ложился косо в окно. Я очнулась с улыбкой, со счастливой негой на губах, с тем самым сознанием умиленного приобретения, с каким легла, сразу ощутила широкую плоскость сердца, а в нем таинственную жизнь. Легко оделась, двигаясь бесшумно, сосредоточенно умылась, напилась чаю, не позволяя себе торопиться, как перед поездкою на вокзал, когда времени много, или перед радостным свиданием. Наконец, прибрав все, трепеща, взялась за Евангелие: так, волнуясь, приближаются к двери покинутого дома, где протекало детство.

Читала не отрываясь. С ровной жадностью пила в продолжение нескольких часов. Это было чудесно: я поняла; все объяснилось. 16-я глава от Иоанна вскрыла меня; растолковала вчерашнее. Ведь я, случалось, перелистывала эту книгу, но, Боже великий, по какому таинству оставался до сих пор не познанным мною вес всё тех же строк! Бывало, не замечала того, что теперь содержало всю меня, от кончиков ногтей до внутреннего дыхания, без чего не было ничего. Не часть себя нашла я там, а себя частью того; и не так еще, а больше, лучше — несокрушимое тождество.

«Надлежит вам родиться свыше»: мое рождение. Огонь обрушился, грозный, воинственный и священный; от божественной любви в нем было только то, что, будь он на йоту сильнее или продолжительнее, от меня бы ничего не осталось, таково впечатление. Я поднялась с колен преображенная. Я, первородная, близкая Богу, огнеупорная, исшедшая из Него, родственная Ему, очистилась в этом огне от всяческих плевел, отсеклась, отделилась — во всех проявлениях, в разуме и в чувстве — от формы, скорлупы, к которой приросла; и я познала меру, вес своей души. «Пошлю вам Духа Истины, Утешителя, который наставит вас, как жить». Это Его, Его Дух Истины, совершенный, родной, таинственный, обрела я в себе с того мгновения. «Я уйду и пошлю Его вам». О, как реально, материально он был тут и утешал, как благостно и одухотворенно. «Сие есть заповедь моя, да любите друг друга».

Ибо нет большего счастья — вот что открылось. Не как возвышенное учение, не как идея, не как проповедь, не как путь праведный, а как насущная потребность, единственная возможность жизни, как немедленное, конкретное удовлетворение и счастье. Я давно знала — должно любить, давно полагала — хорошо любить: наш Бог Христос это сказал. Но таинство свершившегося крылось в том, что любить сделалось «легко» и «можно», это стало нормальным состоянием души: как естественно для легких дышать. Отдавать себя, приобретая Бога — наяву, на ощупь, — и почти невозможное оказалось доступным. Подставить правую щеку ударившему в левую стало единственно понятным, и действенным, и простым. Сколько свободы, уверенности, воли; не знаю; не то; счастье.

«Не оставлю вас сиротами». Я всегда была сиротой. И скорбь, и радость. Вся книга оказалась знакомой: как бы с детства, а то и раньше, — часть меня, предтеча.

Нельзя было оторваться от жаркой струи. Так бы и пила: днем, ночью. Но принудила себя. Решила погулять, обдумать. Перед выходом глянула в зеркало, увидела лицо, которое окрестила «молочным». Пошла от *Porte de Versailles* куда-то дальше, за город. Светило солнце; и впервые за всю жизнь я увидела мир освобожденным от зла, прекрасно завершенным. Камень, сырой камень пригородных строений, покрытый мхом, просветлел, озарился изнутри: я узнала тот же дух, что во мне, который и есть ядро всего, корень существующего.

Я уразумела: все терзания от расхождения — потери непосредственного общения — с этим Живым Духом; и как тухнет лампа, когда выдернули штепсель, так коченела моя душа. Я христианка, родилась в православии и, несмотря на все возмутительное, что делали люди, окружавшие меня, всегда сохраняла веру в какое-то бессмертие души. Но мысль, что тело мое — червям... добивала. И вдруг я познала, доподлинно и осязательно ощутила себя оторванной от плоти. Вот рука, поднимаю ее — синие жилки. Что мне до нее? Это ли я? То потная, то холодная, ровно срезанные ногти, что в ней от меня, ликующей, благодарящей, ратующей за вечное?

Я узрела: смерти «моей» нет. Мясо — прах, но «я» не мясо. И так весь «мир»: камень и дерево... все бессмертно в духе своем, а смертное не «мир». Впереди по немощеному тротуару ковылял старик-нищий. Когда-то, встречая такое, я вздыхала: «Убогий, калека, социальные, моральные проблемы, неуютная жизнь и скоро, ох, скоро смерть». Теперь же я глядела на него, все улыбаясь сквозь торжественно-жалостливые слезы: хотелось подойти, взять за руку и спросить, знает ли он, что смерть и зло побеждены, что спасенье доступно, что все одухотворено, мудро и столь неизреченно добро? И если не знает еще, то, обливаясь жаркими слезами, рассказать ему все и поклясться, что это так.

Я шла вдоль железнодорожного полотна; оно лежало в узком глубоком овраге, стороны которого, покрытые зимней растительностью, отлого и симметрично поднимались вверх. Неподалеку виднелся мостик, переброшенный над полотном. На противоположной стороне, освещенной солнцем, было по-весеннему ярко и звонко. Я ступила на мостик. В овраге сновали пыхтящие локомотивы, и оттого низ моста был покрыт смолистой сажей и копотью. Я подумала, что это может быть образом сегодняшнего: перехожу с теневой стороны в светлую, из смерти в воскресение, из печали в радость, а доски моста обкурены жирным дымом существования; так, чтобы перейти рубеж, надо подняться немного над жизнью.

Снова и снова начинала допытываться, вспоминать, как же это произошло, вклиниваясь памятью во все подробности своего второго рождения, ища ему словесного отображения, уразумения. Вдруг заметила, что чувство мое меркнет от этих мозговых усилий, и я поняла: нужно только дышать, лицезреть вселенную, отдаваться — подставлять себя — воле, разливающейся по мне, творящей нужную работу, — больше ничего. Я шла оторванная от окружающего — в себе, — не глядя на редких встречных, легко и свободно ступая, умиляясь мысли, что я, видимо, так же неутомимо двигаюсь по духовному пути. И вдруг снова почувствовала: радость меркнет. Остановилась, озираясь, ища возможной причины: протрясся грузовик с росписью «*Samaritaine*»*, прошел жандарм, за ним старуха в бретонской наколке?.. И мне открылось: безумие, слепота пропускать мимо себя людей, не оказав им предельного внимания. Как лучше: слушать Бога в душе, внимать Его теплу и свету в мире или всячески пытаться уразуметь Его? Так всего важнее: не пропустить ничего

* Универмаг в центре Парижа (*фр.*).

живого, встречного — шофер такси, старушка в кринолине — без улыбки; кланяться всем и благословлять. И еще я поняла, что важнее всего самого главного и серьезного — это любить. Всех и все, без сомнений о достоинстве, так как не для них любишь, а для себя: как в миру тело, чтобы жить, должно есть, так душа, чтобы не замерзнуть, стремится любить, до конца, непрестанно; а без этого — стойло.

Так шла я, как по саду, бережной походкой — не расплескать бы, — беспрерывно прислушиваясь к голосу, обретающемуся во мне. И не было мне отказа. Когда сомневалась: так правильнее либо этак?.. — сосредоточивала взгляд вовнутрь: «Так лучше?» — в ответ меркнет сияние. «Так?» — снова разгорается. Да горит оно вовек. В сердце ощущала постоянную, тупую, легкую и приятную боль; словно какой-то физический, трехмерный предмет вклинился туда. Опять подумала: может, это превращение мне не по силам, не опередило ли только собою приближающуюся смерть это чудесное прозрение? «Ну чего ж, — уверенно решила, — и это воля Бога моего Живого, а покамест хорошо потрудиться: сколько во мне еще вздора: все щекочет догадка “значит, я избранная!”».

Христос — рядом, в помощь. Как просто, как мудро.

«Может, это наркоз?» — спросила и отмахнулась: если он сделал меня лучше, достойнее и ровно счастливой, без депрессии, то почему мне пугаться этого, когда весь мир принимает и готов принимать всякие бальзамы, сулящие только относительное облегчение. Но всячески толкуя и докапываясь, я, однако, не переставала улыбаться — как зрелый словам дитяти, — знала: на все ответ будет, муки кончились, спасена.

Дома состряпала обед — с чувством, что не зря, подкрепилась, несколько раз прочитала 15 и 16 главы от Иоанна: я была точно нанизана на лезвие этих строф. Потом

приступила к записи, на свежую память, происшедшего: решила, что мое пробуждение значительно в каждой мелочи, одинаково ценно как для меня, так и для других; безмерная обязанность моя — все запомнить, воспроизвести, передать. Села за давно уже не раскрываемый, столь опостылевший в отсеченном прошлом дневник. Записала.

«Чудесное мое рождение, вчера 14 марта 193... Радость, свет в сердце. Не расплещу.

Шум бури над головой. Я спрятала лицо: раздавит. Сердце раздулось, стучало — у предела; вены и артерии ширились, тянулись. Дух вливался в меня; я ерзала от страха и опустошения; дух как гроза, как разлив, широкий, мощный, могущий и уничтожить; до того сильный порыв, что благость чувствовалась единственно в том, что это только часть стихии Отца: увеличь Он капельку или продолжи еще — и я взорвусь, обуглюсь... Кощунственно молила остановить этот таящий в себе и уничтожающую силу поток, пронести мимо, дать передохнуть. Было два приступа (второй зачаточный: явно испугалась и не желала). В ушах шумел водопад; все во мне раздиралось и распадалось. Время шло стороной, не задевая: только свист. И меня подняло на ноги обновленной, враждебной злу, все растопив во мне, сделав иной, очистив от печали, оставив в сердце непоколебимый вес добра. Любовь, всеблагословение, счастье. Веру. Любовь. Дух Истины. Утешитель... Будет хорошо, други. Надежда явная на победу. Блаженная, идиотская улыбка. Назавтра то же. Главы Иоанна. Соответствует!» Гуляла: солнце, земля, мост (к иной жизни). Мир спасен и не ужасен. Нищий, бездомный — не страшно; калека, а улыбаюсь. Мысли проповеди людям, но важнее пить радугу, брызжущую повсюду (мысли мешают, переводят в другой план). А еще важнее, не отвлекаясь, «любить», улыбаться встречным, дарить благо всему живому. Реальное

счастье, впечатление осязания — Слова Любви. Что есть во вселенной: люди, их искусства, наука, ремесла... должны сближать с Духом Истины, расчистить путь Утешителю. Один в поле воин. Я, вооруженная Богом Живым.

Тогда же осенил образ, который исподтишка грезился мне всю жизнь: я ухожу в монастырь. Но что-то для меня оставалось неясным; в связи с этим решила поехать советоваться с людьми, которым имела причины доверять.

В метро было по-зимнему тепло, людно, оживленно; я приглядывалась к попутчикам, упорно восстанавливая красоту замысла, неумело творя, осваиваясь с техникой евангельской любви. Смотрела на крашеных старух, на усатых торговок, на туберкулезных дам с рельефно выступающими бедрами, твердила: «Совсем не противно, ничем не брезгую и вовсе не дрянь». Все для меня тоже расщепились на две половины, и я, под запущенной, облитой жиром и мясом внешностью, научилась замечать подлинный, священный, родственный плод, достойный любви, жалости и уважения. И любить стало доступно. Всячески поддерживала, разогревала в себе чувство преданности людям. «Ты славная, славная...» — повторяла, взглядывая на каждое новое лицо. Мужчин сторонилась, не смотрела; из боязни не то смутить, не то быть плохо понятой. Грустная мысль: ах, если б стать двуполой, тогда любовь та же, ко всем. Но отмахнулась: значит, так полнее, а мне только сначала трудно. Езда, спешка, толкотня — жизнь наша. Как все изменилось: не гадость это, не «трата времени и сил зря», а поле для деятельности, место героической борьбы, непрестанного исповедания веры.

Рассказала о своем желании постричься в монахини. Меня отговаривали, объяснили, что этого совсем не надо делать, и во всяком случае — преждевременно.

Я осталась.

Получила место *femme de ménage**. Грубая работа, а исполнять легко: беспокойный червь стяжательства не грыз больше меня. Уже не надо было во что бы то ни стало «выбиваться в люди», корить судьбу, скорбеть, не к чему спешить («время-то уходит»), завидовать, терять желчь: моя «карьера» — все сокровища и будущность здесь непрестанно при мне; ощущала ежесекундно свое богатство в груди и была покойна.

Радость, под влиянием испытаний, временами меркла, временами разгоралась еще ярче. О том, как закаляла в себе волю к любви, как находила ей применение в современных условиях, как силилась не прерывать общения с Духом Истины (творя истину, постигаешь ее во всей целительности); а также о разных людях, встречавшихся мне, об их страстях и добродетелях, о дерзостной отваге, нужной, чтоб не растерять своей духовной клади, — обо всем без конца бы оповещала.

Она умерла. Она умерла в понедельник 29 августа, на рассвете (обычный час).

Мы сделали все, что рекомендуется в таких случаях, но спасти ее не сумели. Два человека, вооруженные всем опытом предыдущих веков, — два Гулливера, в броне стерилизованных халатов, в марлевых масках, с засученными рукавами, гремя пилами, щипцами и долотами, окруженные машинами и приборами, глухо роняя приказания, в сиянии новоявленного рыцарства, угрюмые и усталые, мы долгий летний день рубились за ее жизнь.

Внизу, за шкафом дежурных сестер, под сурдинку рокотал *T.S.F.*** Больную дважды клали на операционный стол. Мы освободили ее от плода. Шестимесячный мальчик с рас-

---

* Домработница (*фр.*).

** От фр. transmission sans fil — здесь: радиоприемник.

кроенным черепом лежал на подносе в позе выпавшего из гнезда птенца. Она потеряла слишком много крови, и ничто ее заменить не могло: ее сердце медленно остановилось. Его хотелось сжать руками, толчком заставить биться, но это не помогает.

В летнее время — *grandes vacances** — бывает мало больных и, естественно, еще меньше умирающих. Оттого, должно быть, *chef de clinique*** выразил желание лично сделать вскрытие: он писал научный труд и постоянно нуждался в свежих органах. Я тоже обещал присутствовать (отдать долг?). Но обязанности меня задержали; я опоздал на вскрытие. В мертвецкой кроме этого тела был еще один труп, возле которого теснились врачи из другого отделения.

Закинув вверх почти прекрасное лицо, она лежала, вытянувшись всем своим хорошо сложенным, смуглым телом, с той свободной, античной уверенностью — не стесняясь наготы, — какую я наблюдал только у покойников. Линия вскрытия прошла по середине груди и живота, внутренности были вырваны и изрублены на ломти. Сторож в засаленном халате собирал на каменном столе куски органов и бросал их вовнутрь трупа. Потом, вооружившись толстой иглою — какой шьют мешки — с бечевкой, соединил разрез ровными, тугими стежками, точно зашнуровал. Шнуровка прошла по середине груди — казалось, мертвая, она одета в причудливый сарафан, в какой одевались женщины феодальных веков.

Врачи за соседним столом кончили работу и, направляясь к выходу, остановились поглядеть на труп женщины. Мы долго стояли полукругом, молча, навеки запечатлевая образ этой сильной, казалось, так щедро одаренной фигуры, ее лица, опоясанного гладкими,

* Время отпусков (*фр.*).
** Директор клиники (*фр.*).

мерцающими, тугими косами, поводили лбами, что-то нашептывая, вздыхая. Я имел причины считать этих людей пошляками, но эта минута была для меня уроком: мне хотелось пожать всем руки, низко кланяться и благодарить.

Ее лицо было светло и удовлетворенно, ласково и нежно, казалось, она улыбается, но такого неба, такого синего неба в улыбке я еще не видал; лучистые, подвижные, теплые и неприступные черты ее уводили, уносили — куда, куда? Вдруг я почувствовал, осознал в себе: зависть. Я, тщательно причесанный, сытый, в чистой рубахе, завидовал ей, с «тихим» лицом, на липком столе. Это длилось мгновение — ожог, удар тока — и шло изнутри, иначе об этом не стоило бы упоминать.

* * *

Из всего, что довелось слышать, а также благодаря доставшейся мне тетради дневника, который покойная, до известного времени, вела с некоторой отчетливостью, сложилась эта повесть. По случайной неизбежности она вышла хронологически последовательной, расчлененной во времени, тогда как в пору рассказа все точно покоилось в одном плане: словно то, что открылось героине — иначе не назвать — лишь в конце, вернулось и озарило своим светом начало, и все события погрузились в субстанцию этого сияния. Так, если смотреть в микроскоп, ядро клетки обрамлено океаном протоплазмы, независимо от того, в каком порядке она зарождалась.

Строя ее исповеди, я не сумел передать, как не мог повторить, всей окружавшей нас ночной тишины госпиталя; неподвижное и переменчивое кружево теней, покой и бдение, крик старика и вздох ребенка, кашель, нагромождение, сдавленность — потому что в трех шагах

темно, и в то же время простор, перспектива убегающих коридоров, этажей и корпусов; прозрачное лицо сестры в белом и шум стекающей воды в писсуаре; нагромождение боли, затаенных дум и запахов: запах белья, дезинфекции, спирта, согреваемой воды, уборной и смерти; страх и скука, серо-зеленые блики и первые, освобождающие, грубые шумы рассвета; и я у изголовья кровоточащей женщины с лицом Богородицы; и еще что-то — может быть, сплав всего, — что нам не дано подсказать, но что, без сомнения, самое главное.

Немногочисленные знакомые, вероятно, без труда узнают героиню этой повести; родных у нее, кажется, нет (Павел Кондратьевич не в счет), и все же по каким-то неясным побуждениям я не решился огласить ее имя; сочинить же не счел достойным — так и прошла она по книге: без имени.

1932—1933 Париж

КОЛЕСО

Повесть

I

В проходном дворе, где когда-то стояли заборы и где чинно дежурили расставленные квадратами дрова, встретились два мальчика, Сашка и Сеня.

С земли несло укатанным, чуть-чуть стаявшим снегом; а с той стороны, где летом люди видели, как встает солнце, кто-то холодный дул большим ртом, разгоняя тучи.

— Здоров!

— Ишь ты. Здоров!

— Идем кататься.

— Нельзя, нужно лед занести.

— А ты занеси, я подожду!

Сашка стоит, смотрит на Сеню и колеблется.

Лед надо занести сестре. «Тиф», — мелькает у Сашки, и перед этим словом он теряется. Но ведь так хорошо катиться с горы; с высокой горы скользить на санках и только чуть-чуть касаться земли краями каблуков. «Пойду», — решает Саша.

— Ты подожди, Сеня! Я одним моментом!

— Быстро! Раз, два!

Сашка бежит. Маленький, в старой, с блестящими пуговицами гимназической шинели, бежит он и несет перед собой обеими руками тяжелую корзинку со льдом.

«Оно ничего, я поставлю и уйду, а потом приду, — думает Сашка, — скоро и няня придет посидеть».

Сашка живет сейчас только с сестрой. Когда-то их было больше. Была целая семья, был целый дом со своими радостями, со своими печалями. Была мать, к ласкам которой привыкли; был отец, который всегда откуда-то приезжал и всегда что-то привозил, и нужно было угадать, что именно он привез.

Сейчас Сашка остался только с сестрой, и никто уже не приезжает, и нечего угадывать.

«Когда уж кончится этот тиф?» — недоумевает Сашка, и жалко ему свою сестру Надю, жалко до слез, что ей нужно лежать в их темной комнате. И главное, что выхода нет.

«Ну а как выздоровеет, то что?» — спрашивает себя Сашка. И кажется ему, что, даже когда выздоровеет сестра, будет плохо. Что ей вообще нечего уже делать. Жалко ему, а себя не жалеет; для себя он всегда что-то находит, какой-то исход. То на село пойдет, то в Сибирь уедет. «А вот Надя...» И сколько Саша ни ищет — не может он найти для нее дело.

А лед тяжелый, вот только еще двор перейти. И то пора: Сенька и так браниться будет!

Сашка подымается на лесенку и хочет открыть дверь, но дверь заперта, и сколько ни стучит Сашка — хозяйка не идет открывать.

— Надя! — кричит Сашка у окна, стараясь, чтобы его услышали через двойные рамы. — Надя, лед у сторожихи!

И когда Сашка кричит, ему кажется, что кто-то в комнате тоже кричит, но стоит ему умолкнуть — в комнате тоже молчат.

А комната через окно смотрит чернотой. И совсем нетрудно понять, что страшно там лежать одинокой девушке. И совсем нетрудно поверить, что за стеной горит в тифе кто-то, кто видел лучшие дни, а сейчас, молодой душой и пробитым чахоткой телом, думает о том, что жизнь, кажется, уже кончена.

Сашка это понимает, и оттого таким страхом сжимается его сердце. Хоть уже не дитя Саша!

«Отчего же она молчит? Отчего ж она молчит?» — с ужасом думает он. А темное окно хмурится, и совсем легко поверить, что за ним смерть.

— Надя, лед у сторожихи-и-хи! — Сашка. — Ты слышишь?

Холодеет Саша от этого молчанья и стоит за окном, поднявшись на цыпочки, потом влезает на завалинку

и припадает к окну. Но в комнате черно; в углу у шкапа и печки, где стоит Надина кровать, видит Сашка белое пятно, но какое пятно?.. Разобрать не может.

— Надя, лед у сторожа-а-а-а! — кричит Саша в самое стекло, и так дик его голос, что этого крика еще больше пугается Сашка и щелкает зубами. Но теперь Сашка отчетливо слышит:

— А-а-а... — что-то отвечает ему Надя.

— Что?

— А-а-а-и-и!

Не слышит Сашка, и этот крик, слабый, придушенный, так страшит его. Качая неодобрительно головой, со слезами на глазах, он в последний раз бросает о сторожихе, льде, сейчас няня придет!.. И бежит от окна, торопясь, желая скорее вытолкнуть, забыть этот надрывающий сердце крик и эту черную яму, где они живут.

II

В этом году они катаются по-новому. На простых санках надоело, и вот они соединяют дощечкой коньки и мчатся вихрем с горы.

Коньки словно чувствуют, какое удовольствие они доставляют своим седокам, и капризничают, будто требуют ласки. Хорошие ездоки — ездоки, что славятся на всю улицу, как, например, Саша и Сеня, — действительно не жалеют ласк конькам; а по их примеру и другие нежно похлопывают саночки, взбираясь на гору, чтобы снова съехать.

Кто хорошо правил, тот съезжал с горы, смело пересекал трамвайную линию, снова натыкался на горку и скатывался оттуда прямо на ледяную чешую реки, долго стуча по ней коньками. «Вот как катаются у нас!» — задирали они носы.

Сашка и Сенька подошли к толпе мальчишек: Васька, Ваня, Володя, Куня... Серьезные, торжественные, не отвлекаясь ни шуткой, ни смехом, они готовились к спуску.

— Подожди! Сволочь! — распоряжался Саша.

— Сейчас! Ух, холера! — торопился Сеня.

Ждали сигнала с улицы. Наконец свисток: один, другой — трамвай прошел.

— Пусти!

— Пошел!

Смело застучали коньки по чистому льду; рвались в сторону, но чутко слушали и покорялись поспешно Сашке.

— Крутись, крутись! — кокетничал он. — Я тебя покручу!

И коньки понимали, что он покрутит, и решали лучше не баловать. Все быстрее и быстрее, все покатее гора, и Сашка понимает: если б коньки сейчас заартачились, то худо бы ему пришлось.

— Ниже, ниже, нагнуться, направо, — шепчет Сашка уж после того, как нагибается, как крутит направо. И послушные, трогательные в своей преданности коньки легко несут на своей дощечке; со свистом вырываются на сквозняке улицы, пересекают трамвайную линию и в сплошном тумане выносят Сашку на лед реки.

«Кабы трамвай! — думает Сашка, легко балансируя на узеньких полозьях. — Уф, конец!»

А теперь надо взбираться наверх, и чем короче путь вниз, тем длиннее этот подъем. Поднимается наверх Сашка и думает, какую бы машину изобресть, чтоб наверх тоже въезжать?

Потом едет Сенька, а Сашка отдыхает. Сенька едет молодцом. «Почти как я», — думает Сашка.

Развалясь, под острым углом, чутко балансирует Сеня, корчит рожу от восхищенья и кричит: «Э-э-э-э!»

А наверху стоят мальчики с чужой улицы в меховых воротниках и уверяют девиц, что Сеня не умеет править.

«Вот идиоты! — думает Сашка о них. — Завидуют!» А вот и Сенька; улыбающийся, гордый, он подходит.

— Здорово! Здорово! — одобряет Саша.

— А что?! — улыбается Сенька. — Да, здорово! — подтверждает он сам и гордо оглядывается.

Сашка тоже улыбается и думает о том, как Сенька еще молод: никак не поверит, что есть люди, которым такое его удальство не нравится.

«Эх, кабы поесть чего-нибудь», — вздыхает Саша. Он только что, правда, пообедал в столовке, но без завтрака и без ужина этот обед быстро испарился.

— Эх, кабы поесть! — опять кряхтит он и вдруг чувствует, что санки изменили свой бег и что он летит с них. И в ту же минуту, как понял это, ударяется боком о забор.

Сильной боли не было (хоть и болело); но было стыдно, и какая-то ненависть вдруг охватила Сашку к тем мальчикам в меховых воротниках, которые сажали к себе на колени девиц и, подмигивая друг другу, с гиком мчались на больших санях, труся и тормозя.

А Сенька уж бежит на помощь, будто Сашка сам не может подняться! Сашка подымается и, стараясь не хромать, идет вниз за санками.

— Упал? — ржут мальчики с чужой улицы. — Упал!

— Ух, вы!.. — кричит Сашка им прямо в лицо. — С тормозом, с тормозом ездишь небось!

Подошел Сенька, подошел Володя, подошел Куня; стало тепло.

— Как это ты? А? — спрашивает Сенька.

— А так, задумался и уже! — сердится Сашка. — Ну не умею, пошли вы... Тоже!

И снова катятся. Но Саше уж не хочется... Болит бок, голодно, мокрые чулки замерзли и натирают ноги; а ко всему этому вдруг так захотелось пойти к сестре, посидеть с ней. Взгрустнулось Сашке.

— Бедная моя, бедная, — шепчет он, устало сгорбленный, плетясь домой. — Что-то будет еще? — И видно по его плечам, что уж много перенес он, и видно, что еще много перенесет.

III

— Слышь, Сашка, не буди ты ее, Надю-то, пускай поспит. Выспится, здорова будет, — говорила старушка.

— Ладно.

— А ты тоже ляжь! Чего в темноте зря сидеть?

— Ладно, ступай себе.

— Ладно да ладно, а не жрал сегодня? — не то радуясь, не то печалясь, спрашивала старушка, которая выкормила Сашку и Надю и приходила сейчас посидеть часок с больной. — Не жрал, говори?

Сашке кажется такой вопрос совершенно излишним. Каждый день спрашивает она его об этом, и когда он ей отвечает, она сейчас же с какой-то странной радостью шепчет:

— Вот-вот, я и говорю! А хотел бы кусок хлеба?

— Да.

И опять она начинает, не то радуясь, не то сокрушаясь:

— Вот-вот! Нет его, родимого, нет. Я и говорю.

От всех этих говорений Сашку тошнит, он сидит около черной облупившейся печки и старается согреться. Сбоку стоит постель Нади, и Сашка в темноте как-то сомнительно косится на нее.

Ему ничего не видно; вытянувшись, она лежит с укрытой головой, и Сашке кажется, что она подглядывает в щелочку.

— Нет его, родимого, нет! — говорит старуха. — А ты в темноте будешь сидеть? — спрашивает она недоверчиво, и Сашка знает, что она зря спрашивает, чтоб только еще немного с ним побыть.

— Нету свечек, значит, нету?

— Нету, — нетерпеливо бурчит Саша, желая покончить с этими вопросами.

— Нету? Вот-вот, я и говорю, что нету! — радуется старуха.

— Будет уж, будет. Ступайте себе, завтра пораньше придете, — выпроваживает ее Саша.

— Пойду я, Сашенька, пойду. Не трогай ты Надю; бедные вы мои, бедные; дай только на Надю погляжу, — она подходит и наклоняется над Надей.

Саша видит издали темное пятно на постели (близко его не подпускает старуха) и недоумевающе вздыхает.

«Тиф», — мелькает у него. И когда он думает об этом, то всегда видит большими буквами написанное: «ТИФ». «Тиф...» — с почтеньем читает Сашка. Представляется ему почему-то господин в котелке, какого сейчас и встретить нельзя; а господин этот идет с пузатым чемоданом, из которого торчат отовсюду пряди волос.

— Ну, ну дела! — вздыхает Сашка.

— Прощай, Саша! — шепчет старуха, накрывая Надю. У двери она снова спрашивает: — Сахару-то нет?

Этот вопрос был уже совершенно излишен, он был даже смешон, и старуха, не дожидаясь ответа, вышла.

— Сахар, — кривится Сашка, презрительно улыбаясь. — Лимон, может? Или пирог! Ась! Шляется тоже! — Немного погодя: — Темно, кабы темно-то не было!..

И Сашка вспоминает то время, когда в доме всегда было светло и можно было вынуть из шкапа что-нибудь поесть, а потом залезть в постель, жевать да читать вкусную книжку про храбрых и прекрасных людей. Читать и думать, смог ли бы он, Саша, быть тоже таким отважным, и замирать от восторга. А иногда почитать и серьезную книгу. Саша не только романы читает. Взять этак серьезную книжку, посмотреть, сколько в ней страниц, разделить на каждый день и читать, чуть не лопаясь от гордости; потом выйти на улицу и задаваться новыми словами.

— Главное, что темно! — разводит Сашка в тоске руками. — Кабы кусочек хлеба да кусочек свечки.

В комнате темно, душно, и мыши, уже позабывшие те дни, когда по вечерам из угла в угол с безразличным видом прохаживался кот, веселым галопом скачут по полу. А то затеют спор и начнут весело драться, капризно пищать. Сашка не любит мышей, Сашка, можно сказать, боится мышей и то стукнет ботинком, то крикнет, косясь на сестру.

— А чтоб вас повыдушило! — ругается Саша.

Вдруг он достает спички и начинает их зажигать. Чирк... загорелась спичка, но мыши совсем не испугались, как ожидал Саша. Тогда он начинает кидать в них горящими спичками.

— Надя, Надя, — тихо пробует Саша. — Спит! — тоскует он. — Ах, кабы свет да кошку, как по-старому! То-то же, и книгу бы, и покушать бы!

Но тут Сашку поражает мысль, что, может, когда-то, когда у него был свет, сидел кто-то другой так же, как и он сейчас, в тоске и голоде.

— Дела! — удивляется Сашка. — А может, он никогда не будет иметь того, что я имел. Как же это так?

Раньше Сашку интересовало только то, что касалось его самого или Нади, но с некоторых пор его начали мучить вопросы «общие» — как он называл, — и он занимался их разрешением.

— Да, как же им? — храбро ставит себе Сашка этот вопрос. — Всем поровну поделить, чтобы всем одинаково! Вот к примеру: купил кто-то два листа бумаги, на одном книгу написал, а с другим в клозет пошел, как же так?

Справедливо ли это? Надо, чтобы везде была справедливость, не только среди людей! Бумагу, мол: пол-листа сюда, пол туда; человек: немного так и немного этак; а если кто добровольно хочет, пожалуйста!.. — радуется Сашка. — С нашим удовольствием! Вот как должно быть! Дела! — сам себе дивится Сашка, торжествуя. — И так и будет, о, будет!.. — В то, что это всё будет, Сашка твердо верит, даже на митинге

говорили, он сам слыхал. — Только мы должны погибнуть, которые уже родились. Потому — колесо революции! — тихо шепчет Сашка такое важное слово. И видит он это колесо, большое, большущее, а внутри как бы ложи сделаны, и сидят важные люди, с усами и без усов, все пишут, как, и что, и когда. А около них, как в саду, оркестр играет вальс. — Красивый такой! — жмурится Сашка. А колесо крутится, все крутится; музыка играет, а под колесом только ноги чьи-то да руки видны. Вон узнает и себя Сашка под колесом, вон мама, старший брат; только головы видны, а музыка красиво так играет: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». И мечтает Сашка, что вдруг над барьером наклонится какой-то господин, увидит Сашку и сразу поймет, что он, Сашка, может пригодиться и наверху, и прикажет Сашку вытащить.

— Я понимаю! — шепчет Сашка. — Даром что отец буржуком был. Я сейчас все понимаю: голодать нельзя! — убежденно шепчет он. — А ежели погибнуть нужно, для добра, значит, чтоб голоду не было, — я готов. Потому колесо, колесо революции!..

И Сашке вдруг хочется отдать свою жизнь, отдать этому колесу, на котором играет музыка, но только чтобы всем было хорошо, всем, всем.

— Я все понимаю, — повторяет себе Сашка.

Темно, быстро стынет печка.

«Спать, что ли, пойти?» — думает Сашка. И идет босой по холодному полу к постели. Сбрасывает блузку, потом штанишки; старательно перевертывает простыню на другую сторону, подушку... Потом стягивает рубаху, осторожно вывертывает ее наизнанку и надевает снова. Эту операцию проделывает он по несколько раз за ночь, с давних пор горьким опытом убедившись, что иначе вши ему не дадут заснуть. И когда вши с новоселья перебираются опять к телу, Сашка торопливо слезает, снова вывертывает наизнанку, чуть-чуть потряхивая его, белье и валится спать.

Сашка в эту ночь здорово выспался! Он проснулся лишь в девятом часу, торопливо оделся и, думая, что еще очень рано, поглядел на постель сестры.

«Ничего, спит», — подумал он. И на цыпочках вышел из комнаты, запасясь чашкой.

Он шел к соседке, будто за кипятком. В коридоре соседки, на столе, сушилось нарезанное тесто; вот это-то тесто и решил Саша раздобыть на завтрак.

Налив в чашку кипятку и ответив соседке на вопрос «Как Надя?», что ничего, дескать, спит под одеялом, Сашка думал, как так изловчиться с тестом, чтобы никто не заметил.

— А ночью? — не отстает соседка.

— И ночью спала! — покорно отвечает Сашка.

«Пускай поспит: здорова будет!» — повторяет Сашка слова няни, юркнув в коридор с чашкой. По дороге хватает горсть теста, сует в карман, потом еще горсть и на цыпочках входит довольный к себе, где, пугая своей неподвижностью, лежит сестра.

— Пускай поспит — здорова будет! — мурлычет Сашка и берет горсть нарезанного теста в рот. — Тесто, как есть тесто! — разочарованно протягивает он.

Однако он жует его и, чувствуя горечь во рту, заставляет себя проглотить. Склизкий комок застревает в горле. Сашку тошнит.

— Нужно его сварить, — решает Сашка. И бросает тесто в горячую воду. Погодя немного, вытаскивает ложечкой комок и проглатывает с горькой-прегорькой миной.

— Безвкусица какая! — решает он. — Нужно посолить.

Он бросает в чашку горсть соли, мешает ложечкой, снова подкидывает соли. От одного вида этой мутной соленой воды ему не по себе; но он себя заставляет есть.

— Это ведь рассол, — убеждает он себя. — Можно и воду выпить!

Он отпивает немного горячей соленой воды, потом съедает кусок теста и снова хочет отпить. Но тут Сашку опять тошнит, и на этот раз так решительно, что он не успевает оглянуться, как уже стоит над ведром...

В кухне шаги.

«Хозяйка!» — мелькает у Сашки. Оторвавшись на секунду от ведра, он подскакивает к столу, хватает чашку и выплескивает все в ведро; прикрыв тесто бумагой, он снова наклоняется над ведром, чувствуя слабость в животе и горечь во рту.

— Дела! — беспомощно кряхтит он.

Вошла соседка.

— Что ты там делаешь? — сует она голову за шкап, к Сашке.

— В Ригу еду! — конфузится Сашка, косясь на кусок теста, который он сплюнул на пол.

— Куда?

— В Ригу.

— Что такое? — спрашивает оживленно соседкин муж, входя.

— В Ригу едет! — изумляется она.

— Ага, это ничего, пусть водицы изопьет, — советует он. «Дела», — думает Сашка, принимая воду.

— А как Надя?

— Спит! — отвечает Сашка, прикладываясь к кружке.

Во рту страшно жжет, и ему кажется, что вода поможет. Он набирает полный рот воды, закидывает голову и с громким шумом полощет.

Вдруг он чувствует: удар в щеку; что-то щелкнуло в зубах, отозвалось в ухе, и, повалившись на пол, он с недоумением оглядывается, держась за щеку.

— Она же умерла! — визжит соседка над ним. — Разбойник, холера ты! Байструк*!

* Байструк — незаконнорожденный.

— Кто умер? — вскакивает Сашка на ноги. Смотрит и в первую минуту совсем не ужасается, а сразу все понимает: Надя умерла!

Вытянувши ноги, с одной рукой, застрявшей под телом, а другой, нелепо сжатой, как будто целясь из пистолета, лежала она; и странной была чернота ее будто обуглившегося лица.

Сашка не знал этого черного лица. Чужое лицо! А поверил, что это Надя!

— Ишь ты, умерла! — тихо говорит Сашка, зачем-то отряхиваясь. — Конец, значит? Тоже колесо? — спрашивает он покорно хозяйку.

— Да ты обалдел? Какое тут колесо! Умер человек, ну и хоронить надо! — говорила соседка. — Ты, Саша, старайся, за няней побеги, старайся! Чтоб у меня неприятностей не было! И так тошно!

— Я ничего! Отчего же не стараться! Я постараюсь! А насчет неприятностей; так это еще неизвестно, кто кому больше их делает. Да, — тихо говорит Сашка. — Нужно прикрыть ее? — спросил он. — Чего ей раскрытой лежать?

— Известно, нужно! Беги, Сашка, за старухой, уж она знает!

Надев куртку, Саша бросился к двери, но от дверей круто повернул, что-то вспомнив. Он подбежал к Наде, наклонился, но тотчас же отпрянул и, сердито взглянув на соседей, выбежал.

— Совсем обалдел! — сказала соседка.

Сашка, высоко подкидывая продранные сапоги, бежал и, глотая слезы, падая и подымаясь, думал свои думы.

— А сейчас как же? — спрашивал он себя. — Один я?..

Четверть часа объяснял он старушке:

— Умерла!

— Умерла, — дивилась старуха. — Умерла?

— Да, Надя умерла! — твердил Саша.

— Вот-вот, я и говорю, что Надя умерла! — словно радовалась старуха. — Вчера это вижу, лежит она, будто и не жива, авось, думаю, очнется. Авось, думаю, очнется, а Сашеньку на ночь пугать не следует. Ан вот и умерла!

— Идем, что ли? Будет уж!

— Идем, Сашенька, идем! Умерла, значит, Надюшка-то?

— Умерла! — рассвирепел Сашка. — Душу вымотала, идем уж!

И они быстро пошли. Пошли, как ходят серьезные люди: степенно и молча. И каждый думал свое, и издали они странно друг на друга походили: молодой и старая.

IV

Прошло несколько дней. Сашка встретил своего старого соученика: Куню.

— Здоров, Сашка!

— Здоров!

— Умерла?

— Не твое дело.

— Я тебя как товарища спрашиваю, Саша. И у меня брат умер. Чего задаваться!.. Схоронили? — спрашивает Куня, выпячивая кверху голенище нового сапога.

— Схоронили, — отвечает Сашка, смотря в сторону.

— Хочешь, давай компанию устроим? — предлагает вдруг Куня, выпрямляясь.

— Какую компанию? — интересуется Сашка. Вообще он любил иметь дело с Куней. Еще в гимназии, давно-давно, когда деньги Сашке не были нужны, Сашка сиживал на переменках в буфетной, попивал чаек с пирожками и выслушивал доклад своего компаньона, Куни, по продаже марок. Куня загребает деньги, это верно, это он умеет. «О, с Куней делать дело, — думает Саша, — можно!»

— Какую компанию? — повторяет он.

— А торговлю открыть, — холодно и как будто равнодушно бросает Куня, и глазки его разгораются. — Свечами торговать будем. Я тебя приму компаньоном. Дай тыщу рублей деньгами иль векселем, и будем торговать.

Сашка предпочитает дать вексель. Денег у него нет.

— Хорошо, — соглашается Куня. — Но к векселю нужно дать залог. Потому что сам знаешь: торговля! — объясняет он.

Начинают перебирать, что годится в заклад.

— А ты дай старое пальто свое! — решает Куня.

И через час с двумя десятками свечей, где-то раздобытых Куней «в кредит», как он уверял, они отправились на работу.

Они шли по базару, оглядываясь опасливо по сторонам, потом входили в какую-нибудь лавку, и Куня говорил:

— Купите свечи!

— Свежие свечи, — добавлял Сашка.

Их щупали подозрительно глазами, оглядывались, шептались, Куня убеждал, Сашка помогал.

К вечеру они явились в склад — как говорил Куня, — с кем-то считались и, получив по двести рублей, разошлись, полные радостных надежд на светлое будущее.

Сашка тотчас же достал хлеба. Полтора фунта хлеба принес он домой; и с тремя стаканами сладкого кипятку съел его, гордясь своей самостоятельностью.

Живот вздуло горой, и хотя его распирало, но Сашке это было приятно вначале.

— Ишь, нажрался! — радостно дивился Сашка. — Ишь, нажрался!

Всю ночь Сашку распирало, гадкая отрыжка ползла изо рта, в тяжелом сне ему казалось, что тяжелым обухом бьют его по животу.

А мыши скреблись по углам и с писком прыгали по столу и по никем не занятой сетке, где раньше лежала Надя.

— Чтоб их разорвало! — стонал Сашка, пробуждаясь от тяжелой дремы. — Чтоб их разорвало, подлецов! — почти плакал он, растирая себе живот. И думал, что если бы была жива Надя, то он бы с ней поделился хлебом и сейчас ему не было бы больно.

— По фунтику можно! Даже с удовольствием! — шепчет Сашка, нашаривая рукой сапог, чтобы кинуть в мышей.

И он бросает сапог туда, где веселятся мыши. Сапог ударяет в стол, катится и с тяжелым стуком падает на сетку пустой кровати.

Сашке больно, что сапог ударил туда, где лежала Надя.

Сашке боязно взглянуть, что это там так скрипит.

А мыши, словно справляя новоселье, весело скачут и ведут хоровод; и Сашке сквозь сон кажется, что эту комнату снимает, собственно, не он, а мыши и что его, Сашку, они терпят только из милости.

Проходила ночь по земле, и во тьме ее Сашка торопливо вывертывал белье наизнанку.

V

Тася предложил пойти сыграть в карты. Куня с Сашкой согласились.

— Деньги есть? — спросил их Тася подозрительно.

— Есть, есть! — успокаивали они его.

— Сколько? — не верил Тася.

— По тыще! — клялся Куня.

Они пошли. По дороге Сашка забежал в столовку пообедать.

Сидя в уголку, Сашка хлебал свой суп и глядел на вошедших товарищей с портфелями, среди которых он узнал бывшего своего знакомого Грудка. О, Сашка помнит, как Грудок с матерью переехал к ним во двор и как они с Куней, увидев незнакомого мальчика, быстро нагнали его.

Грудок стал, они тоже стали, с удивленьем рассматривая его зеленое лицо.

— Ты кто таков? — спросил Куня.

— Не ваше дело! — ответил Грудок.

— А, так ты так отвечаешь у нас во дворе? — спросил Сашка и огрел его по шее.

— Я вам не товарищ! Босяки! — закричал Грудок и бросился бежать...

— Вот этот самый Грудок один из первых начал величать всех товарищами. О, это был парень с головой! «Сволочь, но голова!» — говорил о нем Куня.

Сашка хлебал мутную водицу супа, смотрел, как Грудок читал какие-то бумаги и как «завхоз» суетился около, поддерживая рукой левую щеку, все время дрожавшую мелкой дрожью.

Зеленое лицо Грудка стало еще зеленее, он узнал Сашку за тарелкой с супом и ласково кивнул ему головой, слишком ласково.

Сашке стало обидно от этого кивка. «Сволочь!» — думал он. И вспомнил, как они вместе основали «Союз отроков», где Грудок был председателем, а он секретарем. Сашка помнит, как их избрали на первом митинге «с объявленьями»; как он, Сашка, выступал тогда с речью и объяснял, почему необходим «Союз отроков» и что бы было, если бы его не было. Правда, он раз запнулся, забыл, что хотел сказать. Но в чистой белой рубашке, с гимназическим пояском, с восторгом в голосе он был так мил, что сидевшие сбоку представители от кого-то, среди которых были даже люди с усами, дружно хлопали ему. Сашка понимал, в чем тут дело, но это ему не портило настроенья, совсем нет. Считая, что для начала и это хорошо, он деловито проверял билеты. Но Грудок этого не понимал, и когда, взойдя на кафедру, провозгласил, что будет говорить об учредительном собрании, а молодая аудитория не пожелала его слушать, он начал плакать. И только тогда, тронутые слезами, ему дали говорить.

Сам Сашка тоже не одобрял эту излишнюю любознательность. «Что такое учредительное собрание?» — спрашивал себя Сашка и сомневался в целесообразности этой темы.

Вспоминая сейчас это светлое время, Сашка понимал, что его тогда обижали. Так, например, сначала его избрали председателем, и он уже вооружился тяжелым звонком, чувствуя звон в ушах и не зная, что именно нужно сейчас сказать, как вдруг поднялся шум. Кто-то кричал, кто-то протестовал, снова избирали. В результате Грудок вынул из рук Сашки звонок и занял председательское место.

Сейчас Сашке было лишь обидно, но тогда?

Тогда он ходил по залу, и светлые волны ходили по жилам, а солнце играло в стеклах окон, в его кудрях и так ласкало Сашку.

«Сволочь!» — убежденно думал Сашка, медленно принимаясь за кашу и глядя на толстый нос Грудка. И вспоминал, как заказывали печать, как кричали на собраниях и как он, Сашка, жаловался, что не может поспеть записать все в протокол. Тогда Сашка получил, по их понятиям, пониженье: из секретаря был сделан казначеем.

«Что хотел, то делал!» — решает Сашка... Но ведь Сашка бил Грудка не раз, а сейчас он пошел в гору: с тех пор как вышел из тюрьмы!

«Голова парень!» — добавляет он, вспомнив, как спорил Грудок. Правда, его никогда не хотели слушать, и речам его всегда предшествовали обильные слезы, но это ничего!

Раз они продавали литературу на какой-то лекции в театре. С красными повязками «С.Д.» продавали они весь вечер, и Грудок ухитрился отложить на плитку шоколада.

«Голова, голова!» — шепчет Сашка, сбегая с лестницы на улицу и спеша в клуб.

На улице таял снег. С громким шумом сбегала мутная вода в каналы. С крыш падали талые сосульки.

VI

Когда Сашка пришел в «клуб», игра уже была в полном разгаре.

Метал Тася. Осторожно оглядывая и ощупывая, раздавал Тася карты, зорко следя за банком.

Сашка решил подождать, как и следует солидному партнеру, а не вступать в середине круга.

Все были одеты торжественно. Им нравилось играть в куртках с форменными пуговицами и гербами. Куня был даже в мундире с золотыми галунами.

Обыкновенно с самого начала вели себя чинно, но уже со второго, третьего банка забывали, как ведут себя в Английском клубе[1] (по рассказам Таси), и, шумно крича, впивались глазами в пальцы банкомета.

— Карты мечены! — решительно крикнул Сенька.

Он проиграл, но ввиду того, что открыл карты немного раньше, чем следовало, он нашел возможным не уплатить.

— Ух ты, сволочь! Подожди, подожди! — кричал Тася. — Карты не дам, пока денег не покажешь! Деньги на стол, вот как в Английском клубе!

Сам Тася, когда проигрывал кому-нибудь из новичков, карт не бросал, а только говорил:

— С меня!.. — и многозначительно кланялся, считая, что этого вполне достаточно. Если новичок протестовал, то Тася рассказывал ему, как поступают в Английском клубе:

— «С меня!» — и больше ничего не говорят! Понял? «С меня!» — и больше ничего! — объяснял Тася, живописно поводя рукой.

— Стук! — объявил Тася и прикрыл деньги рукой. — В банке семьсот пятьдесят рублей!

— Дай-ка мои! — протянул руку хозяин квартиры, бывший учитель Сашки, Таси и большинства собравшихся.

Когда-то он содержал училище, где воспитывал детей по системе Фребеля[2], как уверял родителей. О, с каким важным видом входил он в класс, награждая по пути своих питомцев щелками линейки! Вслед за ним шла его дочь, неся молоко. Он пил молоко, говорил о своей болезни, драл за уши и в свободное время, набивая папиросы, рассказывал детям о политике, давая, как он говорил, общее образование.

О, он был всегда великолепного мнения о своих учениках и предсказывал им великую будущность. Но когда, еще осенью, Сашка сорвал банк в пятьсот рублей, он не смог сдержать своего восторга и, принимая свой «рублик со стука», говорил жене:

— О, я всегда говорил, что Саша далеко пойдет!.. Не так ли, ма шер?

Все-таки эта встреча с бывшими питомцами после продолжительного перерыва, за карточным столом, вначале конфузила наставника. Он оставался в стороне, молчал, получая небрежно свой рублик. Но постепенно, привыкнув, он начал принимать более активное участие, горячиться. Решал, кто кому должен, судил спорные вопросы; когда поднимался шум, он грозно кричал:

— Тише, у меня не балаган!

С некоторых пор он начал даже поигрывать и довольно смеялся, получая свой выигрыш. А когда его жена завела тянушки*, он совсем раздобрел. И если поднимался шум, он уже не кричал, а, легко похлопывая гостей по плечу и подмигивая, говорил:

— Не скушать ли нам ирисочку?!

А игра у него велась солидная. Благодаря его присутствию она даже приобретала исключительный характер и притягивала мальчиков из других «мест».

Но не всем позволял он играть у себя, о, не всем!

* Тянушки — конфеты (тянучки, ириски).

— Каждого босяка я впущу сюда?! — спрашивал наставник у своих питомцев, и, польщенные доверием, они соглашались с ним.

Правда, иногда происходили ошибки, и почтенного гостя принимали за босяка, но гость, предъявивший билет четвертого класса, всегда оставлялся.

Да, это место славилось на весь город. Многие тщетно мечтали быть там принятыми. Особенно с тех пор, как Володя вынул наган из кармана и, прикрыв им деньги, крикнул: «Ва-банк!..» С тех пор репутация клуба решительно установилась, и навсегда. Правда, Куня пробовал в свою очередь тоже стукнуть смит-вессоном[3] и покрутить барабан; но эффект получился не тот, решительно не тот!

Зато Куня пользуется успехом в другом месте. Он бьет себя кулаками в грудь и рассказывает, как с матерью идет на базар, как мать выторговывает товар на «николаевки»* и как он, Куня, вынимает смит-вессон из левого кармана, крутит барабан, потом кладет его в правый карман, а мамаша в это время отсчитывает означенную сумму «обыкновенными». Торговка принимает деньги, кляня свою болезненную страсть к старым бумажкам, и они отходят.

— Принимает, потому что боится! — объясняет Куня своим слушателям. — В сто раз дешевле покупаем!

Рассказ нравится, и многие обещают испробовать этот номер.

Тася, конечно, снял банчок.

— Не такой, как в английских клубах! — скромничает он. — Но и это пригодится.

О, какая музыка в этом слове: «банк»! Сколько дрожи, сколько страху, сколько ума нужно положить, чтобы дойти до стука! «Банк стучит! — мечтает кто-то вслух. — Банк стучит!»

Сенька мечет банк.

---

* Николаевки — дореволюционные деньги, то есть эпохи Николая II.

Навострив уши, кусая губы, Сенька мечет. За всем нужно уследить! И самому! Никому не следует доверять — таков принцип Сени. Прямо хоть разорвись!

Работы действительно много. Нужно уследить, чтобы Тася не надул. Нужно следить за лицами играющих, ибо тут дело в психологии. Нужно считать; нужно следить за своими картами и за картами партнеров; за своими деньгами и за деньгами других. В нужный момент прихлопнуть их рукой, показать кукиш, и, главное, никому, даже отцу родному, нельзя довериться. Таков принцип Сени. Работы много, и он мечется как угорелый: платит, тасует, сдает, принимает; и все это не ропща на судьбу, а, наоборот, моля Бога, черта, судьбу (Сеньке безразлично, кого именно), чтобы банк не срывался как можно дольше.

— Банк стучит! — сдавленным голосом сообщает Сеня. — В банке шестьсот тридцать, за стук десять, всего шестьсот двадцать, прошу!

— Совсем как в Английском клубе! — подлизывается Тася, прищурившись и думая, удастся ли ему доплатить.

Сеня понимает, о чем может сейчас думать Тася, и предупреждает:

— Деньги на стол! — Тася сконфужен.

— Пятьдесят рублей! — заявляет он.

— Де-е-ньги! — протягивает Сеня.

— Пятьдесят рублей, ты мне не веришь? Ты мне не отдал еще сто рублей — это ничего? Сволочь!

— Дай ему карту! — советует хозяин.

— Н-на! — вздыхает Сеня.

У Таси девятка. К ней приходят король и девятка. Несмотря на всю осторожность, с которой он «выдавливал» карту, спокойно приняв десятку, Сеня на предложенье Таси «разойтись» решительно фыркнул. Тася сдал карты закрытыми, вежливо бросив:

— С меня...

Сеня ожидал этого и обернулся к Саше, но Тася вдруг объявил, что он ошибся и что у него, кажется, было

двадцать один. Нашли карты, насчитали двадцать два, и хозяин квартиры, сомнительно закачавший головой, презрительно улыбнулся и бросил:

— Крутить...

— Ну! — обратился Сеня к Саше.

— Куня, погляди-ка! — обратился Саша как бы равнодушно.

Куня, не помня себя от радости, со слабостью в коленях, разглядел туза.

— Банк пополам! — крикнул он.

— Банк пополам! — согласился Саша.

— Сколько хочешь отступного? Сколько хочешь отступного? — замолил Сеня Сашку.

— Ничего не хотим! Ничего не хотим! — кричал Куня.

— Деньги на стол! — заявил напуганный Сеня.

— Мне ты не веришь? — удивлялся Саша.

— Тебе!

— Мне?

— Тебе!

— Ну и сволочь же ты! Ставь, Куня! — широким жестом пригласил Саша.

— Ставить?

— Ставь!

Куня давно бы, собственно, поставил: увы, он все проиграл. Но он извернулся. Куня не извернется?! Под столом бывший наставник передал Куне нужную сумму: «Под маленький процент и единственно по знакомству с папашей!»

— Ладно! Ва-банк!

— Дай-ка мне! Дай-ка мне!

И Сашка подлез с картами под стол. Куня то тыкал нос в спину Сашки под стол, то нервно начинал считать деньги.

Сашка осторожно «давил»: прикрыв незнакомую карту знакомой, он медленно-медленно, сжатыми пальцами начал

сдвигать их, чувствуя, что ему не хватает воздуха. Сдвинул и обомлел.

— Разведка! — с болью прошептал он. Это был валет. Разведка!

И, не приняв никакого решения, начал вылезать из-под стола, единственно чтобы что-нибудь сделать. Вылезая, он наткнулся на темное лицо Куни, на горящие, как угли, глаза Сени и понял, что нельзя медлить ни секунды. Он это понял и опять, еще не приняв никакого решения, плохо соображая, сказал:

— Довольно!

— Довольно! — решительно крикнул Куня и впился глазами в Сеню. Теперь Сеня начал давить: валет!

— Хорошо! — заметил Тася. Потом десятка.

— Ничего, ничего! — успокаивал Тася.

Сеня давит следующую карту своими цепкими пальцами.

— Четыре сбоку! Десятка! Перебор! — закричал снова Тася.

— Но это могла быть и девятка — Сеня давит дальше, чувствуя, будто кто-то ему давит горло.

Это была девятка, и Сашка с Куней проиграли.

— Не мог тянуть еще! — огрел Куня Сашку по шее.

— Десятка ведь шла потом! Десятка! — сконфуженно оправдывался Сашка.

— На тебе десятку! — и Куня полез снова ударить. Но Сашка уже не чувствовал себя виноватым и дал ему обратно.

— Товарищи, тут вам не балаган! — опомнился хозяин. — Не угодно ли по ирисочке? — Но Саша с Куней решительно поссорились.

— Сволочь!

— Подштанник! Тормоз!

— Давай деньги!

— В морду?

— Я пальто не отдам! — угрожал Куня.

— На! Р-раз!

Их опять разняли, но Куню пришлось вывести: он никак не мог успокоиться.

— Не угодно ли по ирисочке?

Закусили, и Сашка заметал банк. На третьем круге он объявил стук, отдал хозяину его мзду и получил пожатие руки за щедрость. Он побил все карты, на пятой дал отступного и приступил к последней карте, твердо решив отступного больше не давать.

— Даешь отступного? — спросил Володя, показывая десятку.

— Нет!

— Банк!

— Деньги.

— Паж-жалста!

Десятка проиграла, и Сашка снял круглую сумму чистого сбору. Большинство расходилось.

— Играем дальше? — с тоской спрашивал Сеня.

— Нет, зачем, — уклончиво отвечал Саша. — Зачем играть дальше? Завтра будем играть.

— Ну так завтра!

— Завтра, завтра! — приглашал всех хозяин.

— Тася! «С меня!» — шутили. — Кому ты сегодня насменякал?

И они разошлись.

На дворе было темно, и ветер испуганно рвался из-за заборов, пустырей. Стаявший снег подмерз, и была охота кинуться на чистый ледок, и кататься по нему, и смеяться. А потом пойти в чистый дом и сесть с хорошей книжкой у большой лампы.

Сашка вдруг вспомнил, что он один и что в прошлом году, почти в это же время, на именины Нади собирались гости; и как один запел, а все танцевали на льду, во дворе.

— Была гололедица тогда, — шепчет Саша, тяжело вздыхая.

И тошно ему, и боязно пойти сейчас домой, откуда по лестнице вынесли Надю, и сесть одиноким на свою постель.

«Вот и деньги есть! Все есть! А спокою нету! — думает Сашка. — Потому — нет у меня никого, вымерли, значит!» — рассказывает он себе.

В эту ночь он купил себе свечку, долго нежился, перелистывая книжку о пиратах, с благородством которых так трудно сравниться. И вспоминал Сашка свое «колесо» и товарища Тифа с чемоданом и снова нежился, ласково поглаживая рукой тонкую, смертельно бледную свечечку.

«Вот кабы Надя была! Сейчас: не угодно ли чайку? Хлебца? Свечечку подвинуть? Туда? Эту книжку? С удовольствием, Надя, паж-жалста, на здоровье! А как захочешь спать, не забудь потушить, потому — жалко. Эх, Надя! — вздыхает Сашка. — Как раз: деньги есть, а тебя и нет! И что в деньгах, когда я один?» — недоумевает он. И тушит.

В темноте повылезли опять напуганные было светом мыши и заскакали по комнате, довольные своим одиноким соседом.

VII

Настали удачные дни. Сашке везло, Сашке изумительно везло. Точно дух сестры Нади стоял незримо за картами его партнеров и указывал Сашке, нужно ли прикупать.

Сашка немного отдохнул. Он пил ежедневно горячую воду вприкуску; раз даже раздобыл цикорий, который хотя и пахнул гнилым, но зато давал воде вполне приличную окраску. Сашка весело ходил по улицам, с горделивым сознаньем, что он сейчас обеспеченный человек; и вопросы «общие» потеряли на время свою остроту.

С пяти часов они сходились в клубе и играли. А игра в последнее время была какая-то особенная, страшно высокая, серьезная. Все платили, у всех были деньги. Появилось несколько новичков с большими деньгами, и у всех была работа.

Часов в десять кончали игру, и Сашка с неизменным выигрышем в кармане выходил, думая с гордостью, что у него, пожалуй, будет на починку сапог.

Выходили, курили махорку, и Тася с Куней неизменно заводили разговор о женщинах.

— Ты еще не был, а, Саша? — с сожаленьем спрашивал Тася.

— Пошел... — стыдился Сашка.

— Слышь, хлопцы, — тревожно заявлял Куня. — Встречаю я вчера Дылду, а он мне говорит, чтобы к Войке уж не ходить, это верный триппер.

Новость заинтересовала.

— Он врет! — говорил Тася. — Я его знаю! Он сам там был вчера вечером! Феня его видела!

— Когда его Феня видела? — недоверял Куня.

— А вчера! Они гуляли вместе, потом Дылда сказал ей, что идет туда. Она его не хотела пустить, кричала, божилась, да он не послушался! Феня его даже проводила к дверям Войки, ей-богу! — клялся Тася, известный босяк.

— Ишь ты, значит, Феня ему уже надоела? — недоумевает Куня.

— А ты что думал? Пара она Дылде? Дурак!

— Идемте к Войке! — вдохновлялся вдруг Куня.

— Я вчера там был! — отклоняет предложенье Тася.

Но это с его стороны лишь хвастовство. Пойти и на открытом подъезде позвонить у двери, где живут две сестры, Войка и Лелька, Тася еще не решался. Правда, он где-то обделывал кое-какие дела, объясняя всем, рассказывая, давая всем советы, но к Войке он еще не звонил.

Войка — это больное место Таси. Его мечта — одеться в кожаную куртку, взять портфель и пойти к Войке. Но пока он лишь нащупывает почву. Главное, он боится: а вдруг побьют! Он боится этой таинственной Войки, такой популярной, виновницы бессонных ночей Таси. Правда, можно пойти и к другим, но там нет такого избранного общества, а Тася любит общество, блеск, толпу.

Раз он встретил Войку на улице; она шла с базара с удивительными закупками: сметана, сыр... К ней вдруг подошел

какой-то господин и тяжелым, каменным взором уперся в Войку. Они стояли так несколько секунд, потом повернули и быстро пошли. Тася как с цепи вдруг сорвался и побежал, странно как-то приседая.

С тех пор Тася отказался от кожаной куртки, от портфеля и искал только подходящую компанию туда. Но те, которые согласились бы пойти с ним, как, например, Куня, не удовлетворяли его. Так шло время; и мученья Таси, и его решимость возрастали. Сейчас от предложенья Куни у него сладко захолодело под ложечкой, и он мысленно поклялся на этой же неделе положить всему конец.

Они подходили, ругаясь и сплевывая махорку, к крыльцу, где жила Войка, и останавливались, глядя с удивленьем на ровные, темные окна, где хранилось столько счастья. Они стояли и говорили шепотом, и только когда кто-то чужой молчаливо перебегал улицу и вбегал на крыльцо, они начинали кричать, свистать, долго улюлюкая вслед.

Иногда это бывал знакомый. Тогда его расспрашивали, и он, делясь своими впечатленьями, наблюденьями, окончательно выводил их из себя. Торопливо ударив его раза два, они убегали обратно к крыльцу.

Раз они встретили, по дороге из клуба, Грудка, и он, оправдываясь тем, что сейчас свободен, пошел с ними, бережно неся портфель. Они объяснили ему, кто такая Войка, и Грудок широким жестом позвонил у двери; но взять с собой Тасю решительно отказался, боясь быть скомпрометированным. И снова они смотрели в темные рты окон, где жили две сестры... Когда Грудок вернулся, Тася с Куней, пошептавшись о чем-то, решительно рванулись и скрылись за дверью.

Сашке было отчего-то грустно. Ему противно было слушать голос Грудка, глядеть на его большое лицо с порочной желтизной. Ему вдруг так больно захотелось пойти куда-нибудь к близким людям, послушать ласковый голос и пожаловаться на что-то, как, бывало, матери жаловался.

И когда на следующий день Тася рассказывал, как мать его расспрашивала о происхождении некоторых пятен и как он, Тася, ей хорошо соврал, Сашке стало жаль своего товарища Тасю.

Приближалась весна. В весенних ветрах бежала уже земля, торопясь сбросить зимние одежды и поскорее отдаться молодому солнцу.

VIII

Пришла весна. Сменился лед земли на траву, и опадал уже цвет на деревьях.

В клубе учителя больше не собирались. Новички проиграли свои деньги и расползлись.

— Что сейчас? — спрашивал себя Сашка, стоя с товарищами перед крыльцом Войки и прислушиваясь к рези в животе.

— Попал я, братцы, куда-то, а куда, не знаю! — рассказывал какой-то мальчик. — С две минуты там пробыл!

— Да, больше двух минут не пробудешь! — поддержал Тася, деловито сплевывая.

— А ты там был?

— Дурачок!

— Ну так и рассказывай! — обижался мальчик.

— И расскажу, пошел к черту! — вдохновлялся Тася. Но его не желали слушать.

— А ты отчего не идешь туда? — спросили Сашу. Сашка объяснил, что он не желает позорить величайшие мировые таинства.

— Потому и не иду туда! — объяснял он, занятый как будто всецело своими босыми ногами.

Все понимали, что такие слова сами по себе не рождаются в голове. Но так как никто не мог доказать, откуда Сашка все это извлек, то все солидно промолчали, делая вид, что у каждого есть наготове нечто подобное.

— Н-да! — неопределенно заметил Куня. — Вот еще бывают какие антикоксины!

Разговор перешел на научную почву. И все благодаря Сашке! Сашку ценили; о, ему знали цену, и недаром, когда все попрощались, Дылда нагнал Сашку и завел с ним разговор о деторождении.

Сашка может поддержать и такой разговор. Он охотно объяснит, отчего же! Но, собственно, Дылду интересует не то, как рождаются дети, а как сделать, чтобы они не родились, вот что интересует Дылду! О, он очень предусмотрителен, ведь недаром он старше Сашки на два класса.

К сожалению, Сашка на этот вопрос не может ответить; он, Сашка, интересуется только вопросами положительными! Они прощаются.

«Дела! — думает Сашка, польщенный этой беседой. — Дела!..»

Но надо признаться, что, когда Сашка объяснял свое нехождение мировыми таинствами, он немного врал. Из всех рассказов он, собственно, еще не представил себе ясно, что надо делать, как поступать. А оскандалиться он вовсе не желает, о нет! Его честь ему слишком дорога.

Володя рассказывал Саше, что он кое-чем мог бы полакомиться у сестры Куни.

— Так что все что угодно, только не главное! — жаловался он Саше, прося совета и тяжело вздыхая.

Сашка советовал, убеждал, помогал; и радовался тому, что никто из его товарищей не догадывается, как тяжело ему живется. Но сам не догадывался Сашка, как живется им.

— Ну, а сейчас как будем? — неизменно спрашивал он себя, оставаясь один. — Сейчас как?..

И выход снова, как всегда, открылся неожиданно, без всяких предупреждений.

Однажды, расхаживая, голодный, по огороженному высоким забором соседнему саду и стараясь определить, когда можно будет начать питаться фруктами, Сашка увидел засохшее вишневое деревце. Он пошел за топором безо всякой

мысли, единственно, чтобы развлечься немного, срубил деревце и потащил его к забору. Вдруг у Сашки мелькнула идея: он расколол деревце на дрова и спустился в подвал к пекарю, предлагая купить их.

Через несколько минут он уже ел хлеб: целый фунт хлеба получил он, и это решило его судьбу.

Съев и отдохнув немного, он снова перелез в сад и пошел осматривать, нет ли чего-нибудь еще, пригодного для обмена.

Сухих деревьев больше не было, но в саду во многих местах были вкопаны толстые дубовые столбы, должно быть, от скамеек.

И Сашка быстро решился: он подошел к одному столбу, попробовал его выдернуть, расшатать, но ему это не удалось.

— Сволочь! — чуть не заплакал Сашка, чувствуя, как крепко сидит дерево. — Сволочь, я тебе покажу!

И действительно, он показал...

Вечером, темным вечером, с лопатой в руках Сашка бесшумно перепрыгнул высокий забор и ползком пробрался в сад.

Темными казались Сашке деревья. «Точно молятся!» — думал он, недоверчиво оглядываясь. По саду ходил тихий шум, и в шепоте деревьев слышалась Сашке жалоба. За себя ли, за людей...

«Дела!» — тоскливо думал Сашка. И присел за кустом, прислушиваясь, боясь оглянуться.

Вдруг ему послышались голоса, он подполз ближе и узнал говорящих женщин.

Хари!

Они сидели на стульях, вынесенных из дому, прислушивались к шуму деревьев и говорили о своих делах.

— Хари, время для разговоров нашли! — неистовствовал Сашка. — Люди по домам спят, шкуры!

А женщины, закутанные в теплые шали, говорили о своем приемыше, который утонул в прошлом году. Сашка помнил, как его пригласили поехать искать и как он, Саша, нашел застрявшее тело между камнями.

— Шкуры, его в гроб загнали, а еще жалеют! — ругался Сашка. — Пойду копать, чего я буду ждать?

Сашка пополз в дальний угол и, закусив губы для вящей осторожности, начал обкапывать столб.

Издали доносился мирный говор женщин, и Сашка даже с улыбкой прислушивался к их голосам, уже чувствуя к ним какую-то нежность.

— Пусть посидят! — шептал Сашка, все глубже и глубже вкапываясь.

Выкопав один столб, Сашка приступил к следующему. Страх прошел, никаких мыслей, молчит голова, вся уйдя в спешную, бесшумную работу. Женские голоса давно утихли. Сашка слышал, как они мирно попрощались и хлопнули дверью.

На шестом столбе Сашка решил, что довольно, и начал подтаскивать их к забору. И каждый раз, когда он крался у себя по двору, он ненужно низко нагибался, боясь, что вдруг почувствует на вороте чужую руку.

Сашка залез в окно, открыл себе дверь и, втащив столбы в коридор, накрыл их мешком.

Только тогда Сашка почувствовал, как он устал, и опять старая грусть, исчезнувшая на время работы, охватила его.

— Для меня ли эта работа? — философствовал он, готовя постель. — Для меня ли она?

Сашка не чувствует даже удовлетворенья от удачно исполненной работы.

«И зачем мне одному столько?» — думает он, вспоминая свое богатство.

А голод сосет, в молчанье ночи Сашке начинало казаться, что кто-то поселился у него в брюхе и громко скребется там.

Закрывая окно, Сашка увидел что-то, странно блестящее.

«Что это?» — подумал он и перелез в одной рубахе через окно. Он поднес к глазам этот блестящий предмет, оказавшийся куском гнилого дерева.

«Дела! — подумал Сашка. — Фосфор!» — И полез обратно, кряхтя, думая об этом фосфоре.

— Гниль, а лучше серебра кажется! — шептал он в темноте. — Светит, а почему? Неизвестно! Фосфор! А что такое фосфор? Вот она, наука! — И Сашка вдруг почувствовал горячий интерес к науке и страстное желание учиться! Что да как, да из чего произошло! Ах, как это верно и интересно!

И вспоминает он время своего ученья в гимназии, как их инспектор — Щур по прозвищу — поворачивал пальцами голову к дверям и советовал без родителей не являться.

«Какая ж это была наука? — негодует в постели измученный Сашка. — Грамматика наука? Грамматика? Нет, ты скажи — почему! Какой такой фосфор? Почему ночью он за серебро не идет? А может, серебро-то только днем серебром выглядит? А золото? Вот что значит наука! — рассуждает Сашка. — Или французский?! — И Сашка с обидой вспоминает, как ему французский не давался. — Дубиной называла, шкура рыжая!»

Сашка вспоминает, как в последний день перед роспуском, во втором классе, француженка его вызвала «исправиться»; и как он, стыдясь перед всем классом, наклонился к уху рыжей француженки, желая ее попросить об отсрочке. Вспоминает Сашка, как рыжая учительница, стуча карандашом, кричала, что тут никаких секретов быть не может, и как весь класс хохотал.

— Шкура ты! Сволочь! — шепчет обиженно Сашка, но не чувствует удовлетворенья от этих слов.

А мысли и воспоминанья ползут, как назло, все какие-то страшно обидные для Сашки. То — как его выгоняли, то — как смеялись. Как назло, со всех сторон ползет на Сашку из тьмы все, что с ним когда-либо было постыдного.

«Без брюк! — уныло думает он. — Да как же я мог в таком месте в брюках быть? — удивляется он. — Да зачем я туда-то пошел?»

Сцена за сценой, образ за образом постыдных жизненных положений ползут и ползут. Всюду узнает Сашка себя и отмахивается, разметавшись на постели. Громко почесываясь, встает; чуть не рыдая, кричит на мышей и начинает вывертывать рубаху.

И видит Сашка в эту ночь как нельзя лучше, что вся его жизнь была сплошной лентой постыдных положений: всюду видит он, как смеются люди над ним.

А голод, будто спрятавшись за чьей-то спиной, лишь время от времени позволяет себе заговорить; и среди всей этой тьмы Сашка слышит, как кто-то скребется с легким урчаньем в его животе.

— Шкуры! Сволочи! Холеры! — бранится Сашка, отмахиваясь от целой вереницы лиц. — Надя, Надя, Надя!.. — начинает он вдруг рыдать.

По углам тихо слушают мыши, и в холодном молчанье поднимаются кверху удивленные глаза. И кажется, будто даже они видят целую вереницу загадочных, непонятных вещей и, сжалившись над Сашей, молчат, поводя своими рыльцами.

Всю ночь метался Сашка. Всю ночь размахивал руками и просил у кого-то пощады.

IX

Назавтра Сашка встал поздно. Хотелось есть. До тошноты хотелось есть, и Сашка пошел опять к пекарю, уверяя, что к вечеру у него будут дрова. Но хлеба ему не дали.

Надо было сходить на другой конец города за пилкой. Костя пилки не хотел дать, но они вместе пошли к кому-то другому — и тот дал. Сашка пришел домой часу в четвертом и с дрожащими от голода коленями принялся за работу.

Трудно пилить одному толстый дуб, пошатываясь от голода; но к вечеру Сашка справился.

Пекарь давал шесть фунтов хлеба.

— Что-сь? — спросил, фыркая, Сашка.

— По роже смажу! Дрянь ты, а не что-сь! Тоже! — рассвирепел пекарь. Сашка продал только половину дров.

— С остальным успею! — отмахивался он.

Сашка решил съесть только фунт хлеба.

— Остальное на завтра! — убеждал он себя.

Стащив у соседки луковицу, он поел, потом пошел опять с лопатой в сад, выкопал еще три столба и принес их к себе. Опять стащил у соседки луковицу, наелся снова и заснул тяжелым сном наработавшегося человека.

И потянулись дни. Сашка работал за троих, понимая, что столбы выкопают без него, если заметят, как они исчезают.

Он таскал по три столба еженощно; пилил, резал, рубил, торговался, продавал; и все тихо, спокойно, деловито.

Сашку начали уважать, к Сашке начали обращаться за милостыней, и в хорошие дни он всегда давал кусочки хлеба.

Правда, бывали и неприятности; так, раз Сашин сосед потребовал обратно деньги, так как, по его мнению, он купил дрова, а не... и тут следовало, чего именно он не покупал; когда же Сашка признался, что деньги он уже проел, ему досталась затрещина.

Но вскоре эти ночные путешествия в сад должны были прекратиться.

В одну ночь, лунную, ласковую ночь — по всем видимостям предназначенную для поцелуев и свиданий, — Сашка встретился в саду с каким-то господином, который, отчаянно пыхтя, выдергивал столб. Сашка от ужаса и неожиданности присел, дрожа. Присел и незнакомец, темнея в ночной тени деревьев. Прошла минута ожидания, страшная минута, такая знакомая людям, кормящимся у ночи.

И вдруг незнакомец, не выдержав, должно быть, своего страха, не видя, что перед ним только мальчик, страшно завизжав, кинулся на Сашку.

От ужаса у Сашки обмякли руки, а незнакомец налетел на него и, визжа (обезумев от этого еще больше), свалил Сашку с ног. И вдруг: ярость, безумная ярость забила в Сашке; забыв о страхе, помня только о всех своих обидах и лишеньях, он сжал кулаки и очертя голову, ничего уже не помня и не видя, заметался.

В темени ночи в ласковом саду раздался еще один крик, и Сашка, вцепившись кому-то в горло, впился зубами в мясо.

Кто-то бился, кто-то тряс Сашку, тяжелые кулаки стучали, но зубы Сашки не разжимались. Только когда Сашка почувствовал во рту гадкое, клейкое, он опять с криком отпрянул. Где-то открылась дверь и жгли спички; чей-то женский, хриплый от страха голос кричал:

— Помогите!.. Помогите!..

Где-то залаял пес, зазвенело разбитое окно; и оба, в одну минуту опомнившись, Сашка и незнакомец, кинулись к забору и в одном месте перелезли его.

Только во дворе Сашка узнал, с кем он дрался. То был пекарь... Не говоря друг другу ни слова, вытирая рукавами лица и покачиваясь, они разошлись...

А ночь все шла, и Сашка, тяжело кряхтя, клал холодную примочку к ушибам и царапинам, удивленно думая: «А теперь как?..» — и устало косил глазами.

Но Сашка не пал духом. О нет, Сашка знает, что такое жизнь и колесо революции! О, он знает!

С топором и пилкой на плечах он начал уходить в дачные леса. Там он находил подходящее деревце, валил его, отпиливая лучшую часть, вбивал по свежим нарезам гвозди — будто ось — и, привязав к ним веревки, катил ствол в город.

У Сашки был даже кредит в лавочке, он имел обширную клиентуру, когда дело опять лопнуло, так как у него забрали пилу.

«Вот! — думал Сашка, разглядывая свой ржавый топор. — Советы! Вот дай мне совет, где пожрать! Тоже!.. Может, топор продать?..»

Топор был не его, но почти что его, так что он решился его продать. Пошел к знакомому дровосеку.

— Купите! — лаконически бросил Сашка, усаживаясь около отца Кости и подавая топор.

— А на что он мне? — удивился тот.

Осмотрев топор, он сказал, что топор хороший, только нужно насталить, но купить отказался.

— Расчету нет! — объяснил он. — А тебе деньги почто?

— Хлебца купить надо, — объяснял Сашка.

— Хлебца? А ты работай! — рассердился вдруг этот большой, обросший мужик с опухолью на левой руке от неудачного удара. — А ты работай, сукин сын! — повторил он. — Со мной выходи, я тебе хлебца дам!

И Сашка начал ходить с отцом Кости; старался рубить помельче и складывать аккуратно нарубленное. Во время отдыха, съедая маленький ломоть хлеба, Сашка устало слушал болтовню старого «спеца», как тот называл себя.

— Нету хуже, как с пилой ходить! — начинал «спец». — Лучше с сумой ходить, чем с пилой! Потому — сам понимаешь! С сумой пойдешь, чего не дадут своей волей — сам возьмешь, а наша специальность какая?

С неделю работал так Сашка и наконец получил расчет. То есть расчету никакого не было, а только Сашке объявили, чтобы больше не приходил.

— Сам знаешь, какая наша специальность! — объяснял старик. — Работник ты хороший, дай Бог всякому, но, может, я и сам справлюсь, а?

Саша устало слушал старика, понимая из всех разговоров, что надо опять что-нибудь искать.

«Ежели хлебца сейчас раздобыть, то это еще все ничего! — ободрял он себя. — Сволочи! — думал он. — Подлецы!»

И нельзя было понять, кого именно он ругает этими словами... Но хлебца в этот вечер он не раздобыл.

X

Сашка решил пойти с визитами. Черт возьми, у него же есть знакомые, отчего же у них не побывать? Может, чаем угостят?..

Одевшись попараднее, он погулял немного и после, съев в столовке кашу (кроме каши, уж ничего не давали), пошел к одной подруге Нади, с которой он когда-то вел интересные разговоры.

Он не застал ее дома.

Она еще на службе. Сейчас придет!

Сашка решил ждать. Присел, осмотрелся, начал перебирать книжки на столе. Какие хорошие книги! Сашка уж давно не видел таких. Наконец пришла Оля.

— А-а, Сашка!

— Да, Сашка.

— Сиди, сиди! Как дела?

— Ничего, спасибо.

— Что жрешь?

— Разное бывает.

— Ну, ну, рассказывай!

Но Саше не хочется говорить, он так устал. Он совсем не полагал, что ему придется говорить. И какие тут разговоры? Чаю бы... и хлеба... малюсенький кусочек...

— Говори, пузырь!

Пузырь? Сашка покажет, какой он пузырь! Прямо и смело, самым решительным образом, он спрашивает Олю, не знает ли она средства от деторождения.

— От чего?

— Чтобы детей не было, значит! — робеет Саша.

— А зачем тебе? — открывает рот от удивления Оля.

— А так, любопытно.

— Ты, Сашка, это брось! Добром говорю: брось! Не твое это дело!

— Я что ж? Я ведь ничего! — говорит Сашка, польщенный.

— Нет, ты это брось! — убеждает Оля.

— Можно бросить! Я к тому, что Дылде, товарищу моему, это нужно знать.

— Нет, Сашка, ты это брось! И товарищей этих брось! — просит Оля.

Сашка молчит.

— Ну что, бросишь, Сашенька? — заискивает Оля. О, Сашка знает, как заинтересовать девицу! Пусть она немного попросит, ничего!

— Бросишь, Сашенька?

— Что ж, можно и бросить, — неопределенно замечает он.

— Я службы тебе найду, бросишь? Работу дам!

— Брошу! — моментально меняет тон Саша. О, Оля тоже знает, как говорить с мальчиками!

— Поклянись! — велит она.

— Клянусь! — волнуется Сашка.

— Нет, Богом поклянись!

— Ведь Бога-то нет! — рассеянно замечает Сашка.

— А ты все-таки побожись! — просит она.

— Ну, ей-богу! А будет работа?

— Будет! Надеюсь, что будет!

— Вы где служите? — вежливо спрашивает Саша.

— В комхозе.

— В комхозе?

— А что, не нравится?

Наконец Сашка прощается.

— Так я тебя, Сашка, повесткой извещу, как только что-нибудь будет!

— Ладно, я буду ждать!

Один визит кончился, и Сашка никак не мог решить, был ли он удачен или нет. «Ничего, служба — вещь хорошая! — неопределенно думал он... — Чаю бы...»

На следующем визите Сашка говорит о саморазвитии, о том, что он решил учиться и какая это хорошая вещь — наука! Потом он просит несколько книг по «общим вопросам» и плетется дальше.

Попробовал побывать в еще одном знакомом доме. Дом этот Сашка не любил, но пошел, так как был уверен, что там его чаем, наверное, напоят.

Хозяина застал он уже в постели и очень сконфузился: неужели так поздно?

— Я болен! — успокоил его хозяин.

Сидели в спальной. Хозяин было спросил, не хочет ли Сашка чаю, но как-то так случилось, что Сашка ответил:

— Нет!..

Сидеть дальше не было смысла, но Сашка все-таки сидел, уныло поддерживая разговор.

Хозяин, лежа в постели, жаловался, что вчера потухло электричество и что темнота очень скверно подействовала на его нервы.

— Ты, Саша, не понимаешь даже, как скверно действует темнота на нервы! — говорил он.

Сашка уныло согласился, что он действительно не понимает. Погодя немного Сашка ушел.

А на улице было тепло и веяло летом. Пахнуло вдруг удалью Сашке, выпрямился он и быстро, крепко зашагал, будто назло всему миру, упруго, старательно ставя ноги.

Надо сознаться, что не только весенний ветер выпрямил спину Саше. Нет...

Попрощавшись с гостеприимным хозяином, Саша в кухне заметил на столе кусок черствой булки. И, ни о чем не думая, ничего не сознавая, он быстро схватил его и сунул под блузку.

— Наплевать! — злобно усмехался он. — Наплевать!

Долго в эту ночь бродил Сашка и мечтал... Мечтал о какой-то светлой девочке, которая пожалеет его как себя. Мечтал он, как она будет его любить и ласкать и как он ее будет беречь и лелеять.

— Хочешь меня? Хочешь мою жизнь? — будет спрашивать Саша.

— Хочу!

— Бери... Бери же, родная моя!

А потом он возьмет ее на руки и долго будет носить. Спи, моя девочка... И заснет она, такая покорная, такая любящая и такая любимая... — почти видя этот образ, весь вытянувшись, он припадает к фонарю и смотрит так... ждет...

Но скоро со злобой отрывается от столба и плетется обратно. И думает Саша о том, как трудно его полюбить, такого оборванного, такого голодного; чувствует, как далек от него этот образ светлой девушки и как долго ему еще нужно ждать.

«Я спрошу ее, — думает Саша, — где ты была, когда я мучился, когда я воровал? Почему ты не пришла ко мне тогда? Почему ты не дала хоть только поглядеть на себя? Ах, мне так тяжело было!..»

— Вместе бы умереть! — молится Саша. — Умереть бы вместе... Девочка моя... — и устало взбирается на лестницу.

XI

Когда последние крошки украденной булки были уже съедены, Сашка начал кидать камни, стараясь не попасть ими в стекла. Иногда ему это удавалось. Но в общем он себя чувствовал плохо, опасаясь кары за последний давешний налет на сад, за кражу булки, да мало ли за что!

Вдруг Сашка заметил, что по дороге от перелаза идет к нему какой-то господин в чиновничьей фуражке. Идет и высматривает, будто ищет кого!

— Хозяин! — быстро смекнул Саша и немедленно пустил в ход свою знаменитую тактику побега. Несмотря на то что сам Саша бежал быстро, он в то же время делал вид, что кто-то другой бежит впереди еще быстрее; и этого-то другого и следует по-настоящему ловить.

— Держи! Держи! — кричал он, улепетывая, и быстро юркнул за отхожее место, откуда через щели в прогнивших досках начал поглядывать.

Господин в фуражке озирался по сторонам и с видимой нерешительностью искал глазами, куда делся Сашка.

— Ишь, морда фруктовая! — посмеивался Сашка, дрожа от нетерпения.

А к чиновнику уже подбежали Толя и Филя! Завели разговор.

— Ишь, черти, нарочно болтают, задерживают, — злился Сашка.

Чиновник решился подойти немного ближе, заглянул близоруко в помойную яму и нерешительно отправился к лестнице, где жил Саша.

— Домой провожают, сволочи! — с горестным изумленьем негодовал Сашка, чувствуя, что он на месте Толи и Фили поступил бы иначе. — Нет, ты выведи его по ту сторону да укажи в сад училищный, а я его отсюда камнем хвачу, — вот как бы поступил он.

Дома у Сашки не было никого. Так что опасаться ему, собственно, было нечего.

Но издерганные постоянным напряжением — побегов, краж, побоев, обменов — нервы не переносили томительного ожиданья, и всем своим существом Сашка толкал, подталкивал секунды вперед. И дрожал мелкой дрожью.

Наконец чиновник вышел и, опять тоскливо озираясь по сторонам, пошел со двора. А Толька и Филя, подлизы, — за ним.

Сашка юркнул за забор и полетел домой.

Дома Сашка застал соседку. Увидав его, она осведомилась, зачем ему понадобилась утка.

— Какая утка? — спросил Сашка, чувствуя, что у него похолодело в груди. — Какая утка?

— Утка! Только что был один господин, он искал тебя, сказал, чтобы ты добром отдал утку, — рассказывала соседка.

— Почему утка? — с отчаяньем вскричал Сашка, чувствуя, что какое-то новое, страшное несчастье обрушилось на него. — Какая утка? Столбы, а не утка! — рыдал он.

Тут появились Толька с Филькой, и Сашка, забыв старую вражду, кинулся к ним.

Филька с Толей наперебой начали объяснять.

Чиновник этот, по их рассказам, несколько дней тому назад выменял свой граммофон на пять пудов жита и утку. Утка пропала, и он подозревает Сашку в этом. Он даст знать в милицию.

Филька и Толя с сочувствием глядели, как Сашка, трагически бия себя в грудь, клялся, что он не крал утки, что он не знает даже, какая утка!

— А зачем ты убегал? — спросила соседка.

— Столбы, а не утка! — страстно вскричал Сашка и, безнадежно махнув рукой, добавил:— Пропал я, несчастный я человек.

Ему поверили.

Сашка быстро собрался и в сопровождении Фильки и Толи деловито направился к чиновнику на дом. Необходимо было как можно скорее снять с себя навет! Во что бы то ни стало снять!

По дороге к ним присоединились еще сочувствующие, и через несколько проваленных заборов они вышли на улицу уже целой толпой.

— Где живет чиновник, у которого украли утку? — спрашивал сам Сашка встречных; и все ему указывали по одному направлению.

Только Филя и Толя вошли с Сашкой в кухню (остальные побоялись); они вежливо спросили, тут ли живет чиновник, у которого украли утку?

Какая-то женщина с заплаканным лицом ответила: «Тут».

И Сашка начал...

Энергия его была так страстна, он так искренно боялся этого обвиненья и, наконец, факт, что он сам явился, — все это заставило чиновника поверить в непричастность Сашки к этому делу.

— А почему убегал? — спросил чиновник.

Эта улика казалась неопровержимой.

И Сашка объяснил.

Он, Сашка, начал он, конечно, мал, но прекрасно понимает, что такой человек, как он, поджидать незнакомца, идущего к нему, не должен. Да...

В кухню постепенно вошли еще знакомые — как они говорили — Сашки. Становилось весело. Женщина с заплаканным лицом нашла нужным предложить Сашке печеную картошку. Он, вежливо поблагодарив, взял, хотя ему было и не до того.

Но вдруг пронесся слух, как будто кто-то знает, где утка.

Знает, оказалось, Шавка; но ввиду того, что этим он выдаст одного из своих друзей, он считает невозможным распространяться на эту тему. Хотя, если бы ему дали такую рогатку, как у Сашки, он бы кое-что сказал!

Тут вмешался Сашка. Он считает, что пока след утки не найден, пострадавший — как он выразился — будет еще на него коситься. И он это прекрасно понимает.

Поэтому он заявляет, что если Шавка, о котором он, между прочим, кое-что знает, не расскажет, кто украл утку, то ему уже лучше забыть про Дуню и ее крыжовник, а в клуб лучше не являться!

— Да, — сказал Сашка. — Я этого так не оставлю.

Что касается рогатки, то такую, как его, это для Шавки слишком жирно, но такая, как у Вани, ему, пожалуй, будет дана. И тут же, вытащив из-за Ваниной пазухи рогатку, Сашка, покрутив ее внушительно перед Шавкиным носом, обещал передать, как только вор будет объявлен.

Обещая это, Сашка неустанно мигал Ване, чтобы он не противоречил. Но Шавка заметил это и сказал, что Сашка мигает, а поэтому он не хочет говорить.

Тогда Сашка поклялся, что больше не будет мигать. Шавка, недоверчиво вздохнув (рогатки он так и не получил), начал рассказ...

Вчера он был у Коли, чтобы узнать, не выменяет ли он свою колоду карт, и заметил в сенях, где стоит Красавчик, утку, прикрытую мешком. Коля сказал, что за такую рогатку, как у Сашки, он, пожалуй, выменяет свои карты. Больше Шавка ничего не знает, но если бы это у него пропала утка, он бы уже знал, как поступить.

Вся гурьба мальчишек во главе с чиновником помчалась к Коле.

По дороге чиновник все расспрашивал, чем занимаются братья Коли. Узнав, что братьев Коля не имеет, а он сам, купив себе Красавчика (очень хорошая тварь, по мнению всех), ездит на село менять у крестьян, чиновник, опередив всех, не оглядываясь, решительно побежал.

Мать Коли сказала, что Коля с утра уехал на село, что какая-то утка у него была, но он ее забрал с собой. Больше ни в какие разговоры вступать не желала. Только вздыхала и крестила рот.

До села было верст пять, и Сашка уговаривал погнаться за Колей, иначе все пропало: Колька не станет держать краденую утку долго. Это всякий дурак понимает!

Все помчались за город. Быстро бежали они к реке. Только раз чиновник остановился, чтобы рассказать знакомому старику, какое несчастье с ним случилось. Старик советовал бежать как можно скорее.

— По горячим следам! По горячим следам! — убеждал он.

И ободренный чиновник снова пустился за торопившими его мальчишками. Бодрой рысью скатились они с горы прямо к реке. Надо было перейти мостик, весь залитый ледяной водой.

Чиновник снял свои деревяшки и, труся, пустился за Сашкой. Вода била через мостик, и ходить по скользким, покрытым слизью доскам казалось чиновнику небезопасным. Он споткнулся, чуть было не слетел, взмахнув руками — удержался, но деревяшки свои выпустил, и они упали в воду. Чиновник с опущенной головой тупо смотрел, как играет река с незнакомой ей рухлядью. С мольбой поднял он глаза на Сашку.

— Вперед, вперед, нету времени! — кричал Сашка и потащил его за собой.

Они бежали полями, и босой чиновник спотыкался на острых стеблях скошенной травы. Они бежали туда, где виднелся старый лес, где колосья уступали ему место.

Уже под самым лесом они встретили какого-то крестьянина. Запыхавшись, бежал он им навстречу.

— Не видал ли ты, товарищ, Кольку с Красавчиком? — остановил его Сашка.

— Какого Кольку?

— А того, что менять ездит! На тележке о двух колесах!

— Не видал, не видал... Там товарищи идут.

— Какие товарищи?

— А наши. Отряд идет. Сейчас пройдут. Коровку загнать нужно. А вы как знаете, как знаете! — побежал дальше.

Все единогласно решили повернуть обратно и поскорее в город!

— Пропади она пропадом! — решил чиновник. — Еще жизни решишься, — и побежал что было мочи.

Вдруг Сашка крикнул, что скачет Коля.

Действительно, скоро он к ним подъехал верхом на Красавчике, держа в руках громадную граммофонную трубу.

— Стой, стой! — завопил чиновник.

Сашка схватил Кольку за ногу, и Красавчик стал.

— Где моя утка? — грозно спросил чиновник. — Где моя утка, сукин сын?

Колька, побледнев, начал...

Утку он не украл, а нашел. Да, это всякому известно. Увез он ее сейчас на деревню и выменял ее вместе с двухколесной тележкой на граммофон. Так как идет отряд кавалерии, то он с одной трубой помчался в город, чтобы узнать, чья это утка. Да.

Приглядевшись к трубе, чиновник узнал в ней свою, недавно выменянную им на утку и жито; так ему показалось.

— Та-ак, — протянул чиновник, медленно надвигаясь и чувствуя, что спазма перехватила ему горло, что глаза его налились кровью и что ему вовсе не нужно себя взвинчивать, чтобы казаться страшным. — Та-ак!

Впервые за столько лет ничем не сдерживаемая ярость, ярость возмутившегося раба, взметнула его, и, вырвав из Колькиных рук трубу, он треснул ею Колю по голове.

Испуганно рванулся Красавчик и стрелой полетел вперед, неся на себе припавшего к шее окровавленного хозяина. А чиновник с граммофонной трубой в руках, босой, бежал наперерез, лелея мечту еще хоть один раз коснуться окровавленной головы. Единственный раз!..

Со всех сторон горизонта, куда хватал только глаз, видны были бегущие люди. Будто от пожара в степи, веером разбегалось все живое.

Кричала коровенка под яростными ударами торопившегося мужика; ржал жеребенок, отстав от кобылы; звал поросят визгливый бабий голос.

Бежали с выменянным на селе старики и дети; бежали, надрываясь под тяжестью мешков. Бежали и падали. Падали и бежали... В безумном страхе оглядываясь назад, мчались по домам.

А далеко-далеко позади — из-за леса — на вымершую дорогу выходил красный отряд с песней...

...О том, как в дни ненастные,
О том, как в ночи ясные
Мы смело, мы гордо в бой идем...

XII

Из далеких полей, от широких рек текли в город свежие войска.

Они где-то что-то прорвали (или должны были прорвать) и горячей лавой киргизских коней звонко лились в город. С далекого Дона, со степей Кубани шли косматые папахи; и пылали очи гневом, и ласкали коней.

Сменились знамена, сменились песни, а гнев все тот же, и по-старому надо рубить; и по-старому — всего не повырубишь. Сашка встретил войска за городом. Он стоял у мостика и смотрел на закопченных, омытых пеной маленьких коньков, бешено мчавшихся с красными лентами...

Мы красная кавалерия, и про нас
Былинники* речистые ведут рассказ... —

гремела песня.

* В тексте первого издания повести слова песни «Марш Буденного» (1920, музыка Д.Я. Покрасса, слова А. Д'Актиля) цитируются неточно: «Былины речистые ведут рассказ...»

— Ты кто такая? — обратился один с пикой, сдерживая лошадь, и глаза его показались Сашке страшно похожими на глаза его коня.

— Из лазарета! В лазарете служу! — изумленно зачастила напуганная им старуха. — В лазарете, товарищи! — дрожала она. — Которые на выписку...

— Иди домой и не бойся, красная кавалерия идет! — гордо бросил ей солдат и обратился к Сашке: — Слышь, друг, аптека где?

— Вон сюда, этой улицей до конца, а там, направо — аптека! — старался объяснить Сашка.

— А ты покажи дорогу! — посоветовал казак. — Садись, свезу!

И через минуту Сашка уже сидел на шее у лошади, поддерживаемый крепкой рукой казака.

— Худой ты, ну ж... — добродушно смеялся он, ощупывая Сашку. — Кости! — удивился он.

Сашке было тепло. Было так хорошо в объятьях этого крепкого человека. Левый запыленный сапог казака треснул, и оттуда выглядывал потный и грязный палец. Сашка понимает, что значит в такую жару ходить в таких сапогах! И вдруг чувствует Саша прилив такой жалости, такой любви и нежности, что даже прослезился:

«Вот они, которые за правду идут, чтобы не голодали! Вот они, которые жизни, крови своей не жалеют!»

И Сашке вдруг хочется пойти и отдать себя, всю свою жизнь за правду, за любовь, за людей... Взойти на костер и сгореть в муках за других. И чтобы стало хорошо всем, всем!

Весь день он чувствует себя влюбленным в эти лица, в эти пыльные, разодранные сапоги с волосатыми пальцами.

И когда Сашка оборачивается к казаку и, ласково улыбаясь, говорит: «Сейчас будем...» — он борется с желаньем обнять, прижаться к этому чужому, близкому человеку.

— Ладно... — отвечает озабоченный солдат.

А Сашка только слегка похлопывает злую, недовольную новой ношей лошадку.

Вот и аптека... Саша входит тоже.

Солдат кланяется, пожимает руки, вынимает из кармана горсть папирос, кладет на конторку перед аптекарем и говорит ему что-то. Тот быстро достает шприц, бинт, вручает их, говорит:

— А лекарство через час.

— Через час? — изумляется, отступая на шаг, казак. — Ты советскую власть признаешь?

— Ну через полчаса! Это ж варить надо! — молится аптекарь.

— Слышь, друг, — обращается солдат к Сашке. — Площадь где, знаешь?

— Знаю!

— Мы там стоять будем. Найдешь меня? Мне ждать нельзя!

— Найду! — решает Сашка.

— Ну вот, гляди ж! Как получишь тут лекарство, сейчас же лети, товарищ!

— Ладно, товарищ! — мотает Сашка головой. — Уж я найду, товарищ! — гордо выговаривает он. — Товарищ!

Сашка остался.

Аптекарь брезгливо начал мыть руки, Сашка видел, как он морщился, кривился.

— Помойте тоже! — обратился он вдруг к Сашке.

— Не желаю! — отрезал Сашка.

— Он больной, помойтесь! — убеждал аптекарь.

Сашка уже понимал, в чем дело, но не брезгливость, а новое, острое чувство влюбленного зашевелилось в нем, и он презрительно ответил фармацевту:

— Не желаю!

Аптекарь взял осторожно папиросы, положенные на конторку, и подошел с ними к корзине для сору.

— Дайте мне одну папиросу! — вскочил Сашка.

— Нельзя! — буркнул аптекарь озабоченно.

— Я вас прошу! Товарищ, дайте! — молил Сашка.

— Нате! — аптекарь вынул из кармана папиросу.

— Нет, из тех дайте!

— Да вы что, с ума сошли? На дыбы скачет, мальчишка!

— А, вы так?! — Сашка подскочил к корзинке, выхватил папиросу и быстро спрятал в карман.

— Вон отсюда!

— Что-с? Из общественного учреждения выгоняете? — заорал Сашка.

— На, сиди, сиди! Подавись! — струсил аптекарь, с ненавистью глядя на Сашку. — Я для вашей же пользы...

В этот день — весь день был праздник для Сашки. На площади, споря с солнцем, краснели серпы и молоты; и потные казаки ходили в толпе, рассуждая.

Правда, кое-где слетали замки, кое-где зазвенели стекла. За кем-то погнались, кого-то нагнали, за что-то убили. Потом оказалось, что убить следовало не того, а другого. Но так как первого воскресить уж нельзя было, то ограничились только тем, что убили второго. Так справедливость, хоть отчасти, была восстановлена, и дальше звучало солнце, и дальше спорили с ним знамена.

О, как хорошо было Сашке! Даже Грудок не испортил ему настроенья, они ласково раскланялись...

Лицо Грудка было, как всегда, зелено, и Сашке хотелось думать, что ему, может, не так уж хорошо живется. Простил ему портфель, кожаный костюм, грязные с пятнами, будто от вшей, ногти, все простил...

Всем в этот день прощал Сашка: за свою жизнь, за свои муки, все готов был забыть навсегда. Молод Сашка, щедр.

Уж солнце давно шло на покой и низко багровело на западе; а еще долго звучали хвастливо в тени рассказы о всех

побитых, о всех, которых еще побьют; и когда именно: точно обозначался срок и твердо говорилось число.

А лошади, уставшие за эти года походов и бойни, казалось Сашке, не могли понять, что за охота людям изводить друг друга; и их кнутом гнали вперед.

«Лошадкам бы объяснить! Лошадкам!..» — растроганно думал он, влезая в окно.

XIII

Большими группами, стуча шашками и громко ругаясь, шли по городу солдаты и спрашивали мальчиков:

— Слышь, где тут б...?

— Чего? — переспрашивал Сашка из осторожности.

— Где б... найти? — повторяли они.

И Сашка вел. О, Сашка по этой части уже был спецом, недаром он брал комиссионные в виде хлеба с «домов». Все до мельчайших тонкостей знал он и предупредительно объяснял:

— На заезжем, положим, чисто, самое большее — триппер, а вот у горы, то уж шанкр, не иначе!

И солдаты выбирали.

Иногда скакали верховые и спрашивали прохожих об узкой улице, где покупают любовь. Сашка больше всех любил верховых; он вел их в заезжий, и пока те уходили в стеклянный коридор, Сашка катался по двору.

Иногда увязывались другие мальчишки и хотели вести в другое место, тогда приходилось драться.

В некоторых местах Сашку поили даже чаем, настоящим сладким чаем, и просили приводить как можно больше гостей.

Сашка, получая свой заработок, заботливо осведомлялся, чисто ли у них, и, выслушивая ответ, грозил пальцем, говоря:

— Глядите! Чтоб у меня не было неприятностей! Дуры!

Только в один дом Сашка не водил никого. Оттуда из окна всегда виден был господин в белой блузе, с белым, как известь,

лицом и с тонкими, склизкими усиками. Сашка говорил, что там не иначе как сифилис, и никогда не водил туда.

— Там сифилис, товарищи! — говорил Сашка верховым, которых вели другие.

И часто пред самым подъездом сворачивали всадники и уходили за Сашкой.

— Помни! Помни! — тихо сказал ему раз этот белый господин, высовываясь из окна. — Помни!

И Сашка запомнил и больше уже не решался из-под носа уводить гостей...

Во дворе у Сашки стояли брички, лежали винтовки, мешки с сахаром, ходили солдаты, шумели.

В квартирах спали, ели, рубили котлеты, сыпали сахаром; и хозяева благословляли судьбу, несмотря на опасное соседство...

Сашка сидел в пустом открытом сарае и пек только что накраденные, еще совсем незрелые картошки.

Подошел какой-то солдат и начал задирать Сашку:

— Давай картошку! Давай пояс! Давай папиросу!

— Давай!.. — перебил его Сашка, рассвирепев.

Посмеялись.

— Слышь, где тут б...? — обратился он к Сашке с обычным вопросом. Сашка начал объяснять.

— Эх, не то! — перебил его солдат, тоскуя. — Мне бы порядочную, так, чтобы настоящая была! — объяснял он, досадуя.

Сашка промолчал.

— Ты что, один совсем? Или есть кто у тебя? — спросил он вдруг у Сашки.

— Сестра есть! — зачем-то солгал Сашка.

— А она что, незамужняя? — спрашивал солдат.

— Нет!

— Вот-вот! Слышь, друг, приведи ты ее ко мне, озолочу! — заметался и замолил он.

— Что? — переспросил Сашка.

— Приведи ты ее ко мне! Приведи, будь другом!

— Оставь, пошел вон! — начал сердиться Сашка, болея за память сестры.

— Чудак! Тебе говорю: приведи! Чего тебе?!

— Нельзя.

— Да отчего ж нельзя? Слышь?

Сашка думал; и сколько ни думал, он никак не мог найти нужные слова, чтобы объяснить этому оборвышу, отчего, если бы Надя даже была жива, он не привел бы ее.

— Отчего? — наседает солдат. — Ты ей скажи, может, она сама придет!

— Не придет! — тоскует Сашка.

— Да почему ж?

Для Сашки это так ясно, а объяснить не может. Как это дико даже, а объяснить все-таки не может. Сашке больно, что он не может сразу показать несуразность этого разговора; Сашке обидно за Надю. Конечно, не придет! Но почему? Почему?

— Она с тобой незнакома! — пробует объяснить Сашка.

— А ты познакомь!

Сашка и сам понимает, что это не то, а лучшего найти не может и страдает: нет таких слов!

— Эх! — махает на него солдат рукой. — Ну тебя!

— А вы спросите вон у Степы! — указывает на подъезжающего с травой солдата. — Я его вчера свел туда.

— Что, подходящая? — осведомляется солдат у Степы.

— Кто подходящая? Н-но... — отчаянно заворачивает Степа коней.

— А там подходящая?

— Ничего, — полусоглашается Степа: он почти доволен.

— Пойти, что ль?

— Можно.

— Ну, давай сахару! С фунтик хватит? — спрашивает солдат.

— С фунтик? За двоих, может, и не хватит, — сомневается Степа.

— Да я ж один! Или и ты пойдешь?

— Отчего ж не пойти. Можно и пойти, — бурчит Степа, ведя за гриву лошадь.

Сашка уходит. Черт с ними! Этот Степа вообще сволочь...

Ночью лошади отвязались и съели полмешка сахару... Степа вторую половину спрятал и сказал, что лошади весь мешок сожрали. Сволочь! Сашке он, правда, дал шапку сахару, чтобы молчал, но это не изменило Сашкиного мнения о нем.

Вчера они лежали на дворе: Сашка, Степа и еще мужик, что пригнали с подводами. Говорили о коммуне.

— На кой ... она нам? — говорил мужик.

— К нам пришел приказ, чтобы записывались. Только не желаем мы. Мы за коммуну не деремся! — говорил Степа, сплевывая.

Сашка спорил:

— Отчего не нужно? Почему не желаем? Коммуна — хорошо!

— Подожди, — перебил его мужик. — Хорошо-то оно хорошо, да только с умом. У нас, то есть у мужиков, всегда коммуна была. Косим, к примеру, вместе, а потом и поделим. Да. А как я, третьего года, руку себе сломал, как есть без левой руки, какой я теперь косарь?! — радовался мужик. — Какой такой расчет у Николая да Андрея с мельницы со мной коммуной жить? Никакого то исть расчету нет! У нас всегда коммуна была, только какая?! С выгодой, а не камень на шею!

— Ну конечно, одним словом, верно! — поддакивал Степа.

На Степу Сашке наплевать: ему хочется объяснить мужику, что он не понимает коммуну. Объяснить, как это нехорошо, что его выкинули из коммуны Андрей и Николай; оставили калеку одного. О, сколько боли чувствует сейчас Сашка за этого калеку и за всех покинутых!

Вечером завхоз ведет разговор с хозяином квартиры:

— Как раньше было, в царское время? Тогда, когда рабочий машину выдумывал, имел он с ней ходу у нас? Имел или не имел? Не имел! Сволочь! Так что он, одним словом, принужден был к немцам ее продавать! Вру я?.. А потом у нас ее покупали у немцев да денежки платили. Ну ж!.. Народное золото тратили, другие государства развивали!

Затем следовал рассказ, как не то он сам, не то его друг Митя изобрел машину и как они с ней ходу не имели. Правда, немцы почему-то тоже не заинтересовались ею особенно, но завхоза это не смущало.

В углу какой-то солдат, глядя немигающими глазами, бубнил:

— Пять лет, как из дому!.. В душу...

— Что в западных империях мы видим? — не отставал завхоз, вытирая рукой сало с губ. — Бардак, одним словом! Немцы — будто корова, а другие империи ее доют! Почему? По каким причинам?..

Раз солдаты привели молодую женщину... Переночевала, наутро ушла, а к вечеру снова явилась, но уже с каким-то стариком: отцом.

Уже темнело, Сашка ехал поить лошадей, когда они пришли. Вернувшись, он застал эту молодую пухлую женщину жалующейся завхозу на хозяйку: хозяйка не хочет дать ее отцу котлет.

— Что ж это такое? — говорила она завхозу.

Завхоз морщился.

— Он поест и пойдет, — убеждала брюнетка.

— Ну ладно, ладно! Мы за котлетой не постоим. Пойдем, отец! — согласился завхоз.

Сашке очень понравился этот чистенький старичок, все время с улыбкой бормочущий себе что-то под нос.

Он пошел за ними в дом; в сумерках он видел, как старичок ел, с гордостью поглядывая на хозяйку, которая

его раньше прогнала. Старичок ел, стряхивал с пиджачка крошки и вежливо говорил завхозу:

— Это ничего... Это ничего...

Сашка стоял в коридоре, смотрел на старичка, на хозяйку, на солдат и испытывал какой-то странный ужас. Непонятно чем, но в этих сумерках небывало страшной показалась Сашке жизнь, и с мутными глазами он молил: «Господи... Господи...»

Вот дочь ласково хлопает старичка по плечу, гладит по волосам и толкает к двери.

— Идите, идите, я завтра еще принесу! — говорит она.

— Да, да, отец, уж мы дадим! — ласково говорит и завхоз. — Не постоим.

И вдруг, ободренный, должно быть, этим ласковым словом, старик повертывается у самой двери и, сделав шаг к завхозу, говорит, складывая с мольбой руки:

— Не мучайте ее! Не мучайте, товарищи!.. Все, что полагается, конечно, хе-хе-хе! Но не мучайте, Господи, не мучайте!..

— Что мы, звери? Будь спокоен, отец! Одним словом... — успокаивал завхоз.

Сашка ушел спать. Долго еще в эту ночь он слышал громкие голоса за стеной; и среди гневных матюков солдат и ударов кулаками по столу слышен был временами женский голос, охрипший от страха и натуги, дико кричавший:

— Не смеешь!.. Не смеешь!..

Одинок был этот крик, и некому было прийти на помощь.

XIV

Войска разошлись. За ними, шумно, хвастливо ругаясь, уползли и обозы. Стало тихо в городе.

Сашка потерял обеды.

Долго объясняли толпе детей, жутко притихшей; читали что-то, обещали. Но не понимали дети и все дожидались, и впали в отчаянье кухарки, с мольбой спрашивая:

— Чего ж вы еще ждете? Расходитесь!

Но не расходились дети и стояли еще долго, не понимая и не веря.

Сашка пошел домой.

— Ладно! — шептал он. — Советы! Ладно!

И опять нашла на него полоса критики и сомнений...

Однажды Сашка застал дома записку от Оли: явиться наутро в комхоз. Он явился. Оказалось: идти копать картошку. Десять процентов себе из накопанного, а остальное комхозу. Сашка согласился. Но нужно было доказать свою бедность.

— Это только для бедных, — объяснила Оля.

— Как же доказать? — осведомился Сашка, втайне считая совершенно излишним это доказывать.

— А ты иди в домком и там получи удостоверенье, а завтра к восьми часам явись в поле! Около моста, знаешь? — говорила Оля.

— Знаю.

— Ну вот! И лопату возьми! Может, и накопаешь немного.

— Отчего ж! Разве я хуже других! — поддержал Сашка и ушел.

Сашка явился в домком.

— Дайте удостоверенье, товарищ!

— Какое? — осведомился председатель.

Сашка объяснил.

— Вот как! Это интересно. А ну, где, вы говорите? — И председатель записал адрес. — Ну, товарищ, удостоверенья мы вам дать не можем! Приведите свидетеля!

— Зачем? — упал Сашка духом.

— Да откуда ж мне знать, что вы бедный! — рассердился председатель домкома.

Кое-как Сашка его уломал.

И наутро, часов в шесть, Сашка с лопатой на плечах отправился к месту. Там сошлись несколько десятков людей, измученных нуждой, неумело держащих лопаты.

Сашка встретил знакомых: подруг Нади, молодых людей. Они рассказали Сашке, что копать лучше всего парами: один копает, другой подбирает. А ввиду того, что одна Маруся не имеет пары, то не согласится ли Сашка с ней копать? Они насели на него, и Сашка должен был согласиться. Он глядел на Марусю, которая когда-то часто приходила к Наде и все шутила с ним, смотрел и видел, что это совсем и не Маруся, а какая-то незнакомая желтая девушка с торчащими ключицами.

Что она накопает? Помощница тоже!

И они копали. Весь день пришельцы из города, тяжело дыша и отирая пот, воевали с лопатой. И никак не могли они привыкнуть к мысли, что стоит только приподнять немного земли, как тут же и найдешь белую, молодую картошку. Весь день дивились горожане и завидовали тем, кто всегда может жить такой чудесной жизнью.

А те, что веками живут этим чудом и привыкли к нему, темной стеной стояли у своих огородов и мрачно глядели кругом. Была у них ненависть, и был у них страх перед голодным городом.

Сашка слышал, как они, смеясь, скрывая свой испуг пред этим нашествием, издевались и ругались. Издевались над всеми: вон над тем старичком в сюртуке, и еще над тем, и даже над Сашкой.

О, Сашка старался, но он так измучен, так немилосердно жжет солнце, а земля затвердела, будто ушла в себя! Но больнее всего Сашке было глядеть на Марусю, как она бьется из сил.

Он ее даже ненавидел. Большими, точно обгоревшие жерди, руками неумело тыкалась она в землю и мутными от слабости глазами умоляюще глядела на Сашку. Чувствуя, что она смешна, что она никому не помогает, со слезами в голосе она спрашивала шепотом:

— Так? Так я делаю?

А Сашка, слыша злой и безжалостный хохот крестьян, чувствовал, как и в нем бьет, клокочет злость, и ему

казалось, что зол он именно на Марусю. С отвращеньем глядя на желтую кожу ее лица, он хрипел:

— Куда вы лезете? Ч-черт!

О, этот истязающий смех! Как бы Сашка желал врезаться в эту толпу безжалостных скотов и рассказать им, лопатой рассказать о людях, которые отдали для них всю жизнь, не торгуясь.

— Ух, рожа желтая! — обливается Сашка потом, сердито ворочая лопатой. — Тоже! Копать! На шею насела!

И копал, копал, не чувствуя жара, болея за Марусю и жалея ее.

Сашка старался. Он копал, все обиды свои, всю злобу свою вымещал на немой земле. Он ненужно долго ворочал лопатой в ямке, крутил, и ему хотелось порой, чтобы оттуда, как из раны, брызнула кровь; чтоб кто-то под ним застонал и желтой, вонючей струей гноя замолил о пощаде.

— Ух, подлая! — казнил за людей Сашка землю. Весь день терзал Сашка землю, забыв и жар, и голод, и усталость.

Сашка накопал много. Сашка накопал изумительно много. Все это говорили, и все завидовали, и когда Сашка сдал картошку приемщику от комхоза, на его долю пришелся порядочный куль. Правда, не все отдавали приемщику картофель. Несколько человек унесли все, что накопали; стражи, как оказалось, не было никакой, а поле велико.

— У комхоза нельзя красть! — убеждал Сашка Марусю, которая было позавидовала им. — От комхоза последняя сволочь не должна красть!

— Какой же это комхоз? — робко защищалась она.

— Это верно. А все-таки лучше не красть. Потом, дескать, скажут: а вы крали! Поэтому и плохо!.. Колесо революции...

Маруся слушала внимательно, покраснев, и вдруг вся засветилась доброй-доброй улыбкой.

— А я вас, Саша, вот таким помню! Вы тогда в лакированных туфельках ходили и все фыркали на девушек! — говорила Маруся, улыбаясь.

— А я вас, Маруся, тоже помню! Вы приходили и пели: любишь, не любишь... помните?..

— А потом танцевали!

— И пирог был!

— А помните, как Надя надела мундир Петра Алексеича и стояла за лакея?

— Что лакей, пирог был!

— Хорошее было время, — с тоской сказала Маруся.

— Чего хорошее? И тогда мучались, голодали. Надо, чтобы всем хорошо было! — агитировал Сашка.

— Ишь, агитатор! — сыронизировал проходивший чиновник.

— Социолог без штанов! — додал второй.

— Товарищ, убирайтесь, пока целы, а то в морду дам! — впала в ярость какая-то женщина. — Мало ему в городе, он и сюда прилез! С самых пеленок подлецами растут!

Сашка сконфузился, он вовсе не желал агитировать, наоборот, черт возьми!

Маруся убеждала Сашку:

— Молчите!

— Ладно.

Они торопливо начали делиться.

— По тридцать фунтов! — сосчитал Саша.

— Да?

— Разве вы считать не умеете? — удивился Саша.

— Я ж ничего в этом не понимаю!

— Да, да, по тридцать фунтов.

Саша подал Марусе мешок на плечи, взвалил себе свой и, сразу осев немного, зашагал. Не было особенно тяжело,

но далеко! И, главное, было жаль Марусю с ее хриплым дыханием.

— Сашенька, дайте мне еще несколько картошек! Ради Христа, дайте! Дайте мне еще; тебе Бог отдаст!.. — зарыдала вдруг Маруся тихо.

— Еще? — растерялся Саша.

— Да, да, еще! Милый мой, дорогой мой, мы все дома больны! Сашенька!

— Берите.

И Сашка удивленно глядел, как Маруся начала брать картофель.

«Жаднюга!» — думал он, глядя на ее скрюченные пальцы.

— Можно еще?

— Берите, — с ненавистью и не совсем понимая, бросил Сашка.

— Вы хороший, Саша. Вы как заговорили о комхозе, я сразу так и подумала: можно попросить — даст... У меня брат в чахотке. Вы хороший, Саша. Ему поправляться надо, — в лихорадке говорила она.

О, как трудно было Сашке отдавать эту тяжелым трудом добытую картошку! А тут еще эта болтовня, как будто ему, Сашке, не нужно поправляться!

— И ты какой худой! Отчего? — тихо спросила Маруся, поднимаясь с земли и завязывая мешок.

— Не знаю.

— Саша, может, вы мое понесете, а я ваше? — предложила Маруся. — Бесстыдная я! Саша, милый мой мальчик, какой вы еще чистый и хороший!.. Кто ж вас сейчас пожалеет! Некому!.. Я тоже больна, Саша... — задумалась она.

Саша молча взял ее мешок и молча пошел, не оборачиваясь.

Кругом шли горожане с мешками на плечах. Шли и гнулись, шли и падали — ни капли жалости к ним не было

у солнца. Косыми, последними своими лучами оно калило тело сотнями искр. Они шли крестьянскими огородами наперерез большой дороге.

Вдруг все остановились и лопатами, кинувшись, начали сбивать капусту. Десятки голов слетали; пугливо озираясь, они прятали в мешки огурцы, капусту, какие-то незнакомые овощи.

Но раздался крик, страшный крик: мужики!

И все, Сашка с ними, еле держась под тяжестью мешков, кинулись бежать; падали, подымались и снова бежали.

А мужики бежали тяжело, мерно, и знали они, что догонят, и знали, что накажут. Бабы, напуганные нашествием голодного города, не в меру визжали и бежали наперерез с кольями.

Те, что ушли вперед, стояли и глядели, как расправляются мужики с отставшими девушками, как бьют и отбирают мешки. Злее всех били пришельцев старики и бабы.

Потом снова двинулись все в путь и громко кляли крестьян, и ругали, и ненавидели. Но Сашка знал, что назавтра, когда приедут на рынок крестьянские телеги с мешками, эти же самые люди — и тот кричавший проклятия чиновник, и этот старик в галифе — будут ходить между подводами, громко льстить, смеяться матерным шуткам и выменивать свои тряпки.

Домой Сашка пришел распаренный от успеха и всего этого дня. Устало принимал поздравления соседки.

Было поздно, варить картофель было уже нельзя, и, предчувствуя тяжелую ночь, Сашка с голодной тоской улегся в темноте.

XV

Часу в двенадцатом Сашка проснулся. Было очень темно, уставшее тело ерзало по постели; а голод мучил и навевал Сашке ненужные мечты о тех яствах, которые он сейчас съел бы, и о тех, которые он, быть может, еще будет есть.

«Ну, через три года! — думает Сашка. — Ну, через пять лет, может быть! Тогда — фунт мяса ежедневно! Что фунт? Пять фунтов, да! И хлеба сколько угодно; булка, шоколад, колбаса! Да! А эти пять лет надо мучиться... Колесо!»

Сашка думает о том времени, когда он оденется по-настоящему; и как его будет любить одна девушка, и как она будет его целовать.

Сердце Сашки мечется, как больной надорванный зверек, и, забывая на минуту о тяжелом голоде, он мечтает о светлой девушке, о ее ласках, о теплой руке рядом.

«Я спрошу ее, — думает Сашка, — спрошу ее: “Где ты была, когда я мучился? Страдал?.. Я всегда думал о тебе, ждал тебя. Почему ты не пришла ко мне тогда? Как ты смела?.. Или ты не знала, родная моя? Или, может быть, тоже ходишь сейчас оборванная, голодная? Так я найду тебя, найду, слышишь? Я сейчас голоден, лежу в темноте и говорю к тебе письмо! Я мучаюсь... Господи, как хорошо было бы, если бы ты была со мной”!»

Сашка, собственно, не верит в Господа. Когда-то, правда, он верил. Еще в первом классе, не зная урока, молился: «Господи, помоги! Господи, помоги!» А когда умерла мать, он начал молиться: «Господи и мама, Господи и мама...» А потом пришлось прибавлять и отца, потом брата, молитва разрасталась, а к тому времени Сашка уже совершенно убедился, что Бога нет! И мамы нигде нет! Самому думать это страшно, а на людях ничего. И тот факт, что Сашка иногда употребляет слово «Господи», отнюдь не должен свидетельствовать о непрочности его убеждений; совсем нет: привычка! Но Сашке хочется отучиться от этого слова.

А в комнате темно, постель кажется грязным компрессом, и из всех Сашкиных мыслей выталкивается болезненно одна: «Кусочек хлеба! Кусочек хлеба!»

Сашка забывает о девушке, о Боге и весь поглощается одним вопросом: «Где достать кусочек хлеба?»

И ждет Сашка ответа от себя, ибо знает он, что никто, никто на земле не позаботится о нем; и сердится, что не может ничего изобрести. Он жалуется на нелепость, он плачет, почему, когда есть огонь — нет картошки, а когда есть картофель — нет огня?

Вдруг у Сашки мелькает мысль.

Он наклоняется в темноте под кровать, вытаскивает мешок с картошкой и, достав нож, чистит одну. Почистив, он ест. Горько!

Сашка больше одной не может съесть. Снова он напрягает голову и ищет в темноте выхода.

Вдруг у него снова мелькает идея.

Он быстро соскакивает с постели, зажигает спичку и подходит к столу. Тут он очищает все кругом, нащупывает какую-то книжку, читает: «Мачтет». Говорит: «Не до тебя сейчас!» И, вырвав несколько листов, зажигает их. Потом, надев картошку на вилку, держит над огнем.

Сашке все-таки жалко книжку, и он, будто оправдываясь, говорит вслух:

— Ведь я ж не ел целый день!..

Пламя бумаги — слабое, очень слабое, а дыма и копоти много. Сашке немного боязно всей этой ночи, этого огня, этой копоти; он рвет еще и еще Мачтета[4] и крутит картофель.

Долго пек Сашка. Полкниги прожег. А все-таки картофель только чуть-чуть сверху обмяк. Сашка глубоко впился зубами, а внутри сыро! Обгрыз со всех сторон и кинул: пропади ты пропадом!

Сашка опять лег, твердо решив ни о чем не думать, не мечтать, лишь бы утра дождаться. А там грезились ему радостные образы больших горшков, доверху наполненных картошкой... Давясь слюной и копотью, Сашка устало забылся.

XVI

Назавтра, проходя двором, где исчезли все заборы, Сашка увидел около конюха Савелия Куню и Ваську. Савелий держал свою пару лошадей, что-то подвязывал, а Куня с Васькой дружно спорили:

— Я поеду!

— Нет, я поеду!

— Я тебе в рыло дам, — слышит Сашка.

— А я тебе в морду!

Сашка понимает, что когда Куня с Васькой дерутся, то выигрывает он, Сашка!

— Ты на коне ездишь? — спрашивает, завидя его, Савелий.

— Я-то? Само собой! Я, как у нас лошади стояли, можно сказать, с них не слезал! — заливается Сашка.

— Ну вот. Пойдешь со мной купать?

— Отчего ж? Я, можно сказать, с удовольствием.

— Ну-ка садись! А то они поладить не могут.

— Ну вот. Совсем кавалерист! — похвалил Савелий.

Сашка попробовал отъехать, не дожидаясь его, но лошадь не шла.

— Она не пойдет без моей, — объяснил Савелий, влезая на лошадь. — Потому они как бы муж и жена, только жена у них всем делам голова. Вот как.

И они поехали. Когда Савелий ехал шагом, то и Сашка должен был ехать шагом; когда тот переходил в рысь, конь Сашки тоже рысил; и это было обидно.

— Ты меня спроси, сукин сын! Может, я не желаю как обезьяна ехать! — объяснял лошади Сашка. — Может, я и не на таких конях ездил? Этого ты не хочешь понимать? Раз я на тебе сижу, значит, я тебе хозяин, а на жену твою мне наплевать! Да!

Но наплевать, оказалось, было именно лошади на Сашку, и шла она, как желала.

Подъехали к горке, и Савелий перешел в галоп, Сашка не успел этого заметить, как уже сам широкими дугами плыл на лошади: вперед-назад, вперед-назад... Сашке начало казаться, что он сейчас упадет, что нужно остановиться.

— Сав-в-велий! Сав-в-велий! — орет Сашка ветру в лицо.

Савелий скачет вперед и не слышит. Сашка видит, цепко держась коленями, как на тротуаре малый ребенок плачет и как мать, успокаивая его, показывает на кричащего Сашку:

— Вот-вот упадет, не плачь!

Промелькнули еще несколько лиц; и несется Сашка дальше; лютым галопом несется, на тяжелом коне.

Лишь далеко от улицы Савелий остановился, стала и Сашкина лошадь. О, Сашка, конечно, не рассказал, что он кричал; зачем? Сашка делал лишь различные деловитые замечания насчет лошади, ее цены и так далее.

— Хорошая лошадь, — уверенно хлопал он ее по шее.

Купали лошадей. Сашка старался всячески выразить свое удовольствие, свою благодарность, он ласково мыл, гладил, скреб; но где-то внутри он чувствовал обиду и не понимал отчего. Только потом, на обратном пути, проезжая тем же местом, он понял, что обижен той женщиной, которая кричала: «Вот-вот упадет, не плачь!»

После купанья снова мчались, завернули в сторону, поехали лесом, где Сашка так недавно еще ходил с топором. Низко нагибаясь и воображая, что они за кем-то крадутся или что кто-то за ними крадется, Сашка летел по мягкой тропе, касаясь головой гривы коня. И мечтал он нагнать кого-то и зарубить его; чтобы весь свет глядел на него и изумлялся.

XVII

Все-таки Сашка счастлив: молод. Может заставить себя хоть немного забыть настоящее, уйти в мечты.

Хорошо поиграть в далеких людей. К пышным богатым землям, где живут храбрые люди, не знающие лжи, причаливают челны. Бледнолицые сыны, «длинные ножи», надвигаются на север.

Сашка — вождь делаваров. Есть иные племена: воинственные команчи, дикие апачи, изменчивые сиу... Но Сашка — делавар! Это ему ближе.

Все мальчишки собраны. Розданы стрелы, натянуты луки, дымят костры, и плачут белолицые пленницы, глядя на мужей, привязанных к столбу пыток.

Бьют барабаны, гремит жесть, крики подлинной боли и кровь на камнях — так легче забыть голод!

Сашка по обязанности должен был пробраться на разведку в соседний сад — бежал задворками.

Высунувшись из окна, желтая больная женщина слабым голосом звала его:

— Саша, Саша!

Сашка подошел.

— Ради Христа! — просила она. — Ради единого, не шумите вы так, дайте вздохнуть: больна я, улежать не могу, начальство ты, смилуйся.

Сашка смотрел на ее истощенную шею, убегавшую к синей старческой груди. Смотрел в упор, не мигая, еле слушая слова.

Она поспешно прикрыла шею платком. Только край какого-то шнурка остался виден.

— Спать не могу, смилуйся! — просила она.

— Ладно, — пообещал Сашка.

Игра больше не клеилась. Что-то тяготило и камнем ворочалось в нем. Все время мысли его возвращались к разговору со старушкой. Мелькала ее птичья шея со шнурком.

И вдруг его будто обухом ударило: «Деньги! Там деньги!»

Вдоль шеи старухи на грязном шнурке висел полотняный мешочек.

«Деньги! Там деньги, — бессмысленно повторял он, присев на траву. А потом закружило, бессмысленно замелькало: — Из винтовки? Нельзя: услышат! Прикладом? Или подушкой! Спит. Одна. Всегда одна. Сын арестован. Заводчица. Жрать обязан? — убеждал он себя. — Трус! Баба... Если подушкой: но хватит ли сил? Перешагнуть через окно, раз! Открыто окно. На шее висит. Может, не убивать, а только перекусить шнурок?»

Хмелем расшатало Сашку.

Побежал к Куне: распирало от волненья.

— Дело у меня есть! — бросил Саша.

— Какое? — вцепился Куня.

— Мокрое. Вот какое. Мокрое дело.

— То есть как? — глазки Куни сверкнули.

— Изнасилую, а потом убью! — с деланой небрежностью процедил Саша. Руки дрожали.

— Возьми меня в помощники, — предложил Куня.

— Не помощник ты в таком деле! — презрительно повел плечами Саша.

— Ты меня в опасность вводишь, честь мою нарушаешь и в помощники еще не берешь! — гаркнул возмущенно Куня. — Может быть, нас сейчас милиция слушает, на ус мотает, кто ты есть? Скажи! — патетически вопрошал он.

— Тебе что, жизнь надоела? — нагнулся к нему Саша. — Ежели я на такое дело пошел (Сашка именно так и сказал: «пошел»), значит, для всех, для справедливости. И тебе будет. Всем дам. Себе только на билет

в Сибирь возьму, больше не надо. Понял? Мне «рука» нужна, «рука», — шептал он.

Сжав кулаки, он их близко придвинул к Куниной шее, чтобы показать, какая именно ему нужна «рука». Куня понял: «М-да. Это конечно.»

Разошлись.

Сашка чувствовал, что решимости его надолго не хватит: нервы не выдержат. Если делать, то уже!

«Допустим, так... Иду в клозет. По дороге снимаю ремень штанов: всем видно. За забором — раз, крыша; спускаюсь: для меня — один момент! Скок — открыто окно. Перешагну. Два шага — постель. Спит? Срезать мешочек так! Не убивать? А если взглянет? Нет, страшно, лучше убить. А может, крепко спит? Надо посмотреть, может, и срезать!»

И Сашка решил: «Сделать репетицию!»

Приготовился. Распустил ремень штанов, сунул за пазуху кухонный нож... и юркнул.

«Не убивать же иду. Репетиция», — шептал он себе, задыхаясь.

«А зачем ты кухонный нож взял?» — спрашивает кто-то в нем.

«Может, срежу...»

«Веревку срезать лучше перочинным. Нет, ты, трус, скажи: делаешь ты дело или нет?» — гневно душил его кто-то, когда он перебегал двор.

«Не знаю!» — в отчаянии взмолился Саша...

Окно было открыто. На кончиках пальцев, с бьющимся до мглы в глазах сердцем, Сашка подобрался к завалинке. Сжимая руками громадный нож, заглянул в комнату.

На широкой постели под жаркой периной лежала худая женщина с закрытыми глазами.

Как зверька пасть удава, так втянуло Сашу до пояса окно. Просунулся и застыл, одеревенел.

Звенит в ушах, обмякли кости.

«Надо перешагнуть... подойти... стукнуть...» — мелькает в голове.

Но неподвижно, согнутой колодой застыл Саша, перегнувшись в комнату, бессмысленно расширенными глазами впиваясь в лежащую женщину.

От упорного ли взгляда или от чего другого, но женщина зашевелилась и открыла глаза.

Почувствовав кого-то возле, она испуганно приподнялась и сразу подрезанно навалилась на край кровати, увидя Сашу.

Изогнутой колодой застыл Саша: не разогнется! А в голове вихрь: бежать... стукнуть... а мешочка, мешочка на шее нет... гибель...

— Ты чего? — с ужасом, храбрясь, прошептала старушка.

Тут вот Сашке удалось прорвать оцепененье и, дико вскрикнув, камнем рвануться, покатиться и побежать без дороги, не выпуская из руки зажатый нож.

Так кончилось бессмысленное это покушенье.

«Ты теперь опозорен навеки! — рыдал он ночью. — Бандит! В милицию еще дадут знать. Да и сделать не сделал. Трус! Хуже бандита: хотел ведь, а струсил. Побоялся. Хуже бандита! Карманник! Боже!

Вовсе я не опозорен, — защищался он сам перед собой. — Хотел ограбить, чтобы поесть. Имею право, как анархист. И не трус я: смел, да не ел... вот что. Голод, он всему виной, всем мыслям, всему.

Да раз голодаешь, то имеешь право, — поддержал его и второй голос. — Полное право. Сволочи!»

И Сашка мокрыми еще глазами подмигнул кому-то. Знал: даже если бы не голодал, был сыт, те же мысли мелькнули бы...

XVIII

Сашка опять получил повестку от Оли: явиться в восемь часов утра. «Ладно, понимаем», — не доверяет Сашка. Но пошел. Он пришел слишком рано: комхоз был закрыт, и долго пришлось дожидаться. Наконец появилась и Оля.

— Есть служба, Сашка!

— Но?

— Ей-богу, здравствуй!

— Здравствуй, где же служба? — осторожно осведомился Сашка.

— Сторожем в саду будешь. Фруктовый сад, понял? Младшим сторожем будешь.

— Сторожем?

— Да. Не хочешь?

— Отчего ж? Если хорошая, то есть настоящая служба, то я могу!

— Настоящая, настоящая, Саша!..

И Сашка зажил в лесу.

Словно давно-давно ждал лес Сашку, все скучал о нем и потому, должно быть, так радостно встретил его звоном своих листьев.

Сашка сначала даже был озадачен. Как хорошо в лесу, как наряден лес, как ласков он к молодым!

И среди леса, одним концом упираясь в берег реки, а другим уходя далеко в ягодный заказ, раскинулся фруктовый сад в несколько сотен деревьев.

Словно всю жизнь жил тут Саша, так легко и свободно ходит он по лесу и саду.

Нагуляется и придет слушать разговор старшего сторожа, отвечать на вопросы.

А к вечеру зажигают костер; с реки тянет железом и влагой, смолистый чугунный запах сосны всюду царит. И, словно зверек, выглянувший из норы, озирается Сашка.

— Ух, как хорошо! — молится Сашка, идя обходом с «обрезанкой» за плечами. И думает он, что если бы к этому была хоть какая-нибудь еда, то не было бы меры его счастью. Думает, вздыхает и слушает так детски понятный, таинственный шорох: говор деревьев.

Поздним вечером мужики приводят в сад лошадей. Хруст крепких зубов и звон железных пут совсем околдовывают Сашку. И, примиренный самим источником жизни, завороженный влажным голосом земли, он временами совсем забывает свой безнадежный голод и тихо шепчет:

— Как хорошо! Как хорошо!

Вгляделся Сашка в людей. Одних полюбил, других возненавидел, мудростью сердца чуя их жизнь.

«Старший» был вздорный мужик — Степан, — раз навсегда рассерженный и раздраженный. Была у него дочь, которая приходила со своей телкой, пасущейся днем в саду. Она тяжелым взглядом упиралась в ноги отцу и, вся скривившись, шипела:

— У Петровых опять забрали овес. А у Николая корова пропала; отряд проходил.

— М-да, — мычал Степан.

Чтоб за свою работу нельзя было иметь... Горе какое...

Видя Сашку, она фальшиво улыбалась и говорила:

— Что, не холодно вам-то с непривычки?

И Сашке казалось: скажи он, что холодно, она обрадуется.

Жил Степан различными доходами кроме службы. Днем приходили люди, шептались, случалось, давали деньги. Кроме того, имел он огород, разбитый в нескольких местах сада. Но больше всего питался он табаком, который был у него всюду понасажен.

Он рвал его зеленым, сушил на камне в костре и, злобно оглядываясь, курил; курил с таким видом, будто кому-то пакостил этим.

Среди мужиков, приходивших на ночное в сад, был один батрак, которого сначала сильно было полюбил Сашка. Был он немного хвастун, драчун, но, главное, какой-то больной. Сашка это сразу почувствовал, а потом узнал от других, что он, говоря «всюду бывали», не врал; а был он даже в желтом доме.

Звали его Куликом. По ночам Сашка долго слушал его рассказы о жизни, войне, людях и жалел этого молодого парня. Был он — как говорил — и в гимназии, да исключили; смущал Сашку немецкими фразами; делился с ним своими сведеньями и хлебом.

— Эх, Сашук, ты мой Сашук! — ласкал он Сашку.

И ночью ржали лошади, чуя реку. То и дело чья-нибудь тень выползала из мрака и крепкими коренастыми шагами подходила к костру. Говорили. Критиковали. Сплевывая сквозь зубы, молодой парень, указывая на Сашку, говорил Кулику:

— Вот она, твоя коммуния! Ему бы под periной лежать, а не здесь босяком сидеть. Да.

— Это, брат, ничего, — говорил старший мужик. — Это не мешает. Пусть его посидит. Не с этой стороны рассуждать надо.

Сашка пошел обходом. Кулик тоже поднялся и пошел с ним.

— Так-то, Сашук, — заговорил он, когда они отошли. — Так-то. Сядем; и обходить-то пока нечего, чужой сейчас не придет, а если придет, то ты, Сашка, ему помешать не должен. Сволочи они, сволочи! — говорил Кулик.

Сели.

— Как не должен помешать? — удивился Сашка.

— Как? А очень просто. Придет днем, заплатит Степану, а ночью натрусит яблок, только знак Степану подаст. С тобой небось не поделится. Сволочи они, сволочи, — улыбался Кулик. — Или, например, Сашук, сад-то,

он траву имеет, а траве цена есть, а вон он наших коней пустил, думаешь, не получил продуктов от хозяев? Держи карман! И чем больше получит, тем злее глядит да ругается. Бойся, Сашка, что-нибудь иметь, бойся этого хуже смерти, мук страшных! — заговорил вдруг страстно он. — Бойся чем-нибудь владеть. Только если гол ты, как сокол, не будешь ты подлецом! Кто сейчас у нас самый лютый, сволочной народ? — спрашивал Кулик, подмигивая. — Кто? Мужик! Вот кто. Он один с имуществом остался, да еще не то что потерял, а умножил. Потому, между прочим, он и подлец, потому глядит хуже волка; по сторонам оглядывается да в кусты лезет: как бы не потерять, не прозевать. Ух, ненавижу его, подлеца! Слыхал, как говорили: и тут не для нас, и там не для нас, и не с той стороны! Старик-то как, Сашка, на тебя: «Пускай поучится, пускай посидит...» А молодой не понял линии, пожалел... Не жалеют они нас, ох, не жалеют. Отобрать бы у них все — первейшие люди...

А сейчас так и трясутся, так и трясутся, всех за воров почитают! — продолжал он. — Бойся, Сашка, что-нибудь иметь! Будешь голым, как сокол, — человека пожалеешь, раскусишь, поймешь. Ты как, ездил поездом?

— Ездил!

— Видал, может, как влезет пассажир с чемоданами да с коробками; взгромоздится на полку да всю ночь дрожит, каждого за мошенника принимает, пикнуть боится; на карманах лежит и не дышит. Так-то они всю жизнь живут; а кто голышком, тому и заботы мало, тот с человеком поговорить не боится, в коридор выйдет, за окно выглянет; никого не боится... Жестокие они стали сейчас, — оборвал вдруг Кулик. — Будто пес на кости. Все не по ним. Лает, лает, сукин сын...

— Что ж, недоволен, потому и говорит. Разве не имеет права? — вставил и Сашка.

— «Недоволен»! А ты мне покажи этого русского человека, который доволен был! — вскричал, будто рассердясь, Кулик. — Я, Сашка, видал людей, видал войну, тюрьму, видел, между прочим, виды, всю землю нашу, да пол-Европы оглядел. Всяких людей видал, а русского человека довольным — не видал! То-то. Ты не гляди, что он недоволен, наплевать! Никогда он не будет доволен, уж такая раса! Делай, как понимаешь лучше, да глотку — если больно дерет — глотку залить ему! Залить подлецу!.. Никогда, Сашка, мы не будем довольны, такой уж народ... Только наделает он еще делов, наш мужик! Ох, наделает...

— Это как же? — испугался Сашка его зловещего голоса.

— А уж не знаю, как да когда, а наделает! Страшных делов наделает, между прочим! Ты послушай, Сашка, один случай, может, и ты поймешь, как я понял. Давно гляжу я на него, да ничего, а вот увидел, как умирает он, тогда и понял... Страшные дела будут! — убежденно и охотно твердил свое Кулик. — Как взяли нас в плен во время ночной атаки, человек с семьсот, тогда я, Сашка, многое и узнал. Набили нас в амбар — яблоку упасть негде. Капустой воняет, да так, что задохнуться очень даже можно. Как селедки стоим и ждем. А кругом пулеметы стучат да мортиры играют — это наши снова пошли в атаку. Ну, брат, раз они в атаку, то нас в тыл не поведешь! А как начали наседать наши — стали нас, между прочим, выводить да расстреливать, не обратно же отдавать? Конвой-то маленький, все люди в деле заняты, так что мы сидим себе в амбаре, а каждый раз человек двадцать выводят, — кого ближе к дверям. Что тут, Сашка, было, и передать невозможно, как те, что у дверей, стали к нам на середку да к стене лезть, а мы отгребаться. Страсть сколько передушилось народу! Немцы только смеются;

«hoch»* кричат — душите себя сами! Две-три сотни перестреляли, как к нам, между прочим, приказ пришел, пока время, в тыл отводить: атаку отбили. Входит к нам их капитан и лейтенант, светят лампочкой — полно... Слышу, говорит один: «Нельзя столько отправить: людей мало! Редуцирен!**Сократить».

«Слушаю, г[осподин] капитан! Ауф бефель»***, то есть.

«На одну пятую сократить!» — приказывает опять первый; и выходят.

Вывели нас, Сашка, из сарая, светает уж, и приказали в одну линию построиться. Вахмистр с красными усами командует. Выстроились мы, Сашка, и ждем. Главное, что они, подлецы, позволили нам меняться.

«Можно меняться! Tauschen sie sich!»**** — крикнул вахмистр, а сам смеется, между прочим.

— Н-да, — протянул Кулик. — Меняться-то можно, да как его узнаешь, где он, этот «непятый»? Придумал, сволочь! Сколько, скажу я тебе, Сашка, сколько люди себе крови напортили из-за этого самого менянья, ах ты, Господи! Кто поменялся да в пятые попал, не приведи Господи, что с ними было! Стал это я, брат, а кругом все люди наши, потные да зеленые. Я как стал, так решил стоять — не меняться. Рядом со мной тоже такие люди стояли. Только вижу я, справа, четвертым от меня стоит один городской, моей роты, да молит сбоку другого, пермяка, — вон о нем-то я и веду, Сашка, тебе рассказ... Молит, значит: поменяемся да поменяемся! А пермяк-то, как камень, — давно я его заметил — все тянет: «Мы и здесь постоим». Вижу я, трясет городского совсем не основательно: место как место. А он заметил,

* Hoch — Да здравствует! (*нем.*). Здесь: Молодцы!
** Reduzieren — сокращать (*нем.*).
*** От нем. auf Befehl — по команде, по приказу. Здесь: Слушаю! Есть!
**** Меняйтесь! (*нем.*).

что я гляжу, и просится: поменяемся да поменяемся! Ну что ж, поменялся я, любопытно было. Скомандовали нам: «Смирно!» Да начали отсчитывать. Выводят этих «пятых» словно из бани; и если сам там стоял, то ничего еще, а если поменялся, то так и взвоет, так и взвоет. Один там какой-то все кричал: «Не желаю меняться! На свое место желаю!» Бьют прикладами, кто пискнет, потому недалеко позиции. Подошло ко мне, Сашук; страшно, а пермяк косится себе на бок, как лошадь. И что, Сашка, думаешь?

Франт-то этот городской, что на мое место стал, вышел пятым, я четвертым, а пермяк опять пятым. Хо-хо-хо! Пермяку-то ничего, вышел с перевалкой, вздохнул и молчит, так и видно по заду, что скучает. А городской-то как взглянет на меня: и сейчас жутко! Да, а все-таки счастье выпало этому пермячку. Как их выстроили, чтобы пулеметом стегануть, так он случайно вперед грудью выдался, а капитан и подумай, что он сказать хочет, орет: «Скорее! Schneller!»*

А пермяк-то, он говорить ничего и не хотел, но как растолковали ему, он и говорит:

«Хлебца бы кусок, ваше благородие».

Перевели.

«Хлебца? — изумился даже капитан. — Да тебя ведь сейчас стрелять будут!»

«Это уж как Бог скажет, — меняет ногу пермяк и чешется. — Только хлебца бы кусок.»

Н-да, удивился капитан, Сашка, уж как удивился, даже рассердился. Schwein, говорит, то есть свинья, таких и убивать не жалко! Только тут к нему лейтенант подошел, пошептал что-то; тот улыбнулся, мигнул вахмистру, и вывели его к нам, и хлебца даже дали. А пермяк все смеется:

---

* Быстрее! (*нем.*).

«потешный народец» — и жрет себе. Счастье человеку, только погиб он скоро. Так-то, Саша; вот как он хлебца просил да задом своим поглядывал на капитана, а усмешечка ему по усам бежала, вон тогда мне и стало страшно! Понял я, Сашка, что если он, этот сукин сын, так умирает, то уж как он убивать будет? Как он нашу-то жизнь посчитает, когда придется? И глазом не моргнет, хлебца даст и зарежет! Тогда и подумал я, что страшных делов наделает он. Понял, Саша?..

Саша промолчал.

— Я, будь мне воля да сила, всех мужиков перестрелял бы! — заявил Кулик.

— Что ты, зверь ты, что ли?

— Не люблю я их! — вскричал он в страстной тоске. — Ненавижу! Хуже зверья они! Боюсь я их. Не разберешь, кто такой: друг, враг; загубит, поможет? Всех бы перерезать для безопасности, между прочим.

— Как всех? — изумлялся Сашка. — И хороших, и дурных?

— Ах, Сашка, Сашка, — улыбнулся Кулик. — Наган мой видал, семигнездный? Так я так: встречу дурного человека впотьмах — дам ему пулю; встречу хорошего — дам все семь пуль, высшую награду!..

Пылал костер. Словно табун резвых коней, играли искры с дымом. Издали фигуры у костра бросали гигантские тени. Ржали с хрустом кони; звенели путы; шелестели листья печально... А звездное небо, где смолкал гул и звуков не было, по-новому показало Саше жизнь. Волнуемый всеми звуками ночи и смутной тяжестью от разговора с Куликом, Сашка поднялся и пошел в лес.

В ягодный лес далеко отошел он и слушал шепот корней, скрип стволов и тяжелый запах смолистой гнили. Хоть никого Саша не видел в лесу, а вернулся радостный и с верной любовью взглянул на тяжелые тени мужиков у костра.

XIX

В сумрачном предрассвете раздували потухший костер. Разгребали тлеющий коровий помет; высокий парень всовывал руку в широкий карман и полной горстью сыпал сухой порох. С треском из дыма вырывался огонь, и парень, жутко усмехаясь, подкидывал щепки.

Начиналось утро; мужики, обогревшись, поспешно распутывали коней и уезжали. Сашка хлопотал, подсаживал, а потом бежал к речке, купался в железной влаге; возвращался бодрый и радостный. Новая обстановка бодрила.

Но постепенно Сашка привык. Из-за полога новой жизни выползло и заняло свое прежнее место всепоглощающее чувство голода. И, туже стягивая живот, который от яблок и другой зелени пух и болел, Сашка вздыхал и думал вслух:

— Главное, что жрать надо!

Раз как-то Степан подслушал эти слова и, зло улыбаясь, заговорил:

— Это ты верно, Сашка. Замечательно! Главное, что жрать надо. Это нам уж давно известно, хе-хе-хе...

У Сашки не было ни одного источника постоянных доходов. Есть приходилось каждый день, а всегда голоден. Где ни пройдет Сашка, всегда что-нибудь поднимет и сжует: яблочко ли, бурак*, кусок коры. Исчезла всякая правильность: елось, когда имелось, и все, что имелось. И, насыщаясь немного наворованной картошкой, Сашка никогда не мог знать, когда ему снова придется поесть и придется ли.

Мысль о еде поглощала все время; и всякий разговор, всякий образ приводил в конце к еде. Вся энергия, все силы уходили в хитрые изощренья: как бы поесть?.. И так день за днем.

---

* Бурак — южнорусский вариант слова «свекла».

Далеко за лесом было поле: картофель, рожь. Сашка откапывал, несмотря на бдительный надзор, картофель, бураки, рвал рожь. Рожь он растирал в муку, и лепил в лепешки, и пек их, похожие на известняк, на том камне, где Степан сушил табак.

Были драки. Были страшные драки со сторожившими парубками; но голод гнал, и ночью полз Сашка между кустами картошки. Чутко вслушиваясь, разгребал руками землю, доставал картофель и сыпал его с влажной землей себе за пазуху. Потом полз обратно, оглядываясь, прислушиваясь, зная, что если он поскользнется, то его ждут тяжкие побои. И сознание этого, сознание, что все зависит от него самого, от его ловкости и силы, делало его движенья особенно чутко-бесшумными. А если случалось, что его замечали и уйти уж нельзя было, он спокойно, сжав побледневшие губы, принимал удары, отдавал картофель и уходил.

Но если удавалось уйти незамеченным, он радостно приходил к костру, бегал к реке за свежей водой; мыл картошку и, распаренный от успеха, дожидался, пока вода закипит, радушно приглашая к ужину Кулика.

— Н-да, накопал, — неопределенно замечал Степан.

— Гляди, забьют, — медленно выговаривал старый мужик. — Сколько зерна крадут-то, Господи! Колос хоть молод, а все ж: камнем протрешь — мука пойдет. Намедни словили мы у себя двух баб. Плачут, а полны мешки колосьями. «Меня нельзя бить, я беременная!» Грех, говорю, сколько пота нашего в этом, и колос-то молод! Нехорош! «Простите, дяденька!» — говорит. А другая, помоложе, гордая такая, говорит: «Кой грех? И Христос, поле проходя, класы рвал». Рвал? Как сказала она мне это, так ее сразу задом вверх да палкой, на ж тебе: класы! Поздно, говорю, сударыня, про Христа изволили вспомнить, да!

— Не по чести вы, хозяин, поступили, не по чести! — отзывался Кулик, подмигивая Сашке.

— Не по чести? А ты честь видал? Какая она из себя, серая, красная? Откуда мне эту самую честь знать? С нами, что ли, по чести поступали? Желал, может, а не знаю как! Не по климату она у нас! Дадим в харю раз — не взыщи, да в ноги поклонись, что другой раз не дали; вот она, наша честь, а другой не знал я, какая она из себя. Я, брат, шестьдесят годов живу, а не встречал! Да! — бил он грозно по горящим веткам кнутом. — Что даем — принимай! — Он привстал. — Да шапку скинь, сукин сын, шапку! И я плясать желаю!

Загадочно улыбался парень, играя порохом в кармане: и темные, заросшие глаза его казались Сашке двумя прудами, затянутыми илом, где живут водяные и русалки; а кругом темный мох бровей.

— Н-да, — мямлил Степан, пыхтя трубкой.

— Звери! Мамонты! — шептал Кулик Сашке. — Боюсь я их! Уйти бы... И ты, Сашка, зверь; ишь глазенки горят!

Говорили о ценах, о продуктах; Степан восклицаньями рассказывал, как его раз вши заели. А после ужина Сашка ложился спать; тут же, под деревом. Степан уходил в сторожку, где воняло гнилью, крысами и еще чем-то, чем пропитан был и сам Степан.

На земле, в траве спал Сашка, и если, случалось, просыпался ночью голодный и видел над собой шатер неба, то удивлялся, как это, когда так кругом хорошо, можно думать еще о еде; и страдать, и унывать...

Но чаще всего Сашкины походы на картошку не удавались, и приходилось довольствоваться только фруктами. Сашка ел их во всех видах: и жарил, и пек, и варил, как картофель; оттого всегда стояла в животе то тупая, то острая боль; а во рту тяжелая оскомина.

Раз Сашка стянул из Степанова огорода пару бураков, но тот каким-то чудом их узнал, забрал и попробовал даже прибить Сашку, да он не дался.

— Не сметь! Я не позволю! — вопил Степан.

— А наплевать мне! — озлобленно сплевывал Сашка. Зато злость было на ком выместить. Это были хорошие минуты, когда Сашка, поймав неумелого вора, бил его прикладом и отнимал яблоки. Если кто просил, Сашка никогда не отказывал, давал яблочко. Но если кто сам пытался, тут уж Сашка бил без пощады. Мстил!

Тяжело было с красноармейцами: забредет случайно в сад; сад большой, никого не видно, — взберется на яблоню и жует себе.

— Слезайте, товарищ! — басит Сашка. — Добром говорю, слезайте!

— А ты такой-сякой! — пугает солдат.

Узнав от Степана, что это сад комхоза, и будучи без ружья, он слезал с дерева и осведомлялся о дороге в город.

— Так это вы дорогу на дереве искали? — усмехается Сашка.

— Спросить надо. На то язык, чтобы спросить. Язык до Варшавы доведет! М-н-да, — кричит Степан...

Так проходил день. А вечером Сашка слушал рассказы Кулика.

— Расскажи, как ты людей убивал, — попросит Сашка.

— Можно, — соглашался быстро и охотно Кулик. — Убил я, между прочим, своего унтера. (У него была привычка повторять часто «между прочим».) Прохвост сверхъестественный. Как бил он меня еще в казармах, и представить себе невозможно. Возьмет, бывало, по кирпичу в руки и тузит, одним в грудь, другим в живот; это он меня выравнивал, покойник. И-их! — сладострастно вскрикнул Кулик. — Как мазнул я его штыком — даже облизнулся я, так надоел, подлец! Не люблю я, Сашка, старших над собой, ох, как не люблю, то есть просто стерпеть не могу! Ну, так оно было: давно уж задумал я его прикончить, думал, на фронте, да случай представился иной. Стою это я на

карауле, ночь, а он, унтер мой, между прочим, идет себе из города. Я стою... жду... сразу это меня ударило, потому, знаю я, пьет он много. Подходит он, а я по уставу кричу громко, чтобы в казармах слышно было: «Стой, кто идет?» Ночка лунная была — все видно. Ну, он и говорит: «Что ты, начальства не узнал, сукин сын?» А я так тихонько смеюсь, чтобы его не удивить: хи-хи-хи... а громко снова как гаркну: «Кто идет?..» — и снова смеюсь: хи-хи-хи... А он подходит ко мне, руку протянул. Я снова гаркнул: «Стой, стрелять буду!..» — Да как пырну его штыком, наскрозь, до дула дошел и свищу. Ну, шум, гам, между прочим, вышел. Но в казармах слыхали, как я кричал по уставу, да к тому ж у него изо рта — вроде винного погреба, так что и в подозренье не взяли. Никто и вспоминать его не вспоминал, прохвоста. Вот как, Сашук, гляжу это я иногда и вижу его, с фуражечкой набок да с усиками, только не жалко мне его, между прочим. А вот второго своего начальника, прапорщика, жалко мне; не то что жалко, подлец он, да уж не знаю как, досадно, что ли?.. Было это уже на фронте. Я на войну, Сашка, между прочим, охотно пошел. Думал: повоюем месяц-два; или мы их, или они нас, и конец, крышка; вернусь домой с крестами, кино открою, да... Так что был я сначала первым солдатом у нас в роте. Побежать куда под пулями: за патронами, за обедом ротному, письмо частное отнести в тыл из окопа — все я. Кулик, дескать, молодец, сбегает! Ну, сначала лестно было, сам вызывался, а потом надоело, на кой черт это мне? Вот раз просит прапор наш отнести письмо в тыл, я молчу, он все спрашивает: кто пойдет? А охотников-то нет; никому, между прочим, не хочется под пули лезть. Ну, он, Сашка, прямо ко мне: Кулик, снеси! А я ему: дескать, подождите, благородие, сволочь, сейчас самая стрельбня, не желаю я сейчас с письмами лезть, вот как утихнет, мол, увидим, может, и пойду. Так ему гладко это сказал, потому надоело уж мне. А он как рассердится

да по морде меня: из окопа, кричит, под ружье... Ну, вылез я из окопа, стою под руку с ружьем, под пулями, и думаю себе: уцелею — крышка тебе, пристрелю. Бледен я был тогда, прямо как стена, рассердился уж очень. Выглянул он минут через пять из окопа: заметил, какой я с лица, а может, понял, что плохо кончиться может; только позвал он меня обратно. Шутил со мной потом, между прочим, папироску дал; это они все, Сашка, как испугаются — папироски дают. А я молчу, крышка, думаю, крышка, молись. Пошли мы как-то в атаку, пробирались вечером за селом: пустырь пустырем... Около ветряка, Сашка, шел он, как я его, между прочим, пристрелил. Даже не обернулся он; прислонился только к стенке, нагнулся, будто выплюнул в плевательницу... Бились мы, Сашка, в этих местах с недели две. Как-то вечерком, дней через десять, пробирался я в разведку; вижу, ветряк, а у стены что-то темнеет, будто человек; подхожу ближе — человек и есть. Ан не человек, а труп, как пристрелил я его тогда, так и остался он стоять... может, и по сей день стоит, а, Сашка?.. Повернул я ему голову; ну, говорю, ваше благородие, прикажете к невесте письмецо отнести, к мамаше, может? Слушаюсь!.. Только жалко мне его стало, это верно... На войне, Сашка, человек хуже зверя, между прочим.

Была темная ночь. В этот день Сашке, кроме яблок, ничего раздобыть не удалось. Ходил он даже в город: относил тычки в огороды комхоза. На обратном пути забежал домой. Ничего, дом как дом, а грустно, грустно было Сашке. Плакал даже. Думал, что плачет с голоду, а твердил: «Надя, Надя...» Зашла соседка.

— Ишь как загорел. Плачешь?

Подумала, что с голоду, и принесла тарелку жидкой простокваши (сверху сняли на сыр).

Сашка ел кислую водицу без хлеба; от оскомины и рези в животе сделалось дурно. Вырвало.

— Что, Сашка, словно барышня, нежная какая! — фыркнула обиженная хозяйка.

— Пойду я. Это от яблок, должно, — печально оправдывался Сашка.

— Принеси яблок-то, хлебца дам.

— Ладно.

Взял старую шинель и пошел. Холодно стало по ночам. Днем жарко, а ночью — мороз; так босые ноги и студит. Сашка удивляется: отчего это так? А Степан смеется.

— Климат! — объяснил он неопределенно.

Сашка смеется над Степаном: «Климат!» Дурак он, этот самый Степан, даром что телку имеет.

Возвращаясь из города с шинелью, Сашка проходил Ванькиным двором. Савелий как раз возился в конюшне.

— Подожди, Сашка, поедем купать лошадей, — предложил Савелий.

— А долго ждать? — замирает Сашка.

— Часика два.

— Не могу, занят я! — О, как трудно отказываться, Господи!

— Занят? Чем же это ты занят? — участливо осведомился Савелий.

— Сторожем в саду.

— Ночным сторожем? — с уваженьем переспрашивает Савелий и ласково треплет Сашку по плечу.

Жалеет.

А Сашка, печальный, подавленный этим принужденным отказом, с гимназической шинелью на руках поплелся дальше.

Сейчас, слушая рассказ Кулика, Сашка ничему не удивляется и готов ко всему.

— А пермяк-то, ты говорил, умер, расскажи! — просит Сашка устало.

— Что ж, зверь он! — охотно начинает Кулик. — Как попали мы в лагерь военнопленных, так у нас, Сашка, не жизнь, а масленица пошла. Кутеж и больше никаких. Главное, что в карты играли! Каждый мошенничает. Тут и англичане, и французы, и бельгийцы; все, брат Сашка, на других языках болтают, а передергивают по-нашему. Пили мы, как волы, прости сатана; и бабы, ах, бабы какие!

«Почему такому ... улица такая узкая? — кричали. — Куда ни ткнешься — забор!..»

А улица-то саженей в десять — так пили... Ну, брат, очень уж ловко пермяк передергивал. Да не впрок пошло, нарвался он на матроса английского. Спустил тот ему — бездну. «Жить не буду, а словлю!» — кричит.

У нас такой уж уговор был: не пойман — не вор, а словил — своя расправа, как знаешь! Понимают: не мошенничать нельзя... счастье-то о восьми углах, не каждому дается, так что делай что хочешь, лишь бы незаметно. Потому каждому выиграть лестно!

Ну, врал пермяк матросу-то прямо в глаза. Не то чтобы прятаться, а в самую морду ему колоду тычет: на! Только треск от карт идет. А какой треск, сами ли трещат, передернул ли — неизвестно! Ну, сорвалось и у него. Мы уж знали, что эти не шутят. Запуталась карта у пермяка и не подлезла. Ноготь помешал или другое что, только не пошла, застряла. «Стой!» — и тут, Сашук, вынул он нож, по-своему там что-то залаял; пермяк еще зада не почесал, как лежал уж под нарой. Матросик денежки собрал, ножик вытер да сам пошел доложить.

Так и пропал пермяк наш, Сашук. Ни за что пропал. Сколько их, людей, между прочим, перевелось — страсть, тьма. Кровь-то, она вонючая, Сашка, не забудешь ее, не отмоешь. Скучный зверь человек, вот что я тебе скажу. Скучный... — повторил он, вкладывая какой-то особый смысл в это слово. — Боюсь я, Сашка, жить; людей боюсь,

всех бы перерезал... Будя, спать пойду! — решил Кулик, вздрагивая.

Холодно мерцали звезды, и, словно кровяные брызги, брызгал костер. Всю ночь из-за голода не спалось Сашке, и, катаясь по твердой земле, он искал забытья. Но оно не приходило.

XX

Две недели побыл Сашка в саду. А потом ушел. Надоело. Все решал Сашка уйти, а тут случай представился: дали пять тысяч коммунок, авансом. Как принес их Степан, а Кулик начал удивляться, что Степан их не присвоил, сразу решил Сашка уйти. Ну их.

Сашка ушел. Опять начал искать работу. Пока деньги были — ничего, но вышли скоро деньги, и опять началось привычное, одуряющее состояние голода.

Наконец Сашка нашел маленькую работу. Буржуев на общественные работы требуют, а Сашка нанимается за них. Придет, условится со знакомым буржуем; солидно, веско, а назавтра:

— Гражданин такой-то!

— Я за него! — отзывается Сашка.

— В пекарню!

В пекарню так в пекарню. Целый день Сашка с толпой ему подобных орудует в пекарне. Носит воду, колет дрова, крадет хлеб, смеется, а потом — к буржую.

— Тяжелая работа нынче была! — солидно замечает Сашка.

— Что ты? Ну ладно. На, спасибо.

Можно и вздохнуть денек; четыреста, иногда пятьсот рублей перепадет. Работа легкая, приятная, каждый раз на ином месте. Сотрудники — разношерстная компания. Критикуют. Сашка, конечно, спорит.

— Вот они — советы! — восклицает какой-то старик. — И тут с деньгами — жизнь.

— Чем же они, то есть, скверны? — спрашивает Сашка.

— Чем скверны? В харю бы тебе дать, вот что!

Смеются. А вечерком можно и погулять. Володю встретить, над Тасей посмеяться, а главное — Феню. Вот уж кого особенно старается Сашка встретить, так это Феню, даже записки пишет. Только не глядит она на него, не глядит.

— Мальчишка! — скажет и мечтательно взглянет вверх.

Уж Сашка и так и эдак; старается! И водой и квасом, ириски и семечки; уж Сашка не постоит! А она только нос вздернет, губы подожмет; выпьет квас, даже и не взглянет на Сашку. Тоже! Уж Сашка обещал сахарину, не верит.

— Мал ты! — говорит.

А Сашка:

— Хоть мал золотник, да дорог!

Покрутит носом:

— Неосновательный ты. Сегодня имеешь, а завтра — кто тебя знает? Свистни-ка лучше Дылду.

И Сашка свищет. Ничего не поделаешь. «Женщины! — говорит про себя Сашка. — Женщины».

А заработок Сашки действительно скоро прекратился: запретили буржуев замещать... И снова голод.

Раздобыл Сашка где-то кусок хлеба, съел и вышел на улицу. Только что прошел дождь, и от полюса к полюсу хвостом взметнулась радуга.

Смотрит Сашка и смеется, а в глазах слезы, и думает: «Боже, как хорошо на свете, а жить тяжело!..» Сашка встретил Володю.

— Как живешь?

— Я, брат, в Киеве был. Пешком только верст двести отмахал! — говорит Володя.

— В Киеве? Зачем?

— За табаком ходил к одному человеку. Заработать думал.

— Ну и как? Чего меня не позвал с собой? — забеспокоился Сашка.

— А ничего из этого не вышло. Табак взяли, это верно. Только на обратном пути красноармейцы обыскали да поделились. Восьмуху только оставили.

— Ну? — засмеялся Сашка. — Молодцы!

— Я, брат, в армию пойду! Там только и житье. Сейчас к Грудку иду, просил он меня зайти. Служба у них есть. Только не пойду я к ним. Идем, разузнаем.

— Идем.

Грудок сконфузился.

— И ты, Сашка, хочешь?

— Нет, мы вообще, разузнать.

— Тут дело интимное, — мямлит Грудок. — И сапог у тебя нет. Не годишься ты.

Ну его.

Ушли. Долго еще ходили и, оба голодные, говорили о том, что тяжело, что пора уж отдохнуть, пора учиться.

— Может, будет и лучше когда? — спрашивал Володя.

— Будет! Будет! — утверждал Сашка. — Только уж мы, брат, под колесо!

Вздохнули.

От летнего вечера расправлялись спины, ширилась грудь.

Далекий женский смех на бульварах; запах скверной пудры радовал и говорил, что еще будет хорошо; а внимательный взгляд прошедшей мимо девушки убеждал в этом.

И, настроившишь на интимный лад, Володя нежно прижимался к Сашке и шептал:

— Люблю я ее! Уж как люблю!

— Ну? — радовался Сашка.

XXI

Сашка наконец нашел службу: курьер в совнархозе. С утра в тяжелых, больших коридорах, где всюду звонки от отдельных кабинетов и зал, дежурит толпа курьеров.

Работы много. Сколько надо разносить! И все: срочно и секретно, срочно и секретно. Пробовал Сашка взглянуть в пакет: номер, указы, отношенья, скука!

Главное, тем работа тяжела, что целый день работаешь. В три часа последние барышни закрывают ремингтоны и поспешно сбегают с лестницы. И тут-то начинается для Сашки настоящая работа: разносить по окрестностям. Трамваев нет, и приходится после целого дня работы бежать из конца в конец с пакетами.

— «Черепично-бетонный завод», — читает Сашка. — Ну ж; это за мостом! «Автопарк» — за охотой! Как же я сюда и туда поспею?

— А поспеешь! — радуется товарищ Сашкин, Митя. — У меня, брат, мастерские, разливная, винокуренный и главлес. Понял, чем пахнет?

— Ишь ты! — жалеет его Сашка. — Почему же это за город только мы разносим? И барышни здесь в курьерах есть! И взрослые! А за город только мы?

— Это уж такой порядок. Они, старшие курьеры, только по городу. А есть такие, что только по зданию, да. А за город только мы с тобой, да еще тут Яшка один есть, — объясняет Митя.

Сашка с ним сдружился. Говорили, спорили, кто больше: Ленин или Троцкий? Смеялись.

Сначала на Сашку, как на новичка, накинули всю работу. Но постепенно, познакомившись, Сашка начал лавировать: после одиннадцати исчезал, в два являлся с завязанной щекой.

Более приятным казалось Сашке работать по зданию. Идешь себе из комнаты в комнату, из этажа в этаж.

Тра-мот. Ком-гос-соор. Товарищ Дышло.

Митя объяснял:

— Ты не особенно-то отдавай, не торопись. Какие несрочные и полежать могут; сразу и разнесешь.

В отдельных кабинетах сидели люди в пенсне.

— Стакан воды, пожалуйста, товарищ.

Внесет Сашка. Взглянет на него через пенсне, улыбнется на босые ноги и малый рост, по голове погладит и отпустит.

Раньше Сашка верил этим улыбкам, но потом убедился, рано убедился — не верить добрым улыбкам и ласковым словам. И полюбил Сашка юным сердцем своим строгие лица, печальные глаза и даже желчный злобный крик. Чувствовал, как родное бьется за строгим взглядом. Озлобленную жалость узнал он и понял, что от ласковых помощи не будет.

Зайдет Сашка к заведующему своему — сердитому хохлу в блузе — и попросится:

— Отпустите, товарищ, сегодня домой!

И повод подаст все старый же, гимназический: живот болит.

Взглянет хохол. Вглядится и забрюзжит:

— Минуты не дадите вздохнуть. Полк вас тут целый, а повестки отнести некому... Ну идите!

— Что, кричал? — спрашивает в коридоре старый курьер; «действительный», как он горделиво себя называет.

— Кричал! Много вас, говорит, а повестки отнести некому! — радостно сообщает Сашка.

— А про сахар ничего не говорил? Нет?

Но больше всего любил Сашка разносить по частным домам. Там пугаются, смотрят, как на начальство, юлят: «Чаю-то еще и не пили сегодня?..» И хоть не дадут, а все же лестно!

— «Товарищ Парова»! — читает Сашка громко на весь двор.

— Исдесь, исдесь! — раздается испуганный крик.

— Это вы будете Анюта?

— Нет! Моя сестра!

— А-а. Пожалуйста, распишитесь.

Обыкновенно обращаются за разъяснениями, как будто Сашка что-то знает! И Сашка не ударит лицом в грязь, он посвящен во все! Глубокомысленно читает, а потом разъясняет:

— Это значит, вашу сестру, как свою служащую, разыскивает совнархоз. Потому — не является на работу.

— Да как же ей являться, когда она в чеке? — отчаивается девушка.

— В чеке сидит?

— Да, в чеке! Она сумасшедшая, — пускается в объяснения испуганная девушка. — Вышла она на улицу да как вдруг запоет: «Боже, царя храни!» Сразу видно, что сумасшедшая, кто же такое сейчас запоет?

— Надо это разъяснить у нас в совнархозе, — солидно советует Сашка. — Идите со мной.

В казенных заведеньях было уж совсем неинтересно. Зайти, сдать, получить подпись, и никаких разговоров.

Сашку поражала людская злоба. Бухгалтер мастерских не желал после четырех принимать по-советски.

— Я не лошадь! — шипел он, брызгая слюной.

И Сашке приходилось на следующий день снова нести.

Инженер завода жил в городе.

— Зачем же на завод бежать? Можно ему ведь и сдать! — соображает Сашка.

— А он не желает принять.

— Ты на завод иди! — кричит. — И я туда хожу!

— Ну и народ стал! — удивляются Сашка с Митей.

Потом работы еще прибавилось. Яша получил повышение: курьер, чистивший клозеты, ушел. Работа его была сравнительно легкая: почистить во всех этажах с полчасика, и пойдет. Сашка завидовал Яше.

Вот так счастье!

— Я уж два года работаю! — оправдывался он. — Заслужил!

Работы прибавилось.

Встретил Сашка Степана. Шмыгнул в ворота.

— Ах ты, сукин кот! — услыхал вдогонку. В комхозе председатель его узнал. Сашка так и затрясся, но тот смеется:

— Под арест бы тебя! — и пальцем качает только.

— Уф! — облегченно вздыхает Сашка и бежит в следующее учреждение.

Каждое учреждение имеет свою физиономию, свой запах, свои особенности. Сторож райсахара печет яблоки. Весь пол в яблоках. Сашка понимает, что они, верно, питаются только ими, и подмигивает. В губкоже барышни на машинках цокают. Пахнет не кожей, как ожидал Сашка, а пудрой. В гублесе спят на скамьях; председатель, молодой студент, пожимает Сашке руку.

Так целый день бегает Сашка по городу, а потом идет утомленный, измученный домой. И думает: что, если бы дома его ждал кто-нибудь родной и какой ни на есть ужин, то все ж — не так скверно было бы жить.

Залезет Сашка в сад, нарвет слив и нажрется ими в темноте, где, как компресс, темнеет его кровать. Душно ему, сиротливо.

За дверью слышны шаги соседки, голоса, капризный плач ее сына.

О товарищах своих думает Сашка, о своем детстве. Все понемногу расползлись по службам. Куня, Дылда и Феня в комсомоле. Тася с Ваней и с Цыркулем — агентами

в чуснабарме[5]. Ленька с Матросом в главтеатре. Володя в курсанты пошел. О всех думает Сашка, в темноте сидя у окна. О маме, брате, Наде. Раз как-то вспомнил, как они с Надей хлеб делили, и плакал от жалости...

Хлеба мало, а оба они голодны. Надя больна, знает это Саша и жалеет, а все-таки берет себе больший кусок, и так тяжело ему от этого.

— Сашка, поровну! — кричит Надя.

— Это поровну! — отвечает Сашка.

— Ну, так дай твою часть! — Не хочет Сашка.

— Ух ты, поганая!

И, полные жалости друг к другу, они дерутся, отнимая хлеб. А Сашка вдруг вспыхивает, как порох, и весь хлеб летит в миску.

На ж тебе!

В помоях плавает хлеб. Страшный, обессиливающий голод чувствуют они; безумно любя друг друга, они стоят врагами и глядят, полные ненависти и злобы.

Вспоминает это Сашка в темноте и плачет. Плачет над жизнью, над людьми; от жалости к себе, к Наде, ко всем людям — рыдает Саша.

— И все от голоду! Все от голоду! — шепчет он в темноте.

Как-то раз, когда он уже начал раздеваться, в комнату вбежала соседка и начала просить закопать в землю какие-то две банки.

— Опять обыск будет? — радуется Сашка, не любящий спекулянтов.

— Да, да, скорее, Сашка!

— Вы пожрать дайте! С голоду не наработаешься! — решает использовать положение Сашка.

Его накормили. Его славно накормили. Презрительно слушая комплименты соседа и дразня языком его сына, Сашка вполне понимал свое превосходство.

— Саботажники вы, — задается Сашка.

— Ладно, ладно, закопай уж.

И Сашка закопал. Тяжело было в темноте, среди крапивы, бесшумно копать. Но Сашка одолел.

— Врешь, влезешь! — кряхтел он.

И действительно — влезло. Только, затаптывая, Сашка напоролся ногами на жесть ручек. Было больно. Крапива жгла до колен.

Сашка быстро вбежал в дом. Мыл ноги. В воде переставало жечь, а вынешь — опять то же. Долго тер и чесал Сашка ноги. Кидал в мышей сапогами...

Сашка слышал стук, тяжелый стук. Шаги, голоса. Соседка плакала:

— Вы сами женщина, вы должны знать! Меня нельзя обыскивать.

— Я действительно женщина, — отвечал голос. — Только не понимаю, почему у вас из лифа николаевки должны сыпаться.

Вошли и к Сашке.

— Кто здесь живет?

— Мы. Я. Нету здесь ничего.

Светили фонариком. Женщина в папахе шарила, заглядывала, ругаясь, за шкаф.

— И спать не дадут. Я человек рабочий, завтра на службу! — стонал Сашка и чесал ноги.

— Ладно, уйдем.

Поздно заснул Сашка. Наутро узнал: соседа забрали.

— Вы меня сейчас кормите. Я пятки о ваши банки поганые изранил! На службу идти не могу! — вцепился Сашка.

Дали кусок хлеба. С неделю хромал Сашка на обе ноги, но зато все приставал к соседке, и та кое-чем кормила: «На, сдох бы ты!..»

— Саботажники! — ругался Сашка, ковыляя на службу. — Авансик попрошу! — задавался он, оглядываясь по сторонам.

XXII

Раз, идя с рассыльной книгой, томясь жарой и голодом, Сашка встретил старого друга своего отца — Нила Фомича. Давно уже Сашка его не видел, с тех пор как тот, потеряв жену, переехал на село жить.

— А, Сашка, я тебя ищу! Как живешь?

— Живем, — осторожно отвечал Сашка.

— Я, брат, сегодня обратно еду. Что это за пакеты? — прервал он себя.

Сашка объяснил.

— Кинь им в харю, этим хамам, эти самые пакеты! — вспылил Нил Фомич. — Я, Сашка, желаю тебя взять к себе! Будешь в хозяйстве помогать, я землю взял!

— Ну? — обрадовался Сашка. — А Федя что?

— Какой Федя работник! — махнул Нил Фомич рукой. — Плох он, вот что! Туберкулез, чахотка и еще там кое-что... Плох... Последний сынок...

Сашка промолчал.

— Ну так как, согласен?

— Что ж, можно согласиться! — решил Сашка.

— Работы много будет. Но жрать будешь! После городских-то хлебов — раздолье. И читать будешь, учиться, чтобы хамом не стать, согласен? Ну вот! Так ты приходи пешком, дорогу знаешь?

— Найду.

— Верст пятьдесят будет, дойдешь?

— А как же!

— Ну ладно.

С тем они и расстались.

Сашка ликвидировал свои дела. Раздобыл где-то у знакомого врача свидетельство, представил в совнархоз и был уволен под насмешливо-завистливый крик остальных курьеров.

И через недельку, набрав в последний раз в чужом саду яблок, Сашка с двумя фунтами хлеба отправился в путь..

Был жаркий день. Еще не созревшая рожь стояла в счастливой истоме. Ленивый вскрип проезжей телеги и крик мужика: «Тр-р-оу...» — манили Сашку сдержанной силой и тяжелым покоем.

Убирали сено. Близ шоссе, по воде и болоту, носили бабы сено. На высокие холмы и насыпи тяжело взбирались косы, с холодным хрустом целуя траву.

А с шоссе свернет Саша — пойдет леском, через хутора и села, через заливные луга, будет кланяться седым незнакомцам и посылать Бога напомочь.

Пройдет мимо покинутой мельницы, нагнется к темной заводи и засвистит: водяного ли кличет?

Выползет на плотину тяжелый уж, ввысь вознесет свою голову камнем: не подходи, укушу!

Хорошо Сашке, ах, как хорошо! Только людская злоба смущает порой. Попросит встречного подвезти — не подвезет. Разве парубок какой подвезет. А мужик и баба только плечи поднимут: много вас!

Ночевал Сашка где-то в пути, у попа. Говорили долго; одинокий поп, покинутый женой и детьми, болтает без умолку.

Рассказывал о стрельбе, грабежах, ласкал Сашку и кормил огурцами с молоком.

— Скверно, говоришь, в городе? — переспрашивал он.

— Главное, что есть надо! — объяснял Сашка. — Скверно.

— Да и собаки, не то что люди, из города теперь бегут! Намедни целая свора прошла. На дачу идут, точно интеллигенты.

Сашка рассказывал о себе, Наде, отце...

— Ты что, в Бога веришь? — перебил его поп.

— В Бога? Не верю я! Ну его. А вы как? — смело спросил Сашка.

— Я?.. Ишь ты, прыткий! Стар я...

А потом поп рассказывал о том, что землю забрали у бар и что народу от этого — убыток.

Барин — он что? Проиграется в карты, и весь хлеб на корню купцу за бесценок продаст. Купец грош накинет и продаст народу. Вон и дешев был хлеб.

Сашка возражал...

— Ну а если не проиграется, тогда как? А вдруг выиграет?

— Выиграет?.. Да, действительно!.. — недоумевал поп. — Не выиграет он! — убеждал он поспешно. — Не выиграет!

На рассвете, взяв у попа хлеба, Сашка пошел дальше.

— Хороший батя, хороший, — шептал он, оглядываясь на махающего платком попа в полотняной рясе. — Один он. Скучает.

По дороге Сашка действительно встретил много собак. Встречал и людей. Больше всего городских: идут на обмен. Надрываясь, с мешками на плечах, шли девушки обратно в город, глядя немигающим взглядом перед собой.

— Устала я, — говорила какая-то женщина, внимательно глядя Сашке в глаза. — Вы как, любите девиц? — странно взглянула она ему в губы.

— Отчего же? — сконфузился Сашка.

— А деньги имеете?

— Деньги? Нет, денег нет! — виновато ответил Сашка.

Она обшарила его карманы, пощекотав под мышками, и, не найдя ничего, рассердилась:

— Проваливай! Чего стал!

А Сашка стал оттого, что хотел ей подать мешок на спину, помочь.

— Проваливай!

Ушел Сашка, удивленно оглядываясь, скорбя. Встретил Сашка еще какого-то старичка во фраке. В руках держал он платок с яйцами и пирогами. Угощали друг друга. Отдыхали вместе под деревом. Подошел к ним пастух — парень с обвязанной ногой, подсел.

— У вас что на ноге?

— А вышел я вечером в огород и на доску как напорюсь! Такую дыру пробил! — говорил парень, развязывая ногу.

Рана была огнестрельная.

— Это от пули! — засмеялся старичок.

— От пули? — удивился парень. — Ишь ты! Ну от пули так от пули...

— Ты в комсомоле? — спрашивал старичок Сашку, придвигаясь.

— Не желаю я, — сплюнул Сашка.

— Чего? — завистливо потирал старичок руки. — Сколько одних перепробуешь. Неосмысленный... — И он как бы увещевающе начал поглаживать Сашку, пощекотывать.

И вдруг Сашка чувствует, что старичок осторожно наваливается на него, пробираясь рукой в одно очень стыдное место.

Отбиваясь от цепких пальцев старичка, Сашка бил босыми ногами его в живот, не совсем понимая происходящее.

— Жестокие, — жалостливо досадуя, бормотал старичок. — Жестокие...

Сашка пошел дальше. Он не чувствовал усталости: только утомление от прежней жизни. Являлось у него страстное желание работать здоровую работу и жрать, жрать, жрать...

Показались кресты церкви.

— Вон и село, — шепчет Сашка. — Вон и отдых.

Уже темнело, когда Сашка входил в село. Пастухи гнали коров, и в поднявшейся пыли и топоте густо стоял запах навозу и парного молока.

Древние старухи, будто живые мощи, испуганно оглядываясь (нет ли чужих), тянулись руками к тяжелым коровьим соскам; и из раскрытых дверей сараев доходил до Сашки звон струи молока о жесть посуды...

XXIII

Круто изменилась на время жизнь Сашки. Была тяжелая работа, но был приятный отдых и была еда. Хоть Нил Фомич говорил, что живут они впроголодь (что и было верно), но Сашке эта жизнь после беспросветья города показалась раем.

С утра, когда еще синел горизонт, принимая из-за волнистой линии холмов золотые лучи, начиналась работа.

И выгоняя скот, и чистя конюшни и сараи, и вывозя навоз, и накалывая дрова, Сашка чувствовал, что он здоров и молод.

Была тяжелая работа, но и это ему было приятно. Окапывая картошку или сгребая сено, Сашка научился петь. И понял он, что родная песня идет только с работой, и смеялся, вспоминая, как поют в городе те же песни.

Босым по меже едет Сашка в ночное. Далеко от людей он пускает коней. Слушает звон пут и наивный хруст крепких зубов. А потом смотрит в звезды и чертит по небу узоры. Ночной влагой темнеет его бурка.

Коней у Нила Фомича — два. Мстительный, озлобленный тяжкой жизнью, он, желчно смеясь, называл их по именам двух героев старой и новой России.

Одна из них была крепкая ленивая лошадь с толстым задом; и, хлестая ее кнутовищем, Нил Фомич испытывал удивительное наслажденье.

Второй был черный, худой, трудолюбивый конь, и, странное дело, именно эта добросовестность раздражала еще больше его измученного хозяина.

— Ах ты, сукин сын, вождь революций, на ж тебе! Еще! На! — исступленно хлестал Нил Фомич...

Сашка сдружился со многими: парубками, девками. Часто ходили они в гости пить самогонку и петь песни. После самогонки следовала критика, а потом рассказы. Так, приятель Сашки, Григорий, рассказал раз, как он ограбил вещи помещика, которые были спрятаны у него.

— Ночью, значит, — рассказывал Григорий, — выхожу это я на улицу, вынул наган да ну палить. А мамаша моя в это время в сенях сапогами стучит. Подождал это я, сколько полагается, и как закричу: «Караул, ограбили!» И через сени к ним. «Так и так, — говорю, — плакали ваши сундучки, чуть меня не застрелили, беспокойство одно!» Ну, сошло. Покачал этак барин головой и говорит: «Бог тебя уж, Григорий, поблагодарит за эти беспокойства, не оставит...» — да как улыбнется. Понял он! — говорил Григорий, смеясь.

Потом пели:

Пусть гром гремит, пожар кипит.
Кругом пожар, кругом пожар.
Мы беззаветные герои...
И вся-то наша жизнь есть борьба-а-а!

Григорий жил с какой-то женщиной, как он называл свою бабу. Жил незаконным браком (он был в комсомоле) и, когда по праздникам избивал ее, прогонял вместе с мамашей из дому.

— Не желаю вас кормить! — орал он. — Прочь! Желаю быть босяком!

К Сашке он приходил за книгами:

— Дай, Сашка, «Максима» почитать! — попросит.

И Сашка давал Горького (приложенье к «Ниве»). Убеждал Григория не драться, ходил его мирить с «женщиной». И, глядя на чесотку, в которой гнил не только Григорий со своей женщиной и сынком, но и мамаша и даже лошадь, Сашка думал, что жизнь, пожалуй, еще удивительнее, чем он полагал.

Там Сашка и заразился чесоткой. Ночь эта, когда он понял, нащупав рукой царапины сыпи, что в коже его загнездились тысячи неведомых звереньшей, для которых все его существо со всеми мыслями и страданьями — только пища, эта ночь была самой страшной из всех бессонных ночей, проведенных Сашкой.

Сашка в ужасе опустил горячие ноги на пол, и первой мыслью его было закричать, позвать на помощь, что-то предпринять, чтобы избавиться от этих страшных соседей.

Самым ужасным для его молодой, нетерпеливой воли было сознанье своего полнейшего бессилья перед этим страшным, неведомым врагом. Сашка сознавал, что ни дракой, ни его изобретательностью, ни мольбой и слезами тут не поможешь! В этом безжалостном, жестоком равнодушии чувствовался ему весь ужас, весь страх человеческой жизни, где столько миров соприкасается и так равнодушны эти миры друг к другу.

Разгоряченное воображенье рисовало ему мириады невидимых клещей, которые, как кроты, прокладывают дорожки в его коже и заполняют их грудами своих личинок. Как обвивают его всего кораллами; и вся кожа изъедена; и всюду в проходах его, Сашкиного, будто молью изгрызенного тела скребутся насекомые.

Сашка видел все эти ходы, переходы, изъеденную кожу, лабиринты. Вид этих яичек, проедающих его насквозь, бешено размножающихся, приводил его в ужас. И ужас этот, вместе с беспрерывным раздражающим зудом сыпи,

где множились в потной тьме паразиты, давал ощущенье страшного несчастья.

Меркнул свет в глазах Сашки; кровавыми зарницами вставал и наклонялся кто-то отчаянно-страшный, заглядывая Сашке в глаза. Тот Темный, кто еще в детстве приходил и ночным кошмаром садился на грудь.

А кричать, звать на помощь — нельзя! Сашка рассудил, что если Федя или Нил Фомич узнают, чем он болен, то станут брезговать им, а может, и прогонят.

И решил Сашка молчать; злобно-испуганно плача, он прометался всю ночь, бессильно проклиная безжалостного врага и ужасаясь.

Так, уже не впервые, в эту ночь понял и познал Саша спокойную, бесстрастную жестокость жизни и плакал по-детски.

Много дней скрывал Саша ото всех свою болезнь. Таинственно бегал в огороды, мылся, чесался; но, когда отвердевшие царапины крепкой зудящей чешуей покрыли его всего, он, плача, рассказал Нилу Фомичу.

— Ну и сукин же ты сын! — укоризненно сказал ему Нил Фомич и собственноручно вымазал Сашу какой-то вонючей мазью.

Все уходит; ушло и это. Но ужас, страшный ужас пред неведомым миром и равнодушной жестокостью жизни остался памятен Саше.

Саша начал только реже заходить к Григорию, хоть и любил у него бывать. Любил, сам не зная почему. Что-то тянуло его туда, в грязь и смрад неприкрашенной жизни.

Больше всего привлекала мать Григория, высокая иссохшая старуха. Будто мощи древние, только глазки слезятся.

Обопрется она спиной об огромную печь и дрожащим, тонким, беззлобно-старческим голоском запоет неведомо кем, неведомо когда сложенную песню

о Богородице, такую же чуждую настоящей жизни, как и он сам:

Патриарси триумствуйте,
Со пророки ликувствуйте,
Со святыми торжествуйте!
Приведутся девы,
Ближние ее,
Во след ее
Во святая святых!..
Девы во след предъидяху,
Творца матерь провожаху
И свещами освещаху.
Руце старец простирает,
Царицею называет,
Сладки гласы воспевает...
Ты во церковь приведеся,
Архиереем воздадеся,
И от ангел предпочтеся.
Ты во церкви от ангела
Пищу сладку приимаше
И небесну ты вкушаше.
Се дева днесь явися,
На престоле спосадися.
Прилетают херувими,
Окружают серафими,
Поют гласы тресвятыми...

Потому ли, что знала она лишь одну песню, но только пела она всегда это. Споет, помолчит немного, покормит поросят и снова затянет старческим голосом:

Патриарси триумствуйте...

А Григорий зайдет, зачастит, забуянит:

— Мамаша, мамаша, религия — это пережиток. И притом: дева! Какая ж она дева! Даже ребенку известно... Желаю скапитализировать корову! — кончал он, стуча каблуком по табурету.

«Капитализировать» корову, то есть продать ее, старуха не давала:

— Умру — все продашь.

— Да когда вы не умираете, мамаша!

Дрались. Дрались жестоко, и вопрос этот был причиной смерти старухи.

Но по-настоящему сдружился Сашка только с Федей, сыном Нила Фомича. Федя ходил всегда из угла в угол по комнате, прихрамывая и постукивая костылем. Всегда с тетрадью стихов, бледный, грустный, а с отцом и грубый в своей строгости.

После работы Сашка присаживался к нему и слушал его нервную, страстную речь. Говорили о стихах, о книгах (Сашка в это время много читал), о Боге.

Станет Федя в углу, обопрется о костыль и начнет печально Блока:

И голос был нежен, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад...[6]

Не вслушиваясь даже в смысл, а только по размеру, по тоске спокойствия, что шла и заливала их, — судили они о муках и тяжести жизни.

И, переводя на свой язык, говорил Федя в угол:

— Умру я, Саша...

Федя сам писал стихи. Стыдливо он хранил их и прятал ото всех. Только иногда не выдержит — прочтет Саше. Попросит Саша, радуясь за товарища:

— Свое что-нибудь, Федя!

Чуть слышно звучал тихий вальс из гостиной.
И пара за парой носилась картинно...
Вы, кажется, ждали кого-то той ночью... —

скорбно выговаривает Федя.

— Ах, как хорошо! — молится Сашка. — Еще что-нибудь!

И Федя читает о том, что где-то Бог велел восстать, и как кровью встретились народы, и с каждым был Бог, и всюду льется мозг и кровь.

Не может быть, красна ведь рать!
Там кто-то Бога взял играть! —

кончает Федя, ломая пальцы.

— Ты в Бога веришь? — спросит Сашка.

— Я в солнце верю, — отвечает Федя.

— Как это в солнце? — привстает Сашка и впивается глазами в Федю. Ждет он, что вот-вот, может быть, откроется ему та страшная тайна, которая ему уже нужна, чтобы снести жизнь. И по впившимся глазам, по полным страстного ожиданья острым скулам видно, как много настрадался Саша.

— Да так. Солнце, оно — мать всего. Солнце жизнь родило, без солнца — смерть, — объясняет Федя.

Сашка поражен. Действительно: без солнца — смерть. «Неужели уже найдено?» — думает он.

— А разве солнце может пожелать что-нибудь? Помочь? Пожалеть? Какой же это бог? — спорит Саша.

— Это для меня все равно, — неохотно отвечает Федя.

— Так ты язычник, значит? — удивляется Сашка.

Но идея эта ему понравилась. Они еще больше сдружились, и Федя однажды ему открыл свой «храм», где он служил, как жрец, солнцу. Оказалось, что уже несколько мальчиков посвятил Федя в свою веру. Посвятили и Сашку.

Далеко в поле, в овраге на камне, молились они по вечерам.

Были свои молитвы (Федя сочинил). Прежде всего Федя читал какое-нибудь стихотворенье, потом пели гимн заходящему солнцу.

— Приди же, приди, наш владыка! — пели мальчики на коленях и мыли руки в лучах заходящего солнца, горделиво озираясь.

А жрец (Федя) приносил жертву: цыпленка, яичко, птичку... потом причащались и кто-нибудь запевал грустное.

Так проходил отдых с Федей. А сам Сашка тоже работал, читал, учился.

И, странное дело, запутанная старая космография и несколько книг по астрономии дались Сашке совем легко, а Верещагина одолеть не мог. Скорбел, скорбел — не выходит.

— Эх, кабы учителя! — вздыхает Сашка.

— Плюнь ты! — советует Федя. — Скука!

Кроме стихов, Федя ничего не любил. Всюду только стихи читал. Федя — стихи, а Сашка — о звездах. Кого ни словить — пристанет, как лист банный, и валит: сколько куда биллионов верст и какой такой лунный пейзаж, — не отстанет.

Ходят вместе к сельской учительнице Лизавете Львовне; Федя читает стихи, а Сашка рассказывает о пятнах туманных, планетах; о вечной страннице — Земле, со псом на цепи — Луне; о тяжелых эллипсисах систем, гиперболах и параболах сводов.

Горят глазенки, высоко ходит грудь: всех увлекает Сашка. Смолкает Федя, вздыхает; бледные ноздри глядят на Сашу, раздуваются. Встает со стула Лизавета Львовна, обопрется о стенку, вся вытянулась, горит. А сестренка ее пожмет тихо под столом Сашке руку, погладит.

Потом спорят. Лизавета против коммуны, но Сашу она уважает и мнение его внимательно слушает.

Сашка высказывает мысль, которую он сам выносил в себе, прочувствовал:

— Никаких наследств! Если папаша нажил и оставил — отобрать. Все дети должны быть равны!.. Но если я сам добьюсь чего, — восклицает Сашка в восхищении, — то могу этим пользоваться. Вот как!

— А ваши дети? — спрашивает Лизавета Львовна.

— А дети опять сначала должны начинать! — краснеет Сашка под внимательным взглядом ее сестры.

— Ах, учиться бы вам! — печально говорит Лизавета Львовна. — Нужно ведь учиться! Вот сестра моя тоже так растет, ишь как глядит на вас, Саша. Покраснел? Ну вот! Я ведь не для того! — путается она. — Учиться бы вам!

Вздыхает Сашка. Не его вина, он учиться хочет. Снова что-нибудь прочтет Федя. Печально что-то; особенно печальное по его бледному лицу и тихому укору в глазах.

Прочтет и скажет:

— Я, Саша, только что твои планеты видал.

— Хорошие вы! — зарыдает вдруг Лизавета Львовна. — Господи, хорошие... Молодые... Что-то с вами будет?..

XXIV

Запивает Нил Фомич. Выпьет — и начнет рассказывать, как он живал. Рассказывает и плачет.

— Весь сад в фонарях! — мямлит он. — Иллюминация! Балы, можно сказать, первый сорт!

Упрется вдруг тяжелым взглядом в Сашку, в Федю.

— Вы, подлецы, Россию любите? — Молчат мальчики. — Любите? — стукнет кулаком.

— Любим, любим. Может, постелить вам?

— А ты чего молчишь? — упрется Нил Фомич в Федю. — Чего молчишь, а? Смеешься? Знаю я твои мысли, знаю! Отвечай: любишь?

— Спать бы шли, пьяны вы! — со спокойной злобой скажет Федя.

— Это ты мне? Отцу? Ну, счастье же твое, что не... н-да, а то бы о-о! — качает он пальцем.

— Чего же вы не кончаете? Что недолго мне жить, хотели вы сказать? Кто же знает, может, и долго; надоест еще! — кривит рот из угла Федя.

А ночью проснется Сашка и услышит быстрый-быстрый шепот и плач:

— Прости меня, Федюшка, прости! Господи, за что же нам столько! Прощаешь?

— Будет уж. Спать иди, опять голова болеть будет, — успокаивает Федя.

— Мать-то, твоя мать, все говорила: «Вот когда Федя большим будет...» Федька, может, опять к доктору пойдем? А? — рыдает Нил Фомич.

Стихал дом. Только за стеной глухо стукнет что-то: лошадь ли во сне ногой ударила? Залает собака на сене; зашуршит что-то: мышь ли пробежала... Кот ли прокрался...

— Господи, сколько этого самого горя на земле! — вздохнет тихо Саша.

А утром на работу: картошку копать.

Осень уже, страда отошла. А потом выехали с плугом Сашка и Нил Фомич, старик и молодой. Налегал «вождь», вилял «бывший» — бодро отпахали полоски. Отмолотили. Работы почти не стало. И Сашка пошел до первых заморозков на свекловичную плантацию работать. Платили там натурой (сахаром).

В глубокие ямы то головкой, то хвостом укладывали свеклу, отделяя каждый слой пластом земли. Потом сыпали землю высоко, чтобы не промерзло.

Работа легкая, кроме Сашки работали только бабы да один старик.

Старик, легко подкидывая лопату, говорил бабам:

— Одно хорошо, это верно! Ты погляди, что под боком делается! Поняла?

И Сашка понимал, что это старик намекает на него, в гимназической шинели, и ему было грустно.

Во время отдыха прятались от ветра за насыпанным валом. Было холодно, и какая-то баба грела Сашку у себя на груди. Гладила по волосам, ласкала.

— Ах ты, бедненький... Кудрявонькой... Канашечка... — приговаривала она.

Сашке было неудобно и стыдно лежать, но было так тепло, так хорошо! Тепло от этих слов, от бессмысленной «канашечки»... даже плакать хотелось Саше. Без ласки ведь жил он, не привык!

В село Сашка вернулся к первым снегам, когда по затвердевшим дорогам потянулись телеги в окрестные леса.

Полпуда сахару нес Сашка на своих плечах, чуть не плача от радости.

— Полпуда! Полпуда! — твердил он, идя зимними полями, где грустно зеленели обреченные на долгую спячку озимые хлеба.

Сахар этот не давил его своей тяжестью, а будто нес на крыльях; и, легко ступая по скованной грязи, победителем входил Сашка в село.

XXV

Начали ездить в лес. Верст пятнадцать по замерзшей дороге с пушинками снега они катили.

Думал Сашка, что знает лес, а ошибся. Будто никогда и леса не видал — так нов он зимой.

Звенят мерзлые ветви, будто скрипичные струны. Стоят в царственных одеждах и ель зеленая, и вечно чистая береза. А с дороги свернешь, прямо по снегу вглубь заглянешь, где ворон каркает да кошка поет, — так и несет застывшим покоем, великим молчаньем корней.

Едут долго по лесу; жадным взглядом окидывает деревья Нил Фомич. Выберут место и станут; коней распрягут, сена кинут, и за работу...

Саша раньше, чем начать, погладит березу рукой, поласкает, будто прощенья попросит.

— Наплевать ей на тебя! — сухо бросит Нил Фомич. — Ты лучше не гладь да не руби.

— Жалко, — скажет Саша.

— Всех не пожалеешь.

Плюнут на руки да тяжелыми топорами застучат с одной стороны, чтобы дать дереву уклон.

Потом за пилу возьмутся. Пилят под острым углом, чтоб уменьшить нажим на пилу.

Почует смерть дерево, от корней к короне содрогнется да медленно закачается. А потом надлом, будто крик, — и падает трупом на землю. Долго бьется ветвями, дрожит. Будто и весь лес в гневе зашумит.

А отойдет Сашка немного: все тихо. Мертва земля на сотни, сотни верст. Вложит Сашка пальцы в рот, свистнет — всю землю всколыхнуть хочет.

Долго слушает Саша эхо; а кругом сосна, да береза, да русская ель.

Навалят деревья, обрубят ветки, перепилят на две-три части и, тяжело навалившись, вскатят на телегу.

Иногда в дружный стук топоров вплеталась далекая беспорядочная стрельба, и Нил Фомич молился:

— Ах, кабы они друг друга перестреляли! — И непонятно было, про кого он думает.

А Сашка думал, что вот сейчас они впрягут лошадей, уедут домой, потом Сашку бог весть куда закинет; и никогда, никогда в этой жизни он не узнает, кто стрелял.

Может, встретит этих людей, будет знаком, а кто стрелял — никогда не узнает.

Оглядывая круглые, чистые стволы на возу, Нил Фомич веселеет, бьет Сашку по плечу и говорит:

— Ну и молодец же ты, Сашка! Редкий ты работник.

И Сашке хорошо от этой похвалы, но он не показывает и виду; только степенно отвечает:

— И вы, Нил Фомич, молодец! Прямо удивленье!

От постоянной работы вместе они привязались друг к другу.

Затем они едут обратно. По дороге, если встречается молоденькое деревце, стройная сосна, Саша срубает ее.

— На постройку пригодится, — говорит он деловито. — Засек перестрою.

Выезжают из лесу и медленно начинают передвигаться, ползти. По открытому, тоскливо плачущему полю едут они шагом.

Метет метель. Скрипит, тяжело переваливаясь, телега, а они идут по сторонам. Быстро темнеет; холодно; устало ступают ноги по замерзшей грязи, а в голове ни одной мысли.

Ступает Саша в оцепенении, и на лице его та же маска тупого терпения, которое его всегда удивляло у мужиков.

Взглянет Сашка, как напрягаются лошади, и скажет устало:

— Тяжелая у них жизнь!

— Чем тяжелая? — спросит Нил Фомич. — Вот придут домой — овса получат. А мы с тобой сверх сил работаем, а поесть нам никто не даст.

И Сашку поражают эти слова.

«Действительно, — думает он, — нам сейчас хуже лошадей». И смотрит с жалостью на красивые усы Нила Фомича, на его статную фигуру гусара.

Устало выступает со своим красивым лицом Нил Фомич у телеги, и Саша думает: «Тяжело, должно быть, менять жизнь на старости лет!»

Холодно.

Саша бежит вперед, чтобы согреться. Крутит снег. Черным погостом видна земля. Свинцовое небо хмурится, кругом, точно сонмы существ, кружат снежинки. А ветер плачется, свистит и задувает, кусая злыми губами.

Отбежит Саша немного — нет лошадей, нет Нила Фомича, только усталый скрип доносится издали. Отбежит версту, и скрипа не слышно — совсем один Саша на земле.

Упадет на землю, стукнется лбом о дорогу и заплачет. Подождет, пока снова скрип раздастся, и снова побежит.

Ползет дорога, за хуторами «фигура». На распятье дорог, вблизи села, темнеет Распятье. Подойдет Сашка близко, упрется в высокий крест и смотрит.

Стонет крест на развилке дорог, гудит.

«Страшно ему тут!» — думает Саша, глядя на темень кругом.

Метет метель. Ветер кружит, пляшет, догоняет кого-то... Бьется тряпка, завязанная на кресте. Глядит Саша и думает, что вот они проедут; настанет ночь, много ночей; кругом ни души, и только одинокое распятье смотрит в ночь да дрожит от ветра.

Слышен скрип телеги. Под гору налево, а там село.

Дома ждет их большая рюмка водки, ужин с черным-пречерным хлебом и строгий к отцу, расхаживающий из угла в угол больной Федя.

Опьянев от тепла и усталости, Сашка ложится в постель и просит:

— Прочти что-нибудь!

Читает Федя. А Сашка думает о распятье; как оно одиноко среди черной земли и снежной заварухи; о том, что завтра надо привезти с реки воду; починить сарай... И вдруг как всхрапнет сладко.

Укроет его Федя и опять начнет ходить из угла в угол, прихрамывая, думая свою одинокую думу.

XXVI

На Рождество ходили к мужикам в гости. Пили самогонку и пели. Пели о том, как возле речки, возле моста, школа земская стояла; и как она упала, и как собрались мужики, чтобы кабачок во славу Божью поставить; и о Руси,

которая будто бы живет не разумом, а водкою; заливает свое горе — самогонкою.

— Верно, правильно! — орал хозяин. — Кабачок во славу Божию!

Возвращались пьяные через реку и попали в прорубь. Смеялись.

Ранней весной здоровье Феди сильно ухудшилось, и Нил Фомич решил переехать в город.

— Если перенесет он весну, уеду я за границу! — сказал он Сашке. — И тебя с нами возьму, будете учиться! Приедете — разгоните эту сволочь!

— А если не перенесет? — спрашивал Нила Фомича брат, тоже собиравшийся за границу и приехавший попрощаться.

— Тогда поплачу и с Сашкой одним поеду! — говорил, будто совсем спокойно, Нил Фомич. — Хоть одного вывезу...

Сашка вернулся в город. Искал пока службу, встречался с товарищами.

Перед отъездом, на Масленой еще, Сашка с Григорием похоронили старуху. Убил ее Григорий.

Воротясь с заседанья комбеда, где почему-то распили ведро самогону, Григорий, стукнув кулаком, кратко сообщил:

— Скапитализирую корову!

— Не позволю!

— Я говорю: позволишь!

— Не позволю!

— Не позволишь?

— Нет! Умру — все продашь!

— Ладно! Пеняйте на себя, мамаша!

И, схватив топор, он пошел убивать корову. Старуха заслонила несчастную, изъеденную коростой корову собой.

— Уйди!

— Не уйду!..

— Убью!

— Убей! — страстно захлебнулась мать.

— Ах... — рыкнул Григорий и опустил топор.

Он не желал убивать. Он не думал убить. Только пугнуть, только поставить на своем желал он. Он клялся Сашке, что только слегка, чуть-чуть стукнул топором по черепу.

В это время где-то недалеко проходил белый фронт, и в неуверенности за близкое будущее терялись и смутно волновались окрестные села. Еще вчера самые беспощадные насмешники теперь делано-весело начинали шутить: «Погоди, вот уже скоро тебя погладят нагаечкой», — и беспокойно глазами кругом. Кровавым блеском мог вспыхнуть этот страх потери приобретенного, но живого действия он не вызывал, и все ограничивалось криками да руганью.

Эта временная суматоха спасла Григория от тюрьмы: его выслали на фронт, откуда он уже не вернулся.

Долго еще и в городе помнил и жалел старуху Сашка; встретив Володю, рассказывал, как Григорий убил мать и корову, как ушел на фронт, чтоб не вернуться.

Володя был в курсантах. Звал к себе. Рассказывал с увлеченьем о своей жизни, о степи, о конях, походах. Остальные приятели были на службах.

— Крадут, — рассказал о них Володя. — То есть умереть можно!

Крали все, что можно было украсть и даже чего нельзя было.

Дежурили по службе где-то в военных вагонах и таскали: рис, полушубки, револьверы, фуфайки. Продавали, дрались. Были состязанья: кто больше украдет. Крали друг у друга украденное.

Тася ухитрился даже с какого-то китайца стащить, пока тот спал, штаны, и китаец бежал голый по вокзалу и, бормоча непонятное, стрелял из винтовки.

Начали попадаться. Стах уже сидел в тюрьме, и хоть его брат уверял, что за шпионаж, но Грудок сказал: за кражу!

Сашка говорил и с Грудком. Грудок утомлен; вырос, разочарован немного. Он говорил о науке, о фунтах стерлингов, о Швейцарии; о том, что он устал и желал бы отдохнуть.

Брат Стаха жаловался Сашке, что после ареста Стаха они «хлеба в доме не видали. Провались я!».

— Летом на реке я устриц ловил. Знаешь? — спрашивал он Сашку.

Сашка знал эти «устрицы». В раковинах гнездится какая-то жирная грязь.

На них рыбу ловят.

— Да, да. Находил я их и приносил домой. А мамаша моя из них суп варила. Ничего, воняет немного, но зато жирная, бестия... Сыграем в карты?

Нет. Сашка принципиально не играет.

По знакомству Сашка устроился на службу. Агент upраудкома. Разъезжает по уезду и собирает от кооперативов всякие сведения.

Получил Сашка и документ: «Власти военные и гражданские благоволят оказывать законное содействие». Лестно Сашке, хоть и сбит с толку.

— Так, значит, я имею право подводу требовать? — сомневался он.

— Полное право!

И Сашка разъезжал. Подводы редко давали: какие были — товарищи построже (с винтовками) забирали. Приходилось Сашке больше пешком разъезжать.

Не любят Сашку. Бухгалтер трясется за своей конторкой, думает: контролер! Председатель ябедничает. Пишут акты, переписывают, подписываются. Жарят яйца на сале и хихикают. Понимает Сашка: кабы не боялись его — дали бы по шее... Это Сашка великолепно даже понимает, и от

этого рождается у него особенное чувство злобы. Смеется над ними.

Наконец Сашка получил письмо от Нила Фомича. Отрывисто сообщал он, что плохо с Федей, хотя есть еще надежда, и чтобы Сашка готовился к отъезду.

Поехал Сашка в город, но по дороге застрял где-то в деревушке. Пасха.

Всю ночь не спал Сашка, был с хозяевами в церкви. С хуторов приезжали святить пасхи; и холодно мерцали звезды. Горели свечи на церковном дворе. По-старому молились.

А кругом радостные, тупые, торжественные лица. Без сомнений, без упреков. По-новому.

Хорошо было Сашке, будто все отошло и снова ребенок он; будто ждет не дождется, что мать его возьмет за руку и выведет; а там Надя смеяться будет: «Ф! Фи! Опять спал?..» И высунет язык. Матери уж нет, Нади тоже, один Саша. Прослезился.

Потом ели поросенка, и Саша не совсем кстати рассказывал о планетах. О свинцовом Юпитере; о таинственном Сатурне с бледными кольцами; о Нептуне, которому путь был предназначен людьми.

Слушали Сашку внимательно, хоть и недоверчиво. Брат хозяина — горбун с бегающими глазами — увлекся, расспрашивал, а потом жаловался. Жаловался на жизнь, на работу, рассказывал анекдоты.

— Да... — рассказывал он. — И сказал тогда Господь Моисею: «Так и быть, поладь их уже, старик; сойди на землю, поладь...» А он только руками отмахивает: «Не могу я, — говорит, — косноязычен я! Сам знаешь: сейчас у них все на митингах! Агитации! Не гожусь я для этого!» Призвал Христа: «Так и так — сойди и успокой их!» А Христос на это: «Так что ничего из этого не выйдет. Раз распяли меня, распнут еще — и правды не будет... Нет!» Развел Господь руки... «Что и делать? Подать сюда Илью-пророка».

Прикатил он на колеснице: «Что такое? На землю?.. Ни под каким видом! Сейчас у них самые реквизиции, отберут мою троечку, да еще в Чеку посадят: “Зачем не регистрировал?”».

— Да... — рассказывал парень. — Так и не нашли, кому сойти нас обнадежить.

Его молодая баба смотрела ласково на Сашу и смеялась глазами.

Все легли спать, хоть уже светало; только Сашка с горбуном не легли: врали.

Потом Сашка пошел к старосте за подводой попытаться еще раз.

— Грех, товарищ, грех! День-то какой!

И Сашка отправился пешком.

Кругом был лес; на много, много верст раскинулась сосна; льется смола, будто плавает в воздухе, хорошо!

Не выдержал Сашка, прилег под сосной и спит. Потом снова идет. Как назло, по дороге ни одной телеги — праздник. И все лес, лес, лес.

Наконец Сашка услышал стук колес. Он спрятался за деревом (чтоб не удрали) и, когда телега была уже близко, двумя скачками пересек дорогу и вскочил.

О, Сашка сейчас уже научился брать! Он не просит уж подвезти. И к вечеру Сашка въезжает в город.

В город, где он жил, где каждый камень носил следы его босых ног и голодных слез.

Печально глядит он на дорогу, которой проходил сгорбленный столько раз: за мамой, за братом, за Надей...

И видит, как спокойно пасутся в пышной траве кладбища коровы.

XXVII

Нил Фомич встретил Сашку печально.

— Скоро едем. Готовься, — сказал он.

Сашка побоялся спросить о Феде. Нил Фомич сам начал.

Все время было скверно. Очень скверно. Вчера сидел он на крылечке и вдруг... кровь. Весь пол залил, подняться не мог. Ну, думаю, плохо! А вот сегодня сразу вдруг хорошо стало, не знаю уж я... прямо чудо.

Федя полулежал в постели, почти сидел. Он все смеялся, шутил, просил есть, но страшный румянец цвел на его щеках.

— Ну, слава богу. Слава богу, — бессвязно твердил Нил Фомич.

— Вы бы погромче, папаша, у меня уж и так голова болит, а к Богу высоко, — злобно проговорил Федя.

— Ну, ну, не буду, не буду! — заторопился отец. — Не любит он этого, не любит, а сам молится, молится! Ах, как молится! — обратился он добродушно к Саше.

— Папаша! — вскричал громко Федя. — Если вы!.. Если я... Господи, за что вы меня мучаете! — зарыдал он. Было тяжело. Улучив минуту, Сашка ушел.

Встретил Володю, Гришу. Болтались. Володя был в военном — совсем взрослый.

Пошли в Домпрос.

Сверху, в читальне, полутемно; тяжелый запах грешного; шепот темнеющих по диванам парочек. Что-то мерзкое чудится в воздухе.

— Н-да-а, — многозначительно протянул Саша, недоумевая.

— Гадость здесь, — рассказывал Володя. — Только у нас хоть вздохнуть можно. Хорошо! Кораблем пойдешь, стрельба, ученье; раздолье! А здесь мерзость!

— Куда прете? Не видите, что занято?! — взвизгивал голос.

— Ничего, поместимся!

— К ... матери, на легком катере!

— Влезем!

Дрались основательно. Окрепшие в работе и стрельбе руки верно били и быстро подымались. Стучали кулаки. Володя троих повалил.

Только один Гриша удрал. Трус!

Потом сошли вниз. На дверях зала искусств надпись: «Товарищ, берегитесь сифилиса... густым слоем вазелина... Берегитесь сифилиса».

В зале душно. Читают в лицах «Три Души».

«“Посторонись, вождь и жрец!” — раздался глас у двери рая...» Удивленно пялит глаза красноармеец с фронта, прижимая девку в шляпе.

Потом читают Горького «Товарищ».

Публика, по обыкновению озлобленная, нашла остроумный способ отомстить. Мстили невинным за свою жизнь, за свои обиды.

Как только показывался объявляющий о следующем номере программы, раздавался взрыв аплодисментов, не давая ему говорить.

— «Пляска Смерти», исполнит...

— Браво, браво... — не дают ему докончить.

Снова он появляется, и снова овации. И в этом единодушии, в этой мелочной мести невинным стихийно сказывалась бессильная озлобленность.

Браво, браво...

Ух, как это нравилось Володе с Сашей!

Появился заведующий (бывший борец). Долго уговаривал, ругал; но стоило только показаться сконфуженному лицу режиссера — и снова гремели ладони.

Кое-как утихли.

Живая картина «Пролетариат».

Заведующий (бывший борец) с обнаженными бицепсами тузил тяжелым молотом деревянный шар земной. Заливался дуэт:

Не щипайтесь под мышкой,
Это просто моветон:
Образованный, с манишкой,
И щипается!.. Пардон!..

Артист прочел «Молчите, проклятые струны!».

И на минуту, будто в один ценный слиток, трепетно слились все. За весь вечер впервые вознеслись сердцем и, замедлив дыхание, повторяли с мольбой:

Молчите, проклятые струны...

Скорбно вторил рояль. И босая аккомпаниаторша сладкой грустью печалила толпу...

«История танцев».

Ну, это, брат, шалишь!

Разбежались.

Из Домпроса мальчики вышли грустные, подавленные.

— Поступи ты к нам в курсанты! — предлагал Володя. — Тут ведь воры! Да и те нос воротят, не желают с нами знаться! Все с портфелями и собраньями. Стыдятся нас! — жаловался Володя.

— Я за границу еду, — вставил Саша. — Учиться буду.

— За границу? — удивлялся Володя. — Как же это так? — изумлялся он все больше. — Н-да. Ишь ты! Тихоня!

— Да, учиться буду. Без науки: что да как и почему... человек будто и не человек, — говорил, краснея, Саша. — Еду это я раз с мужиком и рассказываю, что Земля вертится. А и не мог ему рассказать! Сбил он меня. Вот послушай...

И Сашка долго объясняет что-то о Земле, оси и многих других вещах, не понятных ни ему, ни мужику.

— «Недоучился ты, видно», — говорит. А сам смеется. Стыдно мне! — рассказывает Сашка...

— И я бы поехал, — печально сказал Володя. — И я бы хотел поучиться... тоска. Я, брат, за Единую, ты как? — быстро спросил он вдруг.

— Я тоже. И чтобы все поровну! — ответил Саша, по-детски рассекая узлы.

— И всем хорошо! — взмолился Володя.

Гриша молчал. Попрощались с Володей.

— До свиданья, товарищ! До свиданья!

— До свиданья, Володенька!

И они разошлись, смутно предчувствуя вдали большую еще жизнь и радостные встречи; и потери, и бури...

Идя с Сашей, Гриша шепотом сознался, что он с отцом уезжает в Париж.

— Чего же ты не сказал? — изумился Саша.

— Опасался. Это нужно умело обделать, — шептал Гриша. — С головой! Мы ведь все вещи вывезем. Человека такого не имеем, хи-хи.

— Ты словно шпион какой! Ну тебя, прощай.

Разошлись. Саша спешил к Нилу Фомичу.

Был темный вечер, когда Саша простился с товарищами; и зловеще, углом, всходила луна.

XXVIII

— А, хорошо, что пришел, Саша, — встретил его Нил Фомич. — Я в аптеку должен сходить, посидишь с Федей?

— Ладно.

— Только ты того, — заторопился и перешел в шепот Нил Фомич. — Если, понимаешь, кровь горлом... понимаешь... то ты льду, льду дай ему, — молил он шепотом, пугливо озираясь на Федю.

Сашка остался один у постели. Страшно глядеть Саше на Федю. Бегут тени от свеч; бегут, жмутся в углы. Жутко даже Саше.

— Помнишь, Саша, — заговорил вдруг Федя, — «И только высоко, у Царских Врат, причастный Тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад»... За что я умираю, Саша?!

Бежали тени; тянулись в страхе к углам.

Замолчал, будто заснул, Федя. Саша уж было успокоился, когда он вдруг захрипел... Закашлял долгим, гневным кашлем. В куски рвались легкие.

— Сумно мне.

Он сидел, судорожно срывая белье с себя, и кашлял, цепко ловя впавшими боками воздух...

— Сумно мне.

Вот показалась тоненькая алая нитка в углу рта и побежала к шее. Дальше — больше. Как кончающийся от старости пес, пал Федя на матрас, сгибая худые ребра. А горячая черная струя крови била на подушку, простыню, лужей сбиралась на полу.

— Лед, лед, лед! — кричал сам себе Саша и, порвав свое оцепененье, начал совать в Федин рот куски льда.

Один раз только повернул глаза Федя. Будто огромные глыбы ворочал он.

— Глотай! Глотай! — умолял Саша. И совал, совал пальцами лед — туда, навстречу струе.

Чувствуя на руках чужое недвижное тело, он всей надеждой своей, всей силой уцепился за этот лед! И с наивной верой, подавляя нарастающий ужас, он совал лед, дрожа за секунды, смутно предчувствуя их значенье.

Но вдруг попался слишком большой кусок льда и застрял во рту.

— Скорей, скорей! — метался Саша, проталкивая пальцем.

Но лед не проходил.

Тогда он выхватил его обратно из Фединого рта, пробуя разломать его пальцами; но лед крепок (а кровь, кровь все течет); и вот хватает ртом и, содрогаясь от отвращенья, зубами раскусывает его.

Но — застыли уже глаза Феди тяжелыми глыбами, а изо рта его медленно ползут обратно вспененные куски льда. Может, Сашка и задушил его ими? Кто знает...

Подбегает Сашка к окну и, чувствуя на губах кровавую грязь, кричит. Последним сознаньем кричит.

Сбежались под окно люди, но зайти не решались, и тщетен был первый крик Саши. Потом зашла какая-то старуха, за ней и другие.

Пришел Нил Фомич с какими-то склянками и совсем бессмысленно заговорил:

— Ну вот. Ну вот? — и присел на стул, в лужицу Фединой крови, где мокли кусочки сахара.

Жуткая шла ночь. Сашка лежал с сапогами на койке. Часто слезал полоскать рот и плакал, думая о Феде.

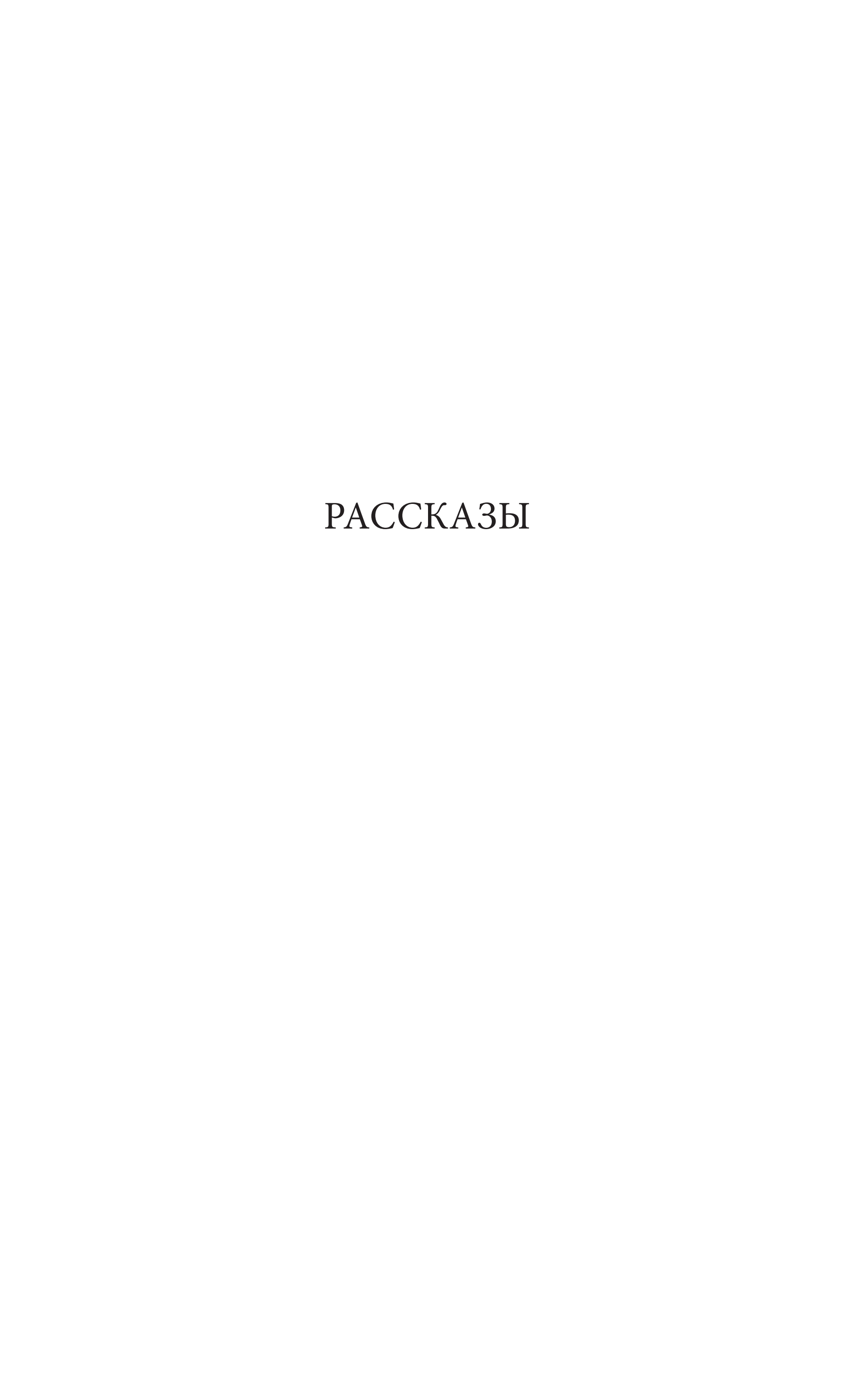
«Чуть слышно звучал тихий вальс из гостиной, и пара за парой носилась картинно, — плакал, вспоминая, Саша. — Вы, кажется, ждали кого-то той ночью...»

Вставал Сашка, шел к Нилу Фомичу и читал ему Федины стихи. Вместе плакали.

— «Чуть слышно звучал тихий вальс из гостиной, — нелепо пел и Нил Фомич. — И пара за парой носилась картинно...» Как они смеют! — кричал он вдруг. — Федя! Федя мой!

Бесшумно ступал Саша, поил водой, успокаивал. Вспоминал всех, кого потерял; и, будто всё обнимая, шептал: «Колесо... Колесо...»

Так ковались и расковывались молодые жизни в то родное, скорбное время, когда земля наша неумолимо близко огибала мечту свою — и неумолимо много пролилось крови.



РАССКАЗЫ

ГОРЕСТНЫЙ БРЕД...

— Слушай, голубь, слушай... Как жизнь живешь, до всего дойдешь — до всего, и обтерпишься, и привыкнешь. Потому — нет такого горя, которое не для человека было дано... Я вот сейчас уже ничего не боюсь. Как откопала мужа, с тех пор и не боюсь...

— Да, был муж, как же. И дети... трое их было: старшая — девочка да два мальчика.

Жили мы как все; не плохо, не хорошо; скорее плохо. А там пришли большевики... А, милый? Не любишь! Ничего, ничего, царство им. Стали мы, братик, голодать; все продаешь, а голодаешь. Искали, искали работу, измучились — наконец нашли: стал муж мой, покойник, с соседом, царство ему, мешки советские чинить, дырявые, гнилые. И подвязывались они к работе, вместо фартуков, мешками. Мешками то есть вместо фартуков подвязывались.

Выдался же такой денек, голубь, выдался... когда сосед наш, царство ему, забыл после работы мешок-то отвязать да положить на место, как полагается. А может, и не забыл, а унес... Сука его знает.

Так и расстреляли их, голубь. Мужа и соседа то есть, царство им. За мешок, значит, и расстреляли.

И ничего не помогло, ничего. Как кричала я у ног да молилась слезами какими. Ничего не помогло, ни-ни, и не думай.

Уж как погнали потом большевиков, пошла я искать своего мужа. В братских могилах и нашла. Семнадцать могил сама перекопала, а в восемнадцатой нашла. Лежит он, сердешный, с соседом-то нашим, царство ему, да еще два господинчика с ними. Лежат рядышком, и как будто ничего — довольные даже. И ни одного червя на нем, ни одного, как Бог... Искала я, оглядывала; нарочно искала на муже, а не нашла... Ни-ни.

И больно я тогда удивилась: на детках-то моих малых, от жизни, видно, нашей, всюду черви. Так и копошится, так и копошится. А тут их нет; хоть бы один для примеру. И сказала тогда я Господу, потому — крепко верила я:

— Пусть лучше на муже моем будут черви, чем на детях моих живых... — Тоже нелегко было сказать.

Взяла я мужа от них и похоронила сама. Довольно, думаю, ему уже с соседями водиться. И пошла домой... Кругом хорошо, спокойно так, и на душе ничего, бесслезно. Только вот тогда и начала я лязгать зубами. Нет-нет, да и лязгну... Даже не знаю, отчего бы. Вот как зажгут лампы, так и начну, так и начну.

Ходила я и к доктору: все равно работы нет, отчего же не пойти? Послушал, послушал меня да и говорит:

— Вам успокоиться нужно.

А я отвечаю:

— Я, доктор, ничего, спокойна, только детям моим покушать бы надо, как бы их, говорю, в приютец пристроить.

Он мне и объясняет:

— Нельзя, покудова вы живы, нельзя; вот когда родителей нет, то можно. Декрета нет.

Справедливый был человек, тоже против закона не пойдет.

Пошла я и думаю: умереть мне надобно. Обязательно. Тогда — детей в приют, а я уж тут как-нибудь до мужа

доберусь... Ничего, подумала я это, и показалось даже, что легко это выйдет.

Но вдруг замечаю я — толпа. Подхожу, вижу, дама такая красивая лежит, и вся она уже мертвая. Спрашиваю я тут одну знакомую прачку: что такое, говори?.. И говорит она, объясняет, что выбросилась дама-то из окна.

— Сама? — говорю.

— Сама, — отвечает.

— А почему? — спрашиваю. — По какой причине?

Видишь, голубь, дело такое вышло, что дама эта, значит, детей не имела, бездетная то есть. И говорит она мужу: жизнь у меня бесцельная... А через час и выскочила из окна. Потому детей, значит, не было...

И очень уж горько мне стало, даже смеяться не могла. Господи, думаю я, Господи, что ж это? Я вот хочу убиваться потому, что есть у меня дети, а она вот по бездетству убилась. И думаю я: коли так, то и я из окна выброшусь, чтобы все видели, как по-дурному люди убиваются. Пускай, мол, замечают люди, какой порядок на Божьей земле, коли две женщины в один день из окон повыкинутся: одна потому, что нет у нее детей, другая потому, что есть.

Вот как, голубь... Гордой я тогда была, злобой своей, горем своим гордой. Да и моложе была.

Прибежала я домой. Детей разослала да и к окну: скорее хотела уж кончить. Встала на подоконник, даже ногу занесла... А знаешь ли ты, голубь, как трудно умирать?.. А?.. Как трудно падали перестать дышать... Сдавалось мне, что вот-вот и кончу. Только подождать надо: тот проедет, та пройдет, — а там и кончу...

А ноги к полу припали гирями — что такое?.. Так и не убилась тогда я.

И решила я про себя: всем нам жить нельзя, не закон, значит... Или я убьюсь, тогда детям жизнь; или детей

убить, тогда мне жить. Не помог, думаю я, Господь мне убиться, значит, попускает Он детей прибрать, Ему вернуть.

Ты не гляди, голубь, что вся трясусь я, что лязгаю зубами да на углы кошусь, тогда я сильная была... Ночью-то, как спали ребята мои, подобралась я разбойницей, схватила середнего за горло и душу... А он-то, дурной, проснулся, испугался, как будто не видит, не узнает, что это я, мать-то, и кричит:

— Больно, пусти... ой, больно...

Я говорю:

— Ничего, деточка, ничего, маленький, потерпи...

А он все кричит:

— Знаю, говорит, знаю, маменька, что ты это для меня делаешь, только больно мне, вот что.

Потому, видишь ли, я им всегда, сердешным, говорила: все для вас, дескать, делаю, не для себя... вот как. А тут подскочила девочка старшая и плачет.

— Маменька, — говорит, — маменька, не убивай.

А он сам, бедненький, просится уж:

— Не убивай... Я слушаться буду... всегда уж буду...

Отпустила я его и не знаю, как быть, а он мне кивает на меньшого и говорит:

— Убей лучше Митеньку, а не меня... — тоже человек был.

Уложила я их и сама легла. Так и не убила, трудно, знать.

Вот как, миленький, жизнь наша живется. Нелегкая жизнь, а живешь — и все как есть переносишь и жалеешь, что мало.

Пришла ко мне соседка и говорит:

— Хошь замуж? Жених есть.

— Какой жених? — спрашиваю.

И говорит она, что вдов он, детей имеет; дом, земля... все как следует. Отчего ж не пойти. Пошла.

Как приехали мы к новому мужу моему, так нас даже в дом не впустили и переночевать не дали детишки его саженные... Остался он тоже на моей шее, муж-то. Много их на моей шее сидело. Больной он был какой-то. Ночью проснется. Отчего ж не поплакать? Можно и поплакать, да плачет он все по-своему, несерьезно плачет: больной человек. И выгнать жалко, и оставить нельзя. Так и остался. Что ж, жили, тяжело, конечно, жили. Рассказала я ему что-то, как детей убить хотела. Ничего, смеялся...

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СТУДЕНТА КУРЛОВА

От самого Рождества, с тех пор как студент Курлов стал ассистентом, в его спокойной, изобилующей тихими радостями жизни прибавился еще один источник тихого счастья.

И длинными, страшными вечерами, когда огромный город начинал свою черную ночь и женскими криками из предместий рассказывал небу о своем отдыхе, студент Курлов тихими шагами, как к любимой девушке, подходил к своей корзине. Дрожащими пальцами доставал он оттуда малый листик бумаги, где было написано ясно и определенно, что ассистентом физики у профессора Layer состоит не кто иной, как студент Курлов.

Мягко улыбаясь, прочитывал Курлов эту бумажку и думал о том, что для своих 26 лет он уже порядочно успел, и если так будет продолжаться дальше, то годам к 46 он будет профессором.

Тихой радости его даже не мешало сознанье своей болезни. «Порок сердца берется от добродетели души», — с улыбкой вспоминал Курлов шутливые слова профессора, желавшего его успокоить. И вспоминая об этом, студент Курлов

совсем не волновался, а думал о том, что рано или поздно все умрут. Важно только как можно дальше успеть дойти.

Тогда студент Курлов потирал руки и, тихо улыбаясь, прохаживался по своей темной комнатке, при каждом обороте глядя на малый листик бумаги, лежащий на корзине.

Вообще жизнь Курлова текла одиноко и незаметно для всех. И хотя сам он себя считал довольно умным, но товарищи как-то совсем не замечали его, и когда заговаривали о нем, то всегда прибавляли: «иностранец Курлов».

И себе самому с некоторых пор студент Курлов начал казаться иностранцем. Даже в своей лаборатории, где был хозяином, он чувствовал себя гостем. И каждый, глядя на него, еще раньше, чем услышать, с каким акцентом говорит Курлов, узнавал в нем чужого. До того чужого, что забывалась даже мысль, что должно же быть где-то место, где иностранец Курлов — свой.

Как все русские, слыл он «невежей». С девушками не встречался и успехом у них не пользовался, хотя был он довольно красив. Почему-то всегда так случалось, что те девушки, которые ему нравились, не обращали на него внимания, а те, которым он нравился, обыкновенно не нравились ему, и был он с ними груб.

Вообще, сам раздумывая над своей жизнью, студент Курлов приходил к убеждению, что все хорошо, даже очень хорошо, но чего-то в нем недостает. Порой он называл это отсутствием вкуса к жизни и, чтобы доказать себе противное, начинал усиленно посещать танцевальные вечера.

И только когда студент Курлов напивался и, забывая, что его все равно не поймут, по-русски рассказывал пьяной матроске о том, как он удивительно одинок; что на всем белом свете у него нет ни одной родной души, и бил кулаком о стол, требуя от сконфуженной дамы, чтоб она плакала, — только тогда студент Курлов чувствовал, что в его жизни свершилась какая-то большая несправедливость.

Первое время ему казалось, что страдает и одинок он оттого, что далек от России и не может туда вернуться. Но впоследствии он убедился, что и в России он был бы так же одинок, и сам перестал уже верить, что есть на свете такое место, где он не чужой. И почувствовал студент Курлов, что не нужен он России, что своей дорогой идет она. После этого студенту Курлову начало казаться, что ненавидит он Россию, и ненавидит именно потому, что он ей совершенно не нужен, что вся его жизнь, все его радости и горести для нее совершенно безразличны... Не на него она рассчитывает, и не он ей нужен в ее далекой дороге. А вместе с сознанием обиженности и ненависти явилось у студента Курлова сознанье, что если б был велик он, если б каким-нибудь громадным сокровищем владел он, то сложил бы он все это к ногам России. И сказал бы при этом что-нибудь яркое, высокое, чтоб показать ей, как счастлив он, студент Курлов, отдать так много для нее. И тогда, слушая разговор тоже чужих ему товарищей, но говорящих на родном языке, и ругающих кого-то, и ищущих, кого обвинить, студент Курлов думал о том, как странно, как несправедливо странно обвинять и искать чего-то не в себе самом.

Но эти горькие мысли о ненужности своей находили на него редко, а в обыкновенное время студент Курлов думал о том, что он уже в своей жизни порядочно успел.

Были у студента Курлова еще радости. Так, например, любил он кино. Любил он его не за то, что видел там, а за те мысли, которые обыкновенно появлялись у него потом.

И глядя на узкие, красивые женские руки и лица, студент Курлов думал о том, как это хорошо, что каждый одинокий человек может за несколько франков купить себе мечту о любви. Мечту об изящных женщинах, так красиво любящих и так красиво живущих; о чистых, нежных девушках с длинными пальцами, которые играют в непонятные игры. И когда студенту Курлову казалось, что изящное ландо слишком быстро увозит чистого господина в котелке,

студент Курлов вместе с близкой галеркой орал наверх, что их обижают и слишком быстро крутят ленту.

А выходя из кино, он думал о том, почему это самая страшная жизнь на экране выглядит такой красивой? И думал еще о том, что если б мимо Земли пролетали какие-то неведомые существа, то и им, наверно, наша жизнь должна была показаться такой же интересной и красивой. Радуясь своим тихим мыслям и тому, что он уже ассистент физики, студент Курлов осторожно пробирался домой.

Остерегался он автомобилей, которые ненавидел и боялся. Слушая их короткий, придушенный крик, в начале и в конце одинаково ровный, ему казалось, что о каком-то страшном несчастье предупреждают они. О страшном, неотвратимом несчастье; и потому именно предупреждают, что уже изменить, остановить ничего нельзя.

Студент Курлов останавливался и долго глядел на этих сухих гермафродитов, с короткими туловищами, вращающих из-под тяжелых очков своими налитыми кровью глазами. Глядел и все старался разгадать, о какой ужасной беде, идущей на людей, перекликаются моторы.

Так тихо и без больших потрясений жил студент Курлов только до той поры, пока он не начал готовиться к серьезному экзамену по биологии и в сознании его не засветилась новая, как ему казалось, яркая мысль. Против обыкновения принесла эта мысль не тихую радость, не гордость, а, под влияньем ли усиленных занятий или от предчувствия близкой смерти, отравила последние минуты жизни Курлова.

Раздумывая о том, что если он сдаст этот экзамен, то приблизится еще немного к своей заветной цели, и если все будет идти как нельзя лучше, то годам к 46 он будет профессором, студент Курлов вдруг поразился мыслью, что от предыдущего экзамена прошло уж целых восемь месяцев, а пока он станет профессором, уйдет еще двадцать лет! И тогда он подумал, что если успехам всегда соответствует время, то он, может, ни на

шаг и не движется вперед, а, как цирковая лошадь, взбирающаяся на вращающийся барабан, стоит на одном месте. И как математик, чтобы оформить свою тяжелую мысль, студент Курлов начал искать для нее подходящую математическую формулу.

Найдя ее, он ужаснулся.

«“Ассистент” так относится к 26 годам, как “профессор” к 46», — написал студент Курлов простую пропорцию. И вид этой законченной и ледяной формулы, в которую же вылилась и застыла вся его жизнь, показался ему страшным.

Мысль, что все, что будет, уже есть, и то, что, когда он будет профессором к 46 годам, он все-таки ни на шаг не двинется вперед, ибо асс. : 26 = проф. : 46 — слишком не похожа была на все предыдущие мысли студента Курлова. А между тем чем больше Курлов вглядывался в эту строчку, тем больше начинал верить ей и тем больше недоумевать. Но особенно поразило студента Курлова то, что ведь только в лучшем случае он будет к 46 годам профессором. А если он сорвется, не сдаст, заболеет?.. Сознанье, что наиболее выигрывает человек тогда, когда он только не проигрывает, что больше этого он, студент Курлов, выиграть не может, заставило его даже растеряться.

Тогда студент Курлов написал, что жизнь его колеблется между нулем и минус бесконечностью. Так постепенно начала исчезать у него уверенность; стало неизвестным, надо ли вообще сдать биологию? Изменит ли это соотношенье — асс. : 26 годам — или нет? И сколько студент Курлов ни старался доказать себе абсурдность этой строчки, и сколько ни лукавил, стараясь свести все к милой шутке, мысль о том, изменится ли что-то, если он сдаст экзамен, оставалась для него все такой же неизвестной и пугала своей загадочностью.

Даже накануне своего экзамена и смерти не знал еще студент Курлов, выиграет ли он, если сдаст, и уныло думал о том, что вот какими железными щипцами схвачен

человек, который рискует стольким, а надежды на выигрыш не имеет никакой.

Тогда в душе студента Курлова мелькнуло на минутку вместо растерянности даже негодованье. И когда привычными ногами он было направился к тяжелой корзине, где лежал листик бумаги, так ясно убеждавший каждого, что ассистент физики есть не кто иной, как студент Курлов, он резко повернул от нее.

Наливая из чайника чай, студент Курлов радовался тому, что сейчас будет кушать колбасу, которую он очень любил, но которую только в минуты каких-либо волнений позволял себе покупать. Но вдруг он почувствовал себя дурно и, вспоминая, что порок сердца берется от добродетельной души, подумал: вот еще один большой проигрыш его ожидает, а надежды на выигрыш опять-таки нет!

Ему стало страшно, и, заставляя себя проглатывать чай, он вспомнил, что на всем свете у него нет ни одной родной души.

Потом, раздевшись, студент Курлов решал, заглянуть ли ему все-таки в листик на корзине или нет, и решил, что не надо. Но после того как погасил огонь и улегся, он не выдержал, зажег спичку, босым сошел к своей заветной бумажке и с каким-то удивленьем, как незнакомую весть, прочел ясные, не оставляющие сомнения слова.

Утром же, проглатывая первый глоток чаю, студент Курлов снова почувствовал себя дурно; решительно и серьезно! И тогда, оставя завтрак, с тяжелым сердцем он вышел на улицу. Нужно было забежать еще в несколько библиотек, осмотреть чертежи, повторить кое-что. И в этот последний тяжелый день своей жизни студент Курлов себя совсем не помнил. Только несколько раз, когда он приходил в себя, он заставал себя съежившимся от холода, шагающим с одного конца города в другой.

Именно в этот последний день своей жизни у студента Курлова появилось такое ощущение, будто всю свою жизнь

он куда-то идет и будет идти все дальше, без всякого желанья и без участия своей воли. У него вдруг появилось желание кинуться вот на этот чугунный асфальт, бить в него кулаками и кричать, на всю землю кричать: «Пощадите! Пощадите!»

А потом стать на колени и простыми словами рассказать людям, как он одинок, как страшно одинок и как запутался в жизни. Рассказать, что от самого детства он не знал ласки, что он не может больше так жить, что он скоро умрет среди чужих! Но пока он это думал, студент Курлов продолжал шагать, как заведенная игрушка, как будто думал он это не о себе, а о ком-то другом. И в то же время у него смутно мелькала мысль, что в этой толпе людей есть, может быть, еще много таких, как он. Так же горько живущих и так же желающих молить людей о пощаде.

Так думал студент Курлов в минуты просвета и ступал сгорбившись, деревянно шагал.

Даже самых злейших врагов своих — такси, которых так не любил и боялся, не замечал он сегодня. Перебегая широкие бездонные улицы, где катило столько людей и столько чувств и так похожи были эти люди и эти чувства друг на друга, студент Курлов совсем не думал, о какой это беде кричат моторы.

Так прошел этот день.

И хотя Курлов, казалось, не заметил этого, но тяжел он был для него. Всей тяжестью своего страшного сна лег он на него и отравил последние минуты жизни Курлова, которые в другое время были бы так же тихи и спокойны, как вся его предыдущая жизнь.

Уже в сумерках зимнего дня, всходя на лестницу университета, студент Курлов подумал, что если бы он наверное знал, нужно ли ему сдать экзамен, он бы его сдал. И еще подумал он, что если в последнюю минуту сделать над собой усилие, то, может быть, как бывало уже, он поймет то, чего раньше понять не мог.

Когда высокий, молодящийся старик, профессор, пожимал ему руку и когда он подходил к экзаменационному столику, студент Курлов все думал, что сейчас должен что-то понять, непременно! И раскрывая свою книжечку, в которую профессор должен был поставить отметку, студент Курлов сделал над собой почти физическое усилие, весь напрягся, как будто только стену ему нужно было прошибить... И вдруг он почувствовал: что-то порвалось в нем, замерло, и он падает. Он простоял еще с полминуты с выпученными на доску глазами, как будто что-то новое увидел в таблице Менделеева, и раньше, чем профессор понял, что такое могло удивить «иностранца», студент Курлов со слабым криком грохнулся на пол.

Так умер, еще не зная, зачем родился, студент Курлов, самим рожденьем своим обреченный на смерть, и его слабый крик совсем не вызвал тревоги в старых ученых стенах.

Умер он не то от разрыва сердца, не то от чего-то другого — в точности это осталось невыясненным, — но самый факт смерти был несомненен. Не сразу, однако, удалось найти кого-нибудь, чтобы поставить диагноз. Ассистент той палаты, где лежал студент Курлов, вышел, а ассистент соседней палаты, который был в контрах с первым ассистентом, не хотел входить в палату своего врага. Наконец они явились оба, и были изысканно корректны друг с другом, и звали друг друга «коллега!». Однако когда второй сказал «умер», то первому показалось, что Курлов вздохнул, и он, радуясь случаю уколоть своего врага, сказал, что, к сожалению, коллега ошибается.

Оба они были одеты в белые, снежно-белые халаты, и свежие манжеты выглядывали из рукавов. Такой чистой, спокойной жизнью веяло от их корректности и модных воротничков, таким умеренным потребленьем женщин и табаку! И никто из них не вспомнил, что страшной смертью, вдали от родины, умер одинокий, покинутый человек;

что где-то есть большая земля, которая тоскует за телом своего сына.

Пусть не нужен он был ей при жизни и пусть на тяжелом пути своем она должна была отречься от него и одиноким пустить по чужому миру, но сейчас тоскует она и зовет к себе сына своего. И если выйти на опушку тихого леса и приникнуть ухом к земле, то услышишь далекий гул: плач матери о погибшем ребенке.

Как не имел близких студент Курлов, так даже ценой своей нелепой смерти не приобрел он себе никого родного.

Ни одно сердце не зарыдало и не забилось над его хрупким телом. Только экзаменатор, как все старики, увидев, как просто умирает человек, плакал старческими слезами и думал о собственной смерти. И вдруг, повинуясь какому-то смутному чувству, профессор подошел к книжечке студента Курлова и против того места, где значилась физика, вывел девять. Но потом, глядя, как сторожа силятся сложить руки Курлова и придерживают их коленом, профессор исправил девятку на десятку и развел руками, как будто хотел сказать, что сделал все что мог.

Пока сторожа выносили студента Курлова по задней лестнице в глубокую мертвецкую и пока люди еще хлопотали о нем, он еще не был забыт. Даже много дней спустя медики, которым достался труп студента Курлова, рассказывали, как легко было работать на иностранце Курлове, благодаря чрезвычайной его худобе.

По высокой лестнице привычно сносили сторожа иностранца, а тут же, за высокой оградой, ревели моторы, которых так ужасно боялся студент Курлов. Но не было уже кому подумать, о каком великом несчастье кричат эти жестокие гермафродиты, с короткими туловищами, тяжело дыша и пяля во мраке из-под тяжелых очков свои налитые кровью глаза.

В городе наступал желанный час отдыха. Люди искали тени, и громкие женские крики из окраинных кварталов извещали небо о том, что город уже развлекается. Изящные

женщины разъезжались по залам концертов, а веселые господа в чистых манжетах вежливо хлопали в ладоши.

В городе наступал желанный час отдыха. Звонко кричали рекламы о том, что американский жир квакер, безусловно, лучший во всем мире. Высоко рвались огни, в самое небо стреляя своими лампами, и, казалось, самые звезды желают они пригласить на танцевальный вечер в «Casino».

А далеко, в огромном доме, где жил всем чужой, самой матерью своей покинутый человек, тщетно дожидается хозяина своего корзина с малым листиком бумаги.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Я встречал его изредка в ресторане. Изо дня в день, из года в год он обедал у Жюльена. Попадал я в этот мерзкий prix-fix, когда нужда, продержав меня в своих склизких объятиях, бросала наконец мне очередную подачку, и я, еще не приобретя вкуса к лучшему, забегал туда подкрепиться на первых порах. Встречая голый, нелепый череп художника Кунина неизменно на том же месте, склонившимся над тарелкой, я брезгливо удивлялся, отмечая скудость человеческих потребностей. Ну как можно ничего лучшего, чем у Жюльена, не отведать? Я предпочитал три дня не обедать, чтобы раз поесть за белой скатертью, из чистой тарелки, поданной вежливым гарсоном. Не хочу сказать, что эта мысль поражает глубиной: я только откровенно сообщаю, что именно у меня проплывало в сознании, между двумя слоями более важных, как мне казалось, ощущений, ничего общего с Куниным не имевших, когда я различал его неопрятную фигуру за третьим от левого угла столом.

Мы раскланивались. И, боже мой, какая жестокость, какое преступное, каиново предательство в вежливом европейском поклоне из угла в угол! Мы здоровались

издали: я — преувеличенно вежливо начиная поклон, но не доканчивая, прерывая его посередине; он — раздраженно, нервно, как бы огрызаясь, но несколько по-нищенски.

У него были противные рыжие волосы; грязно-веснушчатая подковообразная плешь; всегда небритый, седая щетина оттопыривала его помятый воротник; во время еды жадно чавкающий, старательно очищающий две корзинки хлеба (pain à discrétion*); несокрушимо молчаливый неудачник.

Что же, кроме отвращения, мог он будить? Ну хорошо, пусть не отвращение, но, во всяком случае, что общего между мной и им? Раскланялись, и довольно.

Я нарочно садился спиной к нему. Было физиологически нестерпимо смотреть на его синие отвисшие щеки старого холостяка, бобыля. Похож он был на утопленника. Угрюмо насыщающийся, тщательно заряжающийся, чтобы быть в состоянии продолжать, как мне казалось, свое бессмысленное существование. Я терял аппетит при виде его крупных, тяжелых жилистых рук в веснушках, с грязными длинными ногтями, катающих хлебные шарики, дожидаясь следующего блюда.

Он умер. Ранним утром он повесился на гвозде, торчавшем в стене его комнаты. До того на этом гвозде висели рамы.

Я его мало знал. Никаких дел с ним не вел. Это было шапочное знакомство.

Он кончил самоубийством от нужды: в газетах об этом напечатали, и мне известно достоверно, что умер он за полчаса до прихода консьержки, явившейся за получением очередного «терма»**, которого внести Кунин не мог.

Но разве же это только нужда? Ему было сорок пять лет. Он художник, имя которого многие узнали только потому, что оно попало в скорбную хронику. Это значит борьба: самая обнаженная поножовщина бытия — на рынке искусств. Океан

* Хлеб в неограниченном количестве, вдоволь, вволю (*фр.*).

** От фр. terme — срок (платежа), здесь: плата за квартиру.

желчи, море хамства, подножки, knock-out-ы*, все низости, подсиживания, сплетни — сорок миллионов уколов в затылок. Самый подлый, самый жестокий бой на площади муз, где нет и не должно быть судейского свистка. Если вы футболист и забили подряд два гола, то всякому очевидно, что вы хороший футболист; если вы шахматист и выиграли матч у чемпиона мира, то каждый знает, что теперь вы чемпион мира. Но как художнику Кунину объяснить, чем доказать и кому крикнуть, что его холсты достойны награды, что они не совсем плохи, что они лучше многих других?

Толпа? Конечно, она беспристрастна, и понимает лучше всех специалистов, и воздаст по-своему: но события, передвигаясь по огромному пространству, требуют времени, чтобы, описав круг, вернуться отзвуком — бумерангом — к одряхлевшему творцу. А хватит ли художника Кунина надолго?

Что ж, он будет драться. И он работал. Раньше считалось, что он все это делает ради идей, которые вынашивает в себе; для подарка людям непостижимого образа — вот зачем он мается и голодает. Потом обнаружилось, что идеи, может быть, и не столь значительны, ну что ж, в таком случае он борется за материальную независимость, за богатство, за комфорт, за прелести жизни. Да, теперь он лишен всего, но когда он прославится, он воздаст себе сторицей.

Если бы художник Кунин в отрочестве поступил приказчиком в посудный магазин и работал на глазах патрона с десятой долей того рвения и добросовестности, с которыми он трудился в своем «ателье», он бы через пять лет обзавелся приличной квартирой, перед свадьбой купил бы автомобиль и каникулы проводил бы на юге.

Когда мы явились, непрошеные, «отдать последний долг», то всем шестерым постоять одновременно в «ателье»

* От англ. knock-out — нокаут.

не хватило места. Через узкую щель двери гроб не пролезал, и его пришлось вынести через окно.

Человеку сорок пять лет. Он полуслеп; вечно полуголоден, совершенно одинок. Самолюбие неудачника; сознание утраченных возможностей.

Он повесился. Ну разве же это от нужды?

Кунин работал по вечерам в фотографическом ателье. Ретушировал. Его рассчитали одним из первых. Кризис.

Было так. Перед «термом», 15 октября, он сложил аккуратно все свои художественные инструменты в ящик и отправился к своему бывшему, единственному ученику, юному художнику Кацу. Принес ему краски и кисти и торжественно заявил, что дарит все это Кацу; что отныне он, Кунин, никогда не коснется палитры, что искусство на земле лишняя вещь; что люди отвратительнее зверей, потому что кусаются не для того, чтобы съесть; что он бы с охотой посмотрел, чем все это кончится, но это ему уже не удастся. Одним словом, как передавал Кац, что-то весьма взволнованное, решительное и нелепое. Кац расплакался в ответ. Со слезами на глазах начал убеждать Кунина, что все еще исправится, что на уплату «терма» можно собрать; чтобы он оставил эти мысли и непременно, непременно забрал с собой свои кисти: на этот ящик он косился, как на гроб. Кац опростал все свои кошельки — двести франков; восемьдесят нашлись у Кунина; остальные — до трехсот шестидесяти — можно достать, консьержка повременит, он знает, он устроит. Кац был так искренен в своем юном отчаянии, так испуганно настойчив, что ему удалось повлиять на Кунина, хотя тот принадлежал к тому типу людей, которым новая мысль дается нелегко, но, раз одолев ее, они уже маниачески ей верны.

Кунин ушел, унося свой ящик с красками и двести восемьдесят франков. Он их целиком вручил консьержке, пообещав остальные деньги «через два дня, через два дня».

На третий день он прокрался вниз, как вор: крадучись, перегибаясь через перила, близоруко выглядывая врага, наверх,

мимо консьержкиной ложи, мчался стремглав, сгибаясь, силясь припасть всем телом к полу, уменьшиться, стать незаметным. Он выходил на рассвете, возвращался поздней ночью. Но однажды эта неминуемая встреча на лестнице случилась. Как показалось мышиному сердцу Кунина, кошка стала на его пути. И тут вдруг в нем что-то порвалось, — очевидно, все другое было уже совсем невыносимо, — он шагнул навстречу консьержке и сам не свой, улыбаясь, начал объясняться на воображаемом французском языке: «Те восемьдесят франков он доплатит уже вместе со следующим "термом"».

— Да, — кивнула консьержка. — Я так и объяснила патрону. Только смотрите уже не запоздайте!

Может, она не ответила столь мягко, а, наоборот, пугнула, кто ее может проверить? Факт, что Кунин получил право жить до следующего квартала, несомненен, и он этим воспользовался.

Приговоренный назавтра к казни, укладываясь с вечера на койку, говорит, потирая руки: «Еще целая ночь впереди». Пять минут, во время которых прокурор делает вид, что читает приговор, кажутся праздничными каникулами перед трудным экзаменом. Тем же были для Кунина эти три месяца. Но они иссякли. Дни тянулись медленно, мучительно скрипя и переваливаясь, с еды на еду: он голодал; а месяцы мчались неотмеченные, как на сломанных крыльях, катились вниз; к синему, холодному, пахнущему трупом январю.

Приблизительно в это время я как-то посетил одного приятеля-медика, который занимается тем, что помогает своей жене укладывать «патроны» больших магазинов. Мы играли в беллот*, и, пока хозяйка шепталась с холодной печью Godin, хозяин многозначительно сообщил, что Кунин голодает. Я ответил, что, насколько мне известно, он всю жизнь голодал.

---

* Беллот — карточная игра.

— Нет, он буквально голодает! — объяснил хозяин и черкнул пальцем по воздуху.

Мы молча кивнули головами: мы все знали разницу между «просто голодает» и «буквально голодает».

Я помню, что отбросил тогда козырную девятку на валета, слагая двадцать плюс четырнадцать, на мгновение увидел перед своим мысленным взором Кунина с возмущенно-разъяренно-недоумевающим выражением рыжеседо-синего лица. Именно таким, как я его встретил совсем недавно около Жюльена. Он промелькнул, как привидение висельника, злорадно кривляясь, размахивая руками. На мой поклон он остановился; теперь мне кажется, что он хотел подойти, но все это было как-то мгновенно: он покатился силой инерции еще немного вниз по сенмишельской горке, я бежал вверх, подгоняемый морозным полднем, — нас тотчас же разъединила толпа и пространство. Мы равнодушно потеряли друг друга из виду; самые близкие во вселенной существа — люди, мы отчужденно пронесли свои холодные тела, как планеты, вращающиеся вокруг различных солнц.

Помню, я тогда удивился, что в обеденное время он не на своем обычном месте, у близкого Жюльена, и идет в противоположном направлении; потом я решил, что у него, очевидно, сегодня нет средств на обед, — я неодобрительно поморщился: помочь ему я не видел чем. И хотя я направлялся в ресторан, но я не испытывал никаких угрызений, так как вчера или позавчера был на его месте. Теперь всему этому можно придавать трагическое значение: его общий вид, бормотание, попытка приблизиться и прочее, но я ничего такого не подумал ни тогда, ни у приятеля за беллотом. Я вообще им мало интересовался.

Очевидно, у него все еще были кое-какие надежды: он не заперся в своей камере — он рыскал по городу. Обошел всех своих знакомых. Всюду молчал. Потом догадались — он

приходил за помощью: последняя попытка. Побывал в двух-трех зажиточных домах, но там жаловались на кризис, склоняли слово «кризис», хохотали, слушали граммофон и жевали в густом желе фраз с подлежащим «кризис»: от толстомордого деда до малолетнего лицеиста с голыми коленками все шептало о «нем», пугливо потея и оглядываясь. Они были, вероятно, очень противны, и этим объясняется то, что в своем предсмертном письме Кунин посвятил и им несколько строк: он выразил удивление тому, что на кризис больше всего жалуются люди с достатком, и удовлетворение, что судьба этих людей будет жестока до справедливости.

Последний его визит был к Кацу. Тут он даже сказал, намекнул на свое положение. Но ведь Кац уже давал. Он тоже полунищий. Он временно получает маленькую стипендию от американского полудяди (муж покойной тети), который осведомляется, «можно ли этой Европе купить пианино за два доллара». Что же мог Кац? Они молчали. Это была последняя вылазка художника Кунина. Он ушел сгорбившись, как будто унося себя самого на плечах.

Конечно, можно было помочь: и Кац, и я, и остальные четверо, провожавшие его тело на кладбище, — все это потом единодушно решили. Черт подери, умирает человек — ведь всякий даст. Весь в слезах юный Кац каялся, что он мог отвалить почти целую сотню; остальные четверо тоже могли; я сказал, что среди моих знакомых есть много людей, считающих себя отзывчивыми, для себя их использовать я не умею, но Кунину они бы помогли, если бы я объяснил. Идя за гробом, мы в пять минут наметили тысячу франков, которые легко бы можно было собрать: всякий даст — человек погибает. Но художник Кунин перед смертью обошел всех знакомых; он по преимуществу молчал, но в двух местах решился, хмуро объяснил: «Так худо, так худо, что если не улучшится к “терму”, то совсем

плохо». Его ободрили, успокоили. Денег не дали. Если бы знать наверное! Что такое сотня, когда человек погибает? В этом мы все были согласны. Правда, некоторые тотчас же добавляли, что о смерти вообще ничего не известно, что она была бы страшна, если бы за ней ничего не открывалось, к тому же что такое Кунин? Жалея его просто по-христиански, не следует, однако, забывать, что он неряшливая балда и даром навозил землю.

Как бы там ни было, но вечером 1 января он прошел к себе, выпрямившись, с гордым, надменным лицом. Громко захлопнул свою дверь, чего раньше никогда не случалось. Я об этом догадался еще до того, как услышал от консьержки; ибо то, что он сделал, нельзя было свершить нерешительно, колеблясь, — тут нужно было вдохновение.

Он замазал все свои холсты.

Работу всей своей жизни он, щедрая душа, уничтожил.

Кисть в его изможденной руке ходила, как сабля: он протыкал лютого врага, колол, бил плашмя, как обухом. Не полотно, а весь грех мира был перед ним в эту ночь, и он рубил его сплеча.

Кунин оставил письмо. Он уходит из жизни с проклятием на устах. Он закляксал свои картины, чтобы никто не поживился; он не хочет, чтобы в нем нашли непризнанный талант, охали и сожалели.

Повесился он самым неудобным образом: на гвозде, торчащем в стене.

На веревке нашли узлы: очевидно, она обрывалась под грузом неловкого тела Кунина. Он ее аккуратно связывал и снова вешался: он умел переносить неудачи — закалился.

Консьержка постучала и толкнула дряхлую дверь, не дождавшись «Entrez!»*. Она так всегда поступала.

---

* Входите! (*фр.*).

Кунин висел у самого пола и был еще теплый. Эта мелочь, по существу неважная, главным образом поразила консьержку: не то, что он умер, а то, что она застала его еще теплым. Это повлияло на нее; она плакала и была с нами очень вежлива.

Может быть, косность людей и заключается в том, что мы второстепенное принимаем за главное. Так, Кац сделал целый ряд героических усилий, которые для живого Кунина не мог бы сделать, и раздобыл деньги на похороны: мысль об анатомическом театре его приводила в какое-то цепенеющее отчаяние куда больше, чем самая гибель Кунина. Он рыскал весь в слезах, яростно клянчил и выпрашивал, пока не раздобыл средства и кусок места в братской могиле. И успокоился, хотя это был самообман; через несколько лет кости Кунина выметут и в эту могилу похоронят другого. Земля в Париже дорога.

Кунина почистили, умыли, приодели. Его окружили таким вниманием, какое при жизни на его долю редко когда выпадало.

И когда пришли его забирать, то все поражались ужасной его комнате: не шире гроба, мерзко, низкая, темная. Подумать только, что боязнь потерять этот убогий кров ускорила его конец.

Гроб Кунина не мог пролезть через щель двери. Это не выдумка; не дешевый эффект. Это так и было. Гроб пришлось через окно выставить на крышу; с крыши протиснули через окно соседней комнаты и оттуда уже на лестницу. А когда мы спустились вниз, на грязную парижскую улочку, мы все вздохнули полной грудью, как анемичные чиновники, вырвавшиеся к морю из душного города.

На кладбище зябла кое-какая зелень, пыталось светить солнце, и было совершенно несомненно, что здесь куда лучше, чище, удобнее, чем в мрачной конуре Кунина, за которую ему было не по силам платить.

Кроме Каца, троих завсегдатаев монпарнасских кафе и меня за гробом шла еще одна женщина. Прачка, стиравшая

белье покойного. Молодая, некрасивая, она явилась с большим букетом французских цветов; и это был единственный венок на могилу Кунина. Тут есть два варианта, но я не хочу этого касаться... Мне хотелось заплакать. Не могу объяснить, но, глядя на эту чужую, краснеющую женщину, стоящую под холодным небом с цветами у могилы, я вдруг пришел в экстаз. Я был готов упасть на твердую землю, целовать ее, гладить и, благословляя и хваля, воспеть миру гимн, благодаря за мудрость и святость; прощая и эту мерзкую глину, в которую опускали Кунина, и дырявые носки на его ногах, и весь пепел жизни, нас погребающий. Все отпустить, все принять за один этот образ человеческой верности. Это длилось всего минуту, в которую я увидел много необъяснимого и потерял способность считать.

Потом мы сидели в кафе. Вспоминали холодные комки глины; жадно пили и морщились, так как нам упорно казалось, что нас преследует особый запах, который мы, по догадке, мысленно называли трупным.

Кац рассказывал, что у него сохранилось одно недоконченное «масло» Кунина; старик опирается о подоконник и смотрит вдаль. Глядя на этого человека, легко представляешь себе бурное прошлое его, нерадостное настоящее и близкий конец.

— Значит, это хорошо сделано? — закончил Кац. — Значит, у него был талант?

— Одного таланта мало, — объясняли завсегдатаи монпарнасских кафе. — Для успеха таланта мало.

— Что же нужно? — трусливо волновался Кац.

Монпарнасские завсегдатаи перечисляли: «Волчью пасть. Бицепсы атлета. Оленьи ноги. Нюх борзой. Такт ренегата».

Я не вмешивался в этот разговор, весь уйдя в терпкую боль гибели Кунина... Он умер не от безработицы, не от голода, не от нужды: он умел и готов был еще много и много

страдать. Не от возмущения, не от яростной мести за обиды. Не от страха потерять приют, не из-за боязни, что его погонят на улицу, так как у него нечем платить. Он умер потому, что не мог об этом всем сообщить: не в силах был перенести человеческого взгляда. Что же видел он за свою жизнь от человека, если выбрал петлю? Предпочел смерть объяснению.

* * *

От «Пастер» к «Камброн» орудийными залпами гремели поезда подземной железной дороги, проходя по мосту. Гриппозный холод обнимал вечер.

Чем помочь юному Кацу, боящемуся попасть в анатомический театр? Что предложить вон тому нищему, дрожащему от стужи у витрины цветочного магазина? Я прохожу мимо него и бессознательно отмечаю, что дрожь его нарочита. Кругом царит обезличивающий мороз, и все же дрожь его искусственна: она началась до того, как он ощутил озноб, или он преувеличивает его, подталкивает.

Я не умею.

ЕЕ ЗВАЛИ РОССИЯ

Я выучил у ржавых буферов,
Когда они Урал пересекали,
Такую музыку без слов,
Которая сильней печали.

Н. Оцуп

Вагоны шли, стуча, звеня, шатаясь. Сцепления гремели, то натягиваясь, то свешиваясь узлами на путь. Бронированные площадки были усыпаны опилками, пустыми ящиками; как падаль, были разбросаны полуторадюймовки.

В раздвинутые двери теплушек глядели щиты пулеметов и темным глазом щупали степь зева дул*.

Паровоз кричал. Уныло, зло. Он устал. Он очень устал. Как обиженная болью корова, мычал он: у-у-у-у...

Только время от времени он ронял в ночь вместе с хвостом дыма, трубой искр яростный, мощный рев. Трясясь, шипя от ярости и гнева, он вдруг ревел свирепо и жестоко. И тогда сидящие на тендере солдаты чувствовали, что у него железная глотка, чугунные легкие и стальной язык. Но снова устало скрипел паровоз, трясясь и злобно мыча.

На тендере говорили о том, что все же сжимается кольцо партизан, что уголь и воду все труднее доставать, что комендант не сегодня завтра спятит с ума: на остановках, злой, он ищет зачем-то грязных девок; а артиллерийский поручик боится заснуть, боится даже нюхать эфир, так как комендант в него стреляет, ревнуя к Зинаиде.

Машинист предлагал пробиться к красным; кочегар уговаривал уйти в партизаны, назначить матроса атаманом.

В командном вагоне играли в карты. Играли вяло, скучно: деньги потеряли свое значение. В замкнутом, отрезанном кольце ходил бронепоезд. Деньги не имели цены. Играл умело, со вкусом только один матрос. Случайно както на полустанке он лихо вскочил на площадку, заговорил прибаутками да так и остался...

Один матрос все обыгрывал да обыгрывал, сыпя шутками и пословицами. Бывалый человек.

Зинаида — растрепанная женщина с темным землистым лицом, — нелепо вывернув шею, напряженно застыла: вот уже целое мгновение она не может вспомнить: комендант ее муж или поручик?..

* В первом издании в тексте: «...и темным глазом щупали степь — зевал дул».

Вздрагивая, хромая, бродит из угла в угол артиллерийский поручик. Он идет и спит. Вздрогнет, отскочит в сторону, одним приоткрытым глазом обежит играющих: подпевающего матроса, коменданта на койке... и снова, качаясь и вздрагивая, задремлет на ходу. Он боится заснуть. Он боится коменданта.

Бережно поглаживая рукой маузер, комендант лежит, полуприкрытый грязным исподним бельем, в своем углу, внимательно следя за прихрамывающим поручиком: тот пройдет налево — голова коменданта, взлохмаченная, опухшая, удивленная, — налево; поручик направо — и голова коменданта поворачивает направо. Когда поручик, пересекая вагон, приближается к Зинаиде, лицо коменданта подергивается не то гримасой, не то усмешкой.

Время от времени комендант вдруг беспокойно ерзает, начинает приподнимать маузер: он видит двух поручиков. Он знает: один — это отраженье большого зеркала. Но какой?

Вот они одновременно подносят к лицу изогнутую кисть правой руки с оттопыренным толстым пальцем. Жадно припадают, нюхают, лижут ямочку у сгиба, тщетно стараясь вспомнить запах давно вышедшего кокаина.

Бережно уставив револьвер в одного из поручиков, комендант нажимает гашетку. Выстрела он не слышит. Только благодаря вздрогнувшей Зинаиде он знает, что стрелял. Все остается по-прежнему. Вероятно, стрелял в зеркало. Только он переводит дуло на второго поручика. Тот срывается с места и скрывается в купе.

— Хе-хе-хе, — шепчет комендант.

И, осторожно намочив круг полотенца эфиром, бросает его себе на лицо; прикрепляет узлом на затылке.

Удушлив, тяжек, неимоверно страшен первый глоток эфира, но уже на самом дне себя таит он освобождение, превращение.

Теперь поручик в безопасности.

Комендант видит:

Пустыня. Волнами лежат пески. Ночь. Луна как ядро: раскаленное, зловещее. Она беспокоит, зовет, сводит с тропы. Комендант и туркмен стоят, судорожно вытянув руки к луне... На камнях древнего разрушенного храма танцуют змеи. Сотни, тысячи, тьма... Целая площадь усеяна острыми, мускулистыми телами. Став на хвосты, они мерно, вкрадчиво раскачиваются; их пляшущие жала молитвенно тянутся вверх, к луне...

Вдруг комендант слышит тихий благовест. Так звонят только бубенцы с языками из человеческих костей на шее верблюдов.

Комендант с туркменом ложатся на землю.

Идут верблюды. Тощие, темные, горбатые — они бесшумно пробегают. Только если пристально вглядеться, можно заметить людские фигуры, припавшие к горбам. То — трупы. Высохшие, обуглившиеся скелеты.

Вдруг туркмен подпрыгивает и, приложившись к карабину, диким криком прорезывает воздух:

— Чума!

Отставив ногу, не целясь, он кричит и стреляет в упор по молчаливо пробегающему каравану. Караван медленно исчезает.

Несколько верблюдов падают. Тяжко бьются о землю; потом стихают со вздохом.

Караван уходит к России.

— Чума! — кричит туркмен и стреляет в песчаную даль.

Поезд бежит. Звенят буфера на спусках. В машинном спорят. Кочегар уверяет, что люди Бога забыли, осатанели, оттого кровью исходят: время такое нашло.

— Из штундистов[1] он.

А старик-артиллерист брезгливо отмахивается, язвит, усмехается. Он доказывает, что все это было и будет: все кровь лили.

— Одно всегда время. Одно, — вещает он. Потом, повернув лицо к окну, медленно произносит, словно сплевывает:

— Кто бабьей крови не проливал?!

Солдаты вздыхают. Уныло глядят на черную, непокорную землю.

В древнем споре бьются с дорогой колеса. Рвут в клочья пространства. Зверем набрасываются на рассветающий путь, глотают, давясь и урча. Непокорной, серой лежит земля.

— И сон же, — улыбается комендант, очнувшись, и любезно начинает рассказывать.

— Верблюды чумные были, — замечает Зинаида. — Источники заразили... А змей не было.

— Были верблюды? — поражается комендант.

— Да, когды мы на Хиву уходили.

— На Хиву? — переспрашивает удивленно комендант. — Но сейчас мы на бронепоезде... Ищем своих? — молит, выпытывает он.

— И змеи были! — весело подсказывает поручик. — Змеи завтра были.

— Завтра? — повторяет комендант и кивает удовлетворенно головой: он понял...

На полустанках, где запасаются водой солдаты, неохотно подходят к станкам. Старик-артиллерист бежит к коменданту.

— Во сне или наяву? — спрашивает комендант, водя своими красными, гнойными глазами.

— Наяву, — убеждает старик.

— Действуй. — И, свесив босые желтые ноги, комендант натягивает брюки и, держась руками за перегородки, выходит, шатаясь, из своего купе.

Если огонь становится слишком настойчивым, машинист дает задний ход и ведет состав обратно: ночью он вернется и перейдет на другой путь... Нерадостно поют колеса.

Небо в росистые рассветные часы кажется неопрятной постелью. Перинами без наловок[2] взбиты тучи. А с края, как насосавшаяся кровью вошь, встает багровое солнце.

Ухмыляясь, комендант подходит к пулемету, берется за ручки, подымает жерло вверх: в небо, в солнце... пускает по цепи.

— Та-та-та... — верно и радостно зачинает машина. — Заразу! Душу! Мать! — вторит комендант.

Неуверенно улыбаясь, солдаты продолжают стрелять. Издали бронепоезд тогда выглядит внушительно: лязгая, в дыму и искрах, он ходит взад и вперед на малом отрезе, выбрасывая предпоследние заряды в низко нависшее небо.

Лунной ночью набирая воду, солдаты заметили на площадке старинного разрушенного строенья сонмы гадов. Став на хвосты, они медленно и вкрадчиво плясали, завороженно глядя на луну.

— Мои змеи. Вот мои змеи! — возбужденно потирал руки комендант.

— Почему ж твои? — удивилась Зинаида.

— Да из сна! — волнуется он.

— Какого сна?

— Да рассказывал же! Верблюды еще чумные? — бледнеет комендант.

— Это было во сне, — объясняет поручик...

Захватив на вокзале несколько ящиков со снарядами, воду, уголь, поезд перешел на другой путь.

Комендант торопливо укладывается с Зинаидой на койку.

Ее запрокинутая голова тянется к окну. Она видит яркие звезды на синем бархате неба. Неподвижно под твердый стук колес она думает, что и в ином мире не забудет: вот это глубокое небо и эти влажные звезды — высоко; и себя вот так, внизу, и чужого человека, исшедшим бугаем припавшего к темной подушке рядом.

— А в поле сейчас хорошо, — шепчет она.

— Не уйдешь! Сейчас уж не уйдешь! — наклоняется над ней вдруг комендант, и взгляд его становится осмысленным, торжествующим и жестоким. — Сейчас уж не уйдешь!.. — Но через минуту он снова впадает в полубред.

Он повторяет на все лады одно слово. Он забыл, что оно означает. Оно написано на потолке его купе жирным химическим карандашом. Размашистый, неровный почерк...

— Брест-Литовск, Брест-Литовск, — завороженно повторяет комендант.

На разъездных мостах стоят теплушки. Шумит река ночным шумом:

Буг-бог-буг.

Это генерал Гофман стучит подкованным сапогом в ответ на пространную речь; и, близко наклонившись к австрийцу-канцлеру, Иоффе просительно и упрямо шепчет: «Все-таки нам удастся...» А на лбу его не дымится место, куда годы спустя упрется дрогнувшая сталь.

Отходят перегруженные теплушки.

На мохнатых конях скачут хмурые люди в галопе октябрьского ветра, играя землею в чет иль нечет. Шумит река ночным шумом:

Буг-бог-буг...

— Брест-Литовск, Брест-Литовск, — зачарованно шепчет комендант. — А-а-а, — внезапно замечает он Зинаиду. — Сейчас не уйдешь! Сейчас уж не уйдешь! — улыбается он жестко и осмысленно.

Зинаида встает и, шатаясь, босая выходит из купе. У нее был ребенок. Когда-то.

— Костя, Костя, — шепчет она бессвязно. Чьи-то руки сжимают Зинаиду; волочат по полу, бросают на койку.

— Костя, Костя, — все шепчет Зинаида и вдруг испуганно и удивленно замолкает.

К ней в темноте наклоняется круглое, сонное лицо поручика.

В полночь комендант приподнимается, зажигает свечу, ухмыляясь, сползает с койки и, выглянув из купе, приязненно манит поручика пальцем.

Осторожно, опасливо, не спуская с него глаз, поручик входит за комендантом в купе.

Комендант приподнимает свою рубаху и, подойдя близко к свече, мизинцем указывает на что-то. Наклонившись, поручик долго всматривается в малую, неровную, сухую ранку.

— Хе-хе-хе, — говорит комендант.

Круглое, сонное лицо поручика багровеет, пухнет, дрожит. Потом снова мякнет, желтеет.

Помолчав немного, он неприязненно бросает:

— Это — во сне, — и, повернувшись на каблуках, медленно выходит, придерживая рукой живот. Комендант снова укладывается... Под утро старик-артиллерист испуганно его будит.

— Застрелилась.

— Во сне или наяву? — осведомляется комендант.

— Наяву. Застрелилась, — повторяет старик. — Зинаида застрелилась.

— Где? — суетливо приподнимается комендант.

Поезд стоит в степи. Пахнет горячим паром и углем. Серое, жестокое небо облапило землю. Как раны, как сыпь, вздымаются кругом кочки, предгорья... кустарником разбросаны молодые ели. На холме чернеет столб со сбитым царским орлом, налево Европа, направо Азия...

У самого полотна, под двумя елочками, замечает комендант грязный, темный ком трупа — Зинаиду.

Он подбегает, прихрамывая, суетится, приподнимает. С помощью артиллериста вносит труп в вагон.

— В живот? — спрашивает поручик.

— Клади! — распоряжается комендант.

— В грудку, — заикается солдат.

— Пошли? — ищет старик взгляда коменданта. Поезд дергается, шатаясь, скрипит — трогает. Паровоз жалобно мычит...

Поручик и комендант — каждый в своем купе — достают бутылки с эфиром, льют на полотенца и жадно припадают. Ощупью пробираются к своим койкам.

Поезд идет неровно. Снова останавливается. Солдаты спорят. Матрос зовет к партизанам. Машинист отказывается. К нему присоединяется старик-артиллерист: они боятся. Решают пробиться вперед: не белые, так красные — кого встретят.

Матрос надевает белье поручика, Зинаиды, два костюма. И, тучный, широкий, с туго набитыми карманами, исчезает так же незаметно, как появился, скатывается с полотна... Бывалый человек.

Солдаты отцепляют задние вагоны. Локомотив с несколькими бронированными площадками дает свисток и отходит.

Все больше и больше увеличивает он расстояние меж собой и брошенным составом; наконец исчезает вдали. И вид сиротливо стоящих вагонов среди пологой холмистой степи жалок и непонятен.

Комендант зрит...

Он лежит на койке — в волнении, в беспокойстве. Его лицо закрыто полотенцем. Что-то бьет молотом об его сознанье, зовет: на помощь, на помощь... Но тело ему непослушно.

И вот он отделяется, скользит в сторону. Его тело все лежит на койке, а сам он торопится на неслышный зов. Бредёт. В соседнем купе он находит задыхающегося поручика. В наркотическом сне поручик тщетно силится сбросить непослушными руками повязку с лица. Но тугим узлом стянуто полотенце на затылке, собственной пеной захлебнется поручик. Синими веревками дергаются на его шее вены.

Комендант знает — лишенный тела, он не может развязать узла. Ветром оберегает он одинокие вагоны. В одном из них на ящике от сухарей лежит труп Зинаиды... Чем-то внежизненным касается он трупа, припадает, властно влечет.

Зинаида шевелится, ерзает. Злобно приподнимает черное — в серых круглых пятнах — лицо и огрызается... Как собака, как прирученный волк.

Воронкообразно мечется кругом нее комендант, тянет.

Огрызаясь, Зинаида медленно-медленно приподнимается с ящика, идет к поручику и черными негнущимися пальцами развязывает петлю. Поручик шумно, клекотно дышит, кашляет.

Зинаида поворачивает, как в гипнозе, движется обратно. Но, не доползая к ящику, падает навзничь, застывает. А верхняя губа ее все так же приподнята, как у бессильно и злобно огрызающегося пса.

Комендант возвращается в свое тело; неуверенной рукой сбрасывает с лица полотенце. Забывается у себя на койке.

Над самым горизонтом костром тлело солнце, когда он очнулся.

— Во сне или наяву? — произнес он вяло.

Потом задумался: садится ли это солнце или всходит?

Босиком, неслышно ступая, он вышел из купе, осторожно обошел труп жены и припал к дверному глазку купе поручика. Но тотчас же с силой — как от толчка — отпрыгнул в сторону: его глаза встретились вплотную с подсматривающим бесцветно-голубым взглядом поручика.

Суетливо заспешив, комендант вбежал к себе и схватился за маузер.

— Это вы передвигали Зинаиду? — спросил шепотом, боязливо оглядываясь, поручик, появляясь в дверях.

Комендант решил, что следует сказать что-то торжественное; немного подумав, он произнес:

— Молитесь, каналья.

— Почему? — удивился поручик.

Разговор не налаживался. Комендант начал медленно поднимать револьвер.

Отскочив за дверь, поручик решительно выставил свой браунинг. Его лицо было жестоко и сонно... Полотно

прикрыто холмами. Не сразу со степи заметишь вагоны. А лошади низкие, толстоногие. Отряд выехал на холм.

— Робя, — крикнул широкий в бурке. — Машина! — Спешились. Молча смотрели.

В раздвинутые двери теплушек торчали пулеметные щиты; на площадках, усыпанных опилками, лежали трупами разбросанные станки.

Вдруг к ним донесся почти игрушечный звук револьверной стрельбы.

— Номер шесть, — произнес широкий в бурке.

Подождав немного, люди решительно уцепились за старые почерневшие просаленные седла, с гиком прыгая на лошадок, лавиной пронесшихся к вагонам.

О, седла, в гнойных пятнах, в сабельных шрамах, о, русские седла! Сколько потных ног сменилось в каждом стремлении, пока усталые всадники, роняя густую кровь, угрюмо ворочали, то спиной, то лицом, к рубежу; и молча кусая злые губы, лошади падали, умирая от разрыва сердец!

О, седла! О, русские седла!

Высоко над полотном, над мчавшимся карьером по кочкам и кустарникам отрядом стоял столб со сбитым царским орлом: налево Европа, направо Азия.

РАССКАЗ МЕДИКА

В это утро мы работали на женском отделении.

В большой палате — на сорок коек — под грубыми простынями лежали больные. Девушки и старухи, женщины и подростки метались от боли на серых подушках. А мы ходили от койки к койке и всюду: в негнущихся суставах, в хрипящих боках, в сухих животах — мы узнавали то сифилис, то чахотку, то рак.

Мы глядели на них и гадали, когда и от какой болезни придется нам умирать.

Возле больной с глубоко впавшими, точно обуглившимися глазами мы остановились.

Уложив ее на бок, я руками придерживал ее плечи; кто-то другой держал ноги. И когда принесли инструменты, я заметил, как больная поспешно сунула себе в рот край салфетки, рукой судорожно смыкая челюсти.

Острую трубу взял в руки ассистент и, приставив меж седьмым и восьмым ребром, твердо надавил.

Я слышал, как хрустнули скулы больной; я слышал свистящий клекот под салфеткой.

Глубже и глубже вводил ассистент никелированную трубочку. Медленно, нехотя расступалось живое тело. О, как томительно медленно шли секунды! Я видел вдруг блеснувший из-под волос пьяный взгляд больной. Дикий взгляд терзаемого мяса.

Ассистент привинтил насосик к трубке и двинул вал. Желтовато-лимонная жидкость поднялась из плевр. Тогда ассистент отвинтил насос и выпустил гной в стеклянную пробирку. А острая металлическая трубка торчала меж седьмым и восьмым ребром, приподымаясь в такт дыханию больной.

И глядя, как ассистент снова и снова привинчивает насос ко впалым, горящим бокам, я думал, что все-таки надо быть очень безжалостным, чтобы уметь помогать людям.

И вдруг горячий озноб облил меня. Не сверху, а снизу, изнутри пришел он. Я как бы ощутил жар своего сердца; пот в легких и печени. В глазах посерело, только верхним углом, краем, еще мерещились мне окна. В груди словно гвоздем заковыряли, как в нарыве. Не хватало дыхания.

Тогда, выпустив больную, я неверными шагами отошел немного и прислонился к стене. Крупные капли испарины покрыли меня. «Только бы не упасть. Только бы не упасть!» — молил я себя.

У меня хватило силы еще с безразличным видом вынуть и поглядеть на крышку часов, а потом, будто вспомнив что-то, деревянно-прямо направиться к двери.

На террасе я нашел уже несколько сокурсников. Перегнувшись через перила, они жадно, как рыбы в лохани, глотали воздух.

Избегая взгляда друг друга, мокрые, зеленые, мы изнеможенно подставляли мутные лбы под холодный ветер.

А потом нас повели двором куда-то вниз. Мы проходили мимо часовни.

Старинная, древняя, с широкими отлогими ступенями. Высоко, припав к самым перилам, из глины, глядел внимательно и строго Христос, кого-то выглядывая среди проходящих, а вверху надпись:

«Аз есмь путь истинный и жизнь»[1].

Мы вошли в подвалы; нас встретили усатые сторожа с засученными рукавами.

На столах лежали умершие за эту ночь. Желтые, холодные, ссохшиеся, с картонными номерами на худых руках; они лежали ненужные, будто уже вышедшие в тираж билеты какой-то большой лотереи.

Нас подвели к приготовленному трупу.

Инструментом уже был приподнят верхний пласт кожи и жира. Одно за другим мягко расступались ребра. Но ключицы были тверды, и простой скальпель их не брал. Пришлось перекусить их большими щипцами. С сухим треском они ровно отсеклись.

— Великолепно, — сказал ассистент и приподнял грудную клетку.

Мы хищно взрезали легкие. Они были покрыты желтыми ранками. И пока ассистент нам рассказывал об этих кратерах и о судьбе легких, занятых ими, мы торопливо совали бесформенные, как у водолазов, руки в резиновых перчатках все глубже и глубже. Мы взяли сердечный мешок,

кололи почки, отделяли печень. От синеватых перстов кишок поднимался парной запах непроваренной пищи.

Мы кривились, задерживали дыхание и, чтобы не слышать гадливой вони человеческих внутренностей, жадно курили папиросу за папиросой. Пепел падал на сухие, только кожей обтянутые руки мертвеца.

Он был желт, худ, как все чахоточники; редкая жесткая бороденка паклей торчала на подбородке. Не знаю почему, его щеки все еще были повязаны марлей. Вытянутые палки ног торчали большими пальцами врозь, и желтые пятки, похожие на блины, мерцали вялыми подушками мозолей.

А на соседних столах лежали старухи: седые пряди их волос казались огромными возле ссохшихся маленьких тел, напоминая посиневших, ощипанных цыплят с пышными хвостами.

Они уже были после вскрытия: с проваленными животами, выпиленными ребрами; сидящие, лежащие затылками вверх, они казались похожими на парящихся в бане ведьм, серых от пара и копоти.

А потом мы снова шли двором. Бодрый холод сильнее гнал кровь; о, как жадно дышала грудь.

Мы шагали важные, серьезные, в белых халатах; а встречные больные враждебно сторонились, уступали нам дорогу, потупив глаза. И снова со свода старинной часовни внимательно и строго глядел Христос, кого-то выглядывая среди проходящих; а внизу надпись:

«Верующий в меня имеет жизнь вечную».

Обедали мы в этот день поздно. Против нас сидели веселые молодые девушки, задорно поглядывавшие. И, наливая вино в стаканы, я вдруг сказал своему другу, упрямому хохлу из Черкас, словами песни:

— Выпьем, куму, выпьем тут, на том свете не дадут.

Поднося стакан к серым губам, он отозвался:

— Выпьем, куму, лучше тут.

И столько было в его сиротливо мигнувших глазках примиренности со своей судьбой, столько жалостливого, усталого недоумения, что мне вдруг опять стало не по себе.

А кругом сидели люди; сочно жуя и чавкая, ели, пили. И глядя на них, я думал, что если наложить щипцы на ключицы, то они расступятся с сухим треском, а в лицо ударит запах теплого мяса и непроваренной пищи.

ТРИНАДЦАТЫЕ

Был ранний вечер, когда поэт встретил девушку. Гремел торговый город. Всеми тяжко пригнанными частями ворочался он, дыша железом и камнем... Из сырых облаков тумана вырывались кем-то подбрасываемые огромные тюки; они взлетали из шумных погребов — фабричных складов. Подхватываемые десятками рук, они перелетали грязь тротуара и исчезали в раскрытой пасти тяжелых грузовиков и телег. Дрожала мостовая от тяжести подков; вместе с ней колыхался и седой туман.

Свистел городовой возле окровавленной проститутки; хрипло кричал возчик над павшей лошадью; носильщик с номером 216 падал в снежную грязь. Он бился в припадке падучей. Потом вставал, с пеной у рта, и, торопливо скинув картуз с номером 216, обходил столпившихся прохожих...

Седой старик играл на скрипке. Ему было холодно, и он, надев толстые перчатки, что-то наигрывал, поводя мокрым носом...

Старуха с блестящими глазами сумасшедшей сидела на тротуаре. Ей казалось, что она птица, и, вытянув нос клювом, она пела: «Ооук... Ооук...»

Тяжелые двуколесные тележки влекли люди с широкой грудью. Они храпели, как кони, низко наклонив бычачьи шеи, волочили тяжелые бочки к вагонам.

И меж ними — меж конями и громадами грузовиков — торопливо скользил, извивался затесавшийся катафалк, выбиваясь за город.

Из мрака то и дело всплывали тяжелые тюки, выбрасываемые из подвалов. Их подхватывали десятки рук и плеч; свившись в один комок, неуклюжей массой падали они в раскрытые зевы телег и вагонеток. Тяжело переступая, фыркали лошади, хлестко отгоняя мглу толстыми хвостами. Кричали носильщики, свистящими бичами заворачивая коней...

Парикмахерские уже выплевывали накрашенных, побритых, умытых людей с кровавыми массированными затылками. Они входили туда хитрыми дельцами, со столбцами цифр в голове; а выходили надушенные, с похотью в глазах и развальцей в походке.

На бульварах с вкрадчивым шорохом медленно двигались женщины. Молодые, старые, красивые, дорогие, дешевые... шли они, колыхая бедра и груди. В коротких юбках, в цвета тела чулках, стекали они туда, к кофейням и ресторанам, вызывающе оглядывая встречных... Раздеваясь походкой, отдаваясь взглядом, шли они вдоль ярких витрин.

И над заревом города, и над похотливо текущей толпой, и над яростным шумом торговых улиц напряженной спиралью, казалось, плыла песнь...

Песнь осьмых этажей, фабричных лабазов и мужского семени...

Глядя на чистый румянец девушки с длинной косой среди тумана улиц, поэт сказал:

— Не кажется ли вам страшным, не кажется ли вам преступным, что цветы пахнут и в руках насильника? Что соловей поет и для сутенера!..

И они начали подыматься по освещенной лестнице в зал, где поэт должен был читать свой рассказ...

В каждом городе, на каждой окраине большого города можно найти такие незаметные двери...

Над ними обыкновенно бывает железный переплет крыши или навеса. Крыша эта всегда старая, с черными дырами, ржавая. Там висит обыкновенно — возле тусклого, редко зажигаемого фонаря — такая же старая, перержавленная вывеска. Иногда несколько букв еще сохранилось на ней, а иногда и те уж стерлись; и спешащие прохожие десятки раз шагают мимо этих дверей, не замечая их. Такие уж это двери!..

Вечерами на тротуаре дежурит мужчина. Чаще всего он широкий, сильный; его хитрые глаза проницательно блестят влагой. Одним быстрым взглядом окинув прохожего, он взвешивает всё содержимое его бумажника, его вкус, привычки...

Если войти в одну из этих дверей, то сразу попадаешь на темные лестницы. Там ютятся какие-то номера, всегда пустые, всегда темные. Наряду с ними гнездятся и трактир или чайная с плохой водкой и музыкой...

На стенах такого ресторанчика обыкновенно висит много больших и тусклых картин...

Обнаженная женщина со вздувшимся животом лежит на столе; из кровавого междуножья страшным пятном выползает головка ребенка... Внизу игривая надпись: «Неосторожность».

Или: парад солдат... Усатые генералы...

Горячие, жирные блюда подают женщины. Тяжелые, мясистые женщины со спокойной ленью в глазах и с папиросой в зубах. Они работают много: днем удовлетворяя желудки гостей, а вечерами — их половые потребности, служа, таким образом, одновременно и технике, и искусствам.

У буфета стоит женщина с жадным лицом. Ее зовут мамашей и боятся.

По углам за столиками сидят старухи в высоких шляпах. Они еще красятся и пудрятся. Глаза их блестят. Они сосут леденцы, курят сигареты и внимательно оглядывают гостей.

О, они уже вышли в тираж. Сейчас им доставляет удовольствие, как бракованным кавалерийским коням, только прислушиваться издали к бою барабана.

Одним косым взглядом оглядывают они мужчину и сразу угадывают, сколько он зарабатывает и какой это заработок.

По высоте груди женщины, по широте ее бедер они могут предсказать всю ее карьеру и закат; будет ли она иметь успех в жизни и как долго...

В дальнем углу старуха беззубым ртом сосет леденец. Ее лицо — это старый пергамент с древними письменами. Кто умеет читать, прочтет долгую повесть о неряшливой жизни; сладких настойках; об одинокой старости.

— Да, коротко бабье лето, коротко, — расскажет она...

На широких дорогах жизни ей случилось своими крепкими бедрами вытолкнуть нескольких детей. Но они в далеких городах: ищут счастье. Ведь когда человек молод, он пытает судьбу... Вспоминают ли они ее?.. Не чаще, чем она их вспоминала, не чаще. Говоря это, она кривит рот, будто в плач; глаза увлажняются, как у беззвучно тоскующего пса. Но слезы не текут, нет. Она не забывает привычной рукой всунуть леденец в беззубый рот и смотрит на танцующих своими мигающими глазками. О, ее глаза уж многое видели на своем веку, и нелегко их удивить...

А танцуют здесь степенно и важно, не для легкой забавы. Танцуют так, как будто работают...

Две проститутки плывут в танце. Они малого роста, крепко сбитые, широкие. Не улыбаясь, с мертвенно напряженными масками лиц, безжизненно дергаясь, плывут они, выставляя себя напоказ; стараясь как можно более походить на кукол. Так там принято.

За каждый танец платят отдельно, и поэтому танцуют его до конца. Задыхаясь от усталости, с потными лицами, с кровью в белках, танцуют — топчутся угрюмым стадом, пока музыка не смолкнет.

Двое парубков в тяжелых куртках кружатся, блаженно улыбаясь. Солдат бережно ведет девушку с удивленным лицом. Приехавший из-за моря слепой старик танцует с внуком.

Звенит оркестр, дымят цветные фонари; с треском взлетают пробки, вверх, к бумажным лентам. Всем угаром своим лишь на минуту пьянит этот зал пришедших отдыхать людей...

На почетном месте — возле игорного автомата — сидят матросы. Они пьют коньяк и стучат кулаками о стол; они говорят будто между собою, но так, чтобы все слышали...

Чем это здесь хотят их удивить. Ха. На больших дорогах земли они видали уже многое.

Ха-ха. В Буэнос-Айресе каждый может зайти в красивый многоэтажный зал. Там на хорах сидят сотни женщин с игрушечными скрипками в руках; к их корсажу прикреплен цветок. Несколько мужчин играют на настоящих скрипках... К тебе подходит седая старуха с корзиной цветов; ты выбираешь цветок и платишь. Дорого платишь! Но когда к тебе с хоров спускается женщина с тем же цветком у корсажа и тебе говорит, что она уже оплачена — роскошная женщина с рыжими волосами, — ты уже понимаешь, что это дешево! Ха-ха...

Или взять, например, улицу Девок в Рио-де-Жанейро... Там женщины, там голые женщины лежат в витринах. Раскрытые, катаются они на коврах и зазывают, а сбоку горит красный фонарь. Ха-ха...

— Что ж, всюду люди... всюду люди... — примирительно мямлит их сосед.

Он пьет их коньяк и, чтобы придать себе независимый вид, небрежно жмет свою старую шляпу.

Ах, эта шляпа с рыжими пятнами! Двумя изломами своих пыльных полей она сжато рассказывает... о голодной слюне, о ночлежных домах со вшивыми нарами; о руке, которая в сумерках судорожно срывала ее с головы и подставляла прохожим; о монете, впервые упавшей в нее,

и о человеке, со злобой отшвырнувшем далеко на мостовую звякнувшую медь, а потом тщетно искавшем ее в темноте...

Если на то пошло, этот давно не бритый человек может тоже кое-что рассказать!

Был ли кто-нибудь из них в ночь на 23 июня в районе Гробовца? Никто не был? А он был!.. Вот ударяет снаряд, вот отрывается нога в тяжелом австрийском ботинке у соседа справа... она подымается вверх, ударяет подковой в голову третьего слева... рассекает ее! Видел кто такое? Или: руку, судорожно вцепившуюся в затвор ружья... Только рука до предплечья. Где же человек?! Ха-ха...

Или взять, к примеру, поход по степи, отступление... «Господин капитан, у нас семнадцать раненых». — «Поручик, у нас нет ни одного раненого!» — «Слушаюсь!..» — «Пристрелить!» — глухо кидаешь ты вахмистру. Пристрелить... а что, если среди раненых твой брат? Родной брат?!

— Что ж, всюду люди, всюду люди... — соглашаются матросы, глотая коньяк.

Ха-ха. Везти мотор по улицам Белграда тяжело. Очень тяжело... Мостовая залита грязью. Мокро. Зато в шахтах Шарлеруа слишком жарко. Сухая пыль съедает грудь... Видят ли матросы вот эту женщину в трауре? Это его невеста. Это для нее он сюда приехал. Они выросли вместе, далеко, в холодной России. Пусть они не думают ничего дурного... Он офицер, он офицер разбитой армии; а она честная девушка. Но она сделает то, что он ей прикажет...

Видя устремленные на себя глаза, проститутка в трауре подходит к матросам.

Что ж, они не прочь. Они могут подняться к ней, если это недорого стоит.

— Нет. Это не так дорого стоит...

Они выходят. Узким переулком идут они не торопясь. Встречные женщины молча расступаются... И исчезают в темной подворотне.

Ах, эти ворота стоят уже долго. Многое видели они! И то, и другое. Разное!

Весной у этих ворот дежурила женщина в платке. Она стояла, как часовой, небрежно отставив ногу, днем и ночью на посту; гордо мерцая стройной фигурой на темном фоне каменных плит. Иногда, для развлечения, она гулко била по раскрытым от удивления скулам случайно проходящих женщин в каракулевых саках. Тогда сбегалась толпа, и двое городовых тащили ее на пролетку, а она, прикидываясь пьяной, харкала кровью. А назавтра она снова застывала с небрежно отставленной ногой у раскрытой калитки... И однажды вечером она упала, а черная лужица крови собралась на камнях. И снова двое городовых отвезли ее на пролетке. До последней минуты была она на посту; а потом упала и умерла...

Колодец такого двора темен и сыр. Матросы входят в узкий коридор, где у старых стен бежит кривая лестница.

Обросшие плесенью, камни этих стен тоже привыкли и к песням, и к стонам. Часто, часто ночами простоволосые женщины сбегали по этим лестницам с громким воплем «Иисусе! Иисусе!..» и ждали немедленного ответа.

...На шестом этаже жила девушка. Она была в белом и пела: «Мне так хочется глупенькой сказки...» И однажды ее снесли по этой лестнице, посиневшую, и похоронили.

...Как-то с низов понаехали купцы. Они всю ночь пировали. А когда назавтра ворвались в смолкнувший номер, то нашли их мертвыми за наполненными стаканами. Клубились в номере облака светильного газа...

Не одно видели эти стены. И то, и другое. Разное!

Наверх офицер не поднимается: его никто не приглашает.

Устало сгорбившись, начинает он расхаживать у ворот, грея руки под мышками. Он знает: без него не обойдется.

Сырые снежинки пудрят холодную грязь. Холодно. Окоченели мокрые ноги офицера. Чтобы согреться, он по

старой привычке начинает мечтать... Он молодой генерал, командующий армией; у него звучное имя: Имперов!

Призрачен город зимой. Черный невод неба роняет рыхлый, пухлый снег. Он падает широкой крепкой стеной... Мириады гибнут в грязи, но новые, все новые идут на смену. Неторопливо, широкой стеной порошит снег...

Тускло светят фонари, окруженные тьмой. Они шлют свет в туман, но не могут пробить его. Мокрая тьма вплотную подступает к фонарям. Тогда фонари кажутся большими, как тарелки, бессмысленно раскрытыми глазами тельца; или похожи на гнойные нарывы парно клубящихся ран.

Заклубился туман, показалась голова устало кашляющей лошади. Исчезнет голова — покажется круп, а за ним лишь дремлющий на козлах извозчик.

Серой пеленой сыпет снег. Он падает широкой, далекой стеной. Все новые, новые хлопья сеет небо. Снежным мохом одеваются провода, как брови столетнего старца.

Призрачен, призрачен город зимой...

В 37-м номере живут мать и дочь. Крепким шагом ходят они: от 35-го к 37-му, от 37-го к 35-му — маятник.

В 35-м номере живут две сестры... Годами стоят у своих ворот. Толстые, громадные, с низкими, будто не из них исходящими голосами. И простуда их не берет, и годы не задевают. Сменялись у соседних ворот: приходили из деревень девушки; меняли платок на шляпу и снова куда-то пропадали... Одни гибли, заболевая; другим жизнь удавалась: они уезжали за море, выходили замуж. Но одинаково годами стоят они, эти две сестры! Громадные, толстые, в сапогах на босу ногу, в тяжелых шалях. Мокрый снег забивается за голенища сапог. Хлестко бьет зимний ветер. Холодно.

В высоких бараньих воротниках стоят городовые на посту; тяжелые меховые перчатки мешают вагоновожатым

тормозить; шерстяные трико натянули проститутки, и нелегко их негнущимися пальцами торопливо скинуть.

Холодно.

Около проституток стоят извозчики и, лениво обмениваясь восклицаньями, дожидаются седоков.

Виданное ли это дело, чтобы проститутка была в трауре?

Известно.

— Уж эта русская! Уж эта русская! — скалят зубы мать и дочь. — Погоди, доберемся до вас! — кричат они офицеру. — Погоди!

Греют мечты офицера...

«Это он, Имперов! Талантливый артист освистанного фарса! Ведь может же артист гениально сыграть и бездарную комедию! Но от этого еще больше проиграет она!.. Вот почему, должно быть, так небрежно касается молодой генерал своего кепи и говорит:

— Артист был на месте — бездарен режиссер!

— Генерал Имперов, я прикажу вас арестовать! — Небрежно откозырял, улыбаясь.

— Генерал, отдайте шпагу: вы арестованы! — Еще небрежнее поклонился.

— Генерал Имперов, я вас расстреляю!

— Слушаюсь, г[осподин] Верховный главнокомандующий.

В последний раз коснулся генерал Имперов своего кепи, и его вывели...» От 35-го номера к 37-му — маятником ходят мать и дочь.

В 35-м номере живут две сестры, они ненавидят друг друга...

— Сколько времени, сколько времени, человек?! — спрашивает хриплый голос с тротуара.

— Первый час, девка, — падает ответ. Призрачен город зимней ночью...

— Полковник, вы опоздали на две минуты.

— Г[осподин] генерал, я спешил! Но река разлилась... Г[осподин] генерал, я так счастлив, что поспел вовремя разогнать этих предателей!

— Полковник, вы опоздали на две минуты, — говорит генерал Имперов. — Я приказываю вас расстрелять... Г[оспода] офицеры, по местам. Занять главную квартиру. Бить картечью вдоль шоссе!.. Я принимаю командование...

И, указывая на удирающего неприятеля, генерал Имперов бросает свое крылатое, вошедшее в историю слово:

— Стол накрыт. Господа, прошу!..

— На. Купишь еще булок и огурцов, — говорит проститутка в трауре офицеру. — Скорее.

— Что?

— Огурцов и булок. — Она тяжело переводит дыхание от быстрого бега. Офицер бежит.

— Что ж: жизнь! — объясняет он себе...

Да, он был капитаном. У него была жизнь, близкие. Он любил одну девушку. У нее была нежная шея, убегавшая к чистой груди...

— Клавдия Николаевна, чувству ведь не прикажешь!

— Не надо!

— Клавдия Николаевна!..

— Да, все это было. И девушка была. А сейчас она носит траур и ходит как кавалерист.

— Ну что ж: жизнь! — объясняет себе офицер. И тяжело поднимается на пятый этаж, неся запухшими от сырости пальцами покупки.

А в комнате тепло.

Если матросы желают, он может им прочесть свои стишки.

— Да, он пишет стишки, — подтверждает и проститутка.

В широких гаванях морей и проливов им случалось уже кое-что видеть и слышать! Да, черт возьми! Видел ли кто-нибудь пылающий корабль в открытом море? Знает ли

кто-нибудь, как спасают его?.. Черт возьми, они знают толк и в стишках; пусть читает!

Порывшись в карманах, офицер достает грязный сверток бумажек и читает порыжевшие строки, дрожа от холода... Переводит...

Седой человек полюбил. Она молода. Она ребенок... Наступает осень. О, как много, много нежности в осеннем увядании... В тихой, скорбной неизбежности последнего свидания...

Юноша любит. Они идут парком, догоняя солнце. Она белая, чистая. По дороге — лужа.

Осторожно, осторожно, моя дорогая! Так легко ведь испачкать себя...

Прошли годы в огне и смерти. С войны возвращается поседевший юноша. Он хромает, дрожат руки: он видел жизнь. С распростертыми руками бежит девушка навстречу:

Осторожно, осторожно, моя дорогая! Так легко ведь испачкать себя...

Матросы довольны. Им нравится, что бывший офицер сидит с ними. Да, его руки опухли от пьянства или ревматизма, вместо носков ноги обернуты газетной бумагой, но все же он офицер. Сотни солдат ему козыряли!

Офицеру наливают водки, придвигают закуску, хлопают одобрительно по плечу. Шумят...

Говорят о том, как дерутся на большом свете, как убивают...

В портах Америки наступают ногой на ногу и бьют оборотной стороной руки.

В Южной Африке негры ударом головы кладут человека насмерть.

Офицер хочет тоже рассказать, как дерутся у него на родине...

В Астрахани мужики ударяют сапогом в живот. В Туле хватают двух противников за волосы, нагибают к земле и бьют носками ботинок в лицо.

Над офицером смеются. Никто не осмелится сказать, что они кое-чего не слышали уже, шатаясь туда-сюда по круглой земле! Да. Но такой глупости им еще не приходилось слышать. Ха-ха... Иногда доходит до драки, с криком и пьяными слезами. Все зависит от гостей. Какие они!..

Как-то в предпраздничное время, когда бойко и торопливо выкрикивали проститутки, вместе с торговцами, расхваливая свой товар:

Уютная комната.

Удобный вход.

Первый этаж.

— Вот этого господина я могу полюбить... — Проститутка в трауре отметила какого-то штатского с длинными кудрями и пристала к нему: — Вот к этому мужчине у меня есть дело. Интимное дело!

Он вынул из кармана несколько монет, отдал, обещав как-нибудь прийти по указанному адресу.

И пришел... Пришел с матерью.

— Тяжело живешь? Много зарабатываешь? — небрежно-сурово заспешила мать. — Гадюка, или жизнь привела? То-то, все вы такие! Я тоже русская, — ужасно спешила она, почти кричала. — Нежное лицо, говорит. Ничего подобного. Такая же пьянчужка, как другие. Пойдешь ко мне! У меня приют. Убирать умеешь? Может, не хочешь работать? Знаю! Кашляешь? Что папаша говорит? — обратилась, так же спеша, она, не давая ответить, к сыну. — Симметрия, говорит? Ух, ненавижу, дурной человек! Дурной! Сам небось ходит сюда? Бывает? — обратилась она к проститутке. — Рыжий такой, с бородкой?..

— Не знаю, — улыбнулась она.

— Ходит, — убежденно твердила мать. — Знаю я. Не к тебе, так к другой. Знаю... Ты что, не больна? Не лги только! Все равно освидетельствую.

Со злостью ответила, огрызнулась:

— Больна.

— Чем? Чем?

— Сиф, — сухо кинула она и передернула игриво плечами. — Сиф.

— А... ну, в таком случае, конечно, другое дело. Нечем тебе гордиться, нечем!..

И ушли. Так же поспешно, как и пришли: почти бегом. Что же, всему есть предел.

— Пошли... — выругался офицер, высовываясь в одном белье. — Ракальи*! Убью!

— Оставь, — кинула проститутка. — Она добрая. Бог с ними...

Но сын приходил еще. Без матери. Слюнявил простыню. Неторопливо и аккуратно расплачивался.

Да, разные бывали гости в этой квадратной комнате с широкой кроватью... Меняясь, по очереди ложились в нее. Подгоняли друг друга. Тут же, в темноте, подмывалась проститутка холодной водой.

Спали поздно.

Будил их старик-шарманщик. Уставив внизу свою разбитую русскую машину, он дребезжащим голосом надоедливо выводил:

— Зачем меня мать родила...

— Зачем меня Бог создал...

Скрипел, не отставая. Ругалась проститутка, но сползала с постели, одной рукой придерживая рубаху, другой открывала форточку и выкидывала медяк...

— Дай деньги, — приставал офицер, как только расходились гости.

— Не дам.

— Дай!

---

* От фр. racaille — подонки.

— Не дам.

Схватив за волосы, он нагибал лицо проститутки к земле и бил ногой в живот. Бил не торопясь, с холодной злобой. Зная, что меньше всего побои заставят ее уступить!

Потом отпустит. Они садятся на постель.

— Господи, что же это такое, что же это такое? — удивленно озирается проститутка.

— Ну что ж, жизнь! — объясняет он. — Жизнь!.. У меня это вопрос решенный: кончаю самоубийством. Прерываю тряпку моей жизни. Уступаю место: труп я! И тебе то же советую.

Ах, она знала, что это все правда. Но по-женски пугалась, жалела! Глядела на его грязную шею с худым кадыком... Она целовала когда-то эту шею... За себя ей не страшно, она знает свой конец!

— Не надо спешить, успеется еще! Подожди! Может, домой вернемся?! — просит она по-женски.

— И дома у меня нет. Ничего нет! Потому что меня нет: гнию я. Ну что ж, жизнь!.. — объясняет и успокаивает он. — Пусть простят меня добрые люди, какие есть. — Он вставал с постели и кланялся в окно: — Простите меня, добрые люди... Не могу больше: иссяк я... — И, сделав цинический жест рукой по направлению ее живота, он добавлял: — Дай денег-то на папиросы.

И она давала.

— На, купишь себе папирос, — говорит она с улыбкой, совсем не идущей к ее опухшему, с синяками лицу. — Купишь папирос и в баню сходи. Непременно! — говорит она просяще.

— Ладно, — ухмыляется офицер и идет с лестницы. — Ладно...

...В эту ночь проститутки с окраинных улиц прорвали сеть городовых и густой колонной прогнивших маток влились в город.

Вырывая добычу друг у друга, по двое кидались они на прохожих, таща их в боковые переулки; уговаривая, ругаясь, крича. Спешно был вызван отряд полиции. Тревожно загудели сирены, бешено закрутились колеса по отдыхающим ночным покоем мостовым. Со свистом и гиком принялись городовые за тяжелую, сложную работу вылавливания проституток — на пятнистых простынях, изъеденных гноем, мужскими членами распятых матерей.

Быстро, безошибочно, по румянцу скул, по походке находили их усатые полицейские.

Проститутки с набережной — в сапогах и в тяжелых платьях — гулким шагом бежали назад.

Не обходилось без ошибок... Так трудно в темноте разобраться!

Выловленных проституток окружали и торопливо угоняли куда-то боковыми улицами... Всю ночь тяжело работали полицейские.

Долго приглядывался городовой к женщине в трауре; не решался ее затронуть. Стоял у аптеки, перед рекламой о пилюлях для пищеварения и ждал.

А она разглядывала у кинематографа застывших в танце актрис; потом повернула и мелко, неторопливо застучала каблуками. И ушла!..

Обрывом переулка, колодцем двора шла женщина в трауре и исчезла в низких дверях.

Черны коридоры этих домов, грязны, извилисты. Тяжело дыша, взбирается женщина на пятый этаж. Стучит сердце, горит, будто облитое кипятком; гнутся усталые колена. Где-то в горле комком стучит кровь; горят ноги от высоких каблуков; рябит в глазах. Извилиста, извилиста лестница.

Тяжело всходит проститутка на пятый этаж, долго отдыхая в темноте на площадках.

Дверь закрыта на ключ. На косяке она находит его и открывает дверь, зажигает лампочку. И вдруг на

развороченной постели она замечает что-то странное. Кто-то забился под скомканную перину... Она близоруко нагибается, чтобы разглядеть еще не остывший труп...

То офицер сдержал слово и разрядил свой браунинг!

«Конечно, можно было бы еще подождать, — устало думает проститутка, снимая туфли. — Но в общем он прав!..»

Надо торопиться! Кто жизни не желает, должен постараться избежать всех лишних хлопот, объясняться с начальством, быть может, побои!.. Да, она очень устала; где-то в горле бьет кровь, но надо торопиться!

Она стаскивает чулки с горящих ног и ставит ноги с наслаждением на холодный пол. Сейчас уже нечего бояться простуды!

Стоят себе женские туфли, небрежно кинутые в сторону... Сколько надежд; сколько скрытых мечтаний рождалось в груди, когда летней ранью две стройные девичьи ноги отбрасывали одеяло и пожимались от утренней влаги в воздухе, шуршали по коже туфель... Стоят себе измятые туфли, небрежно кинутые за ненадобностью.

Да, упрямый подбородок был покрыт гладкой кожей; девичья грудь светила сквозь рубашку...

Из гардины вытянув шнур, проститутка сделала петлю и неумело накинула себе на шею.

Ах, про эту тонкую шею можно было бы рассказать одну историю:

Клавдия Николаевна, позвольте коснуться губами вашей шеи!

Человек должен быть только сильнее себя!

Клавдия Николаевна, я безумствую. Позвольте мне коснуться вашей шеи!

Человек должен быть только сильнее себя!

Из теплой узкой постели пробраться в сад. Наливаются яблоки. Стучит телега за гумном, съезжая к реке. Встретит

чью-то родную руку — и алые зори встречать по росистой траве...

Ау, Господь!

— Ку-ку, ку-ку, солнце!..

«Ну что ж, жизнь!» — объясняет себе проститутка. И привязывает шнур к лямке, перекидывает его через дверь, захлопывает.

Когда петля затянулась уже на ставшей снова тонкой шее, а опрокинутый стул откачен, она ударилась как-то коленом о дверь. Ускользнувшее было сознание вернулось, успело отметить еще откуда-то посыпавшиеся искры; что-то страшно заныло, но уже не было больно! Чужой показалась боль... Благодаря этому она лишние две-три секунды билась в петле. А потом стихла, холодея...

Шнур от тяжести тела опустился, и скоро она касалась уже пальцами раскоряченных ног пола.

И если бы кому-нибудь из многочисленных жильцов этого дома вздумалось вдруг сползти со своей постели и припасть к щели дверей, то увидел бы он только дремлющую женщину, устало прислонившуюся к косяку...

А скоро уж совсем нельзя было ничего разобрать: лампочка горела, горела, да и погасла... И только два окна — два глаза — все всасывали в себя этот новый образ и беззвучно переливали его в небо...

А по утрам во двор приходил шарманщик и долго пел свои старые песни. Но окно на пятом этаже уже не открывалось; и не вылетал пятак к ногам привычно дожидавшемуся шарманщику. Капризно и нетерпеливо вертел он снова и снова ручку своей машинки, устало выкрикивая родные сердцу каждой проститутки слова:

Вечер вечереет,
Народ из фабрики идет...

Был поздний вечер, когда поэт кончил читать свой рассказ...

Он шел ночными тротуарами, согнувшись от резкого ветра, прижав руки к бокам.

Он шел, как ходят ночные люди: медленно волоча ноги; прячась в тени стен; разглядывая окурки папирос.

Резкий ветер бросал студящие капли дождя. Подняты были зонтики и воротники у редких прохожих; надвинуты шляпы.

Раскрытые верхи пролеток и моторов блестели мокрой кожей, отражая тусклый свет фонарей. Они казались чешуйчатыми черепахами, слепо мечущимися во тьме... И весь город казался одетым в мокрый футляр асфальта и мглы.

Осторожно пробирался поэт меж столиками и присел за кружкой пива в углу ночного ресторана.

В этот поздний час ресторан был пуст, и поэтому особенно печальной казалась музыка, бесцельно звучавшая вверху.

Стояли белые столики, и медленно меж ними расхаживал бритый старичок, кельнер. Он был уж очень слаб, колени подгибались; он не всегда слышал звонок из кухни и не сразу приносил требуемое. Подходил боком и болтал...

Что ж, он уже достаточно набегался. Да. Много лет стоит он уж за этими столиками. Много ночей. Сменялись цвета знамен; падали императоры... а тут все так же играет музыка и звенят стаканы.

В этом ресторане веселились люди, оплачивали громадные счета, а было время, когда, кроме постного супа, здесь ничего не подавали.

За этими столиками сидели нарядные дамы, где-то они сейчас! В эти отдельные комнаты, где зеленые шторы, входили девушки с наивным страхом в глазах, а выходили уже молодыми женщинами.

Раз за тем столиком сидел человек в смокинге; припоминал, что год тому, в тот же вечер, он сидел с одной дамой.

У нее был грудной смех... а сейчас он пьет, потому что одинок!.. А потом вынул острый ножик, как булавка, и закололся.

Да, есть что вспомнить старому кельнеру, когда ресторан пуст, а музыка одиноко доигрывает свои песни.

— В жизни, в бессмысленной жизни каждого ненужного человека есть большой смысл, — говорил себе поэт, выходя из ресторана. — Ибо по ней мы узнаем, что жизнь бессмысленна...

Долго всходит он по высокой лестнице. В темноте раскрывает дверь ключом, кладет его на косяк; входит и захлопывает за собой дверь.

Не зажигая огня, он начинает раздеваться; торопливо развязывает галстук, расстегивает подтяжки и садится на постель.

Он закуривает папиросу, и зарево спички в дрожащей руке осветило на секунду узкую ленту его вдруг посеревших губ...

Два раза глубоко, с наслаждением, затянулся он. А потом кинул папиросу недокуренной и начал рыться в постели.

Он лег в нее, укрывая голову периной. Там, в тесноте, под периной, он раскрыл горячий рот, торопливо всунул в него холодную сталь... Но она вошла слишком далеко: запершило в горле, пищевод судорожно сжался. Высунув голову из-под перины, он жадно глотнул несколько раз воздух. И снова, укрывшись, он приставил дуло револьвера уже к мокрому виску. У него появилось странное желание: ему хотелось почему-то два раза успеть выстрелить. И благодаря этому он опять — как будто перед тяжелым прыжком — промедлил; воздуху опять не хватило, и он начал было вылезать из-под перины, чтобы снова передохнуть. Но тут вдруг в последнюю минуту, будто неожиданно, нечаянно для себя, он дернул, ненужно сильно, курок...

Благодаря перине звук от выстрела едва слышен был. Потом наступило молчание. А через минуту послышался

какой-то тихий, настойчивый звук. Будто тяжелые дождевые капли торопливо спадали на пол.

Два окна смотрели в ночь. Из них виден был заснувший город... Тяжелыми глыбами, будто навороченные друг на друга чайные цибики*, темнели верхушки домов с неуклюжими надстройками. На крышах — как чьи-то уши, носы и глаза — нелепо торчали антенны, кронштейны, решетки проводов. Среди них, будто на скорую руку, временно понатыканные, мерцали небрежно брошенные электрические лампочки. Набережная тускло светила сетью под гребенку подстриженных фонарей. Печально гудел, где-то заворачивая, ночной трамвай.

Тяжело стояли стены старого дома. Их покой трудно всколыхнуть: не одно видали они. И то, и другое. Разное...

Не успел еще смолкнуть настойчивый стук торопливо стекающих откуда-то капель, как темный дом уже вслушивался в новый шум... Кто-то тяжело шел по крутой лестнице, отдыхая на каждой площадке.

То, сжимая рукой бьющееся сердце, близоруко вглядываясь в тьму, возвращалась с работы на отдых женщина в трауре...

ВОЛЬНО-АМЕРИКАНСКАЯ

Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.
А. Блок

В течение всего этого эпилептического дня ухищрений, изобретательности, трусливой решительности Валерьяну Б. казалось, что самое главное — это дотянуть, осилить, выдержать до вечера; а там, как только он очутится в вагоне, как только поезд тронется, наступит временно покой,

* Ящик с чаем весом до 35 килограммов.

избавление. Но случилось обратное. Когда локомотив после обычного ритуала возгласов, сигналов, свистков дернулся и поплыли перрон вместе с людьми, с циферблатами... Валерьян понял: пережил окончательную, бесповоротную гибель; почувствовал, что именно сейчас, а не раньше он себя доконал, убил, навсегда отрезал прошлое, лишился возможности (даже любой ценой) вернуться к старому, восстановить привычное, что не к добру это налегке он бросился очертя голову в пахнущую гибелью ночную дорожную неизвестность, слабый, потный, развратный, жаждущий только одного — неподвижного сна. Он, держась за грудь, сорвался с места, побежал по тесному коридору к двери, выглянул наружу, как бы проверяя: все ли кончено, нельзя ли поправить. Но поезд в сумерках истово пожирал уже разверстую даль. Леденили душу печальные, трепещущие звезды — огни города (уже чужие). На Эйфелевой башне билось электрическое сердце, мерно пульсируя, выбрасывая: Citroën, Citroën... «Ситроен — это еврей, приехавший в Париж из черты оседлости, — вспомнил Валерьян. — Построил мощную фабрику автомобилей, получил ордена и прочее. Потом разорился неожиданно. Тогда обнаружилось, что он болен раком, от которого вскоре и умер». И память о судьбе этого человека в такую минуту как хлыстом по сердцу стегнула Валерьяна, отраженной молнией озаряя что-то зарытое в нем самом. «О-о-о! У-у!» — простонал он, высовываясь до пояса. Его задевали в узком проходе, толкали, ступали на ноги. Он вернулся в купе. Там полька с тремя младенцами устраивалась на ночлег. Дети кашляли и мочились. Все было душно, грязно, нестерпимо; и хотя в соседних купе нашлось бы, вероятно, место — Валерьян подумал об этом, — он никуда не перешел: тотчас же забыл или не хватило энергии. Морщась, вздыхая, держась для наглядности за щеку («зубы болят»), он прикорнул в уголку, устроился, повернувшись лицом к переборке: во тьму, в боль, в одиночество.

Случайно, уже перед отъездом, Валерьян встретил барона К. и попросил взаймы «до утра». Фон К. дал 500 франков, сказав, что у него при себе больше нет. «Будь у него тысяча, он бы дал!» — сообразил теперь Валерьян. Вагоны бросало. Лицо его билось, как неживое, о планки скамьи: он этого не замечал (не догадывался, что можно по-другому). Только время от времени он по старой привычке, тиком, застывшим рефлексом, щупал бумажник на груди. Песня колес была угрюма. От нее разбивалось сердце на черепки. Рядом полька убаюкивала троих детей. Она пела что-то невыносимо-покорное, односложное, жалостливо-материнское (когда колыбель, полумрак и неведомое), вкладывая в свою нехитрую песню втрое больше обычного печали, страха и надежды. За полдня, проведенных с Розенами, его ни разу не спросили о деньгах. У Валерьяна было чувство: он мышка, крохотная, серая, оглушенная мышка, с которой домовито-лениво играет сонная, жирная, седая кошка: позволит немного отбежать, потом лапкой сгребет, вернет. Он видел такое раз в детстве на кухне. Полдня. И вдруг, в машине уже, Розен сказал: «Валерьян, вы мне приготовите на завтра...» — он назвал сумму, которую Валерьян приготовить не мог. Словно плетью стегнули Валерьяна, он бросился в сторону, но так случилось, что и автомобиль в эту минуту подбросило, а Марта, перезрелая Марта, бесцветно улыбаясь, обернулась к нему, поясняя, что это вина дороги, шофер ни при чем: она править умеет. Валерьян улыбнулся ей в ответ. И в этой пристойной улыбке его, трупа, банкрота, картежника, полувора, бесчестного ухажера, растратчика, уже почти обнаруженного (обнаруженного — минус двенадцать часов), было — по памяти — столько слабой, скрыто-явной, безвольной, комичной, подлой трусости, что Валерьян, уже совсем не сдерживаясь, багровея, скрежеща зубами, громко завопил «О-о-о-у-у!..», смешно хватаясь за щеку. Подумав, что эта «зубная» ложь перед ненужной, незнакомой нищей полькой

ставит его сейчас почти в такое же положение, он метнулся на другой бок, кривясь, повторяя свое «о-о-о!». Елена, варшавская Елена, одна из бесчисленных полуплемянниц, периодически, все чаще — по закону Толстого — привлекала его внимание. Валерьян видел ее года три тому назад. Он наезжал крезом, хватом, орлом, гусаром; ей тогда было не больше четырнадцати. Трогательно торчали маленькие груди. Она считалась всегда его проводником. Его, сопляка, обманули, растоптали. Но как они умудрились? Он делает семь, они — восемь; он — девять, они тоже. «Девять раз девять. А в Варшаве Ирина, и Семен, и вся эта орава, и надо ломаться, играть. Потом все откроется. О, ложь, ложь! Они высоко поднимали карты. Там хорошие пирожные».

В Кельне Валерьян сошел. Против вокзала, через площадь, мокрую от вечернего дождя, в кафе он купил открытку. Этот вид с Кельнским собором и с припиской «Я уехал, потому что не могу больше совершать подлости...» отправил в Париж Ферчаку, компаньону по фильмовой конторе. Потом, уже в вагоне, Валерьян сообразил, что Ферчак недостаточно культурен, чтобы оценить такое письмо, что тот, пожалуй, еще как-нибудь использует (не придется ли судиться?). От этой мысли все истошно закружилось перед ним. Он сел, разрывая рукою ворот рубахи, — о-о-о, — уставившись в обложенную свертками детей тушу польки, тупо принюхиваясь к запаху пеленок. А между тем поезд уже колдовал в ночи. Он врывался на узловые станции, где его ждали дежурные, пробегал виадуки и ущелья, луга и пашни, леса и реки. «Та-та-та, то-то-то, то-то-то, то-то-то, то-то-то, ту-ту-ту, та-та-та, ау», — взвизгивал он, переходя путь. И снова: «Та-та-та, то-то-то, ту-ту-ту». Он стучал по-иному на стыках рельс, скрипел на поворотах, замедлял на спусках, звенел буферами на остановках. Локомотив пел, проносясь по мосту, свистел, вырываясь из туннеля, гудел, пролетая станцию, не замедляя, преодолевая еще одно препятствие. Деревни и города

спали. Жители сквозь сон слушали этот крик пробегающего состава. Школьники, кому рано вставать, сироты, жандармы, механики, жены, любовницы, матери (в избах у колыбели лучина), в больницах страдающие бессонницей, офицеры и чиновники, удачники и несчастные (в темноте все неудачники) — у многих сердце крошилось в печали от такой тоскливой песни на земле — паровозной сирены до зари.

Остановка ночью. Где? В неизвестности. Холодный пар с угольным дымом, стук молотка, шипение, багажная тележка, молчание и неподвижность после лязга и вихря. Сонный пассажир сорвется: «Где мы? А!» Выглянет в окно. Там ночной перрон, фонари, уборная и циферблат часов — загадочная иллюстрация из потерянной, забытой книги. Кто-то озабоченно пробежит по коридору, хлопнет дверью (какие голоса в ночном дорожном воздухе). Протопчет новый пассажир, ища места. И, постояв, сколько надо, локомотив, прирученный ледниковый зверь, рявкнет, наляжет, вагоны вздохнут, дрогнут, заскрипят — и вот уже мчится земля с перелесками, в окно бьет ветер, и колеса, колеса в обнимку с дорогою: та-та-та, то-то-то, ту-ту-ту. На рассвете засыпают. Потом очередь у рая уборных, там неудобно и прочее; в окно росные поля, древние туманы, обнаженность и печаль не ушедшей еще ночи. На остановке холуй с кофе, газеты, бананы, сосиски.

Утром проезжали Берлин, умытый, в зелени. Там в центре жил — пил теперь чай — отец Валерьяна. Обычно, проезжая, Валерьян его предуведомлял телеграммой; тот выходил на вокзал, и они, оказывая друг другу разные знаки внимания, любезно, уверенно беседовали: два джентльмена, европейцы, приятели. «О-о-о-у-у!» — неожиданно перешел с вещами в соседнее купе. А там дальше поля, черепицы, известково-белые стены, шлагбаумы, коровы машут головами, пахарь утирает пот, крестьянка, разогнув спину, смотрит вслед (ты больше не встретишь, тебя не

узнают), станции, что поезд пролетает, не останавливаясь, не замедляя, торжествующе-грозно-презрительно рявкнув: «Не до вас!..» Там люди смиренно сидят на скамьях и ждут, они малы и ничтожны: неподвижное всегда жалко для мчащегося. Угар в голове, непривычная пища, грязь на теле, опостылевшая газета. И вот уже языческая ночь за окном, лица становятся суровее, крошит сердце гудок локомотива («один я, за спиною много преодоленного зря, а впереди неведомое»), и дети в предместьях и посадах, что слышат крик пробегающего мимо чудовища, плачут спросонок. Кто-то проходит по коридору и неожиданно возвещает о новой стране; мастеровые, только что севшие, называют понедельник вторником, а о «завтра» говорят уже «сегодня». Лучисты, подвижны, текучи границы времени и стран.

Вот уже дождливым утром Валерьян на Венском вокзале в Варшаве. Он озабоченно расправляет затекшие члены, щупает бумажник, медленно идет мимо состава, опорожняющегося с молниеносной, предательской быстротой. Только что живой, поезд вдруг захирел, помертвел, скончался. На могучем локомотиве спереди еще горят ненужные уже фонари. Ночью они служили верою и правдой, а теперь их забыли даже убрать, как не помнят и о том коротком, поросшем травою вспомогательном пути, куда стрелочник накануне бросил поезд, без чего он бы не прибыл к цели.

«Валерьян! Валя! Валерий приехал!» — так себе и представлял встречу Валерьян.

Дядя Семен, бывший петербургский банкир, еврей, делец, прожектер, жадно всхлипывал, целовал Валерьяна (он постарел, провинциально посерел, обрюзг). Тетя Ира, с печальными, почти еврейскими (она русейшая по крови) глазами — глазами не уверенной в завтрашнем матери множества ребят, перенесшей столько горя и готовой принять еще, — тетя Ира тоже обняла Валерьяна: пугливо, как всегда, недоверчиво и молча. Затем какие-то мальчишки

карабкались на него, словно на дерево; девушки в халатиках, с зачесанными на ночь волосами, подставляя щечки; а дядя Семен командовал, как брандмейстер: «Воды! Шура, открой кран! Дайте же ему наконец полотенце». Испытанный пионер-предприниматель, опытный коммерсант, заслуженный вояжер, он усвоил до тонкостей анатомию и физиологию поездок, знал, что потребно горожанину после долгого пути, о чем он мечтает, в чем нуждается и в каком порядке. Сейчас не у дел, мелкий служащий, дядя Семен жил только героическими воспоминаниями прошлого: вагонами дальнего следования, хлопком, нефтью, товарной биржей, артистическими куплями-продажами под визг цыган, совершаемыми в пять минут после трехчасового завтрака. «По делам, Валерьян?» — нежно спросил он. «Да, что-то имеется в виду», — неуверенно процедил Валерьян. Дядя Семен так просительно-понимающе, так ласково благодарно-священнодейственно кивнул головою, всплеснул руками, подпрыгнул, стукнул каблуками, что Валерьян, кривясь и потирая щеку, вынужден был добавить: «Сколько стоит разговор с Москвой?» А кругом все кружилось, охало, металось, устраивая ему комнату. «Спать, спать, теперь спать! — распоряжался дядя Семен. — Это ничего, тебе кажется. Ляжешь, уснешь. Мы здесь обедаем в два».

И Валерьян один в чужой горнице. Дверь заперта. Он достает бумажник и считает. Мало. Он вспоминает: будь у фон К. случайно при себе больше, он бы дал. Фон К. сосед, кассир в кинематографе, нищий. «О-о-о-у-у! Нет, спать, спать, только спать! До двух часов один. Ни о чем (не думать), ничего (не делать). До двух часов. Хорошо». И как всю эту зиму (раньше, получив первую отсрочку, отыгрываясь и окончательно погрязая, ему все казалось: еще далеко до последнего срока; потом приехал Розен, но не сразу заговорил о долге, и это была находка, подарок; затем бегство, купе), новая передышка — до двух — наполнила его сердце

мгновенной, неустойчивой радостью, подобной чувству защитника обреченной крепости между двумя штурмами. Чем кратковременнее был перерыв, тем острее, беззастенчивее пьянил он, словно та же масса довольства делилась на меньшее число минут. Уверенность, что несколько часов он в безопасности, один будет спать (свинцовым сном) — никто не может ничего, — делала мгновенно Валерьяна легкомысленно счастливым. Он знал, однако, всем своим естеством, что круг точно сжимается, петля стягивается, антракты все укорачиваются. Вспомнив вдруг еще что-то из прошлого, он заерзал, застонал, забегал на цыпочках по комнате. В окно виден был болотистый, длинный, мощенный разнокалиберным булыжником двор; посередине, на самом выгодном месте, стояла грязно выкрашенная уборная (следы подошв вели во все стороны); ломовой извозчик старался повернуть свою тяжелую телегу-площадку, ругаясь, по-скифски стегая лошадь; и общая картина была такая, что становилось все равно и не хотелось долго жить. Валерьян подошел к хозяйственно взбитой постели. С чувством самоубийцы, отложившего казнь до утра, он улегся, смакуя этот непередаваемый букет усталости, сладкой ломоты, загрязненного кишечника, ненависти, зябкой, неуверенной надежды, трусливых предчувствий. Осязая всем существом запертую на ключ дверь (готовый визгом и укусами защищать эту случайную подачку), он, внутренне всхлипывая (как ребенок после плача) и почти не меняя выражения страдающего, брезгливого, наглого лица, топором пошел вниз, уснул, умер.

А в третьем часу вся семья сидела за столом; многочисленная родня и свойственники. Они все чтили Валерьяна, ценили его приезды, любили подробные рассказы о большой, деятельной, звонкой жизни, приобщаясь таким образом к знакомым стихиям. Эти бывшие банкиры, фабриканты, промышленники, теперь превращенные в мелких маклеров, конторщиков, служащих, сохранили бескорыстную любовь

артистов, теоретиков к акциям, к третейским судам, к двусмысленным спекуляциям, к рискованным предприятиям с подрядами, доставками и взятками. Они сбежались, чтобы посмотреть на свежего, нормального человека, ворочающего полнокровными делами, живущего настоящей жизнью там, в центре, у сердца повоенного финансового Рима. Они сошлись возбужденные, рассчитывая услышать о новой панаме, о сложном ходе, о небанальной комбинации, попутно изучая, сравнивая и комментируя противоположные стили, техники, школы и, как это водится среди маститых, порицая современные принципы, формы и методы. Все эти опустившиеся, нищие, разлагающиеся офицеры бывшей коммерческой империи творчески любили свое дело, продолжали ему служить, ничего уже почти для себя не ожидая. Как отставные дряхлые жокеи все еще говорят о родословной лошадей, так они возвращались к дивидендам и концессиям, поражая Валерьяна своей эрудицией (сам он часто не имел представления об известных им до сердцевины интимных континентальных операциях).

Барышни же радовались приезду Валерьяна по другим причинам. Обычно он денег не жалел. Кинематограф, дансинги, концерты, кондитерские, такси. Вся жизнь будоражилась, переворачивалась, расцвечивалась, временно откладывались в сторону обязанности, уроки, экзамены. Кроме того, сорокалетний Валерьян был еще холост, и это — в обществе веселящихся подростков — создавало какую-то особенную атмосферу, волнующую, нежную, комично-неоправданно ликующую.

Весь этот народ, за исключением тети Иры, сидел за раздвинутым столом, говорил наперебой, часто пересыпая русскую речь словами «власне»*, «мяновице»**, дико

* От польск. właśnie — в самом деле.

** От польск. mianowiece — а именно.

ставя ударения, спорил, верещал, хихикал, осведомлялся; солидно, торжественно, игриво, лукаво, влюбленно, благодарно следя за каждым поползновением Валерьяна, предупреждая мнимые его желания, ухаживая, наливая, угощая. Есть чей-то рассказ об умершем Лазаре: после трех дней смерти и смрада, воскрешенный, он попадает на пир, тучный, в темных гнилостных пятнах, одетый как жених. Вот таким невоскресшим Лазарем сидел Валерьян. В темном костюме, в белой рубашке, выбритый, он вяло улыбался, однообразно, роботом, кивал, восклицал, подтверждал, сохранив только тело улыбки, жеста, шутки, не в силах его одушевить, наполнить кровью. Тетя Ира, которая, по общему выражению, «наварила, напекла», поминутно исчезала и появлялась с новыми посудинами, озирая всех темными, неодобряющими, робкими и печальными глазами. Произносили спичи, поднимали бокалы в честь гостя, льва, кометы, последней реальной надежды присутствующих. Дядя Семен, не скупясь — радуясь предлогу не скупиться, — поминутно подливал кислого винца, которое называл «ксересом».

Обед тянулся бесконечно. Под влиянием жирных горячих блюд, специй, вина и бескорыстной ласки Валерьян понемногу, казалось, отошел, смягчился, оттаял. Решив опять: отсрочка... он несколько даже торопливо повеселел, безрассудно откачнулся в крайнюю шумливость, не щадя своих сил, не соблюдая принятого этикета. Так, сообразив вдруг, что на этот раз — против обыкновения — нет подарков, он тут же, несвоевременно, лихо, снисходительно-хлестаковски выложил: «Забыл. Пакет с подарками забыл на Гар дю Нор»*. Подстрекаемый восхищенными взглядами, улыбками, возгласами, Валерьян, все больше втягиваясь и уступая, пошел красно расписывать: биржу, Суэцкий канал, нефть, министерства, Холливуд,

* Gare du Nord — Северный вокзал в Париже.

Ставиский[1], Монмартр. Когда тема становилась игривой, тетя Ира вся подавалась вперед, настороженно-предостерегающе, но дядя Семен, седой, красный, потный, успокоительно кивал ей головой, укоризненно пожимал плечами, давая понять, что, где полагается, смолкнут: не такой человек Валерьян. И действительно, Валерьян умело, круто, над самой клубничкой, с края, на карнизе останавливался, поворачивал, обходил, этой ловкостью больше, чем содержанием, вызывая общее одобрение, ликование и благодарность. Девушки же, из которых многие знали наизусть целые главы из «Любовника леди Чаттерлей»[2], недоумевающе, капризно и презрительно шептались.

Этот обед затянулся до сумерек. За кофе публика переместилась, группируясь вокруг Валерьяна; мужчины, расстегнув жилеты, разомлевшие, преданно хлопали Валерьяна по плечу, нежно гладили колени, сдували крошки и пылинки, обнимали потными руками. Дядя Семен лукаво сообщил о родственнике, умершем недавно: его наследники поссорились из-за альбома порнографических карточек. Валерьян визгливо хохотал: это он в прошлый раз подарил старику всю коллекцию. Собственно, именно теперь полагалось достать выбранные с большим вкусом подарки и среди сплошного гомона и плеска распределить их. Валерьян вспомнил о своих шахматах (доска старинной венецианской работы). Он сходил к чемодану, принес игру и вручил дяде Семену, повторив, уже естественно, что большой пакет забыт, — он его востребует. Наступило молчание, оно показалось дяде Семену оскорбительным (вообще он не понимал, как можно что-нибудь забыть или потерять в дороге); он вскричал, тоже немного забежав вперед: «Девочки, а куда мы сегодня пойдем?..» — и все опять заохало, закудахтало, заплясало. Собрались в кинематограф. Елена сидела рядом с Валерьяном (остальные многозначительно поглядывали и прыскали). Дядя Семен просил не говорить громко по-русски.

В антракте ели шоколад. Дядя пробовал — о серьезном. Кладя руку на колено Валерьяна, он осведомлялся: «Тебе рано вставать? У тебя завтра много работы?» Но Валерьян в ответ только сыпал направо и налево девицам разные словечки, показывая, что он теперь — вот чем занят. На что дядя Семен ласково и грустно, понимающе кивал головою, намекая, что он в свое время тоже знал стиль работы, что сейчас, конечно, не время о делах, и если он не выдержал (минутная слабость), то это простительно: безвременье, скука и старость. Тетя Ирина молча, недоверчиво просмотрела фильм. Возвращались тоже в такси. Хмель вина и прочего испарился. Елена сказала, что Валерьян похож на несчастливого влюбленного. Девочки прыснули. Тетя Ирина, пристально уставившись, хотела было сказать, что он выглядит просто несчастным, но промолчала. Валерьян сообщил, что у него, кажется, начинает разбаливаться зуб. Обеспокоенный дядя Семен посоветовал смазать йодом.

Вот, в полночь, выпроводив дядю с йодом, Валерьян снова запер дверь. Он пересчитал деньги. Осталось меньше половины. О-о-о. Этот человек, который раз в Стокгольме в лопнувших сзади брюках (магазины были уже закрыты) поехал ужинать в ресторан, где бывают члены королевской семьи, и на замечание метрдотеля достал из кармана туго набитый бумажник и, показав его, уверенно прошел к столику, этот человек сейчас, подержав, понюхав свой, физиологически уже мертвый, кошелек, ощутил себя сразу оглушительно и неопровержимо агонизирующим, заживо похороненным или, более того, трупом, над которым еще делают разные операции, пропускают гальванический ток. Втянув голову в плечи, кривясь и беззвучно плача, он забегал по комнате, натыкаясь на стены. В день, когда Розен, приехав, назначил ему первое свидание (в кафе «Coupole»*), Валерьян решил

* «Куполь» — модное парижское кафе в районе Монпарнаса.

себя убить. Он вынул револьвер, начал к нему примериваться, но вдруг в ужасе втянул голову и, шипя, вот так же начал крестить комнату по всем направлениям.

Кровать, приготовленная тетей Ирой, чистая, дружественная, располагала к доверию. Валерьян автоматически разделся и лег. «Дверь заперта. Враги спят. Слава Богу, до утра. Черт возьми, если б ночь — без конца!» (Приблизительно.) Холодные простыни; но только что он стих, как они уже разогрелись. Подушки — компрессы. Его душило, жгло. Заметался с боку на бок в привычном бессонном радении. В утешение занялся сексуальными мечтами. Все мужчины на земле вымерли. Остался только он один: единственный, последняя надежда продолжения рода. Женщины, девушки выстроились у его палатки. Исчерпанную тему сменили карты. У него четыре короля. Он выжимает максимум из своих покерных партнеров. Затем власть, деньги. Он первый получил концессию на рельефные фильмы: это само в рот не влетело. Он возвращается победителем, равнодушный к врагам. «Вот Валерьян, — говорят, — вот это человечишко! Есть добрее его, умнее, образованнее, богаче! Но вот такого сочетания всех этих черт, такого соотношения нет и не будет, видимо». — «Да, — соглашаются. — Второго такого, пожалуй, и не найти». Вокруг него атмосфера благожелательности, терпимости. Ему деньги не нужны для себя, для денег, для шампанского. Он раздает, ссужает, дарит. Женщинам с печальной улыбкой, мужчинам с «идеей». Прошлое забыто и прощено. Все кругом начинают его любить. Он горячо любит всех. «Да, мне деньги нужны потому, что мне нужна любовь. Я хочу, чтобы все меня любили, тогда и я всех люблю, становлюсь самим собою, не горбатым, не уродом, право, неплохим, и — счастлив. Без денег меня просто не замечают, а я кривляюсь и лютею. Все рады. Все по-иному!» — повторяется Валерьян. Затем снова: Елена.

Какая, должно быть, прелесть. У него туз, дама, десятка треф. Противники заявляют «без козыря». Он контрирует, атакует тузом. Голый король падает. Отходит десять треф. Без пяти, контрированные. Вы знаете, как он получил представительство на всю Европу? Да, поищите второго такого. «Какая чушь, какая отвратительная чушь! — метался он в испарине, путаясь в простынях. — Сволочи, гады!» Пробили католические часы. Защемило сердце от сиротливой рассветной грусти. Он сошел и распахнул окно (повеяло, подуло). Вереница ощущений, образов, мыслей замедлила бег. Появились прорывы, лакуны, пробелы, «отсутствия». Жизнь сдвинулась, вильнула, зигзагом преломилась, стрельнула вниз; вернулась, всплыла; провалилась, в конечном счете, незаметно. В девятом часу его разбудил дядя: он так понял вчера Валерьяна (обычно так и бывало); пришла Елена — проводник, переводчик. «Да, да, — одобрил Валерьян. Он забылся на рассвете, и как-то горестно-сладко было спать: лежать камнем на дне. — Я сейчас. Только Елены не надо, — вспомнил он. — Отправь Елену. Это деликатное дело».

Отпив чай один (все уже разошлись), он с портфелем, деловито-подобранный, вышел из дому. Оставив за собою улицу, свернув раза два, он замедлил шаг, отдыхая, выпрямляясь (до обеда). Каменно-католическая, пыльно-еврейская, римско-языческая, библейско-азиатская Варшава паутиной (звездой) втягивала Валерьяна. Площадь, тротуары, витрины, толпа, доступные в принципе женщины, враждебные мужчины, бессмысленная разноголосица, оживление — все было как в Париже, только немного похуже. В Саксонском саду плавали лебеди, азартно играла детвора; на площади конь Понятовского задрал хвост, у него двухфунтовая птичка. «Что я буду делать здесь? — задал себе Валерьян простой вопрос. — Что мне делать дальше?» — стояло у него костью, комом в горле. Пробежал трамвай № 9, Валерьян догнал,

вскочил на ходу. Вот он мчится по аллеям вдоль платанов с редкими прохожими и остановками. Легче дышать. «Что отец? Уже знает, наверное». В Лазенках, как охотники и дичь, кружили мужчины и женщины неопределенных профессий и возрастов. Студенты ухаживали за барышнями; Валерьяну хотелось подойти и грубо пощупать их выпуклости. На дорожках гадили болонки; Валерьяна тянуло мордой ткнуться в испражнения. Вздымался гранитный дворец, Бельведер; ему хотелось подложить динамит и взорвать.

На утреннем солнце игрушечно светился домик короля-масона. Придавленный диском солнечных часов, Сатир развращал малолетнюю Нимфу. Сойдясь в жестоком бою, два гладиатора занесли мечи и замерли, в последний раз обозревая мир. На скамеечке, тщась согреться, сидел дряхлый, трясущийся старик с коричневыми узловатыми жилками на лице и руках. Он был в мундире, в фуражке с жестяными цифрами на околышке: 1861. Валерьян знал: это участник восстания. Столько-то лет тому назад горсть молодых юнкеров перелезла ночью эти стены; они овладели Бельведером, подняли столицу и провинцию. Они тогда были сильны и красивы; мускулисты ноги, руки картинно держали винтовку, длинные шинели хорошо подогнаны. Они могли есть без оглядки, пить сколько влезет, заниматься любовью, каждого ждала русая панна с яркими губами. И вот он тут рядом, этот трясущийся заслуженный покойник, перед знакомой стеной, и никто не может ему вернуть молодости. «Как это ужасно, как это ужасно! — ерзал Валерьян, стараясь осмыслить. — Нет ничего, кроме смерти. Все остальное безделушки. Она одна. И старость. И агония. Как это ужасно, они пришпилили к околышку бляхи своей юности. Опасное зрелище. Соблазн для общества. Их нужно запереть, спрятать, только в темноте выпускать». Выбрался из парка. Рядом он узнал огороженный пустырь с эстрадой для оркестра: здесь, под открытым небом,

в прошлый его приезд раскинулось кафе-монстр. Сияли огни, шумела толпа, в сверкающих кителях проносились кельнеры. И среди всего этого гомона прохаживался в черном сюртуке молодой любезный хозяин. То лето было дождливым, сезон не оправдал надежд — молчаливый хозяин не мог выполнить принятых обязательств. По вечерам он разгуливал между столиками, улыбаясь и слушая музыку, а осенью умер. «Да, да, вот так надо, Валерьян. Сорвалось, платите по счету. Вот так поступают. Но я не герой. О-о-о!» Он вспомнил последние дни «той жизни», когда после ночи, проведенной в клубе на Champs-Elysées*, он в смокинге, не заезжая домой, направлялся в контору. Работал целый день с особой четкостью и жестокостью, принимал посетителей, отдавал распоряжения, звонил, диктовал письма. И, пообедав в первом попавшемся ресторане за десять франков или за сто (сумма не играла роли: ценность денег при игре претерпевает чудесное изменение. Человек рискует жизнью для «спасительной» суммы, презрительно ее расшвыривая по частям), снова отправлялся в клуб. «Да, в этом тоже есть что-то героическое, надо было только кончить». Задев мыслью револьвер, Валерьян втянул голову в плечи, потом, с автоматическим постоянством, ощупал бумажник, без памяти помня, что эти две вещи взаимно друг друга уравновешивают. «Что такое сейчас? Ферчак дрожит. Валит на меня все вины огулом: прошлые и будущие. Розен его нашел?» Он снова в трамвае. Высунул голову наружу. Липы, редкие остановки. Ветром умыло, продуло. Но вот узкая улица (ремонт мостовой; нечем дышать), трамвай замедлил, тормозя через каждые несколько метров, — грохот, лязг, звонки. Валерьян соскочил; тотчас же пожалел: на тротуаре показалось еще гаже. Купил дюжину пирожных. Пошел вверх, с отвращением касаясь прохожих (изнасиловать,

* Елисейские Поля — улица в Париже.

измазаться, взорвать). Наткнулся на памятник Копернику: сидя держит в руках каменный глобус. «Вот, вот, убили, сожгли (он его спутал с Галилеем[3]). За что? Правду огласил? Подтолкнул вперед землю, ковырнул муравейник. Распяли, мерзавцы. Вот так всегда и всюду! (Ему казалось, что в его с Галилеем судьбах есть что-то общее.) За что? О, лицемеры, ублюдки, гады. Все кругом надо сломать, взорвать, сжечь. Строить совсем новое. И никаких жертв не жалко, иначе нельзя. Да, да, правы большевики...» И вдруг его взмыло, осенило: «Боже мой, поехать туда. Россия. Буду строить. Новая жизнь. Да, да, ханжи, стервы!» — в первый раз за много недель он почувствовал облегчение, освобождение, подлинную надежду: не искусственно взращиваемую, самообманную, раздуваемую, а пульсирующую, дышащую, осязаемую, словно он тронул верный след. Сразу за этим Валерьян метнулся, томительно закружил, засуетился, как раньше, «там», когда еще не все было потеряно, когда еще казался возможным случайный выход, истерически, страстно заспешил, внутренне вырываясь из самого себя (подталкивая), судорожно щупая бумажник. «В полпредство. Что сказать? Нет, Бориса, раньше повидать Бориса, да, да, вот!», толкаясь, спеша, юля, расспрашивая и соображая, как ему скорее пробраться домой. У храма Христос, декоративно взвалив на плечи крест, простер длани; угрюмые старушки набожно крестились, проходя мимо, люди с четкими злыми профилями изящно снимали шляпы, кланяясь Христу, как знакомому. «Лицемеры, осьминоги. О-о-о! Борису можно. Он знает. Скорее. Надо за ним послать». Борис (с ударением на «о»), общий друг, советник, добрый малый. Сорокалетний студент, что по восточным понятиям определенное социальное положение, даже почитаемое. Борис — коммунист. Когда-то всамделишный (сидел в тюрьме и прочее). Потом он проврался и проворовался. Превратился в шута, паразита, интригана. Но тень славы конспиратора,

человека в своем роде у дел, ответственного организатора, подпольного работника (труд обыкновенный он ненавидел) осталась на нем; связи кое-какие сохранил. Даже дядя Семен, звавший Бориса хвастуном еще в пору первой его героической деятельности, любил его посещения: дразня, но и выслушивая. К концу визита Борис обычно ссорился. Исчезал, иногда надолго. Потом снова зачастит. Он постоянно бывал либо до командировки (в Москву), либо после. Встречаясь на улице, не здоровался, подмигивал: следят за мной... и прыгал в трамвай. Иногда — через несколько минут — догонит, объясняя: «Отделался». Говорил он таинственным, знаменательным, ларингитным шепотом, от которого людей робких пробирал мороз. «Валерьян, Валярьян! — зловеще шептал он издалека. — Дай папиросу». «Шут, шут», — с отвращением вспоминал Валерьян. Связывать свою поездку с Борисом было легкомыслием, в этом чувствовалось что-то порочное, Валерьян это почти знал, постигал, как, впрочем, и многое другое.

Сели за стол большой семьей. Во время обеда позвонили. Из коридора донеслись суровые, официальные голоса. Сразу все обмякло, сдалось, закружилось, потемнело. Валерьян прислушивался, готовый ко всему, даже к гильотине (исчезла иерархия: на большое или малое раздражение сердце отвечало одинаково). «К тебе вызов из Берлина». Валерьян медленно оправился. Минуту они смотрели друг другу в глаза (дядя потом вспоминал этот взгляд). «Вызов по телефону из Берлина», — повторил дядя, удивленно впервые осознавая свое какое-то беспокойство, подозрение. «Да, да, я знаю! — уже Хлестаковым отозвался Валерьян. — Это отец. На который час?» После обеда он с Еленой отправился на почту. Говорил отец: «Сколько ты увез денег, мерзавец? Что ты наделал? Все думают, что ты увез капитал. Пускай подает в суд. Зачем ты тронулся с места, паршивец?» Валерьян покорно соглашался. Он себя погубил бегством. Это трудно

рассказать. У него не хватало решимости сразу во всем признаться, отрубить, он не мог смотреть в глаза этому обманутому им человеку, который все продолжал ему доверять. «Мерзавец, я тебе всю морду раскровавлю! — старческим, бессильным, злобным, хрипло-склеротическим голосом смешно кричал отец. — Куда ты бежал, сволочь? Там у него вся родня, хулиганы. Он телеграфировал, тебя убьют. Они думают, что у тебя деньги, иначе непонятно, вор. С Розеном припадок, будь осторожен».

На обратном пути ели мороженое. От Елены остро пахло потом. Дома — в коридоре еще — их встретил дядя Семен. «Тебя спрашивали, Валерьян. Не знаю. Мужчина и женщина. Только что. По делу». Раздался звонок. «Да это, верно, они!» — сообразил дядя, отпирая. И вот уже помертвевший Валерьян сидит в опустевшей гостиной, дверь затворена, и женщина (он ее заметил, подымаясь по лестнице), ожесточенно открывая рот, четко, как телефонный автомат, произнося слова, объясняет, чем она приходится Розену, и требует денег. Ее спутник — крупный, бритое лицо, бритая голова с оттопыренными ушами, без бровей, плотный, увесистый, загадочный. Нельзя было решить, какой он национальности, какой расы, пола, возраста. В нем сквозило нечеловеческое, неземное. Он смотрел в упор, не мигая, на Валерьяна, и трудно было догадаться, о чем думает это существо (и думает ли), что переживает. Но у Валерьяна было чувство, словно его заперли в одной клетке с удавом, с каннибалом или, еще лучше, с аборигеном далекой планеты (другого Солнца), о нравах которой ничего не известно. Валерьян ерзал на своем месте, бледнел, запыхался, сгибался под его тяжелым взглядом (как девушка-подросток под настойчивым взглядом отвратительного жуира). Он не знал русского языка, дама время от времени обращалась к нему, переводя, а Валерьян с надеждой, радостно-заботливо, предупредительно повторял

переведенное ею слово. Валерьян сам пытался тоже что-то произнести по-польски. Нечто такое, от чего сразу бы рассеялось недоразумение (но это было трудно). И вот уже дама неровно, с привизгом, на весь дом закричала: «Ах так! Вы думаете, что это вам сойдет. Третейский суд! Мы вам такой третейский суд пропишем, что с вас шкура поползет! Мы вам голову откусим, не беспокойтесь». А ее спутник, не произнося ни слова, внушительно кивал головой, иногда — не всегда впопад — поднимая тяжелый, как молот, кулак и отрывисто его опуская. «У меня нет денег, поймите, несчастье! — шепотом Валерьян. — Получу службу. Я буду каждый месяц аккуратно выплачивать». Дама перевела это спутнику, и тот на глазах у пораженного Валерьяна вдруг начал увеличиваться, раздуваться, пухнуть и краснеть. Через минуту покровы его начали бледнеть, опадать, возвращаясь к прежним границам. Он встал и, махнув молотком, что-то сказал. Голос его, тонкий, брюшной, неожиданный, совершенно не совпадал со всем обликом, и это несоответствие, которое, по Бергсону, должно было вызывать смех, казалось отвратительным. «Мы этого так не оставим!» — заявила дама. Они распахнули дверь, и, проходя по комнатам, где сидели домашние, женщина поносила и их заодно, бросала «подлеца», грозила, требуя справедливости и денег. А дядя Семен, смущенный и напуганный, путался под ногами, ловко оттирая Валерьяна, выпроваживая пару. «Что такое?» — побледнев, преданно, шепотом спросил он, и лицо его, доброе, смышленое, выражало полную готовность помочь; он глубоко вдыхал воздух, ноздри его дрожали, как перед дракой у состарившегося на ринге боксера, выдержавшего много нокаутов. «Я предлагал третейский суд. Не хотят, Валерьян. Я предлагал третейский суд. Не хотят. Что Борис?» Борис его уже ждал. Им подали чай в отдельную комнату. Дядя смущенно прокашлялся у двери (он не доверял Борису), но его не позвали.

Слушая Бориса, Валерьян понемногу приходил в себя. Все становилось простым и осмысленным, одно последовательно вытекало из другого. Надо — в консульство. Для этого лучше предварительно познакомиться с Розовским. Розовский бывает по четвергам в одном доме на Праге. Розовскому нужно что-нибудь дать. Можно получить рекомендацию от МОПРа[4]: «свой человек». Хорошо, конечно, что-нибудь пожертвовать на МОПР. «Ты что это, по делам хочешь ехать?» — осведомился между прочим Борис. «Нет, — отверг Валерьян. — Работать хочу. Пятилетка». — «А-а-а, — закивал Борис как чему-то знакомому, понятному. — Правильно, одобряю. Что ж, в добрый час. Ты давно из России? А в Москве, знаешь, ух как». И пошел плести про съезды, пламенные приветствия, резолюции, манифестации и аресты. Жандармский полковник, допрашивавший его в последний раз, вот такого роста. Он, вероятно, на завтрак съедает человека. Рассказал московский анекдот про брюки. Спел советскую песенку: «Свищет, свищет паровик, распевает птичка. Мой миленок большевик, а я большевичка». Валерьян угрюмо его слушал. Тот смолк и начал прощаться. Избегая объяснения с дядей, Валерьян взял портфель и вышел с Борисом. Через минуту тот, посмотрев кругом, понюхав воздух, решил, что за ним слежка. Не желая компрометировать Валерьяна, он попросил мелочь на расходы и убежал, обещая завтра же дать первый, общий ответ. «Каналья, пятерку!» — с ненавистью вздохнул Валерьян. Он уже не верил в поездку. Всем естеством чувствовал, знал — еще давеча, — что и это сорвется; вручая пятерку, окончательно прозрел. «Денег не хватит, — пробовал он найти объяснение и отмахивался неудовлетворенный. — Не пустят. Зачем им пускать? Им молодые нужны. Специалисты. Ну пустят, велика радость. Что там делать? Уголь копать? Кирпичи класть? Да что мне уголь! Я блевать хотел на уголь!» Предвечерняя грусть

чужого города, одиночества проступила, подплыла, мягко понесла его (скука, усталость и безнадежность). «Нет, на этот раз мне, видимо, не уйти. Скорее бы все кончилось». Потерпи, потерпи, говорил второй голос. Какой-нибудь выход мелькнет. Всегда появится. Терпи только. Надо сделать последнее усилие, несколько раз сделать последнее усилие. Побеждают крепкие нервы и — вспомнил — хорошие карты. О-о-о! Когда же это кончится, наконец. «Если бы я только знал! Если б я только мог!» — бессмысленно шептал Валерьян, отмахиваясь от надоедливых взглядов стариков, женщин, мальчишек: перенесенный из другого города, он выделялся в этой новой толпе своею чуждой аурой.

Он шел, почему-то часто, беспокойно оглядываясь. «Неужели действительно следят? Врет этот шут. Нужен он кому-нибудь, паразит». Было тягостное чувство связанности, пут. Валерьян подождал у трамвайной остановки. Сел в передний вагон («первого класса»). Загремели по мосту с частыми металлическими брусьями, как строили раньше. В пролетах внизу пучилась могучая Висла, и вот уже предместье: Прага, которую штурмовали генералы и поручики. У кучки деревьев Валерьян сошел. В парке интернационально шептались пары, при его приближении они заговаривали громче, меняли позы, поправляли платье. Бил захудалый фонтан, а там шел лесок, беспризорный, рахитичный и подлинный. Валерьян брел без цели, рассеянно оглядываясь. Наискосок, под закатным солнцем, слепили желтые стены, вероятно беседки, и притягивали своими колерами. Он сошел с тропы, напрямик к этим пегим краскам. Потянуло свежим (где-то близко вода?). Вдруг Валерьяна окликнул незнакомец. Уверенно улыбаясь, радостно таращa глаза — как при неожиданной, приятной встрече, — этот человек снял с головы черный котелок и, крикнув «Валерьян!», восторженно протянул руки. Валерьян понятия не имел, что это. Но на столь горячее приветствие закивал

ответно, выжидающе-радушно, солидно, степенно и, готовясь к дружеским восклицаниям, с тяжелым сердцем шагнул к котелку. Рядом за его спиной треснула ветка. Валерьян оглянулся — уже все зная, — из-за сосны вышел бритый «удав», давешний посетитель, о котором нельзя было даже сказать, какого он пола. «Ах», — с готовностью вздохнул Валерьян, втягивая воздух и голову, так застывая. Бритая, лоснящаяся голова надвигалась, глядя в упор, нечеловечески медлительно. Чувствуя, что если ожидание продлится еще минуту, то сердце не выдержит — на лоскутки, — Валерьян, жмурясь, сутулясь, боком, героическим кроликом подался вперед, навстречу. Тогда абориген неизвестной планеты заботливо откупорил какую-то склянку и отвел свою руку-молот для разгона. «Это совсем просто!» — из непролазной мути ожидания и трепета, отпускающе-вдохновенно выстучал Валерьян, криво, бессмысленно — это его и спасло, — придвигаясь еще ближе и закрывая глаза. Что-то обухом плеснуло ему в лицо, и, чувствуя ликующую, развязывающую легкость, он завопил детским криком от боли. Он упал, как срубленный, и, облегченно улыбаясь душой, благодарно вопил, кружась по земле, зарываясь лицом в темный, влажный лесной суглинок, туша пламя ожога.

Его положили в больницу. Серная кислота выжгла левый глаз и всю половину лица. Опасались и за второй глаз, по симпатической симметрии. Ему сделали пластическую операцию, некрозированная ткань долго не заживала; извлекли сваренный серой глаз, подгоняли протез. Все это продолжалось много месяцев. Госпиталь находился за городом. Близко тянулась товарная станция. Из окна пахло углем, паром, уборной. Свистели маневрирующие паровозы. В соседней палате лежал умирающий от рака. Ничего особенного, обыкновенный человек, желтоватый, с обильной растительностью. Ночью у его изголовья горел ночничок: колеблющийся, мягкий, керосиново-свечной

огонек. И вид этого мигающего пламени у изголовья приговоренного к смерти, нестарого, похожего на всякого — тут, рядом — человека в долгой ночной лазаретной тиши наполнял Валерьяна осязаемым покоем, бесспорным знанием. За окном неукоснительно пели паровозы. Их свистки не были слито-протяжные, как в пути, а расчлененные, распадающиеся на два-три колена, и в конце — протяжный, грустный, понятный, смертный подвой.

Валерьян жил, ел, переносил боль, спал, бодрствовал, лечился равнодушно, безразлично, деловито, как будто все это «не то», а самое главное такое понятное, что уже говорить ни к чему. Но все его движения, поступки и слова приобрели непроницаемую законченность и определенность. За это время он подружился с тетей Ирой. Та пришла в тот же день, разрыдалась и осталась, бросив дом, не покидая его первые недели. Она оправляла подушку, помогала уложить огромную голову, освежала лоб и смотрела своими темными, вовсе не пугливыми и даже словно повеселевшими глазами. Он целовал ее руки и плакал, видя ее слезы, пошучивая, что он отныне спит и плачет только одним глазом. А дядя Семен старался его занять, оживить, рассказывая то, что, по его мнению, должно было интересовать Валерьяна. Валерьян же озадачивал его брошенным вскользь ответом: «Какой вы добрый, дядя, какой вы, должно быть, чудесный человек». Вообще он начал отвечать не на слова, обращенные к нему, не на прямые жесты и поступки, а на что-то другое, исходящее от человека; говорил иногда невпопад, но совсем понятно. Дядя же Семен пугался и негодовал. Казалось, точно Валерьяна опустили в прохладную густую жидкость, в которой человек не тонет, а только податливо покачивается, и он лишь старается делать, как другие, плавать, внешне походить на окружающих. По ночам же мерцал керосиново-свечной огонек. И память об умирающем от рака не вспугивала, а, наоборот, закаляла его покой;

паровозные гудки не полосовали больше сердца печалью, они что-то поясняли и укрепляли. Он был в общем здоров и немного спустя мог уже гулять по палатам и саду, качая для равновесия своей, благодаря повязке увеличившейся, незнакомой, потяжелевшей головой. Он медленно передвигался, кивая, улыбаясь, замедленно отвечая на обычные слова. Ткань, воздух жизни кругом него сгустились; попав в более плотную среду, движения и мысли его поневоле стали увесистее и размереннее. Однажды, уже перед отъездом, пополудни, выглянуло вдруг по-весеннему январское солнце. Он смотрел с крылечка одним глазом на мир. Из соседнего кожного отделения высыпали женщины. Старые, юные, в цветных халатах, изумленно-радостно оглядывались, нюхали воздух, смущенно тянулись к закатным лучам. Благодаря освещению они все помолодели, преобразились, стали близкими, загадочно-драгоценными, значительными. «Какой это должен быть ужас: молодой, с проваленным носом, смотреть на это говорящее о весне и любви солнце, — подумал Валерьян. — Однако какая серьезность именно в этом. Что в них играет? Какие лучи исходят? Какая тайна в них? И во мне, одноглазом? В каждом разлита тайна, и он уносит ее. Вот, вот...» — пробовал он. Но мысль о лучах исходящих заставила его дрогнуть, оттаять, сердце ответило напряженным и теплым ударом, по которому он догадался, что старое не совсем кончено, что впереди еще жизнь, осложнения и, кто знает, возвращение. «Я не хочу», — затормозил он что-то, завинтил. «Я больше не хочу», — усилием останавливая, поворачивая. Но он дал как бы трещинку, появилось опасение за будущее, беспокойство за дальнейшее, и не было уже прежней законченной твердости.

Вот в снежный вечер Валерьян на вокзале. Глухие выкрики, свистки, песьи глаза провожающих, флаги платков — вокзальное радение. Утром проезжали Берлин.

Валерьяна встретил отец и дал пощечину. Колеса, колеса. В полях лежал еще снег, и по свежему снегу — следы. Ночью промелькнул Кельн. Чемодан и паспорт. На зимнем небе сахарно-костяной Sacré-Coeur. Париж встретил Валерьяна как чужое тело, извергнутое, безразличное. Незаметно Валерьян ступил на край воронкообразного вихря. В коридоре метро — он не спешил никуда — ему послышался поезд, и, чтобы не ждать у бездушных дверей, он бегом, с чемоданом, помчался на перрон. Его мяли, тискали, вагоны бросало вместе с набитыми телами («на килограмм живого мяса»); скопом пересаживались, неслись к выходу. Чувствуя, как что-то крошится в нем, растет нетерпение и раздражение, Валерьян еще успел подумать: «Надо в поле, в деревню, на ферму, на землю. Здесь не выдержишь». Но фермы и прочего у Валерьяна не было. Для него нашлась работа: продавать кофе фунтиками, ходить по частным домам предместья (мегеры и собаки). Вот наконец вечером Семкин и Гурин (оба Николаи Николаичи) пришли его проведать. Они его повсюду искали, писали в Берлин, в Варшаву, еле нашли — чего прятаться, трусить? Они предлагали подать в суд на бывшего компаньона Валерьяна Ферчака. «То, что у вас вышло несчастье с Розеном, — мягко объяснил Семкин, — не доказывает, что и вас должны обобрать, так-то». Валерьян возразил, что если он получит деньги, то их придется отдать Розену. Пускай Розен, если желает, судится, он даст доверенность. «Чудак, — нежно шептал Семкин. — Они получили представительство на всю Центральную Европу. Ни одна пленка не попадает на Балканы без их участия. Вам надо остаться в деле, которое создали». Валерьян упорствовал. Семкин предложил пойти обедать. «Ничего, ничего, мы приглашаем, я ведь знаю!» — с бесцеремонной нежностью хамоватых, эгоистичных, сентиментальных людей хлебосольно настаивал Семкин, толкая Валерьяна к дверям. По дороге, завернув

к фон К., они всей оживленной компанией направились в неплохой ресторан à la carte. После тяжелой жратвы (moules*, мясо) с несколькими литрами красного ординера они перешли в café-tabac, что на площади. Там, во втором этаже, где игры, заказали кофе с бенедиктином. Валерьян закурил сигару; брызнула музыка, волнующе, как запах духов; проходили, благодаря зеркалам в два раза чаще и картиннее, будоражащие женщины. Бархат, шорох, лоск; как светло одноглазому. И это чудесное ощущение сытного дарового обеда, вина, музыки, зрелости, разгоряченной толпы и сигары охватило Валерьяна, понесло. Ему начало казаться — как приятно! — что это продлится бесконечно: всегда будет раздражающе играть оркестр, он будет после обильного возлияния с друзьями курить толстую сигару. «Пропади оно пропадом!» — смиренно, безнадежно-радостно решил он, отдаваясь окончательно, что-то ломая, поворачиваясь, перемещаясь. Валерьян решил выписать дядю Семена, такой человек здесь не пропадет. Семкин знал ходатая, который раздобывает визы. 1200 франков. На франчей восемьсот дядю бы стало. Валерьяна расспрашивали о варшавских приключениях, поощряя его шутовской тон, соболезнуя («побледнел, да, изменился, изменился, бедняга, ну ничего, мы это устроим»), клянясь в дружбе, в любви. Передавали о Ферчаке: в первый день бегства Валерьяна тот не открыл конторы, весь в слезах забился под диван, там его нашел Розен. У Розена, говорят, свернулась кровь, заражение: последнее потерял. «Они мне снятся по ночам», — проговорился Валерьян. Когда Ферчак догадался, что из этого можно извлечь выгоду, он преобразился, разогнал всех, грозился убить, читал по телефону знакомым и незнакомым открытку Валерьяна (кельнскую), приговаривая: «Что можно ждать от человека, который сам

* Moules — мидии (*фр.*).

себя назвал подлецом?..» Уславливались о плане кампании против Ферчака. Фон К. заверял, что он никогда не сердился на Валерьяна за взятые у него пятьсот франков. Он знал, что тот рано или поздно отдаст. Но в какое положение Валерьян его поставил! Вдруг, неожиданно. А что, если бы при нем была большая сумма? («О-о-о».) По поводу искусственного глаза Гурин рассказал анекдот. К богатому жестокосердому еврею приходит бедняк за пятью рублями: крайняя нужда. Богатый решил: «Если ты отгадаешь, какой у меня глаз искусственный, я дам три рубля». Бедняк не задумываясь показал: «Вот этот, левый». Богатый поразился. А тот объяснил: «Когда я говорил о своем, то в правом глазе — ничего; а в левом я заметил какой-то огонек милосердия и сочувствия». Валерьян в свою очередь повторил анекдот Бориса (о кооперативных брюках), спел советскую песенку, одобрил пятилетку. Цедили уже пиво из огромных гейдельбергских кружек. Вот Валерьян вдруг извлек свой искусственный глаз и, показав приятелям, зачем-то опустил его в пиво. Всем это кажется понятным — жмут руку, чокаются, отпивают. В другом конце пустующего зала люди с сугубо штатской внешностью упорно играли в военно-полевую игру. Доносилось воинственное: бью вас на f2; форсирую а4, выставляю заслон на с6. Была минута в этот вечер, когда Валерьян мог спастись. Он как-то очутился у окна. Там внизу, в котловине, лежал город, и Citroën уже потухшей звездой посылал свои лучи. На углу одиноко горел газовый рожок, его смиренное, живое пламя знакомо трепыхалось. «Ах, да, — вспомнил. — Вот так светил огонек у койки того». Что-то перевернулось в душе Валерьяна, оторвалось, тень ночного его знания, бдения, покоя углом, краем снова задела его. «Вот, вот! Что я делаю? — содрогнулся вдруг. — Назад, бегом, вернуться. Скорее! Куда? — спросил второй. — Если б в поле, на землю, на солнце, там яблони. Тут фунтики

кофе. Надо быть святым. Да, да, что это я забыл что-то важное? Я что-то, кажется, знал. Но что я знал, я не знаю. И никогда не мог постичь. Я уклонялся от последнего какого-то усилия, я чувствовал, что предстоят еще осложнения, и боялся. Все откладывал, а теперь пропало. Ах, — страдальчески морщился Валерьян. — Вот я потерял глаз, и мне что-то открылось, простору стало больше. Если я потеряю зубы, тридцать два зуба, откроется еще? Ах, да, ведь я умру! — радостно вспомнил Валерьян. — Как это хорошо, что есть смерть, мучительная агония. Может быть, за последний хвостик последней предсмертной, средьсмертной мысли нам все простится и откроется (страшный должен быть это хвостик). Да, да, — возбужденно успокаивал себя Валерьян. — Какое счастье, ведь я умру». И вот Гурин уже норовит кием сбить лампочку; фон К., смеясь, его уговаривает: образумьтесь, вас вышлют, выпьем... а Семкин проникновенно вопит: мерзавцы, погубили Россию... «Нет, — опять встрепенулся Валерьян. — Я не дамся. Это, может быть, последний раз. Я не хочу. Я не дамся!» — и попробовал сдвинуться с места. Ноги его — гири, налитые свинцом: их нельзя было поднять с пола, выпростать, неживые, прилипшие, вросшие, застрявшие. «Нет, врешь, врешь!» — напрягаясь, старался он оторваться. Тужась изо всех сил, пучась, с багровой, тяжелой, шатающейся головой, ему на минуту почему-то вспомнился вдруг матч вольно-американской борьбы (catch-catch), на котором он однажды присутствовал. Там задыхающиеся атлеты выкручивали друг другу ступни, казалось, отрывали руки, крошили кости, ломали позвонки: все позволено для победы, в этой борьбе нет запрещенных приемов — хватай как только можешь. «Вот, вот. Наконец. Врешь. Не дамся», — неистово шептал Валерьян, изнемогая, не в силах все двинуться с места. Он осторожно опустился на корточки, пальцами оторвал одну ногу от пола, передвинул ее

немного, выпрямился и нечеловеческим, обреченным, предсмертным усилием (за которое ему многое простится) переставил вторую. Глотая ртом воздух, рывком, как тяжеловес поднимает штангу, встряхнулся, шагнул. Еще раз. Как освобожденный, как разбуженный (каждый последующий шаг становится легче, благодатнее). И он бы, может быть, так и ушел, но Семкин загородил дорогу. «Куда?» — изумился, возмутился. И с эгоистической заботливостью человека, принимающего все «на миру», он воспротивился: «Ни-ни. И думать не полагается. Я знаю, я все понимаю. Мы тебя еще поприветствуем сейчас. Я велел подать колоду. Карты. Сыграем маленько. Да все сыграют». — «Мне в уборную», — объяснил Валерьян. «А, это другое дело, это можно. Только она здесь, сюда, вниз», — наступая на него, оттирая, сказал Семкин. И Валерьян, неловко цепляясь ногами, спеша, затопал по кривой лестнице. Лихорадочно, торопливо плюясь, оправляясь, он дрожал частой, злой, подталкивающей дрожью. «Чего ж, сыграю немного». В уборной пахло чем-то острым. Этот запах напоминал лазарет. «Что же мне делать? — вскричал он с отчаянием, чувствуя на лице непривычную щекотку слез. На полке лежал чудовищный Bottin[5] с адресами и телефонами всего Парижа. — Куда мне позвонить? К кому направиться за помощью? В теннисный клуб, в библиотеку Армии Спасения?» Там было слуховое окно, заваленное какими-то тряпками и жестянками. Он сунул туда голову и, уловив сверху прохладный сырой воздух, безмолвно завопил: «Сюда! Ко мне, братцы! Здесь недоносок, подкидыш, помогите. Дайте ему пеленок, груди, молока. Он окрепнет, он вырастет на радость всем». Мокрое от слез лицо билось, тыкалось — что ему, видно, нравилось — в грязь, в пыль, хотелось чихать, протяжно всхлипывать. Пятнистые стены передавали ответно только гудение верхнего этажа. Кто-то занял соседнее отделение. Материнская грудь связалась

с Еленой; проплыли четыре короля. «Нет, я не дамся! Навсегда. Я не дамся!» — неожиданно вдруг — финишем — рванулся Валерьян, полузадушенный, выбираясь как бы из мертвой хватки, выкручивая, вывинчивая себя, выползая из-под навалившегося противника, в полутьме, шатаясь, последним усилием, отражая его удары, тряся, кусая, давя. Он застегивается, утирается, стиснув зубы, взбирается по отвесной нескладной лестнице. Навстречу ему голоса и хохот, разнокалиберная речь, лампы, папиросные туманы: комната как кишка, как пирог, набитая всякими звуками, запахами и страстями. Его голова появляется первая, колени еще внизу. «А, Валерьян! — кричат. — Иди скорее, тебя ждут!» Он медленно, держась за перила, отдуваясь, всходит. И вдруг, на глазах изумленных друзей, ноги его делают судорожный, героический скачок в сторону, к выходу. Он останавливается, замирает, держась за стену, весь наклоненный, в смертельной, трепетной, исступленно-отчаянной борьбе за равновесие. Вот-вот он упадет (или душа порвется). Как паралитик, гальванизированный труп, эфироман, как лунатик по карнизу, он цепким усилием, осторожно отрывается, отделяется от стены, переставляет подкашивающиеся ноги (туда, к дверям), протягивая вперед хватающие воздух руки, ища опоры, поддержки, чуда.

Тут мы расстаемся с Валерьяном Б. (он нуждается не в нашей помощи).

ДВОЙНОЙ НЕЛЬСОН

Второй час июньской ночи медленно истекал. Кафе, где собирались шахматисты, уже после полуночи начало пустеть; к этому времени и самые завзятые игроки разошлись. Оно было пусто, это огромное помещение, уставленное малыми

столиками, на которых лежали шахматные доски, несущие по несколько белых и черных фигур в эндшпиле, где короли возвышались в среде последних пешек, как библейские патриархи, и положение одного из них было всегда удручающим, подобно князю мира сего, а разбросанные кругом уже отыгравшие фигуры уподоблялись грешникам на Страшном суде или гражданам города, обреченного на гибель. Только в одном конце залы, у стены, сдвинув столики, шепталось еще несколько завсегдатаев. Один говорил:

— Я хочу топтать его ногами. Показать всему миру свое бесспорное превосходство, встретить ускользающий, сдающийся взгляд Чемпиона, чтобы он признался вдруг: «Я проиграл, конечно. Это жутко. Все, что я знал до сих пор, лишь молоко для беззубых по сравнению с вашим классом. Мне боязно вас ненавидеть». И Быков, этот пошлый боров, напишет в газете: «Пятьдесят лет я комментирую партии. Пятьдесят лет я все понимал и все объяснял, порицал и одобрял, низвергал и руководил. Теперь все понятно: господа, плюньте мне в харю, я дурак». Я дебютирую королевской пешкой. Чемпион усмехнется и ответит конем. Быков протелефонирует: «Все, как мы предвидели». А тем не менее я задушу его. Чемпион отдаст качество, пешку. Я похороню его на семнадцатом ходу!

Эта страстная филиппика, подкрепленная соответствующей жестикуляцией, была произнесена юношей с глинисто-зеленым лицом, с большими, пустыми, жестокими глазами наркомана, одержимого. На нем был куцый пиджак поверх темной рубахи; изо рта торчала обгорелая трубка.

— Нет! — перебил он себя. — Я бы дал ему перевес, подарил бы фигуру, и когда друзья качали бы уже соболезнующе головой, я молниеносным заездом разнес бы противника: в два хода я изменил бы судьбу партии, как появление солнца меняет пейзаж. Чемпион зевает ладью, я предлагаю взять ход назад: «Не сомневайтесь, пожалуйста», — успокаиваю его. Чемпион думает как лошадь,

безнадежно косится на часы: цейтнот! Я беру часы и швыряю в корзину для сора: «Играйте, — говорю, — и забудьте о пустяках». Я его, вероятно, полюблю в несчастии. Это очень опасно: полюбив — пожалеешь. Топтать его своими башмаками, старыми, худыми, топтать Чемпиона.

— Чтобы играть с ним, Тургай, — возразил один из собеседников, — ты должен взять предварительно несколько первых призов, не испугав его своею формой. Ты должен раздобыть миллионный залог. И лишь тогда можно думать о встрече...

— Я не могу! Я не хочу...

— Добрый вечер, или, вернее, доброе утро, господа! — прервал Тургая мягкий, гортанный, приветливый голос, и вперед выступил из соседнего темного угла господин в старомодном котелке, дородный и необычайно подвижный. Смуглый, седеющий в висках, с холеной бородкой, он легкими, мягкими шагами балетмейстера подошел к беседующим и протянул Тургаю руку.

Внезапное появление незнакомого человека в разгар дружеской, полной едких признаний беседы ввергло всех в недоумение. «Как, что, мы не одни?» — посыпались удрученные возгласы.

— Да кто вы такой? — резко спросил Тургай. Было, однако, в лице, в осанке незнакомца что-то такое благородное, влекущее и в то же время повелительное, что Тургай, не дожидаясь ответа, пожал протянутую ему руку. Незнакомец удовлетворенно кивнул головою и объяснил:

— В Гамбурге меня звали Штольц, в Константинополе — Качь, в Одессе — Байт. Я торговал зерном, пенькой, дичью, многим другим. Позволите? — и, плавным движением пододвинув стул, он сел.

— Однако... — пробормотал было один и осекся. Воцарилось тягостное молчание, и никто не знал, как его прервать. Наконец кто-то решился, неловко, старательно напирая на последнее слово:

— Что ж, господа, пора и честь знать, пошли восвояси!

— Вот и хорошо, — заметил Штольц. — А мы с Тургаем посидим еще.

— Тургай, что ты, в самом деле, неужели останешься? — почему-то всполошились все. Но Тургай не отвечал. С улыбкой, чреватой многими противоположными последствиями, он в упор глядел, расстреливал взглядом Штольца.

— Ведь закрывают кафе, — уже по-иному, хило, робко ввернул кто-то. Не отрывая глаз от Тургая, Штольц возразил:

— Тогда мы перейдем в другое место.

Друзья все вместе начали приподыматься и застыли на минуту в неловкой позе: полустоя-полусидя. Наступила полная, осязаемая, жесткая тишина, какая бывает, когда опускают гроб в могилу, во время которой Тургай и Штольц разили друг друга взглядом. Присутствующие чувствовали себя невыносимо связанными, сбитыми с толку, угнетенными; хотелось прежде всего уйти, скорее вырваться на волю.

Тургай первый не выдержал, отвел глаза и, растерянно улыбнувшись, произнес не соответствующим его банальным словам тоном: «Идите, господа, идите, я еще посижу».

Приятели облегченно зашумели; неловко теснясь и кланяясь, они исчезали в дверях. «Не надо бы, не надо бы оставлять», — усомнился вслух один, когда они уже глотнули свежий воздух, но никто не поддержал, и сам он чувствовал, что невозможно вернуться в эту гнетущую духоту зала.

— Вы подслушивали? — спросил Тургай. Штольц молча разглядывал, взвешивал Тургая; вдруг он поднялся, полы его плаща взметнулись, и, сразу став подвижным, ускользающим и множественным, сказал:

— Я вам дам возможность осуществить желание! — И после напряженной паузы: — Я вам дам шахматное могущество! (Он произнес «мохущество».)

— Кто вы такой? — шепотом спросил Тургай. — Вы черт?

— Что вы, что вы.

— Вы служите ему?

— К чему расставлять точки над і, это дурной вкус.

— Вы помогаете ему? — настаивал Тургай.

— Ему нетрудно помогать, — кротко объяснял Штольц.

— Неужели вы всесильны? — Было в голосе восторженно ужаснувшегося Тургая что-то такое, от чего Штольц посветлел весь и радостно закивал:

— Ну конечно, я ведь знал, мы с вами подружимся.

— Взамен вы требуете мою душу?

— Нет, я не это имею в виду, — сразу разгладив улыбку, деловито-сухо пояснил Штольц. — Речь идет о вашем теле.

— Как? — по-детски удивился Тургай.

— Я вам помогаю. Если эта помощь вас тяготит и вы освобождаетесь от нее, в чем вы вольны, вы умираете. А я зарабатываю разницу.

— То есть?

— Я доживу ваш век.

— Разницу, разницу, — с отвращением повторил Тургай и задумался.

— Риск обоюден! — заспешил, замелькал Штольц. — Я трачу свое богатство, власть, а вам вдруг жить-то вообще осталось не более месяца. Никто ведь этого не знает доподлинно. Риск! Или вы сумеете, если хватит воли, ограничить себя по-настоящему, и моя помощь вам не опостылеет...

— Да? — заинтересовался Тургай. — И тогда...

— Тогда, голубчик, я внакладе! — обрадовался Штольц. — Пользуйся могуществом и живи до конца: никакой «разницы» для меня не останется. Хотя считаю долгом предварить: за всю мою практику только один дотянул до положенного ему предела.

— Кто такой? — спросил Тургай.

— О, это было много веков тому назад, — поморщился Штольц. — Не стоит об этом сейчас. Я вам потом расскажу.

— Неужели это правда, вы столько живете?

— О, я вам расскажу. Это очень забавно. Мы будем друзьями.

— А если я вас как-нибудь подведу? В церковь спрячусь или тому подобное?

Штольц залился тихим, добродушным смехом:

— Поверите, все это спрашивают. Честно отвечаю: либо вы не верите вообще в мои силы, либо догадайтесь уж, что у меня найдутся способы воздействия. Как джентльмен говорю: на это рассчитывать не приходится.

Тургай, тяжело уронив голову, задумался, и злая, прекрасная улыбка не сходила с его юного изможденного лица. Штольц смотрел на него с жалостью.

— Странно, — произнес наконец Тургай. — Я всегда думал, что там у вас ценится превыше всего душа, душа наша, за это полюбил даже вас. А оказывается: опять паскудное тело с толстой кишкой.

— Нам душа нужна, — неохотно объяснил Штольц. — Но ведь человек, вы знаете, душа его сама, к чему на нее тратить мохущество? Да что мы так сидим, — шутливо ужаснулся он. — Пройдемте, пожалуйста, тут я знаю один погребок, где за белым бордо мы сможем продолжить этот разговор.

Весть о том, что Тургай, юный мастер второстепенного клуба, послал вызов Чемпиону, ошеломила всех любителей; она была встречена безудержным, разнокалиберным хохотом профессионалов. Одни говорили, что Тургай больной, психопат, другие — нахал и невежда, третьи только добродетельно пожимали плечами; знакомые от него отвернулись (некоторые обещали набить морду). В кофейнях, в клубах, на шахматной бирже все смешалось,

перевернулось вверх дном; люди спорили до одури, с полудня до полуночи стоял дым коромыслом и стон. Рекордсмены и аутсайдеры одинаково чувствовали себя обиженными. Бас, чемпион одного из берегов, сознался, что хотя он впереди Тургая, но ему даже во сне не снится такой вызов; Клеп, чемпион другого берега, проговорился, что это ему иногда грезится, но тотчас же взял назад свои слова. Один из официальных друзей Тургая возразил: «Имей вы его интуицию, вы бы рассуждали по-иному». На что Бас возразил, что неоднократно обыгрывал Тургая.

— Блицпартии.

— Кто выигрывал блиц, выиграет и...

— Вы постигли в совершенстве только кофейную технику блицпартий.

— Какая это кофейная техника?

— Считать над ухом и стучать сапогом, загодя угрожающе повышать голос, одним словом, действовать как гидравлический пресс.

Тогда Бас поклялся, что он хотя бы никогда не заявлял «двадцати», когда король у партнеров. «Клевета!» — и все полезли драться.

Быков, первый журналист среди шахматистов и шахматный король среди литераторов, писал в «Новой заре»: «Этот нахальный поступок рисует юношу как нового Герострата или, того лучше, как шахматного Горгулова1. Чемпион не должен трудиться отвечать, мы все поймем его молчание и молниеносно склоним головы. В самом деле (и т.д.)». А назавтра пришла телеграмма: Чемпион принял предложение. Обыватели открыли рот еще шире (это их занятие), молодые мастера совсем ошалели и обнаглели, гроссмейстеры пожелтели и сморщились.

Одни называли миллион франков. Вторые — миллион долларов. Третьи — миллион фунтов. Быков написал руководящую, в два подвала, статью, в которой высказывал

предположение, что Чемпион, видимо, хочет ободрить молодежь, подготовить смену. «Говорят о миллионах, — неистовствовал он бескорыстно. — Называют Ротшильдов, Морганов, Детердинга, но разве это мыслимо, когда никто из маститых конкурентов не может добыть нужных для такого матча средств? Или это новый вид меценатства? Любезный подарок Чемпиону?» Быков тут же привел партию Тургая, игранную на межклубном состязании. Быков нашел там наконец ход, достойный восклицательного знака.

Маститые угрюмым шепотом передавали друг другу свои соображения. По их мнению, Чемпиону и кроме денег есть прямая выгода играть: это даст ему возможность уклониться от встречи в этом году с подлинным, всем известным конкурентом.

А день турнира приближался. И обратно пропорционально оставшемуся времени росли исступление, растерянность и зависть. Как в пору наводнения вода несет с собою остовы, щепы и сор, так разлившиеся страсти подмыли, вынесли наверх отбросы человеческой души. И это именно придавало положению особенную остроту, бесшабашность и веселье.

Задолго уже до начала толпы людей овладели подступами к зданию Федерации. Счастливцы, ставшие в очередь до зари и успевшие раздобыть билеты, перекликались из окон с оставшимися снаружи. Неудачники, не попавшие вовнутрь, располагались поудобнее у громкоговорителей, на террасах кафе, у досок с электрическими световыми фигурами. Табуны энтузиастов, мелких профессионалов, их любовниц и приятелей и еще стаи каких-то ненормальных людей (которые обычно присутствуют: будь то парад или вернисаж) запрудили кулуары, галерею, амфитеатр, ложи исполинской многоэтажной залы, предоставленной для состязания.

Тургай приехал на автобусе; соскочив на ходу, он осторожно проложил себе дорогу к Федерации; терпеливо расталкивал зевак, обходил стариков, женщин и детей, отступал и снова греб, пробираясь к крыльцу. Его почти никто из официальных лиц не знал, и только после целого ряда объяснений ему удалось проникнуть внутрь.

Амфитеатр требовательно гудел, как биржа, как обворованный улей. И вот там, далеко внизу, на огромной площадке, появилась одинокая фигура Тургая. В парусиновых туфлях, сутулясь, он мучительно медленно брел по вылощенному, великолепному паркету, поздоровался за руку со старшиной и присел за массивный золоченый столик с шахматной доской. Он вошел той будничной, терпеливой походкой, с какой чиновники направляются к привычному, знакомому месту службы. И жюри, и почетные гости, и журналисты с Быковым во главе подумали, что не без претензий этот курчавый мальчик, играющий на первенство мира. Он был в том же сереньком костюме с темно-коричневым свитером вместо жилета, и неизменный дым табака (grill) клубился вокруг его славянской головы. К нему подошли те, кто был обязан это сделать; остальные только вежливо кивнули в ответ на его старательный поклон, не отрывая глаз от двери, в которой с минуты на минуту должен был показаться Чемпион. Только один корреспондент второстепенной балканской газеты, который не мог рассчитывать на внимание Чемпиона, подбежал к Тургаю и засыпал его вопросами; несколько сотрудников других изданий неохотно (боясь пропустить Чемпиона) тоже приблизились.

— Что вы предпримете, если выиграете матч? — спросил балканец.

— Поеду, может быть, в Китай.

— А если проиграете?

— Я, право, не подумал.

— Вы внесли миллион залога?

— Денежный вопрос меня не касается, — объяснил Тургай и отвернулся. Ему задавали еще вопросы, но он не отвечал, видимо, не слушал. Он сидел, возле него кругом стояли корреспонденты, несколько подошедших гостей, распорядителей, и все молчали. Задние насмешливо улыбались, передним было совестно. Старичок, почетный председатель, суетился, улыбался, пробовал шутить; он чего-то вдруг испугался, появилось тягостное предчувствие, неоформленно тоскливо заныло сердце. Как светский человек, он сразу понял: тут что-то не то. Но как это исправить — не знал.

Приглушенный стенами, донесся громовой рев, многогортанный, стихийный раскат тысяч: то снаружи чернь приветствовала Чемпиона. Старосты поспешили к выходу; все приосанились, выпрямились, застыли, сохраняя оттенок непринужденности. Гром рос и перекатывался, он поднялся тут близко над головой: то раек присоединил свой голос. Чемпион вошел, как на экране. Старосты в сюртуках его окружали, почетный президиум спешил навстречу. Тургай поднялся, стоял, пока тот подходил.

Чемпион весело извинился: его часы отстают на пять минут. Тургай ответил: «Понимаю, это ничего». Чемпион усмехнулся и обратился с посторонним вопросом к старосте. Тот радостно откликнулся. Кругом засмеялись. Так как все стояли уже спиной к Тургаю, он снова сел.

Потом приступили к жеребьевке и к прочим формальностям. Чемпиону достались белые, которыми он без труда выиграл. В «Новой заре» Быков напечатал подробный отчет; привел речи старост, повторил все сказанное Чемпионом. Самой партии уделил две строки. Не отвлекаясь, видимо смущенный, он сообщал, что так как впереди еще семнадцать приблизительно одинаковых партий

(выигрыш — восемнадцать пунктов), то удобнее будет о них сообщать купно, раз в неделю.

А назавтра играли защиту Каро-Кан, кончившуюся ничьей на 53-м ходе. Быков изменил своему слову и дал краткую заметку: по его мнению, Чемпион переборщил, взяв чересчур быстрый темп. Следующий день был воскресный. В понедельник Тургай — белые — сыграл отказанный ферзевый гамбит и выиграл в элегантном стиле на 17-м ходе.

Затем началось что-то несуразное. День за днем газеты возвещали о новой победе Тургая. Чемпион злоупотреблял своим временем, после 10-го хода уже попадая в цейтнот. Тургай безразлично хрустел трубкой, медленно по глоткам запивал дым молоком, которое ему подавали холодным, и рассеянно, когда наступал его черед, делал ход. Гроссмейстерам, профессионалам, любителям — всем, отравленным шахматами, — он внушал в одинаковой мере зависть и страх. И хотя его не любили, но уже все подражали — в манерах и в одежде. И от злополучных трубок (tabac-grill), которыми вдруг все начали дымить, наверху нечем было дышать. Однажды, когда Чемпион, играя белыми, задумался до 1-го хода, Тургай достал из кармана книжку и углубился в нее. Председатель, считая это в данных условиях невежливым, направился было решительно к Тургаю, но, подойдя близко, замялся и ничего не сказал. Чемпион только взглянул, соболезнующе самому себе покачал головою и снова опустил потухшие глаза. Так они играли: Чемпион напряженно и бесплодно тужился (он, видимо, делал циклопические усилия сосредоточиться), Тургай читал, курил, попивал молоко и время от времени, когда полагалось, делал свой ход. А кругом творилось что-то нелепое. Люди слонялись, как отравленные, зачумленные, одурелые; потеряли волю, сноровку и память. Однажды Тургай на 7-м ходе заявил, что проиграл и сдается. Так как Чемпион, к стыду своему, не видел выигрыша, то Тургай показал

правильное продолжение: острой игрой он к 15-му ходу вынужден был отдать фигуру. Все были удручены богатством фантазии, глубиной замысла; Чемпион чувствовал себя пристыженным и ошельмованным такой победой. Назавтра Быков хотел, не скупясь на похвалы, привести эту партию в газете и не мог вспомнить: положение банально для 7-го хода, ничто, ну ничто не наводило на вариант Тургая. Быков обратился за помощью к Чемпиону. Но тот разбитым вконец голосом — в довершение беды Чемпион начал выпивать и от него нестерпимо разило спиртом — сознался, что он ничего не понимает и во всем сомневается: он дома пробовал разобраться в этой партии и не сумел ни вспомнить, ни найти указанного продолжения. Так и оставили: Тургая беспокоить казалось зазорным и, главное, боязно было чего-то. Он был неприступен. Тургай — суров, отталкивающ; лицо его еще больше потемнело, посерело (от молока оно раздалось, разбухло). Его глаза — черные вздувшиеся зрачки безотельного, ночующего где придется — потускнели; вместо былого вдохновленного жара и жертвенного блеска скука и страх проглядывали в них. Он научился озираться, полуоборачиваться, словно кого-то выглядывал на хорах, и часто плевал — сухим плевком — кругом себя. Он почти не глядел на доску, безразлично делал свой ход. Раз или два в течение партии задумывался, лицо его то светлело, то темнело от внутреннего напряжения, потом он точно от чего-то отмежевывался, замыкался, собирался в комок и флегматично кончал игру, громко с привизгом зевая. Друзья находили, что он здорово изменился, сдал, вылинял. Все объясняли это безмерным напряжением турнира. Он ослабел, и его усиленно подкармливали, развлекали, всячески заботились о мелких удобствах. Тургай же злобно отмахивался от этих бытовых услуг, а одной девушке (какие бывают девушки!) заявил: «Ты на меня не рассчитывай, я все равно долго не собираюсь жить». И эти

в сущности банальные слова в его устах (губы пепельные), с его злой усмешкой и зевком, на ступенях шахматного трона ввергли его последних полудрузей в предельное уныние. Можно сказать так: близкие его, по мере того как множились удачи, впадали во все большее отчаяние.

Общая подавленность увеличивалась еще благодаря необычайной, сухой жаре, плавившей в это лето город. От духоты или по другой причине среди публики участились обмороки. Как-то во время игры один из зрителей, не выдержав, должно быть, напряжения, вдруг завопил дурным голосом: «Нас морочат, мерзавцы сговорились!» — разулся и в пароксизме ярости, с пеной у рта, начал швырять вниз свои туфли. В довершение бед старичок-председатель, европеец, так и не смог отделаться от своего беспокойного чувства — «тут что-то не так»; некстати он расхворался и, не дождавшись конца матча, преставился.

Шел 19-й тур (Тургай — 16 1/2 пунктов). Играли гамбит ферзевых пешек Яновского. Тургай сидел почти спиною к партнеру и лениво читал Якова Бема[2]. Вдруг он поднял глаза и внимательно посмотрел; с минуту он удивленно впитывал в себя окружающее, внезапно разбуженный, прозревший. Чемпион, сгорбившись, исступленно грыз ногти, упершись почти лбом в доску. Было в его позе, в обороте шеи, плеча нечто такое, отчего Тургай весь так и затрясся: в самую душу хлестнуло. Жалость — до боли, до слез, до радостных рукопожатий — толкнула, полоснула Тургая. Он приподнялся, поднесенный волной саднящей любви к этому противнику, брату, так полно, так безжалостно оставленному, захлебывающемуся, гибнущему. «Как тяжко, как несправедливо проигрывать! — вспомнилось ему. — Какая муть в глазах, а в душе?» И весь жалостно порываясь, он встал, стряхивая наваждение, оглянулся, впервые, может, за все время осознав, переработав и любопытных кругом, и полуденное солнце, протянувшее рыжие руки к паркету,

и пустое лицо Чемпиона, и доску, на которой в знакомом, упоительном жару носились ледяные, недвижные фигуры. Он наконец заметил эту смертельную бойню.

Позиция казалась мертвенной, как лунный кратер. Вдруг он уловил: на правом фланге еще скрыты творческие возможности. Их надо скорее осуществить: так краски разлиты при закате, их надо собрать и запечатлеть. Какие-то тени сомнения, колебания опять проплыли по лицу Тургая — посерел, сжался было, — но через минуту он, дружески, братски улыбнувшись противнику, беззаветно рванулся и двинул коня.

То ли ветер подул с поля, живительный, пробуждающий: зашелестели листья дубравы? Все дрогнуло, облегченно вздохнуло, посветлело, вышло из чугунного сна, угрюмого бдения. Распорядители засуетились, журналисты протиснулись вперед, о чем-то шепчась; наверху повскакали с мест, свешиваясь, стараясь до электрического сигнала разобрать ход, комментируя, недоумевая и споря. Чемпион, казалось, внезапно помолодел. Стальной, весь собранный, упругий, он, сидя, обдумывал ответ, и желваки ходили под его бритыми скулами, словно он разжевывал что-то очень твердое. Разгромленный, он теперь походил на плененного царственного зверя, безнадежно больного, но вырвавшегося наконец на волю и потому ликующего даже в агонии.

Тургай играл. Будто валторны пели в его ушах. Он переставлял фигуру, и все стихало, как во время сабельной рубки. Он играл, и очередной ход его был как выставленная рама весной; кони бежали: жеребята, выпущенные из зимнего загона; пешки налились кровью, на них маячили ферзевые короны. Все ожило, расцвело, засияло теплым светом, и в любом разрезе доски было столько возможностей правды и лжи, как в самом бытии: от жизни до смерти. Тургай, одержимый, прорывался. Он стоял, грозно вытянувшись, косой нависая над скорчившимся, изнемогающим

Чемпионом. Это длилось минут двадцать, может, больше, никто не считал — к стыду или к чести. И вот нежданно, на линии f, на белом предпоследнем поле расцвела вдруг пешка. Победа, казалось, вынырнула из чудесных недр с такой осязаемой, напористой мощью, что зачарованный амфитеатр весь, как одно многорукое существо, поднялся и, дружно хлопая, устроил овацию. Тургай вздрогнул, недоумевающе оглянулся, медленно приходя в себя; в одном месте хлопали громче, он вдруг обеспокоенно задрал голову, стараясь рассмотреть, кто там шумит: спереди, свешиваясь, прямо над ним, знакомый господин в черном старомодном котелке гулко аплодировал, держа свои большие руки на весу и улыбаясь Тургаю.

«О-а-а...» — что-то вдруг тоненько всхлипнуло в груди Тургая, и, растопырив локти, он слепо рванулся к улыбающемуся. Он зацепил кресло, перевернул его и, протяжно, глухо охнув, рухнул на пол. Присутствующие замерли, застыли, окоченели. Кто-то шевельнулся — первый; потом — другие. И вот уже исполинский зал — трибуны, раек и ложи — завопил, застонал, завизжал. Люди ломали друг другу пальцы, стучали сапогами, хрипло уверяли, клялись, доказывали, и у всех было чувство, что они именно такое предвидели, ждали, а теперь баста: пружина отпущена, опасность миновала. Словно подтверждая это, тщетно два месяца выжидаемые дождевые тучи, оказалось, плотно обложили небо, и, озорно мигнув татарскими глазницами, с оглушительным треском низринулась гроза.

Журналисты, судьи, гости — все, кто был в состоянии, бросились наконец к лежащему неподвижно, навзничь Тургаю. «Доктора, священника! — завопили, безалаберно мечась, галдя, спеша на кого-нибудь взвалить ответственность. — Доктора!». Но кто-то уже шел, уверенный, расталкивая толпящихся на пути. То бесцеремонный, как служитель культа, самоуверенный, как хирург, приближался

Штольц. Ему давали дорогу, испуганно шарахаясь, принимая не то за врача, не то за кого-то привычного и нужного в такие минуты. «Надеюсь, можно, хотя и не практикую», — озабоченно объяснил он старосте. Все облегченно перевели дух, расступились, отхлынули. Он склонился над Тургаем. Через минуту поднялся. Лицо его было скорбно и нежно. Беспомощно кивнув старосте, он скрылся в боковых дверях.

Был третий час ночи. Туристов, которых привлекают в этот кабак средневековые кандалы, щипцы для пыток и берцовые кости, уже давно след простыл. В подвальном этаже апаши и проститутки мирно делили чаевые. Хозяин с чудовищным, больным животом не бегал уже больше ежеминутно в уборную, а, трусливо озираясь, с лицом фальшивомонетчика пускал за стойкою оглушительные ветры.

Из комнаты, где изредка собирались поэты, еще доносились негромкие голоса. Сочинители, критики, гости — все уже разошлись (к последнему метро). Осталось только несколько закадычных друзей, полуночников. Они сидели на жесткой лавке за низким рыцарским столом против каменной доски на стене (где перечислялись все знаменитости, когда-либо посетившие этот притон) и слушали поэта Н. (впоследствии его имя украсило тоже эту доску). Н. говорил:

— Я бы хотел написать хоть одну страницу. Одну подлинную. Чищайшую. Недра и поднебесье — отсеянные. Есть немецкий сказ о мастере редчайших часов. Все выверено, совершенно: но они не шли! Как найти единственную, недостающую подвеску? Все не то! Тогда часовщик повесился на пружине. Околел. А часы пошли. И по сей день живут. Так и мы: чтобы оживить строку, надо повиснуть на ней душой и телом, задохнуться по частям, такова природа...

— Добрый вечер, господа, или, вернее, доброе утро! — раздался внезапно тихий мужественный голос. Из темного угла, что возле камина, выступил вдруг и двинулся к беседующим дородный господин в длинном пальто, похожем на сутану. С легкостью акробата, с торжественностью церемониймейстера он приблизился к Н. и почтительно протянул ему пухлую бледную руку.

ПУТИНА

Поезд шел, как надлежит идти эшелону, не спеша. Плелся черепашьим шагом, время от времени безнадежно завывая и останавливаясь, как будто отчаявшись уже вырваться когда-нибудь из этих окоченевших равнин, льдистых торов и сумрачных линий кругозора.

Зимний день умирал сурово и неприкаянно; медленно катилось время, но все же оно двигалось куда быстрее этих старых вагонов: уже сумерки ползли на рельсы, а паровозу все еще не удавалось уйти куда-нибудь подальше за эту бесцветную гладь полей, снежную, то сухо-черную, обнаженную, то серо-грязную, лохматую, в опухолях и в синяках проталин.

В теплушке было холодно; междупланетная, внежизненная стужа повисла над телами. Несколько солдат плотно припали друг к другу, стараясь согреться. На досках стены мелом были выведены полустертые аршинные буквы:

«Мир — хижинам, война — дворцам».

Под этой надписью маленький человек с седыми висками, в бараньем тулупе, хмуро ворочался на полу. Лицо его, возбужденное и красное, поминутно вздрагивало.

— Трясет тебя? — обеспокоенно спросил сосед.

— Хо-олодно. Хо-олодно! — выдохнул тот, ежась.

— Уж не сыпной ли ты? — приподнялся солдат.

— Нет, я не сыпной, не сыпной! — заспешил человек в тулупе, приосаниваясь.

— Тифных надо вон выбрасывать! — решительно заметила из угла баба, тыча огромный черный узел, похожий на гроб, себе в грудь (оттуда исходил клекотный визг ребенка).

Вагоны шли, как полагается идти эшелону, медленно и неуклюже. В смертном покое набальзамированными мумиями застыли кругом поля. С протяжным и угрюмым храпом ветер сметал с открытых мест сухой снег, громоздя его в оврагах и логах.

Ночью попутчики сплелись в один моток, тщетно ища защиты от сверлящей стужи. Они не храпели, а стонали, душась под дырявым тряпьем.

Человек в бараньем тулупе жарко разметался на полу. Он бормотал что-то, клялся, не то спросонок, не то в бреду; убеждал, усовещал; потом жалобно вскрикивал и ерзал всем своим маленьким, сухим телом.

Очнулся он оттого, что вдруг очутился в неудобной позе, какую принимают, когда стараются сохранить равновесие; эшелон стоял. С полотна доносился тревожащий шум гневных голосов.

Человек в тулупе тихо подполз к дверной бреши и глянул наружу.

Вагоны стояли, не доехав до станции; поодаль темнел многооконный встречный эшелон. По полотну бродили, светя электрическими фонарями, группы матросов, заглядывали в теплушки, обыскивали, опрашивали. Кучку взволнованно объясняющихся людей, снятых с передних вагонов, гнали вперед к локомотиву.

Человек в тулупе зорко всматривался в даль. Невдалеке чернели кирпичные остовы строений с огромной, скребящей небо фабричной трубой, немного левее громоздились

скалистые темные складки, какие бывают у преддверья шахт или каменоломен.

— Фарфорово! — беззвучно прошептал человек в тулупе.

— Я не офицер! — надтреснуто и умоляюще клялся голос из темноты.

Человек в тулупе устало оглянулся назад; но там были только глухие стены и полустертая надпись: «Мир — хижинам, война — дворцам»... На полу завозились попутчики. Он подобрал тулуп и прыгнул.

Полотно обрывом падало вниз, глубоким, черным: надо было вцепиться всем телом в склоны, чтобы не разбиться. И в то же мгновенье за спиной грянул зычный оклик:

— Стой! Стой! Стреляю!

Тогда человек в тулупе сделал простое усилие: он разжал цепко сведенные локти и колени. И тотчас же скатился вниз по откосу.

Троекратным эхом отозвался над головой выстрел трехлинейки.

Он упал и, тотчас же вскочив на ноги, побежал по кремнистым складкам, похожим на вход в каменоломню. Но побежал не напрямик, а делая малую петлю: огибая полянку, непосредственно ведущую туда. Двое матросов — два колосса в солдатских шинелях поверх кожаных курток — двинулись ему наперерез по этой полянке.

Но он, должно быть, хорошо знал эти места, малый человек в тулупе: матросы и десятка шагов не отбежали, как уже увязли по колено в топком снегу. Чем дальше, тем глубже; все мягче грунт. Несколько раз простучав маузерами, они торопливо выбрались назад из топкого места и повернули за беглецом. А тот уже достигал свою цель. На снегу его коренастая фигурка темнела прямоугольником, подобно ставшему на задние лапы мелкому зверю. Катясь

все быстрее, быстрее, то ныряя за бугры, то снова всплывая, он наконец юркнул под каменные своды.

Он шел как человек, хорошо знакомый с местностью; почти на ощупь отыскал проход в уходящий вниз пространный коридор или туннель, вырубленный в каменных породах. Бросив в сторону, у стены, свой тяжелый тулуп, он, пошатываясь, зашагал вперед, в темноту.

За спиной, близко, уже гремели обитые железом матросские сапоги. Они несли фонарь, и свет, зигзагообразно плывя, выхватывал конусом из ноздреватых стен патлатые мхи и сосульки, нагромождал неуклюжие, бегущие тени.

Время от времени беглец слышал за собой хриплый, прогнивший голос:

— Стой! Мы видим тебя! Стой.

Тогда он увиливал в сторону, прыгал, падал на землю в кромешной тьме, где ничто живое ничего разглядеть не могло. А каменные своды, озаряясь, вспыхивали, гулко отдавали — много и протяжно — громы плененных маузеровских залпов.

Вот путь разветвился на два рукава: узкий — вверх, широкий — вниз.

Человек пошел по тропе вверх. Все у́же, все у́же она. Цепляясь руками за хладный, как остовы разбившихся подводных кораблей, камень стены, он медленно продвигался вперед, ощупывая, проверяя каждую пядь пути.

Наконец он остановился на столь узком месте, где трудно было повернуть назад. Тропа кончилась, оборвалась: это тупик.

Внизу — полузамерзшее озеро: черным стелется срыв. Слева непроницаемая, жгущая холодом ноздреватая преграда; за спиною маузеры. Человек съежился, сплюснулся.

Издали, раскачиваясь, приближался, опускаясь, однако, все ниже, махровый фонарь с опасливо озирающимися матросами: они избрали широкий рукав, ведущий к озеру.

Человек наверху согнулся, нащупал рукой обломок твердой породы, выпрямился и, приподняв двумя руками камень, застыл в угрожающей позе. Его лицо пылало от жара, и в то же время он ощущал необоримый, сухой озноб, от которого все тело сотрясается. Было противно касаться плечами холодной стены. Это отвращение казалось до того острым, что в его мозгу мелькнула было искушающая мысль: а не кинуться ли с тропы вверх тормашками?.. Но его отпугнула возможность прикосновения горячечным лицом к ледяной воде.

Так он застыл в своей решительной позе с угрожающе поднятой над головой глыбой: безвольный, как стрела, упрямый, как молитва.

Матросы остановились, не доходя до места, где наверху притаился низкорослый человек. Должно быть, там начиналось озеро: фонарь описал несколько нерешительных дуг.

— Выходи! Мы видим тебя! — опять мужественно простонал хриплый голос. И в черной теснине, под нависшими скалами он был похож на хищный клекот птицы.

Выстрелы маузера чередовались, озорно рокотали, шепелявили, свинцовыми губами целуя гранит. И в наступившей тишине седой человек с воинственно поднятым камнем в руках снова внимательно слушал стук собственного сердца. Он даже не мог следить глазами за фонарем, так как тропинка была слишком поката, мала для необходимого полуоборота в плечах. Прошло с полминуты, раньше чем он ухитрился извернуться и взглянул. Фонарь плыл, спотыкаясь, ныряя, подпрыгивая, — удаляясь вдогонку за уродливыми тенями.

Седой человек осторожно опустил камень на тропинку и тотчас же заспешил, заюлил, как пущенный в ход робот, пятясь ползком обратно. Его движения были бесшумны и точны. Через ровные промежутки он останавливался, торопливо вздрагивал, сотрясался всем телом; и снова полз,

цепляясь за жесткие стены. Наконец выбрался из тупика на дорогу. Он шел все скорее, скорее, бесшумно крадясь, бежа, не спуская глаз с молочно-рыжего пламени впереди.

Так они шли минут пять или больше. Кругом давили горные тяжкие породы; седыми бровями мудрецов лежали снежно-серые известковые слои; а у выхода мхи-сталактиты висели бородатыми горбунами.

Светляк фонаря вильнул в сторону; мучительно заколебался; своды опять вспыхнули.

— Твою душу, — дружно повторили своды.

Стало тихо, потух фонарь. Едва слышно доносился металлический стук подкованных подошв о ступени и шелест чего-то осыпающегося.

Седой человек начал рыться у стены: он искал свой тулуп. Нашел что-то и, встряхнув, укутался. То была ветхая, дырявая шинель, оставленная, должно быть, матросом.

Человек в шинели дернулся вперед, на четвереньках прополз в одну из скважин.

Снег стелился бесцветно. Невдалеке стояли эшелоны; спереди кучка вооруженных людей оживленно делилась впечатлениями. Примиренно и добродушно доносилась площадная ругань.

Человек в шинели пополз к составу; пересек полотно и, добравшись к последней теплушке, поднялся на ноги, застыл у колес, словно за надобностью.

У паровоза зашумели громче, несколько человек бросилось оттуда бегом к составу; вагоны дернуло, подбросило. И человек в шинели, из последних сил прыгнув, уцепился, сунулся в мрак разбитой теплушки.

Эшелон плелся медленно, как полагается эшелону. Кругом — мертвые поля, окоченелые, окаменелые. Беззащитные, открытые пасти лютой стужи, торчали трубы встречных посадов. Кое-где гнулись темные, сухие сосны.

В рассветной сини костлявый, тонконогий красноармеец прошел к дверям теплушки; он полусвесился наружу. Сколь вяло ни влачил дрожащий от озноба паровоз свой ободранный состав, все же большой ломоть пути успел загадить этот красноармеец, тонконогий, костистый.

Возвращаясь на свое место, он задержался, удивленно наклонился над спящим седым человеком.

Царил такой холод, что слюна, казалось, примерзала к нёбу, пар не валил уже из остуженных глоток, и все живое инстинктивно старалось съежиться, свернуться, уменьшить площадь тела, отдающего свою теплоту окружающей среде.

А человек в драной шинели лежал свободно, небрежно раскрывшись, разбросав свои конечности, столь необдуманно тратя тепло.

— Тиф! — крикнул красноармеец.

Несколько солдат у стены зашевелилось.

— Выбросить надо! — сказал один, неохотно поднимаясь. — Выбросить.

Тонконогий нагнулся и начал расталкивать седого человека.

— Дунька! Дай ему в шею! — нетерпеливо посоветовал его товарищ.

— Да он уже мертвый! — отозвался Дунька. Все с интересом подтянулись поближе, нагнулись.

Вытянутая, обнаженная по локоть рука покойника была в бледной сыпи; меж пятнами сыпи в необъятном ужасе панически спешила большая рыхлая вошь, пробираясь к тонким белым пальцам с тщательно срезанными синими ногтями.

Дунька снял с трупа шинель.

— Дырявая! — сказал он.

— Я б ее взяла! — робко выползла из угла баба. — Да я уже сыпная. Ей-богу! — радостно поклялась баба.

Ей бросили шинель. Постукивал перебор колес. Хмуро трещало мерзлое дерево теплушки.

Верхнее платье было заношено — так себе, дерьмо, — из-за него никто спорить не стал. Поссорились из-за сапог и белья.

Обувь была целая, новая, и на жеребьевку красноармеец не соглашался, доказывая, что она принадлежит ему потому, что он первый обнаружил.

Белье, тонкое, барское, дорогое, всем понравилось.

— Из офицеров! — решил Дунька, нежно гладя фуфайку. Отдать ее он не пожелал. — Моя! — упрямо, тупо, надрывно твердил он.

— Шутишь. А это видал?!

Но кто-то напомнил, что к эшелону ночью пристали матросы, и страсти улеглись. (Фуфайку отдали костлявому.)

Невыносимо было зрелище существа, лежащего нагим в этакую стужу. А человек покоился удобно и безразлично: обособленно, независимо, не стесняясь своей наготою.

— Теплый еще! — Дунька благодарно провел рукою по животу мертвого, по нежной, детской, синевато-розовой родинке. — Барин.

Бородатый молчаливый мужик несколько раз прошелся кругом голого человека, шаркая лыковыми лаптями. Оглянувшись, он вдруг несколько раз решительно перекрестил труп; попробовал прикрыть его непослушные веки, отдернув пальцы, как при ожоге, он ловко подобрал с пола ничьего внимания не привлекшие портянки и вернулся на свое место.

Неуклюже перебирая руками, Дунька приподнял труп; касаясь его только растопыренными пальцами, потащил к дверям и, раскачиваясь на длинных ногах, толкнул наружу.

Колени скользнули вниз, но руки, жадно сведенные в локтях, уперлись, вцепились в пол вагона.

Дунька принялся отдирать припавшие к доскам запястья. Тело начало неохотно съезжать, но — оттого, что оно было костисто-негибко? — в то время как верхняя часть тела уже сползла наружу, нижняя дрогнула, и острые колени опять забросило в теплушку.

— Дурья голова! — сказал другой красноармеец и сапогом изо всех сил пихнул труп.

Только тогда тело сдалось и, широко взмахнув руками, как крыльями, выпало вон.

Светало. Саваном обшились поля. Ледяной чешуей топырился снег. Набальзамированной мумией тянулась равнина. В ложбинах синими кровоподтеками проступали топкие места, казалось, там допотопные чудовища терлись своими вспаренными крупами.

Кругом на сотни верст замерзла степь. Над горизонтом плыли непроницаемые молочные туманы, такие густые, что машинисту невесело бредущего состава казалось впору рубить их топором. Где-то сзади матросы, крича, распевая, ломали и жгли деревянные переборки вагонов.

С черных колоколен лиственниц изредка падал протяжный вскрик птиц, вороньим граем возвещавших о наступающем дне; и в зачинающемся, окоченелом утре пахло Россией и смертью.

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА

В большом городе, где по ночам толпятся тени и далеко, далеко кругом молчат огни, в большом городе, где живут сонмы людей, где за каждым углом чудится чья-то костлявая рука, где в длинные вечера сходятся седые, всеми забытые старички и тихо беседуют и тихо смеются, — в этом городе много знамен.

Красные, ярко-красные, цвета крови, и всюду, куда ни взглянешь, колышутся они.

Кто был ничем,
Тот станет всем!

Ночью ветер бешено носится по улицам и силится сорвать эти красные ленты. Всю ночь носится ветер и рвет, и молится, и просит, и зовет.

Крепко привязаны красные ленты. Высоко, высоко подняты к небу. Все небо покрыли они. И не видно неба, не видно жизни из-за красных сетей.

Когда-то люди молились этим знаменам. Все, что было лучшего на земле, молилось этим знаменам. Какой яркий, какой солнечный праздник был в тот день, когда эти знамена появились на улицах большого города.

Кто был ничем,
Тот станет всем!

Но прошел праздник, забыт праздник, а знамена все еще висят.

Почему же они не убраны, эти знамена? Ведь праздника нет?

— Не надо нам этих знамен! — молят люди, те самые люди, которые так мечтали о красных цветах.

Кто был ничем,
Тот станет всем!

В этом городе есть дом — дом детей.

«В моем саду много красных цветов, но красивее их — дети!»

И дети приходят туда — в вонючую, холодную кухню, где проститутки в каракулевых саках, — и получают обед.

А при входе высоко-высоко, к самому небу поднят плакат:

«В моем саду много красных цветов, но красивее — дети!»

А в зале на холодной, голой стене висит портрет Маркса, и детям страшно смотреть на его лохматую бороду. Они боятся его и в одиночку не отваживаются пройти мимо. Кучками, зажмурив глаза, пробегают они и только у самых дверей оглядываются и смотрят.

Ночью в зале гуляют мыши да в углу на скамейке спит старушка. При свете огарка приходит она из кухни и вешает на стене небольшое распятие.

В большой зале, где чутко стоит холодная тишина и только изредка по полу пробегает маленькая серая мышь, тихо висят друг против друга Иисус и Маркс.

Тихо беседуют мыши, изредка посмеиваясь над людьми. Страшно старушке спать там, среди мышей, тяжко вздыхает она и крестится со сна то на Христа, то на Маркса.

А утром приходят кухарки и громко стучат. Быстро прячет старуха распятие и бежит отворять.

Варят для пятисот детей. Варят в огромных котлах. До самого верха насыпают картошку и варят и варят в каком-то чаду.

На кухне царят свои страсти, и даже сама экономка, которая не считает себя принадлежащей кухне, входя туда, всецело отдается этим страстям. Она делит себя между кухней и заведующим.

Сам заведующий очень доволен своими обязанностями. Охотно приходит он с утра и руководит, советует. Особенно любит он бывать на кухне и беседовать с кухарками. Экономка этого не позволяет, и заведующий ждет, чтобы она куда-нибудь ушла. Но экономка не уходит и целый день сторожит заведующего. Когда приходит госконтроль, он всегда застает экономку на кухне. И госконтроль доволен, и экономка торжествует.

В столовой для детей работает и одна девушка-регистраторша. Холодно в доме, холодно пальцам, и только разогрев их во рту, можно регистрировать.

Обеды детям дают лишь после регистрации. Дети или их родители подходят к окошечку и говорят свой номер, а девушка-регистраторша их отмечает и выдает билетики. По этим билетикам дети на кухне получают обед.

Они начинают приходить с утра. С утра живут они голодной мечтой об обеде и, толкаясь и крича, занимают места у окошечка. И хотя из пятисот детей ежедневно является не более четырехсот, но только вечером кончает работу регистраторша.

Только к вечеру, когда экономка с заведующим успевают уже отдохнуть и предаются изысканным наслаждениям, только к вечеру уходит регистраторша в разодранных туфлях.

И никак не может она оторваться мысленно от страшных, таинственных для ее детского ума регистраторских знаков.

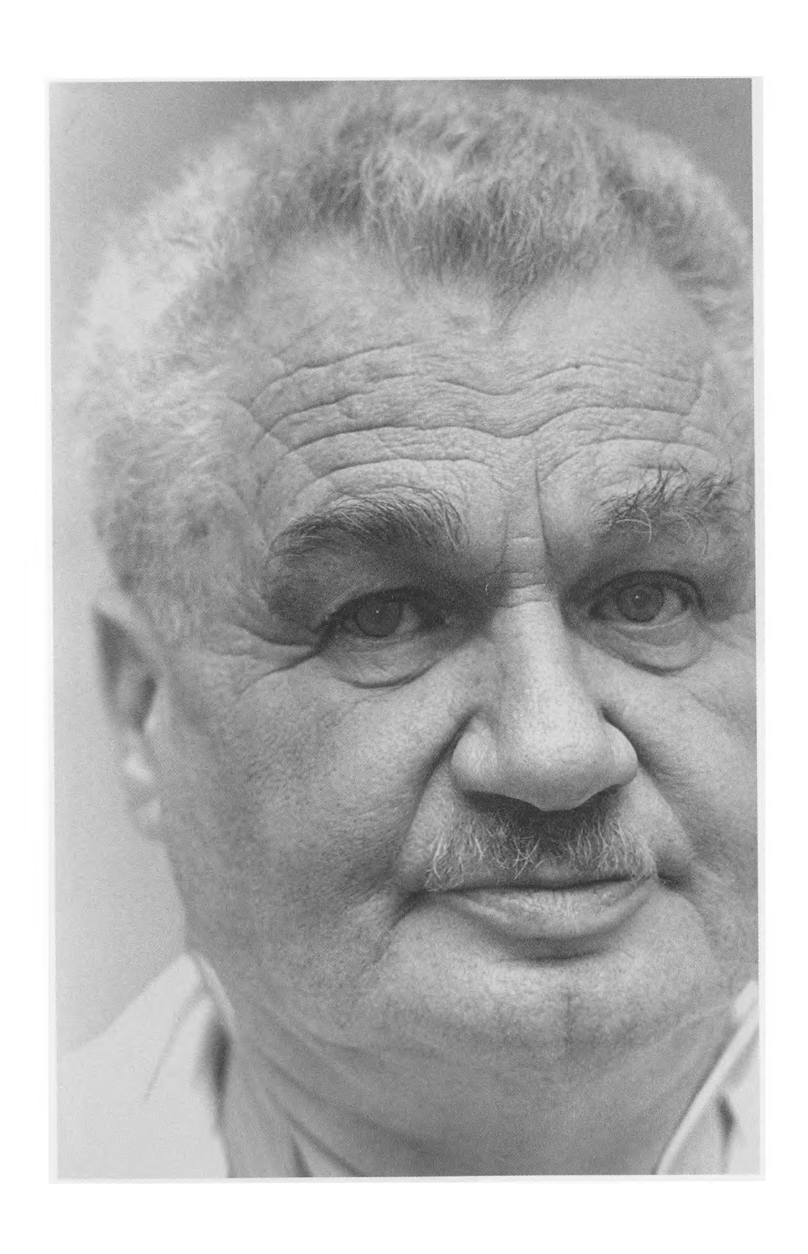
Город старается внушить ей свои мечты, но загнана ее маленькая молодая жизнь, загнана в продранные чулки и промокшие ботинки. Устало, как избитая кляча, тащится девушка вечером по улицам города.

Кто был ничем,
Тот станет всем!

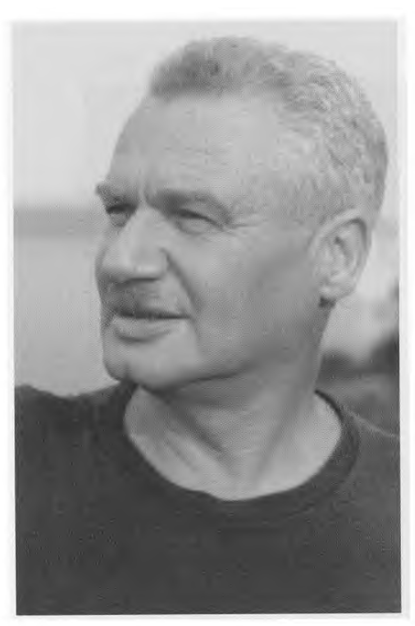
Сама регистраторша тоже получает обед на кухне, и никто против этого ничего не имеет. Сама экономка благосклонно смотрит и изредка даже говорит:

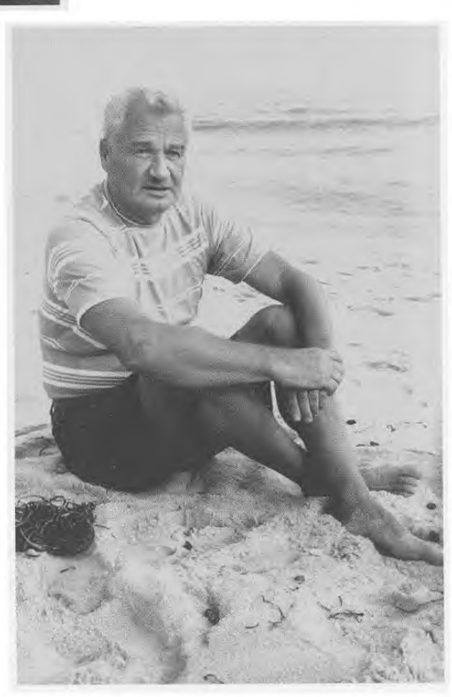
— На здоровье!

У регистраторши есть братик, взрослая сестра, отец и мать. Все они живут только заработком регистраторши. Много нужно было бы еды, чтобы насытить эти четыре измученные жизни. Но чтобы как-нибудь перебиться, хватало одного обеда братика, который он приносил домой. Этот обед делился на четыре порции, и с тоской видел каждый, какая маленькая порция у другого.

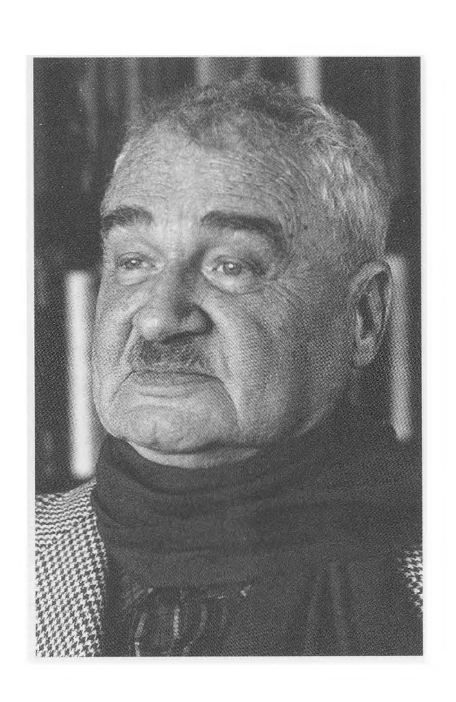


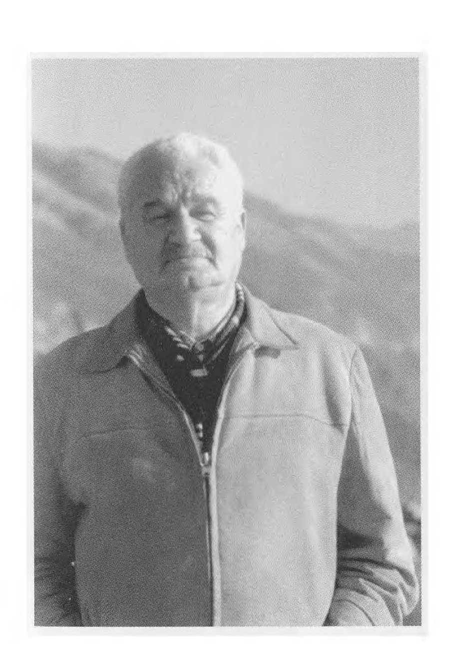
В. Яновский



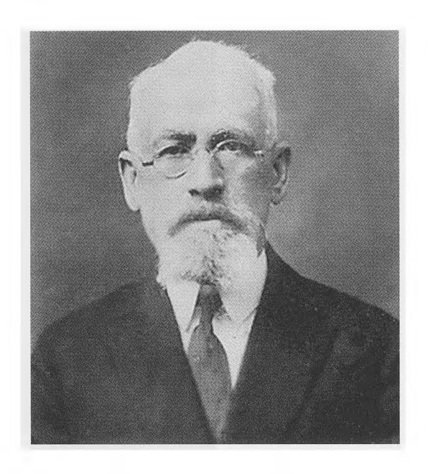


В. Яновский

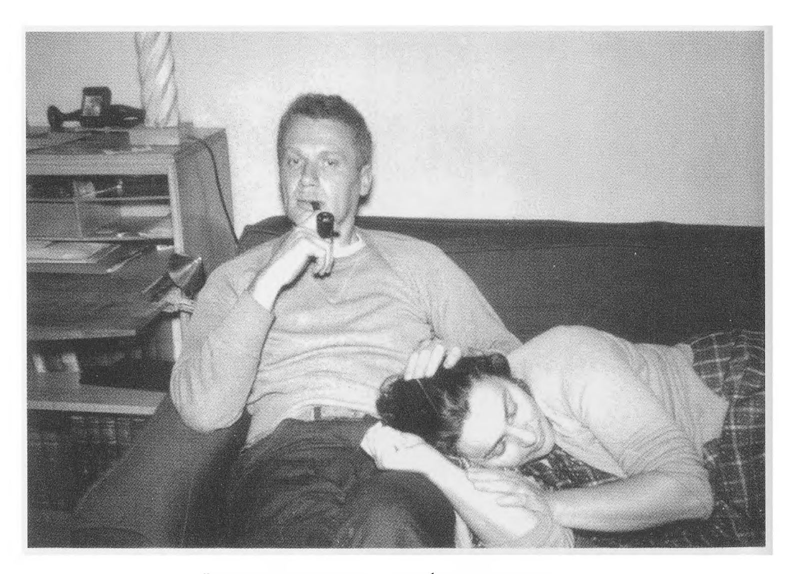




В. Яновский



Симон Яновский, отец В. Яновского



Василий Яновский и Изабелла Левитин



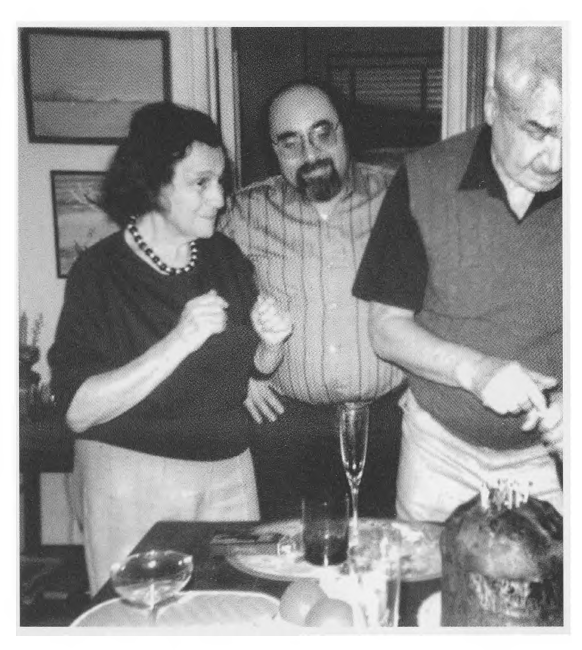
Сотрудники парижского журнала «Числа»



Василий Яновский
и Изабелла Левитин



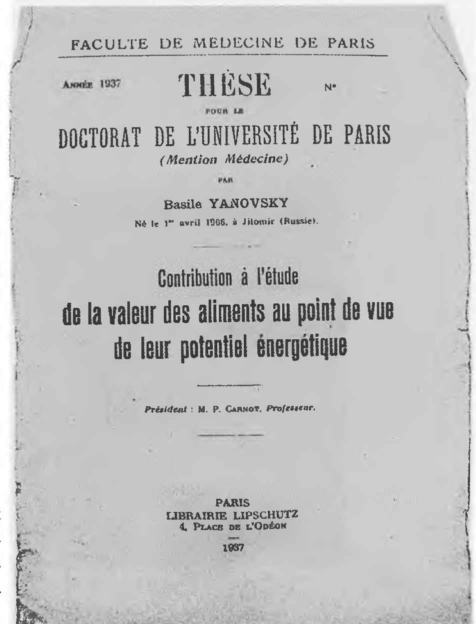
Василий Яновский и Изабелла Левитин



Изабелла Левитин, Эндрю Поляк (издатель мемуаров В. Яновского «Поля елисейские») и Василий Яновский



Дом Василия Яновского и Изабеллы Левитин в Риго Парк (Нью-Йорк)



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

ANNÉE 1937 THÈSE N°

POUR LE

DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

(Mention Médecine)

PAR

Basile YANOVSKY

Né le 1er avril 1906, à Jitomir (Russie).

Contribution à l'étude

de la valeur des aliments au point de vue

de leur potentiel énergétique

Président : M. P. CARNOT, *Professeur.*

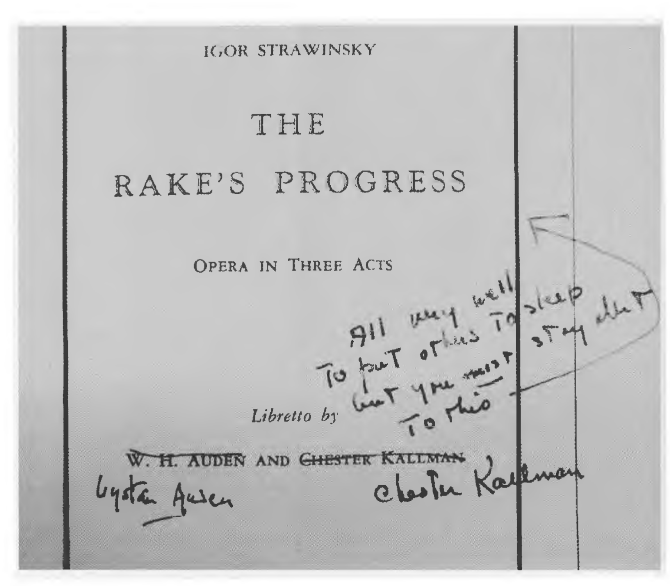
PARIS

LIBRAIRIE LIPSCHUTZ

4, PLACE DE L'ODÉON

1937

Титульный лист диссертации В. Яновского: «Вклад в изучение ценности продуктов питания с точки зрения их энергетического потенциала»


IGOR STRAWINSKY

THE

RAKE'S PROGRESS

OPERA IN THREE ACTS

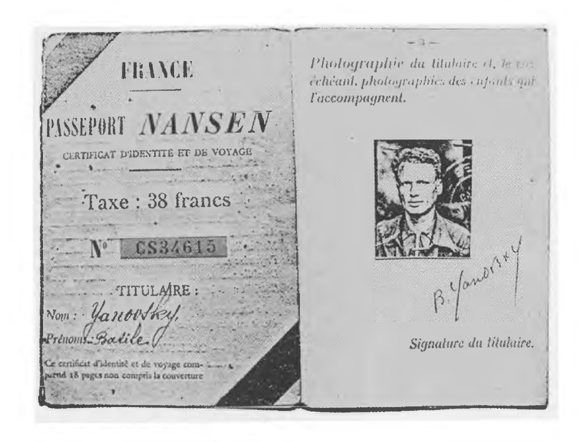
All very well
To put others To sleep
but you must stay alert
To this

Libretto by

~~W. H. AUDEN~~ AND ~~CHESTER KALLMAN~~

Wystan Auden Chester Kallman

Либретто У.Х. Одена с шутливым посвящением В. Яновскому


FRANCE

PASSEPORT NANSEN

CERTIFICAT D'IDENTITÉ ET DE VOYAGE

Taxe : 38 francs

N° CS34615

TITULAIRE :

Nom : Yanovsky

Prénoms : Basile

Ce certificat d'identité et de voyage comprend 18 pages non compris la couverture

— 3 —

Photographie du titulaire et, le cas échéant, photographies des enfants qui l'accompagnent.

B. Yanovsky

Signature du titulaire.

Нансеновский паспорт В. Яновского

Рукописная страница из романа В. Яновского «Портативное бессмертие»


Союзъ Русскихъ Писателей и Журналистовъ въ Парижѣ

Членскій билетъ № 091

Предъявитель сего Василій Яновскій

состоитъ членомъ Союза

П. Милюковъ

Пред. Правленія

Ген. Секретарь

Association des Écrivains et des Journalistes Russes à Paris

Carte de membre No 091

Le titulaire de la présente Bas. Yanovsky

fait partie de l'Association

P. Milioukov

Président

Secrétaire gén.

Paris, le

Удостоверение члена парижского Союза русских писателей и журналистов

July 12th.

3062 KIRCHSTETTEN
BEZ. ST. PÖLTEN
HINTERHOLZ 6
N.-Ö., AUSTRIA

Dearest Vassily & Isabella:

I expect you have heard that, some ten days ago, Josef Brodsky, in my opinion by far the best living Russian poet, was expelled from the Soviet Union. At the moment he is in Vienna, waiting for a U.S. visa.

I have given him your address and told him to get in touch with you, when he gets to N.Y. It will be fun for him to meet someone who speaks Russian!

I find him personally extremely nice.

Hope the poem overleaf will amuse you

Much love

Wystan

Письмо У.Х. Одена Василию Яновскому и Изабелле Левитин с сообщением о прибытии И. Бродского в Австрию



Василий Яновский и Изабелла Левитин на юге Франции



Василий Яновский и Георгий Адамович. 1971 год



Изабелла Левитин и Эллен Прайор



Письменный стол В. Яновского в его нью-йоркской квартире

Но хуже всего было регистраторше. Она ела одна ежедневно целый обед, и молодая совесть укоряла.

Плохо жить одним обедом, но еще хуже знать, что любимые делят один обед на четыре части.

И металась регистраторша, ища выхода.

Она нашла его: из записанных в книге пятисот детей приходит ежедневно четыреста. Остальные обеды, по словам экономки, портятся... И вот она дала братику четыре билетика, отметив их на непришедших детей.

Ах, какая радость! Целый обед! Целый обед на каждого! Радость, радость!

Это ничего, что в городе много красных знамен и что людям стыдно смотреть на них.

Целый обед на каждого: на братика, взрослую сестру, отца и мать!

Несколько дней длилась эта радость.

Экономка увидела, что братик регистраторши предъявляет четыре билетика. И началось...

— Где он взял четыре билетика? Где он взял?

Регистраторша объяснила. Объяснила самым спокойным образом: у нее есть братик, взрослая сестра, отец и мать.

— Что? Вы брали от неприходящих?

— Да, ведь все равно они не приходят. Какая же разница.

— Какая разница? Какая разница! Нет, вы только посмотрите на нее! Она не знает, какая разница!

— Ведь это же так просто... разница большая, — начал заведующий, — так эти обеды забираете вы, а так эти обеды...

— Остаются на завтра! — подскочила экономка.

— Ну да, конечно, остаются на завтра. Это большая экономия! — сказал заведующий.

Это было так ясно.

— У меня дома папа и мама... я думала, что можно... что все равно выливают... — говорила со слезами испуганная регистраторша.

Ведь она была еще совсем молоденькая, глупенькая девушка, и эти регистраторские значки были так непонятны ее маленькому уму.

— Что мы — сумасшедшие? Такие обеды выливать! — кричала экономка.

— Да, да... их не выливают, будьте спокойны! Для этого уж мы поставлены, это наше дело! — объяснил заведующий.

Регистраторша отвернулась к окошечку и плакала.

Да, конечно, если не выливают... Она не знала. Но у нее дома братик, взрослая сестра, отец и мать, и какая была радость: на каждого целый обед!

Из-за окошечка выглядывали детские мордочки и взволнованно сопели. Такие грязные, хорошие мордочки.

— Плачешь! Ишь дамочка какая! — сердилась экономка.

— На первый раз я вас прощаю, но больше чтоб этого не было! В последний раз! — решил заведующий. — К работе, к работе!

— Скажи, что арестуешь! Скажи! — шептала ему на ухо экономка.

— За такие проделки вас следовало бы арестовать,—начал он добродушно,—но я не какой-нибудь там... и понимаю... с каждым может случиться. Но только раз, только раз,—поучал регистраторшу заведующий. — Я надеюсь, что честной работой на пользу советской власти вы искупите свою вину.

Он ушел. Девушка вытерла глаза и, всхлипывая, начала регистрировать.

Все затихло. Обычным чередом выдавались билетики, обычным чередом давались обеды, обычным чередом

ушли отдыхать экономка с заведующим. Только братик регистраторши вместо четырех обедов унес один. Велика важность!

Кто был ничем,
Тот станет всем!

В большом городе много красных знамен. Красные, ярко-красные, цвета крови.

ПОСЛЕ ГОЛГОФЫ

Клубились дымы. В винном погребке грека Леонида сизые волокна курений плыли облаками. К самым углам оттеснили они зарево светилен. От едкого дыма шипели промасленные фитили, словно заливаемые водою. Тяжелые фигуры пьющих за столами солдат казались громадными.

Серые каменные стены давили дым, отбрасывая его густыми слоями на плиты пола, где он бился и дрожал от раскатистого смеха и гулких ударов ног.

Антоний угощал.

Подняв своею сильною рукою тяжелую кружку с вином, он, весело улыбаясь и подмигивая, завопил приноровленным к шуму битвы и пиров голосом:

— Слава влюбленным, они мало едят, но много пьют! — и, хохоча, припал к кружке.

— Молчи! — сверкнул в ответ глазами солдат Кастий и потянулся к поясу.

— Оставь его, пусть ждет Нумию! — презрительно пожала темными плечами Отара, прижимаясь к Антонию.

— Пусть ждет Нумию, — подхватили остальные. — Она иногда приходит.

— На рассвете, — засмеялась Отара, изгибаясь своим молодым телом. — Антоний, кружки пусты!

— Выпьем же снова радостного вина! — вскричал Антоний. — Осушим кружки в честь наших женщин.

У всех столов подхватили его возглас и, обнимая сидящих рядом девок, солдаты шумно припали к кружкам.

На хорах, куда вела кривая лесенка, сидело за почетным столом несколько сотников и ветеранов. Тихо передвигая кружки, они пили в честь старых полководцев, товарищей, павших в бою; в память земель, обагренных их кровью, и лесов, где случалось разводить костры.

Чрез низкое оконце были видны кривые переулки чужого, сумеречно-пустынного города в празднике. Иногда только тенью, будто уносимой порывами ветра, перебегала дорогу фигура одинокого простолюдина.

За почетным столом медленно отпивали из кружек, прислушиваясь к шуткам солдат; обменивались восклицаниями и снова неторопливо подливали.

— Дни тягостной работы, — жаловался внизу Антоний. — Руки от пустых ударов зудят.

— О, да! Беспокойные дни! — поддержал его солдат Цикка. — Ведь это ты, Антоний, так стукнул осужденного, что запятнал себе праздничную одежду? — спросил Цикка, отстраняя припавшую к нему веселую женщину. — Ты одним ударом валил его с ног, а других ставил опять!

— Я могу десяток таких сшибить одним рывком, — объяснил Антоний. — И снова поднять.

— И меня он разъярил своею дерзостью! — покрыл все клики погребка голос сотника Дотерия. — Я бил его тростью по голове, пока не онемела рука, а рука моя не скоро немеет.

— О, рука сотника Дотерия не скоро немеет! — подхватили кругом.

Гулко и долго смеялись, пока сотник Дотерий, выпятив грудь и самодовольно осклабясь, оглядывал женщин.

— А ловко ты их добил! — крикнул Антоний Дотерию. — По одному удару на каждого. Верная рука. Испытанная рука! — восхищался он.

— Да, ровно три удара, — спокойно подтвердил сотник.

— Чистые удары! Искусные удары! Слава сотнику Дотерию, у кого копье учится поражать! — провозгласил Антоний (как всегда в хмелю, он несколько преувеличивал).

— Слава воину Антонию, у которого барс учится отваге, — любезно ответил Дотерий.

Долго бился об своды приветственный крик гуляющих солдат, звон кружек и смех женщин.

— А Кастий его бил? — осведомились они. — Он изливал свой гнев безнадежно влюбленного?

— Кастий вытянул жребий, — сообщил Антоний. — Это ему достался плащ осужденного. Он хранит его для Нумии, все для нее!

Женщины сердито поджали губы.

— И я его ударил, — продолжал своим пискливым голосом Цикка. — Он упал, тогда я схватил его за мокрые волосы и швырнул далеко от себя.

В темном углу человек, сидевший доселе неподвижно, задумавшись, поднял голову и начал прислушиваться к разговору пирующих.

— А я его не трогал, — заметил юноша Камилл. — Пожалел! Его губы запеклись, и я вспомнил, что никогда уже ни одна женщина не поцелует их; его руки были в ранах, и я подумал: они уже не возьмут кружку с вином... ноги в струпьях, и на них уже не прольют благовонного масла! — рассказывал Камилл.

— То ли еще будет, — перебил его Антоний. — Говорят, таких еще много, непойманных!

— А за что они казнены? — спросил Цикка. — За возмущение?

— Не знаю, — ответил Антоний. — Должно быть.

— Один из них защищал отверженных, — робко заметила веселая женщина.

— Нет, он объявил себя царем! — сказал сотник Дотерий.

— Говорят, он воскрес? — недоумевающе спросил Камилл. — Его видели живым...

Но Камилла уже не слушали. Все привстали, чтобы лучше разглядеть чью-то фигуру, неясно мелькнувшую в дверях.

То вошла персиянка Нумия.

Белая ткань не стесняла горячую грудь; ее юного расцвета не могли скрыть ни черная бахрома лент, тянувшихся от белой шеи, ни алые пятна цветов. От бедер падал вниз пепельно-лиловый шелк, но нежнее его была кожа детских ног. Так показалось Кастию. Бледный, он встал.

В дымной мгле, дрожащей над грудой тел солдат и женщин, она своими овальными, зоркими, как у кошки, глазами сразу нашла его и шагнула навстречу.

— Нумия больше не сердится, — сказала она и ласково коснулась рукою до плеча.

Человек, доселе тихо сидевший в дальнем углу, поднялся и, медленно ступая, направился к выходу.

— Кто это? — вдруг испуганно закричал Камилл. — Кто? — и замер, не в силах отвести глаз; а странник тем временем уже исчез в дверях.

— Чего ты орешь? — грубо бросила Камиллу близ сидящая девка (ей очень хотелось подслушать разговор Нумии и Кастия).

— Ах, мне показалось... Мне что-то померещилось... — задумчиво и растерянно шептал он, озираясь по сторонам.

Кругом ходили кружки. Наполнялись радостным вином и опорожнялись.

Вытащив тканый хитон из сумки, Кастий заботливо кутал в него плечи Нумии.

— Он запачкан кровью, — заметила равнодушно Отара. — У позорно казненных черная кровь! (Она одна могла тягаться с Нумией красотою.)

— Мне жарко, Нумия, — шептал Кастий. — Твои глаза жгут. Они жалят. Они разят, как острия трезуба. Где ты была, Нумия...

В мутной мгле стелились тени. Еще не последние кружки допивали солдаты. На очищенном для этого месте две веселые женщины обнажились для танца. В дыме и звоне они мелькали, влажно блестя испариною тел.

Раскатистый, довольный стон вызывала пляска их обнаженных бедер.

У почетного стола на возвышении сидели сотники и ветераны. Неторопливо отпивая из кружек, они беседовали о давних сражениях, о легионах, ушедших за новою добычею; вспоминали щедрых вождей и богов, им благоприятствовавших.

БЕСОВ ЯР

— Вы два раза повернете налево. На шестой версте, у большого камня, сверните направо: там ваш патруль. Поверните вовремя: дальше — болота, не вылезете! — вот последние слова комиссара у границы.

Там, впереди, через овраг, глубокий и темный, тянулся чужой кордон.

И двое, мужчина и женщина, вступили в сырой сумрак старых сосен. Они шли на работу из центра. По прямому — и полверсты до границы не будет; но подкупленный

патруль находился где-то сбоку, и надо было долго ходить старым, седым яром. Он весь в лесах. Когда-то всюду кругом был лес, теперь только что в яру и осталось. Вырубили.

Исполинами с широкою грудью и узловатыми лапами стояли сосны и дубы. Угрюмые. Темные. А под сырой сенью, у никогда не видавшей солнца земли, пегими отлогими уступами бежали травы и мхи.

Легко шагала девушка с бурой сумкой за плечами; мужчина ничего не нес. Он шел, опираясь о дубинку, зорко приглядываясь. В боковом кармане у самой груди его лежал дешевый портсигар. В гильзы двух папирос незаметно были вложены бумажки, мандаты.

Там далеко, за спиною, за дорогой с разрушенными вокзалами, за поросшим травой полотном, осталась Москва; впереди чернело подполье.

Еще и версты не прошли путники, а уже потеряли связь с подлинной жизнью. Изменилась походка, взор; гибче стало тело, звериным — прыжок. Пели мхи.

Ах, эти валежные травы корявых корней.

И какие только имена.

Трава Адамова Глава, Вележ, Измородина, Утик, Стародубок, Пострил-Лисовой или Пострил-Боровой. А Чернобылец болотный? Или Царевы Очи, На-сон-трава; а Петровы Кресты?!

Здесь среди мхов, под дубами и соснами, в первомайские ночи когда-то расцветал папоротник. И парни с девчатами — окрестных сел — искали в ночелунном, белозрачном кругу первоцвет. А возвращаясь поутру, ругались, сбивая со спины приставший репей.

Там дальше, на тридцатой версте, в густых болотах сожгли как-то на костре целую семью ворожеи. В сухой год это было. Не помогла ворожба: крестом обвели.

А знатная была ворожея.

Ведала она о разных составах малханов — мастей; о маслах и водах, в зельях перепущенных; и разных силах каменьев драгих, что в книгах написано.

Кто лицом угреват или ушами не слышит,—помогает. Или чем охраниться от окорма-травы; чтоб страха не бояться; где веселитву найти и разгул. Все узрит.

За медяк узнавали, как мужа и жены любовь умножить; а парни — чужие — приходили к ночи совещаться о познании тайны женской.

В сухой год это было. Ведала она, отчего храмины стрела громовая не бьет и молния не жжет и град падающий вредить не может, а себя не спасла: крестом обвели. Всю семью обуглили. Вот.

С тех пор Бесовым тот яр прозвали, и нечисть разная пошла гулять в чаще.

Не раз парней, рыбачивших в прудах, всю ночь щекотали русалки. А может, и не русалки то были, а так, девки дальнего села, пришедшие к ночи искать счастье.

Ну и девки же были. Сноровку требовали да силы; силы да соков. В ночи засевались, а в страдный день роняли серп и падали на сноп рождать новую плоть. И коли девка родилась, — в мать пойдет мясом; а коли парень — и парень не плох. Крепкие были парни. Как дуб и сосна, что кругом; корявые, темные с низкими челами и зеленым глазом. Не хирели.

Был один. Пришел к милой, да зуб во рту заныл. Не стерпел. Вышел он в сени, вставил ложку да повернул. И выплюнул больную кость. Оттого прозвали его беззубым девки да смеялись.

Пели мхи.

Уже с два часа шли они этим яром. А камня, о котором упоминал комиссар, не видно.

Все мягче, мягче становилась тропа, проступая водою; все чернее, угрюмее костлявые деревья.

Вязли ноги. Тяжело ступать.

— Я сниму туфли, — сказала девушка.

И, присев, начала разуваться. Снизу ее ступни были мокры и грязны, но там, выше, полные девичьи ноги нежно белели, от холода покрытые розовыми блестящими бугорками.

Мужчина стоя приглядывался, о чем-то думая своем. Потом тоже присел и бессознательно погладил ее овальное колено.

— Идем! — вскочила девушка.

И они снова побрели гуськом.

Что-то первобытное было в их шествии среди древних стволов. Впереди она: босая, растрепанная, в порванной блузе; с ранцем на взопрелой спине. Позади, зорко оглядываясь, без ноши, с дубинкой в руках, шагал мужчина. Глаза его время от времени тяжело упирались в голые икры женщины.

Из-под ее высоко подоткнутой юбки виднелось мокрое кружево и болталась блестящая пряжка подвязок; оттуда, оттуда выбегали ее литые ноги, покрытые илом и травой.

Они тянули, приковывали взгляд к себе. Властно. С той липкой, тягучей силой, какою владеют только женские ноги, зверино ступающие не на высоком каблуке, а на голой пятке.

— Может, здесь? — указала девушка.

Они стали подыматься на другую сторону обрыва.

Издали донесся глухой стук, топот; где-то выстрелили и закричали.

— Нет, это всадники! — сказал мужчина. — Наш — пехотный.

Они повернули.

Конский топот кружил, казалось, то приближаясь, то отдаляясь.

Вдруг она почувствовала легкий толчок в спину. И больше от неожиданности, чем от боли, вскрикнула.

— Тише, тише, — зашипел мужчина. — Нас услышат!

Она упала на землю и, не понимая, лишь, испуганная, отбивалась руками, крепко стиснув зубы, чтобы не кричать.

А он, все хрипя:

— Тише, тише, нас услышат!.. — подбирался к ней.

Потом она сидела, растерзанная, на земле, беззвучно плача, безобразная, посиневшая. И в ее налитых кровью глазах было больше горестного испуга и непонимания, чем гнева.

Он чувствовал необходимость объясниться, оправдаться:

— Я не знаю, как это произошло! — сказал он. Но, испытывая еще некоторую неловкость, добавил: — Клянусь честью!

А через минуту они снова шагали топкими, лесными тропами. Впереди она, полуголая, с ношей; сзади, опираясь о дубинку, мужчина.

Время от времени его глаза со спокойной приязнью останавливались на ногах женщины.

Стемнело. Густо зашумело, зашуршало вверху. То падал дождь. Вначале деревья защищали от воды, но было сыро и жутко.

— Куда мы идем? — с отчаянием спросила девушка.

— Мы пропустили камень! — решил он.

Уже ночь под ветвями. Там, где-то высоко, давно прошел дождь и стало, должно быть, по-летнему хорошо, но здесь, на дне, — холодно. От каждого толчка листья бросали рой крупных ледяных капель.

— Переночуем здесь! — предложил мужчина.

И, прислонив дубинку к валежнику, он присел под деревом.

Ей было холодно и боязно. Пугал скрип стволов и ночной крик пернатых. Далеко где-то тяжело погромыхивало.

Она извлекла платок из сумки и, укутавшись, тихо, по-женски сиротливо села рядом. И когда он мужнею рукой обнял ее, она, покорно вздохнув, прижалась.

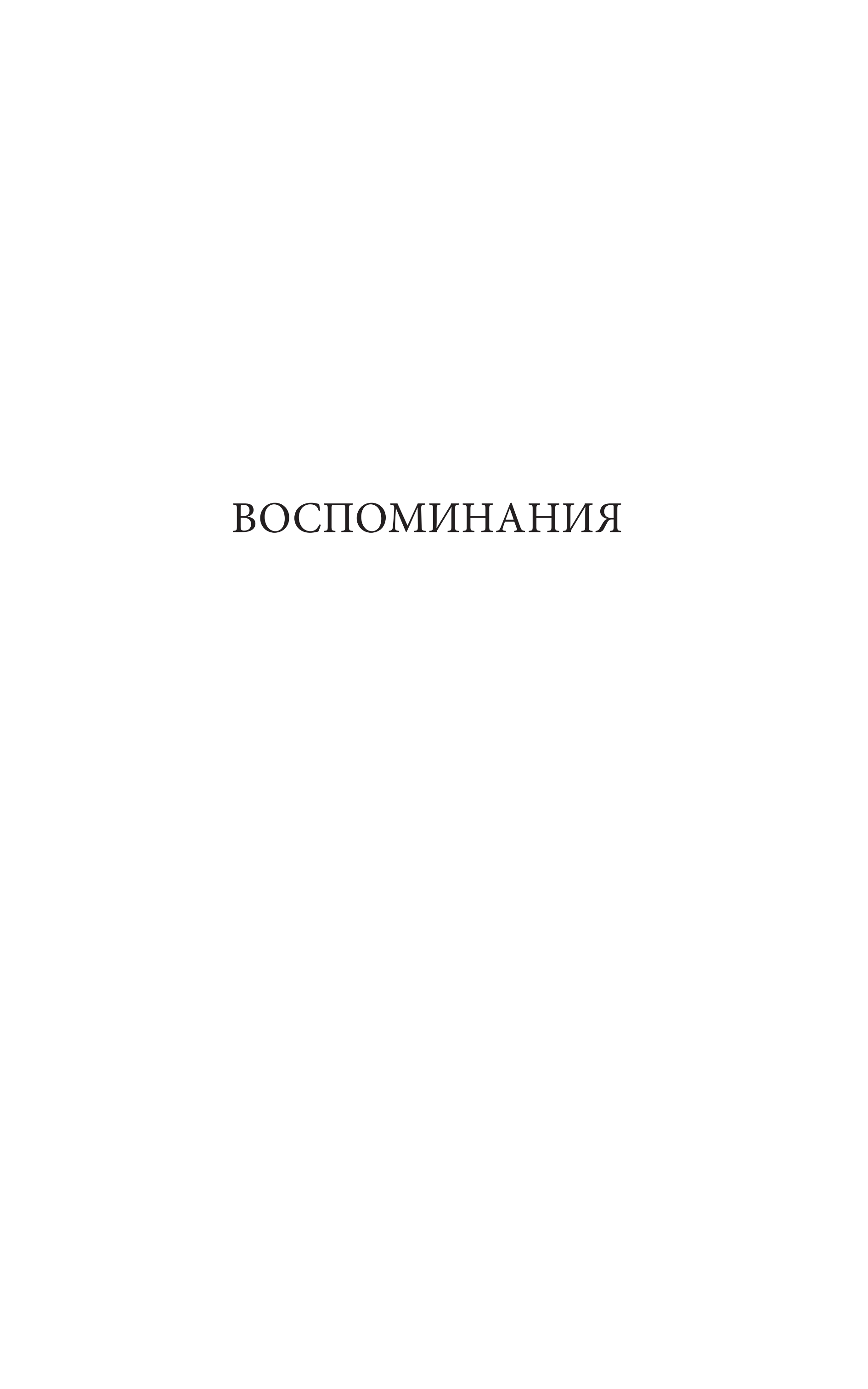
Во тьме слышны были тихие всплески, топот, зовы. Где-то близко зоркие всадники стерегли свой рубеж от пришельцев из-за Бесова яра. А может, это не их голоса. И то сказать, мало ли нечести разной меж мхами да болотами. Оборотни, лешие, упыри, русалки. Кто знает.

А наутро двое, мужчина и женщина, снова мерно зашагали, все выглядывая камень.

Как часто бывает: торчал он на виду, совсем близко, и не понять, — дважды проходили мимо, а не заметили!

Показался край голой земли; крашеные столбики. Они повернули туда.

И снова за спиною у них, далеко, сияла Москва; впереди чернело подполье.



ВОСПОМИНАНИЯ

У.Х. ОДЕН

Как воссоздать лицо? Фигуру? Голос? Как вновь воплотить слова, улыбки, жесты? Как вернуть того, кого больше нет, как снова сделать его видимым и осязаемым? Как опять ощутить тепло и свет угасшего солнца? Но к чему беспокоиться о таких пустяках, если мы ожидаем полного воскресения? (Еще одно противоречие.)

Впервые я встретил Уистана в Нью-Йорке осенней ночью в конце войны. По пути на собрание «Третьего часа»[1] мы все ужинали во французском ресторане; его привел с собой Дени де Ружмон[2].

«Третий час» — это экуменическое движение, а также издание, в котором я участвовал с самого начала, помогая Елене Извольской удерживать его на плаву. Первый доклад, который прочитал для нас Уистан, был черновым вариантом «Ироничного героя»[3]. Он кончался императивом Ницше: «Искусства недостаточно!» Во время последовавшей дискуссии я утверждал, что любой дурак, осиливший Минотавра, является героем, но не каждый убивший своего сына — Авраам.

Самой ценной чертой в Уистане мне с самого начала казалась его особая, неисчерпаемая, я бы даже сказал, русская

страсть к обсуждению проблемы до победного конца (или до исхода ночи).

До нас дошел рассказ, переданный несколькими очевидцами, о том, как однажды Белинский, Грановский, Тургенев и прочие спорили о вечных материях, и вдруг один из них заметил, что уже поздно. В ответ на это Белинский взорвался: «Как, мы еще не решили, есть ли Бог, а вы спать собираетесь!» (В своих воспоминаниях Тургенев передает этот эпизод с небольшой вариацией: «...а вы кушать хотите!»)

В присутствии Уистана я всегда вспоминал об этой истории. Он также стремился дойти до самой сути вопроса, прикрывая свое рвение англосаксонской «иронией», но никогда не уставая, при условии если в бутылке еще оставалось вино. Разумеется, я говорю об Одене, каким он был в сороковых и в пятидесятых годах. Все это изменилось в последние десять—пятнадцать лет его жизни, когда он здорово усох и позволил, даже почти способствовал тому, чтобы его огромным, как будто глиняным телом завладел болезненный процесс свертывания и окаменения (правда, его способность трудиться за письменным столом до самого конца оставалась неизменной).

«Я рабочая лошадь», — говорил он, улыбаясь, как будто этот факт удивлял его самого, внушая ему смирение. Однако это происходило в позднюю пору его жизни и было скорее выражением начавшейся в нем работы смерти. За много лет до этого его желание и дар к серьезнейшему и честнейшему обмену мнениями (что также подразумевает и умение слушать) были поразительны и напоминали великую русскую интеллектуальную традицию. В то же время он был абсолютным британцем и очень этим гордился, всегда четко соблюдал расписание, следил за временем, был превосходно организован (даже чересчур, как будто боялся потерять ориентацию), вежлив, любезен, хотя и сдержан, склонен к анонимной благотворительности — и все эти черты были совсем не русскими.

Наверно, стоит подчеркнуть, что вместо бесконечного русского чая мы пили вино. И в этом Уистан также вполне мог идти в ногу с любым из моих знаменитых соотечественников. Мы часто ужинали вместе. Если это было у нас, они с Честером[4] приезжали на метро. Выглядели они, что бы там ни было, как счастливая, идеальная пара. Когда Честер решил навсегда остаться в Европе, Уистан стал быстро сдавать (а может, наоборот, Честер уехал из-за изменений в Уистане?).

Поначалу, глядя на молодого белокурого Честера Калмана, в котором было что-то от ангела и от демона одновременно, я воображал, что Уистан развращает его и воспрепятствовать этому никак нельзя. Но со временем у меня закралось подозрение, что, может быть, это Калман губит Уистана. Правда, наверно, находилась где-то посередине... Они не могли обойтись друг без друга, но каждый при этом причинял другому вред. Именно это Уистан имел в виду, когда просил своих друзей соблюдать молчание (в разговорах или в письмах). По-моему, его желание, чтобы его письма были уничтожены, было связано исключительно с этим вопросом, который с годами все больше его беспокоил, и чем к более раннему периоду относились его истории, тем большей деликатности они требовали.

Прямо в дверях Одена приветствовал яростный лай Бамбука. Кроме меня, Уистан был, пожалуй, единственным человеком, на которого наш пес оскаливал зубы, и в такие моменты он казался тем, кто не очень хорошо его знал, уродливым и опасным. Уистан его не любил, и, может быть, он даже преувеличивал свое отвращение (или испуг). В такие моменты Изабелла обычно пела гимн, который она сочинила для нашей собаки, вообще для всех собак:

Кто собачек создал, Тот создал и котов,
Ведет Он нас к покою в лучший из миров.
Вав-вав, мяу-мяу — весь день там будем петь,
Быть с песиков Создателем — чего еще хотеть?

Грустный, глубоко тронутый Бамбук тихо внимал, ощущая всем своим существом, что этот вечер пройдет, как и вся жизнь, его и наша, и этого нельзя изменить (так зачем же лаять и беситься?). Единственный сдержанный комментарий Уистана по поводу этого представления был: «На маленькую собачку он совсем не похож». Много лет спустя в своем «Обращении к зверям»[5] он напишет следующие строчки: «Ты знаешь, что приговорен, но ничем не выдаешь этого». (Как он был неправ!)

В начале наших посиделок мы пару раз выпивали. Уистан предпочитал мартини или «Кровавую Мери». Водку он уважал, и мартини должен был быть крепким (три или четыре к одному). Он любил креветки и весь ассортимент русских закусок: копченый лосось, икру из крабов. Даже свиные ножки. И, разумеется, мясо и птицу. Он был принципиальным «любителем картофеля», вел бесконечные дискуссии о сравнительных преимуществах риса и картошки, Честер же был всегда на стороне риса. Даже когда Уистан стал придерживаться диеты, он неизменно «позволял себе» отведать какое-нибудь картофельное блюдо. Он энергично поглощал овощи (обожал лук и репу). Но салатов избегал, говоря: «Мама должна готовить!» Я никогда не видел, чтобы он прикоснулся к свежим фруктам, хотя он утверждал, что время от времени с удовольствием срывал с дерева сливу или спелый персик и тут же поглощал его.

Эта формула («мама должна готовить»), которую он изобрел давным-давно и которая, видимо, относилась к какой-то реальной ситуации, теперь закабаляла его. «Почему мама должна готовить?» — спрашивал я, но для него подобный вопрос был нарушением правил игры.

После ужина мы продолжали пить вино. Ему, кажется, было безразлично, что пить. Что касается еды, то с точки зрения количества он был весьма умерен. В период сразу после нашего знакомства мы пили много белого вина: он

покупал немецкое рейнское, а я — французское, в основном шабли или пуи фюссе. Позднее он перешел на итальянское красное вино, бардолино, которое покупал в огромных бутылках.

В наших разговорах он играл роль рационального собеседника, время от времени даже останавливая меня фразой «Василий, я думаю, ты сумасшедший» или «Нет, нет, Василий, ты не должен так говорить».

Он так задурил мне голову, что я даже просил у него совета в делах. И конечно, он был внутренне связан с высшей человеческой реальностью, так же как и Толстой, — это черта всех гениев (включая Гете), несмотря на их фантазии. В конце жизни, когда он слишком много пил, появлялся в тапочках и в грязной рубашке и не соблюдал многие иные правила поведения, я все еще думал и говорил: «Но он, должно быть, знает, что делает!» Это вело ко многим ошибкам, за которые я чувствую свою вину, хотя вряд ли я мог чем-нибудь помочь. Один из его друзей, доктор Давид Протеч, его личный врач, говорил мне, что ему удалось добиться от Уистана только обещания съедать одну картофелину в день. «Он пьет, как сапожник», — сообщал мне Давид, как будто открывая великую тайну.

Одно время они с Честером придерживались особой диеты. Когда я поздравил его с очевидной потерей веса, он отмахнулся: «Ну разумеется, это же диета, основанная на желатине!» (имея в виду: когда поступаешь правильно, то добиваешься нужных результатов).

Часто, уходя от него, мы оставляли его мертвецки пьяным с сигаретой в руке (и да, бывали пожары). «Но он должен отдавать себе отчет в своих действиях», — ободрял я Изабеллу. «Видимо, он в состоянии с этим справиться», — говорил я, а ведь меня обычно нелегко в чем-либо убедить.

Поражала его широчайшая эрудиция в предметах, вроде бы никак не связанных с литературой или просодией*: теология, физика, биология, психиатрия, музыка были творчески переработаны им в некую гармоническую целостность. Одна область, в которой он ничего не смыслил — и признавался в этом, — была живопись. Я не уставал удивляться, как человек с такими сверхразвитыми способностями мог оставаться совершенно слепым или глухим по отношению к столь важной сфере.

Он вставал рано утром, пил кофе и садился за свой заваленный бумагами стол. Он писал — статьи, эссе, выступления — в течение восьми или десяти часов в день, если его не отвлекали интервью, деловые встречи или обеды. На обычный обед он выделял полчаса, не пил вина или ликера, может, выпивал лишь пива и возвращался к работе. Днем он никогда не отдыхал и, уж конечно, никогда не дремал (хотя это пошло бы ему на пользу), потому что «мама бы не одобрила!».

Но, как бы он ни был занят своим творчеством, у него всегда находилось время помочь любому — другу или незнакомцу, — кто появлялся у него на пороге или звонил. Я знаю, что многие люди с проблемами психологического (и психиатрического) характера полагались на советы Одена, которые он считал просто «здравым смыслом», хотя на самом деле они были гораздо более полезными.

Ему нравилось преподавать, он был прирожденным педагогом; я восхищался тем, как он никогда не навязывал ученикам своих интерпретаций, но позволял им развиваться свободно в собственном темпе. Десятки молодых людей и девушек приносили и присылали ему свои стихи, и если ему что-то нравилось, он не оставался равнодушным, но пытался оказать содействие. И вот этот же самый человек

* Просодия (*греч.*) — стихосложение.

сказал мне однажды, что ему всегда очень неприятно слышать о публикации чьей-либо новой книги.

Оден много переводил, особенно поэтов из-за «железного занавеса», считая своим долгом способствовать тому, чтобы каждый созвучный ему голос был услышан (чтобы из каждой искры возгорелось пламя). Он с удовольствием переводил стихи с русского и участвовал в их публикации[6]. И это достойно внимания и восхищения. Наши местные примадонны до такой степени поглощены своим собственным творчеством и относятся к нему столь трепетно, что им и в голову не придет потратить свое драгоценное время на других (чьи произведения всегда кажутся им дрянью). Напротив, они злорадно насмехаются над наивными издателями, которые присылают им свои книги в безумной надежде получить от них одобрительную фразу для суперобложки.

Уистан заставил меня понять, что хороший человек может быть великим, а великий — хорошим, сеющим благородное и доброе повсюду, где бы он ни появлялся. И это вопреки тому, что, будучи психологическим левшой, он обладал садомазохистскими наклонностями, которые, мне кажется, очень тяготили его. Но, конечно, многие его противоречия уравновешивались замечательным чувством юмора.

Несмотря на всю свою уникальность, Уистан мог вести себя так, как будто он был частью общего хора (команды, артели), трудящегося с незапамятных времен и устремленного в далекое будущее... возможно, эта мысль не слишком здравая с точки зрения теологии, но все же ценная. (Он всегда критиковал манихейцев[7], но несколько раз признал, что очень легко можно принять их точку зрения.) Когда Изабелла однажды сказала ему, что я, эмигрантский писатель без читателя, считаю себя просто «трудягой», он завопил: «Точно! Вот именно!»

За двадцать лет я редко публиковался в США, и только по-русски. Некоторые переводы появились во Франции и Италии.

Затем Изабелла решила перевести мой последний роман (в начале шестидесятых). Когда Уистан получил рукопись романа «По ту сторону времени», он позвонил на следующий день, поделился со мной своими впечатлениями и прибавил: «Я сделаю все, чтобы эта книга была издана». Он послал экземпляр С. Дэй Луису[8]; когда роман был принят, он написал предисловие, которое представляло столь общий интерес, что один здешний хитроумный критик умудрился приводить из него цитаты, вообще не ссылаясь на «По ту сторону времени».

Уистан редко читал рецензии на себя и немедленно выбрасывал, если я ему их приносил. Однажды, когда я был у него, пришла недавно опубликованная книга о нем, и он попросил меня забрать ее насовсем. Но он знал, как важны были отзывы для его друзей; он позвонил мне, чтобы сказать о появившейся в журнале «Нью-Йоркер» рецензии на «По ту сторону времени», и если бы не он, я бы точно пропустил ее. Он написал мне из Австрии и сообщил, что мой текст, опубликованный в его книге «Некий мир»[9], был особо отмечен Сирилом Коннолли[10].

Как «литератор» (его собственное определение) он придерживался безупречной профессиональной этики. Несколько раз я напоминал ему о пушкинской шутке: «Литература прейдет, а дружба останется», — говоря, что замечательный критик и поэт парижского периода эмиграции Адамович любил прикрываться этой формулой. Но на Уистана это не действовало. Он никогда не продвигал своих любимчиков, никогда не восхищался произведением по какой-либо иной причине, кроме его непосредственных достоинств, и, по крайней мере в том, что касается прозы, никогда не писал отзыв о книге, если она ему не нравилась. Впрочем, ему не приходилось, в отличие от Адамовича, зарабатывать на жизнь еженедельными или даже ежедневными рецензиями.

На протяжении многих лет я мечтал познакомить этих двух моих друзей — Уистана Одена и Георгия

Адамовича, — столь разных, но в то же время столь похожих друг на друга. И наконец в 1971 году, уже к концу жизни и того и другого, это произошло. В тот год в День благодарения[11] я сиял, видя Уистана и Адамовича за нашим столом. Оба они были поэты, хотя и разного масштаба, оба чрезвычайно музыкальны, оба были критиками и гомосексуалистами, оба были способны «понимать» людей в толстовском смысле слова (т.е. в важных вещах не нуждаясь ни в каких объяснениях). Джон Антерекер[12] и, конечно, Алексис[13] также были в нашей компании. Мы ели гуся, запивая вином помар (которое особенно нравилось Честеру). Адамович, ставший в старости предельно осмотрительным, до вина не дотронулся. Уистана это поразило. «Что же это за жизнь?» — спросил он.

Однако Уистан почувствовал духовную близость с этим выходцем из былого Петербурга и в определенный момент очень серьезно попросил Изабеллу перевести (так как он отказывался говорить по-французски) его обращенные к Адамовичу слова на русский.

«Пожалуйста, скажи ему: я чувствую, что у нас одни и те же корни!» — сказал он и внимательно слушал, пока это переводилось. Это был непосредственный комплимент, совсем не в духе Уистана.

В тот же день или, может, накануне в Париже скончался пожилой старомодный эмигрантский писатель. Вздохнув, Адамович сказал, что завтра ему придется писать некролог и что он не готов к этому, хотя старик был уже давно и безнадежно болен. На это Оден рассказал, как он летал в Лондон записывать на Би-би-си панегирик Элиоту за несколько недель до его кончины, находя подобную процедуру очень удобной. На обычно абсолютно неподвижном, как у Будды, лице Адамовича поднялись брови, и он сказал: «Я бы никогда не смог говорить о живом человеке, как будто он уже мертв». Здесь проходил водораздел между «одними и теми

же» корнями в их западной и русской ипостаси. Вряд ли стоит уточнять, что в этом вопросе по своим мыслям (или чувствам) мне ближе Адамович.

Мы говорили о советских поэтах; некоторых из них Уистан переводил или помогал здесь опубликовать. Адамович заявил, что единственный, у кого есть потенциал для развития новой поэзии, — это Евтушенко. Но Уистан упорно отстаивал иного поэта. «Как вы можете судить? — удивлялся Адамович. — Я живу во Франции больше пятидесяти лет и все равно думаю, что не способен полностью проникнуть в суть французской поэзии». Мы все посмотрели друг на друга, как в гоголевских «Мертвых душах» («Странный человек этот Чичиков!» — думал про себя в недоумении Тентетников... «Какой, однако же, чудак этот Тентетников!» — думал между тем Чичиков).

Адамович умер несколько месяцев спустя. За ним последовали К. Дэй-Луис, Эдмунд Уилсон[14], Давид Протеч, моя сестра, мой агент и друг Сэнфорд Гринбургер и многие другие. Это было похоже на групповое обслуживание, как будто шарик рулетки останавливался все ближе и ближе (хотя и непредсказуемо). Я писал Уистану о каждой из этих потерь, попутно развивая свою теорию «случайностей», но в ответных письмах он почти никогда не отвечал на подобные сообщения, предпочитая следовать собственным мыслям.

Квартиры он выбирал, следуя своим капризам. Впервые я посетил его, когда он жил на Корнелия-стрит — эта квартира была слишком маленькой и дорогой. Затем последовала квартирка с холодной водой в Двадцатых улицах на западе Манхэттена, раньше там был простонапросто чердак. Я терпеть ее не мог и опасался, как бы его там не укокошили. В то время его дни рождения были камерными и довольно богемными, если не сказать незатейливыми. И все же было приятно слушать Уистана и наблюдать, как он сам слушал со щедростью великого

человека, интеллектуального короля. Он на минуту сосредоточивался, чтобы понять, стоит ли тема продолжения, затем задавал дополнительный, зондирующий, конкретный вопрос или же устранялся — и в этом он был неправ, — как устрица, которая закрывает свою ракушку, отказываясь от приема очень питательного, но неизвестного вещества.

В конце концов Уистан и Честер переехали на Сейнт-Маркс-плейс и очень гордились тем фактом, что когда-то в их квартире хозяйничал Троцкий, а затем один врач подпольно делал аборты.

Но каким интеллектуальным пиром, какими радостными событиями стали дни рождения Одена в пятидесятых и ранних шестидесятых годах. (Он родился 21 февраля — на грани между Водолеем и Рыбами.) Две просторные комнаты на Сейнт-Маркс-плейс бывали до отказа полны гостей: кто стоя, кто сидя, все они пили лучшее калифорнийское шампанское, в котором не было недостатка.

Гранд-дама Эдит Ситуэлл[15], напоминавшая мне по осанке и прическе Зинаиду Гиппиус. Ее страдающий болезнью Паркинсона брат с устрашающей гримасой. Марианн Мур[16], сияющая восьмидесятилетняя девственница. Эдмунд Вилсон, медлительный, педантичный, тяжелый, как мастиф; его глаза, казалось, опухали от количества выпитого, но при этом никаких иных признаков опьянения не наблюдалось. Моложавый Роберт Грейвс[17], который, наверно, выглядел моложе, чем в предыдущие годы. Дженни Турелл[18] (одна из тех, кто умер в семидесятых). Лотте Леня[19], в своей детской одежде похожая на беспризорницу. Урсула Нибур[20] в откровенном декольте на мраморной коже. Вечно свежая и распространяющая свежесть Анн Фримэнтл[21]. Элизабет Майер[22] со своей свитой. Ханна Арендт[23] и доценты среднего возраста в сопровождении ревнивых жен. Николя Набоков[24] с асимметричным лицом, но говорящий все еще очень отчетливо, несмотря на инсульт. Линкольн Кирстейн[25], сдержанный, суховатый, легко

передвигающийся — почти на цыпочках, — несмотря на свой мощный каркас, до сих пор временами напоминающий торжествующего молодого человека с картины Челичева[26]. И целая толпа новых или молодых поэтов с партнерами обоего пола. Уистан передвигается из комнаты в комнату, из угла в угол, блаженно делая снимки фотоаппаратом со вспышкой, который он только что получил в подарок. Эд Вилсон, заслоняясь от вспышки, заставляет себя пригубить шампанское (обычно он употребляет исключительно виски или джин). Застывшая в углу с бокалом виски с содовой Луиз Боган[27], вокруг которой перемещаются, меняясь местами, собеседники. «Где это вам удалось раздобыть виски?» — спрашивает подающий надежды молодой поэт. «Кто-то принес в подарок бутылку, но все уже выпито», — отвечает она подчеркнуто трезвым голосом.

Тогда у меня было чувство неизменного присутствия и постоянства. Но как скоро эта вечность кончилась!

Пока хозяйством занимался Честер, там было очень приятно. Но позднее у Уистана стало по-настоящему грустно и беспросветно, хотя время от времени появлялась горничная и делала поверхностную уборку. Я бы сказал, что конец определенного счастливого периода в жизни Уистана совпал с его переездом из голубизны средиземноморской Искии в серый австрийский дом, которым он так гордился и который так любил. Честер вскоре перестал возвращаться на зиму в Нью-Йорк, предпочитая Грецию с ее удовольствиями, и постепенно все, кроме работы, пошло у Уистана наперекосяк, и он начал преждевременно стареть. Его переезд в Оксфорд был всего лишь последним шагом на этом пути.

Он никогда не пытался обосноваться или создать себе второй дом во Франции. Уистан принципиально недолюбливал французов, вплоть до отрицания их великой поэзии. Он ценил Рембо, но всегда утверждал, что на самом деле он был английским поэтом и что было бы еще лучше, если бы он писал по-английски. Разумеется, он был

способен цитировать парадоксы Жана Кокто и афоризмы Валери, даже некоторые из прустовских метафор, но это его глубоко не затрагивало. Он был искренним почитателем Колетт и всегда положительно отзывался о Викторе Гюго. (Что касается Бодлера, то его отношение становилось все хуже и хуже; однажды, когда я процитировал строчку из «Маяков» — «*C'est un cri répété par mille sentinelles...*»*, — он разразился бешеным, презрительным хохотом.)

Я полагал, что, возможно, французы оскорбили его своим почти полным к нему равнодушием. (Однажды в довоенном Берлине он встретился с Андре Жидом и никогда не смог забыть, как старик заставил его платить за все развлечения.) Действительно, Франция была единственной страной, где Оден практически не был известен и переведен (а может, и до сих пор?). Его болезненное пристрастие к немецкому языку и поэзии было, по моему мнению, своего рода уходом от настоящего вызова.

Русскую литературу он уважал, восхищался Толстым и, возможно, еще в большей степени Чеховым. «Смерть Ивана Ильича» его глубоко потрясала; он предпочитал «Анну Каренину» роману «Война и мир», который на Западе многие не в состоянии переварить. Однажды на протяжении целого сезона Честер читал ему роман «Анна Каренина», и они оба рыдали над ним. (Но, разумеется, из Диккенса он мог цитировать наизусть целые страницы: из «Больших надежд», «Крошки Доррит», «Нашего общего друга».) В Чехове он уважал европейца, гармоничного, тихого джентльмена, не испытывающего жалости к себе, понимающего цену недоговоренного, великого человека, который не искал для себя привилегий.

Его завораживали «Записки из подполья» Достоевского; его изумляло, что главный герой перед столкновением на

* Тысячекратный зов, на сменах повторенный (*Пер. В. Иванова*).

улице с неведомым врагом — дерзким офицером «вершков десяти росту» — считает необходимым купить новый меховой воротник, чтобы выглядеть comme il faut* для такого случая. (Но он всегда говорил, что не хотел бы разделить трапезу с Достоевским, не говоря уж о любом из его персонажей.)

По поводу русской поэзии он заявлял с огромным облегчением, что не знает языка и поэтому не может судить о Пушкине и Лермонтове. Что касается французской литературы, у него не было подобного оправдания: он обладал достаточным знанием языка. То, что Уистан знал, он знал хорошо. Но у него было плохое произношение, и из-за этого, возможно, он держался на расстоянии (он не любил чувствовать себя человеком «второго сорта»).

Несмотря на его искреннее отвращение к рецензиям и книгам о себе, он более чем терпимо относился к интервью, особенно сопровождавшимся фотографиями, утверждая, что таким образом он может помочь своему издателю. Однако он неизменно вздыхал, читая в журналах глупые описания его дома и блюд, приготовленных Честером.

Он действительно мучился, слушая, как кто-нибудь пространно высказывается о его творчестве («обычно меня хвалят не за то»). А к критике он относился отнюдь не беззлобно. То, чего ему хотелось услышать после того, как он давал нам прочитать новое стихотворение, было просто «хорошо», «очень хорошо», «весело»... тогда он кивал и был совершенно удовлетворен, или, по крайней мере, так казалось. (В последние годы критики часто проявляли к нему враждебность, как ослы, лягающие стареющего льва.)

Он, безусловно, страдал от последствий своих былых увлечений — всех этих молодых людей. Его просьба уничтожить его письма относится, по-моему, исключительно к этому. В нашей же переписке центральной темой было

---

* Подходяще, соответствующе, достойно (*фр.*).

его, а иногда и мое творчество. И всегда в эти письма было вписано хотя бы одно стихотворение, часто скопированное на оборотной стороне рукописного текста.

Уистан попросил «всех друзей, у которых сохранились мои письма, сжечь их, как только они им больше будут не нужны, и ни в коем случае никому их не показывать». У.Х. Оден был очень практичным человеком (и в этом он напоминал мне Толстого); он обладал «здравым смыслом». Добавив «как только они им больше будут не нужны», он дал мне ключ к отгадке. Разве письмо с одним из его стихотворений на оборотной стороне, со стихотворением, исправленным его собственной рукой и чуть-чуть отличающимся от окончательной редакции, должно быть уничтожено? По получении моего романа «Кимвал бряцающий»[28] он написал мне аналитическое письмо об «этой захватывающей книге». Когда же оно мне «больше будет не нужно» и предназначено к уничтожению? За две недели до смерти он написал мне, что у него сдает сердце, и о том, что сказал ему доктор и что, «слава богу», его рассудок пока еще в полном порядке, — кто бы осмелился уничтожить эти признания? В том же письме (от 3 сентября 1973 года) он также весьма характерно упоминает (так как на себе лично он никогда долго не задерживался) о книге одного врача, которую он счел уникальной и на которую собирался написать рецензию для «Нью-Йоркера». Насколько мне известно, эта рецензия так никогда и не появилась, да и сама книга, видимо, так и осталась неопубликованной. Будет ли соответствовать истинным намерениям Одена, если мы уничтожим всякие следы его отношения к этому замечательному тексту? Мой ответ на это — решительное «нет».

Когда бы Уистан ни ронял в разговоре, что желает уничтожения своих писем, я всегда отвечал, что я понимаю это так: его шальные выходки или же суровые суждения не должны быть преданы огласке...

Но даже здесь остается лазейка. Например, однажды в состоянии шока он сообщил, что «какой-то идиот предложил кандидатуру Мохаммеда Али[29] на место профессора поэзии в Оксфорде». Я не думаю, что подобное выражение потрясения и подобные реакции могут быть отделены от его жизни и творчества в целом (его точно так же изумляли «модернизированные» церковные службы, в которых использовались компьютеры, политика, телевидение и видео, и призыв к публике присылать материал для мюзикла «О, Калькутта!»).

Чтобы избежать «новой литургии» с хиппи и джаз-гитарами, он одно время посещал русскую православную церковь на Ист-Секонд-стрит и получал неслыханное удовольствие от службы на непонятном ему языке.

Лишь одна область, в которой, я уверен, его друзьями должна соблюдаться абсолютная конфиденциальность, — это темные области гомосексуализма, в которых, хочешь не хочешь, приходится сталкиваться с разными проститутками, сутенерами, ворами и шантажистами. «Неразборчивый педераст ужасен», как давным-давно говорил мне Адамович. И по моим наблюдениям, Уистан тоже все больше корил себя за некоторые случайные приключения ранней молодости и, наверное, раскаивался (по крайней мере, он точно не являлся активистом гомосексуального движения). Во время скандала, когда его порнографическое стихотворение было выкрадено и напечатано в «Авангарде», он пережил настоящий кризис. «Я не желаю об этом говорить. Не желаю об этом говорить!» — прервал он меня на полуслове. Я восхищался таким защитным механизмом (на его месте я обмусоливал бы это до полного изнеможения).

Постепенно он внешне совсем опустился. Он почти не покупал новой одежды. Но однажды он явился в совершенно новом зелено-бежевом костюме, который он купил при содействии одной приятельницы, и этот факт удвоил в его глазах ценность костюма. Затем он начал носить

элегантный пиджак, принадлежавший ранее мужу Ханны Арендт. «Я ношу одежды усопшего», — говорил он, усмехаясь, очень довольный тем, что хорошая вещь не пропала. Коричневый свитер, подаренный нами на день рождения, он надел моментально и никогда — по крайней мере, так нам казалось — не снимал. Так он ему нравился, как он говорил. Поэтому, а также по гигиеническим соображениям мы подарили ему идентичный темно-зеленый свитер в следующем году. (Но мы никогда его на нем не видели.)

Честер содержал их дом в чистоте, заставлял его надевать свежие рубашки, менял постельное белье и готовил (если о великом шеф-поваре можно сказать, что он просто «готовил»). В тот период Уистан имел обыкновение повсюду носить с собой свои знаменитые тапочки, переобуваясь в них только по прибытии к месту назначения. У него были большие ноги Рака (а не Рыб) с косточками, он всегда испытывал дискомфорт, и тапочки казались ему выходом из положения. Но вдруг он начал ходить в них и по улице, в дождь и в снег, появляясь на вечеринках и конференциях в рубашке с оборванными пуговицами, обнаженной грудью и с животом как у мадонны с бамбино в утробе; он тяжело дышал, безостановочно курил, напивался и стремился вновь спрятаться в своей норе, в темной постели. (Он любил туннели. Когда бы мы ни приближались к туннелю Мидтаун, он всегда говорил: «Это мама».) Уистан плавно увеличивал время на сон, так что люди, знавшие о его былой привычке вставать в семь, попадали в неловкое положение, приходя к нему около девяти.

Он спал в похожей на шкаф комнате, почти полностью занятой широкой кроватью, покрытой давно истрепавшимся и вылинявшим стеганым одеялом. В прошлом году, когда при посещении Толедо я увидел простую (но прочную) кровать Эль Греко с тяжелым косматым одеялом, я вспомнил об Уистане.

Великий поэт, ходячая организованная энциклопедия, англиканский теолог с картезианским умом и англосаксонским чувством юмора, он жил, как Диоген, сам того не осознавая, не выбирая и не обращая внимания на свой образ жизни и никогда не производя впечатление, что ему чего-то недостает.

«Но он должен знать, что делает, — убеждал я себя. — Так он спокоен, и ничто не мешает его работе». И для меня проблема была исчерпана. Сейчас я отдаю себе отчет в том, что он не всегда знал, что делает, что он был очень уязвим и все больше нуждался в чьей-нибудь заботе.

Однажды, около десяти лет назад, он признался мне, что его половая жизнь подходит к концу, и в ответ на мое удивленное восклицание: «Но ведь это ненормально!» — ответил, дружелюбно, отечески улыбаясь: «Что ж, когда все остальное ненормально, это тоже не может быть нормальным». Это замечание впервые заставило меня осознать, что в общем и целом у него всегда было много проблем с физиологией и что он был не совсем здоров.

Кажется, в тот же самый вечер мы говорили о смерти Сократа, о том, как после долгой проповеди, полной банальностей, он наконец лег на постель, повернулся лицом к стене (отвернувшись от всего живого) и умер в одиночестве и молчании. «Вот так уходят гордые люди и мудрые животные», — был мой комментарий. «Не волнуйся, я знаю, как умереть», — убедительно проговорил Уистан, покачивая своей большой благородной головой.

Поездки с лекциями были крайне утомительны, и чем больше ему за них платили, тем более изнурительными они становились. И все же он считал, что они были необходимым подспорьем для его бюджета, чего я просто не мог понять. Я знал, что гонорары за книги, статьи, либретто опер, которые оставались в репертуаре, приносили ему более 25 000 в год. Зачем ему было нужно удваивать эту сумму? В денежных делах он все больше поддавался панике, пытался

сэкономить на том, что курил трубку вместо бесконечных сигарет, по-детски преувеличивал необходимость получения Нобелевской премии — и все это для того, чтобы оставить состояние Честеру? Нелепость. Однажды при посредничестве книжного клуба у него появилась возможность выгодно застраховать свою жизнь, и он это сделал в пользу Честера на 75 000. Нам он об этом рассказывал в присутствии самого Честера, который сохранял свой обычный ангельский вид.

Во время лекционного турне ему приходилось путешествовать целый месяц, вдоль и поперек бороздя Соединенные Штаты, читая по пятнадцать лекций и проводя почти каждую ночь в другом городе. Из последнего турне он вернулся таким усталым, что поклялся больше никогда этого не делать. (И тем не менее незадолго до смерти он подумывал еще об одной столь же изматывающей поездке.) На случай, если он не сможет заснуть в этих мрачных гостиницах, я дал ему десять капсул секонала*, но он ими практически не пользовался: выпивая вечером бутылку вина (не считая двух мартини), он с легкостью погружался в дремоту и просыпался в четыре утра. Затем он поглощал одну из порционных бутылочек водки, которые всегда имел при себе, и это помогало ему дотянуть до утра.

Вскоре после поездки он «грохнулся» прямо на улице или, по крайней мере, на минуту потерял сознание. Его это, должно быть, напугало, так как он мне позвонил прямо на следующий день, хотя толком так и не рассказал, что именно произошло. «Я хочу, чтобы ты стал моим врачом и лечил меня», — сказал он. Я объяснил ему, что это не самый лучший вариант: из-за моей специализации у меня не было кабинета, оборудования или возможности получить при необходимости место в больничной палате... Лучше было бы найти хорошего терапевта. Он покорно согласился, и я не

---

* Секонал — успокоительное и снотворное средство.

могу себе простить, что действовал столь рационально вместо того, чтобы немедленно отправиться к нему и просто его подбодрить, хотя по существу это ничего бы не изменило.

Нам удалось записаться на прием только через несколько недель. Так получилось, что врач, которого я выбрал, сам страдал закупоркой коронарных сосудов (хотя я об этом не знал). Как обычно, осмотр ничего особенного не выявил. Слегка повышенное давление, некоторые признаки эмфиземы, намек на ишемию миокарда, чуть-чуть того, чуть-чуть сего, ничего страшного. В результате возникало обманчивое впечатление благополучия, как будто только колоссальная встряска способна полностью вывести из строя наш организм. После прибытия в Оксфорд он направился на рутинный осмотр. В соответствии с правилами местный врач запросил сведения о результатах предыдущего осмотра у своего нью-йоркского коллеги — и все остались довольны.

Чтобы нормально функционировать, Уистану нужны были строгие правила, распорядок дня, программа. Он неустанно следил за временем и придерживался расписания почти с ритуальным благоговением, как будто чувствовал, что только твердый корсет сможет дать его мягкому телу необходимую поддержку и заставит его действовать с наибольшей отдачей. Он заставлял себя быть четким и пунктуальным, на сто процентов соблюдать режим, малейшее отклонение от которого могло привести его в ярость.

То же со скупостью: как англосакс, он считал экономность христианской добродетелью и в нюансах превосходил самого себя. И в то же время, как и Толстой, он знал, что за свой труд получает слишком много. «Это слишком», — сетовал он, чувствуя, что грех жить за счет менее удачливых.

Ради того чтобы помочь другим, он не скупился на время и даже на деньги. Он был первым, кто прибыл в «Католический работник», когда Дороти Дэй[30] так нужны были деньги, и передал ей чек. «Вот два пятьдесят», — сказал он. Дороти,

которой было необходимо собрать двести пятьдесят долларов, перед тем как предстать в то утро перед судом, поблагодарила человека в потрепанной одежде и только позднее поняла, что это был Оден, который дал ей чек на всю сумму, а не только «два пятьдесят». (В газетах об этом эпизоде написали с лестными комментариями. Трудно сказать, повезло или не повезло Уистану в этой или в иных подобных ситуациях. Позже, обсуждая со мной этот эпизод, он произнес: «С религиозной точки зрения, все было неправильно».)

Для него очень важны были его друзья, каждый из них, и это было неизменно. Он никогда не был в состоянии понять, почему люди, которых он так любил, конфликтовали между собой. «Как странно, — признавался он. — Мне нравится и Н., и М., и я их сам познакомил, а они друг друга возненавидели». Мне это казалось совершенно нормальным: в психологии две величины, равные третьей, не всегда равны друг другу.

Со временем ему все меньше хотелось знакомиться с новыми людьми (особенно потому, что они все умирали). Разумеется, мне хотелось представить его Дороти Дэй, и они познакомились на собрании «Третьего часа». Но только один раз я смог уговорить его посетить ее ферму, которая находилась тогда на Стэтен-Айленде. Мы отправились в моей машине; он вез галлон калифорнийского вина. Вот что об этом визите пишет Дороти: «Мой друг доктор Базиль Яновский представил меня Одену на собрании экуменической организации “Третий час”, и оба приехали меня навестить, когда я была больна и находилась на ферме “Питер Морин” на Стэтен-Айленде. Оден привез стихотворение для следующего выпуска “Католического работника”».

Но больше он никогда не присоединялся к нам во время наших поездок туда. Не приходил он и в китайский ресторан на Второй авеню, в котором мы иногда ужинали с Дороти. «Я знаю, она замечательный человек, возможно,

святая, — объяснял он, — но сказать ей мне совершенно нечего» (или что-то в этом роде).

Поэт, романтик и даже, возможно, дионисиец (несмотря на свои аполлонические черты), он подчинял всю свою жизнь железной дисциплине и упорно придерживался солнечного (рационального) режима. Когда мы куда-нибудь вместе собирались и я появлялся на пять минут позже, он уже ждал у подъезда дома № 77 на Сейнт-Маркс-плейс, с плохо скрываемым неодобрением покачивая своей тяжелой бледно-зеленой головой. Скорее всего, такая суровая дисциплина помогала ему, но его расписание становилось с годами все более жестким. Под конец, когда я заходил к нему во второй половине дня, как он говорил, «на чашку кофе», то только этого и можно было ожидать, и если я просил чего-нибудь покрепче, он огорчался. «Как ты можешь позволять ему пить в такой час?» — укорял он Изабеллу. Но минуту спустя со вздохом поднимался и отправлялся на кухню за бокалом, чтобы без промедления налить мне вина.

После отъезда Честера в кухне, а также в ванной воцарился полнейший беспорядок.

«Ты что, писаешь в унитаз?» — спрашивал он меня с благородным удивлением, услышав, как я спускаю воду в туалете (дверь уже давно не закрывалась).

«Да, а как же иначе?»

«Все, кого я знаю, мочатся в раковину. Это привилегия мужчин», — мягко отвечал он, пытаясь не унизить мое мужское достоинство.

У него было особое отношение к туалетной бумаге, и он утверждал, что ненавидит людей, которые слишком активно ею пользуются (что никогда не ускользало от его внимания).

Вообще, несмотря на свое дружелюбное расположение, он часто «ненавидел» что-либо или «определенный тип людей». «С ним так скучно, — было его обычной инвективой. — Как скучно, какая зануда!» Он редко употреблял слово «дерьмо»

и обычно только по отношению к модному критику, поэту или «мыслителю» (и тогда он полушептал, прикрывая губы рукой).

До того как я бросил курить, я никогда не брал больше одной или двух из его сигарет «Лаки страйк», так как он «ненавидел» такую фамильярность. Однажды я принес ему целый блок и между делом упомянул, что это даст мне право воспользоваться этими сигаретами в случае крайней надобности, однако он заверил меня, что ему все равно это не понравится.

Положенным временем для напитков было шесть часов; он любил мартини и мартини с водкой. Очень крепкий и в большом стакане, совсем не похожем на бокальчик для мартини. Когда я впервые попросил оливку или корочку лимона, он был потрясен, но после некоторых колебаний принес их (это было в то время, когда покупками занимался еще Честер). Оден не любил сюрпризов, перемен, отклонений, всего, что могло вывести его из равновесия.

Затем следовал ужин. В последние годы мы ужинали только у него или у нас, так как он страдал, когда он сам или даже я оплачивал «эти невероятные счета». Раньше в его доме царило веселье: проигрыватель играл Вагнера или Вайля[31], Уистан напевал мелодии из «Похождений повесы»[32], мы смеялись и обменивались каламбурами, Уистан радостно показывал новые стихи, книги, фотографии, а Честер приносил из кухни свои божественные яства. Поистине наше счастливое присутствие и постоянство, казалось, не имели конца. После отъезда Честера мы обычно заваливались в ярко освещенный итальянский ресторан для хорошего неторопливого ужина. Но сейчас, в его квартире, трапеза была довольно грустной. Уистан постоянно бегал на кухню (как будто там действительно что-то могло подгореть). После ужина мы продолжали пить бардолино, и Уистан периодически хладнокровно поглядывал на часы. Следуя за прерывистой линией своих ассоциаций, он показывал нам или стихотворение, или какую-нибудь замечательную книгу,

только что им полученную, пока в определенный момент не заявлял: «А сейчас мне пора спать» или «Пора мне в постель». Поначалу это случалось в одиннадцать часов, затем в десять, потом в половине десятого и в конце концов даже в девять (а когда он был у кого-то в гостях, он убегал в своих тапочках, как будто спешил на важную встречу).

Под влиянием вина он с трудом слышал, о чем говорилось в конце вечера, отвечал невпопад или повторялся. В одном разговоре я процитировал определение поэта Райдера. Уистан с трудом дождался, пока я не закончу говорить, и парировал собственным афоризмом, который он уже неоднократно повторял: «В работе я руководствуюсь двумя соображениями: в одних случаях я говорю о тексте “еще нет”, в других — “уже нет”». Видимо, он был вполне удовлетворен такими принципами и находил столь удобными, что часто их повторял. Иногда он звонил довольно поздно (для него), чтобы рассказать что-нибудь смешное по второму или третьему разу. «Она спрашивала о знаменитой опере, “типа Христианских солдат”! Оказалось, ее интересовала опера “Тристан и Изольда”».

У него было чувство юмора «понимающего» человека в толстовском смысле слова; одно удовольствие было рассказывать ему что-нибудь смешное: он моментально схватывал изюминку и разражался смехом — в том случае, конечно, если уже не клевал носом. Это прискорбный факт, но в пожилом возрасте он быстро пьянел от водки и мартини; он и не старался не пьянеть, как он не стремился больше прилично одеваться. Его единственная функция сводилась теперь к тому, чтобы писать, и когда дневной труд был закончен, ему не терпелось как можно скорее впасть в забытье (правда, он никогда не буянил).

Со дня на день он мог забыть, какого мнения он придерживался о чем-нибудь раньше, и никогда не поправлял себя в банальных вопросах. (И это часто выглядело предательством.) «Мне совсем не нравится (рассказ,

название)», — говорил он. А в следующий раз: «Да это замечательно!» Конечно, люди меняют свои предпочтения и допускают чужие влияния, но то, что он не помнил о своем предыдущем восприятии, было отсутствием уважения или симптомом лакун в его памяти, в которой, видимо, формировались туманные области (и он не старался их скрыть).

Около десяти лет назад мы пришли к нему, чтобы познакомиться с советской литературной сановницей — эта дама задумала издать том современной американской поэзии в русских переводах. Уистан пригласил нескольких поэтов, самых лучших из имевшихся в наличии, и полагал, что, как писатель русской эмиграции, я смогу украсить эту компанию. У него была водка, вино и даже копченая осетрина (или мясо акулы — Честер не раскрывал свои кулинарные секреты). Советская дама прибыла с переводчицей, худосочной русской девушкой, родившейся в Америке, которая доблестно охраняла свою тучную подопечную. Вечер проходил в дружественной, моментами даже весьма оживленной обстановке, хотя Уистан позднее утверждал, что я спросил комиссаршу: «За что вы убили Мандельштама?» В конце осталось два или три американца (комиссарша уже удалилась), и по какой-то, с моей точки зрения абсолютно оправданной, причине я дал затрещину одному из «лучших поэтов». Уистан окаменел. «Как ты можешь!» — воскликнул он с истинной болью в голосе. Честер прирос к креслу, хотя и улыбался с наслаждением. Так получилось, что несколько недель спустя у Уистана возникли разногласия с этим поэтом; мы беседовали о нем, и я сказал вскользь, как я раскаиваюсь, что так плохо с ним обошелся. На что Уистан тут же с энтузиазмом и убеждением произнес: «Нет-нет, у тебя были все основания так поступить». Подобные противоречия и маленькие измены не имели для Уистана никакого значения. Он всегда был поглощен своей

работой, и в ней он был честен, смел, героичен и даже свят. И, само собой разумеется, он никогда не пренебрегал тем, что считал своим моральным долгом, несмотря на все свое поэтическое отчуждение и регулярную творческую работу. Он всегда был готов дать совет неврастенику, помочь писателю или поддержать больного друга.

После того как дети поместили Элизабет Майер в дом для престарелых, Уистан периодически ездил на метро в Бронкс, делал пересадку, дожидался автобуса — и все для того, чтобы навестить старую и уже практически выжившую из ума даму. Пару раз мы там столкнулись с ним по чистой случайности. Эти визиты в душные помещения дома для престарелых были тяжким испытанием, изматывающим и, скорее всего, бессмысленным занятием. Уистан откровенно мучился и, проведя там около получаса, выбегал, облегченно переводя дух. Он не переносил это заведение. Но для Элизабет, разбитой и подавленной, но все еще тщеславной, это были моменты триумфа. Сгорбленные старухи и даже некоторые из особо эрудированных работников заходили взглянуть на известного поэта, «который так похож на свои портреты».

Когда я впервые был представлен Элизабет, ей было за семьдесят. Она была разумна и величественна, вела себя как признанная знаменитость, гранд-дама, говорила без умолку, намекала на свои связи с известными людьми и, несмотря на весь свой шарм, наводила на меня смертельную скуку. Она была типичным Овном — лидером. Однажды я спросил Уистана: «А что тебя в ней так привлекает?» Немного поколебавшись, он ответил: «Das ewig Weibliche»*!

Что касается ewig Weibliche, то я, конечно, уже давно спросил его (как спрашиваю всех друзей-гомосексуалистов), вступал ли он когда-либо в половые отношения с женщиной. Он ответил утвердительно. Когда я сообщил ему, что

* Вечная Женственность (*нем.*).

для Адамовича подобный опыт был самым кошмарным событием (не исключая ленинский переворот и развязанную Гитлером Вторую мировую войну), Уистан удивился. «На меня это так не подействовало, — сказал он. — На меня это вообще никак не подействовало. Просто я чувствовал, что притворяюсь». (Это все, что я когда-нибудь слышал от него о его безуспешной попытке «гетеросексуализироваться».)

Покидая Элизабет Майер и ее дряхлую компанию, мы жадно вдыхали дымный воздух Бронкса, который в те минуты казался нам таким свежим. «Она готова к смерти», — говорил Уистан, как будто это было утешением. (Возможно, он уже «слышал» строфы, которые скоро напишет о своих посещениях дома для престарелых[33].)

На панихиде по Элизабет в Маленькой Церкви за Углом ее сын Майкл, в состоянии очевидного напряжения, вел литургию, а Уистан прочел стихотворение, написанное к ее восьмидесятилетию. Стихотворение было до такой степени полно намеков на личные отношения, что никто не мог его понять, кроме него и нее (а ее с нами уже не было).

Столь же преданно Уистан посещал Давида Протеча, который подвергся лечению лазерными лучами: у него была опухоль гипофиза. Впоследствии он посвятил ему следующие строки:

Most patients assume
Dying is something they do,
Not their physician,
That white-coated sage,
Never to be imagined
Naked or married...*[34]

---

* Большинство пациентов уверено,
Что умирание — дело умирающего,
А не забота врача,
Этого мудреца в белом халате,
Которого не представишь себе
Ни женатым, ни голым... (*Пер. с англ. Романа Дубровкина.)*

Такт и чувство причастности неизменно подсказывали Уистану, что надо делать, и он безошибочно приводил свой план в исполнение (в данном случае следовало написать панегирик).

Тех, кто, по его мнению, «был причастен», он поддерживал как только мог, но его невозможно было заставить сделать кому-нибудь «одолжение» в литературе (по крайней мере, когда речь шла о прозе). В своей профессии он вел себя так же, как безупречный хирург или юрист в своей.

В течение нескольких лет он считал своим долгом приходить на заседания «Третьего часа», хотя они его по-настоящему не очень интересовали. Он даже вставлял пару слов во время дискуссий, осознавая, что все этого от него ожидают и очень ценят. Мы выходили незадолго до конца собрания и направлялись в бар по соседству (в районе Семидесятых улиц в восточной части Манхэттена), если там не было слишком темно и не играла громкая музыка. («Это для черномазых», — говорил он, человек, в чьем доме я встречал немало негритянских поэтов.) В те годы он все еще с удовольствием пил виски, Изабелла заказывала шерри, и мы продолжали наш спор.

Он настаивал на представлении об искусстве как об игре, которая разыгрывается по правилам. «Автору должно быть весело писать, а читателю весело читать. Зачем быть серьезным?» — дразнил он меня. «Потому, что это весело!» — наконец парировал я. Это понятие игры мне никогда не казалось убедительным, ведь игра по-гречески — «агонос» (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Эти часы были по-своему приятны и насыщенны. Когда мы ужинали у него или у нас дома, нам надо было заботиться о еде и напитках; кто-нибудь обязательно суетился и бегал на кухню... Но здесь, в баре, нам было спокойно, виски помогал настроиться на дружелюбный лад, а счет мы делили пополам.

Он никогда не отказывал «Третьему часу» в своих произведениях — всегда давал самое лучшее и совершенно

безвозмездно. Например, в третьем номере было помещено великое (я бы даже сказал, гностическое) стихотворение «Иносказание»[35]:

> Speak well of moonlight on a winding stair
> of light-boned children under great green oaks,
> the wonder, yes, but death should not be there*.

Это доказывало, что между нами, в конце концов, было не так уж много различий, хотя он старательно соблюдал установленные правила: никогда не бунтовать, строить на мощном и добротном, уже существующем фундаменте (а недостатка в этом не было). Он отрицал Николая Федорова с его союзом сыновей для воскрешения отцов. Об этом оригинальном русском философе он знал немного от меня. «Отцы должны отходить в мир иной», — настаивал он.

Кроме того, он любил предстать бесстрашным викингом, принимающим смерть, кровь и клинок как неизбежность. (Его «Старшая Эдда»[36] иллюстрирует именно эту ипостась его личности.) Но за несколькими каменными фасадами скрывался нежный и благородный Уистан, христианин с некоторыми гностическими (или, как сказал бы англичанин, манихейскими) сомнениями. Другими текстами, которые он подарил «Третьему часу», были «Сезон охоты»[37] и «Луна в Х.»[38]. В самом последнем, «Гарнизон»[39], он с гордостью рассказывает о том, как его с Честером направили в гарнизон, где они выполняют свой долг, безмолвно и честно защищая цивилизацию. Тогда я написал ему, что в русской гарнизонной службе существовала процедура разжалования (особенно из гвардейцев) и что офицеры в результате просто спивались, но он проигнорировал мои слова. Вообще в письмах он никогда

---

* Скажи о лунной лестнице в ночи,
О хрупких детях под волшебным дубом,
А вот о смерти лучше помолчи (*Пер. с англ. Романа Дубровкина*).

не отвечал на замечания о его стихах, разве что они были конкретными и имели отношение к стихотворной форме.

Он знал, чего он стоит, и особо не нуждался в поддержке со стороны. После того как он давал мне какие-нибудь стихи или эссе, он обычно звонил рано на следующее утро и спрашивал: «Ну что, прочитал?» Он ожидал одобрения, подтверждения, даже похвалы, но редко выслушивал то, что ему говорилось, до конца. В некотором роде он так же поступал, когда я давал ему почитать что-нибудь из своего. Он звонил (тем раньше, чем больше ему нравилось) и очень кратко высказывал свои соображения.

Читал он быстрее всех, кого я знал, и не обладал большим запасом терпения к людям. Давая Изабелле свое последнее стихотворение, он быстро начинал проявлять признаки беспокойства и жаловаться: «Ты читаешь очень медленно». Затем он начинал наблюдать за мной: «Видишь, а он читает гораздо быстрее».

Однажды, рассчитывая доставить Уистану удовольствие, я рассказал, как одна моя пациентка из венерической клиники процитировала несколько строк из его «Моря и зеркала»[40], но он резко перебил: «Она все перепутала». В другой раз, когда я читал его новое стихотворение, он сказал с понимающим выражением: «Для чтения тебе очки не нужны, только для вождения?» И обращаясь к Изабелле: «Я уверен, что он испортил себе зрение точно, как я. В возрасте одиннадцати-двенадцати лет». По его интонации можно было заключить, что он видел во мне представителя той же категории существ (отношение, которое он иногда на удивление прямо истолковывал какому-нибудь приятелю).

Иногда мне казалось, что он мог бы внести еще больший вклад в нашу жизнь (если это поддается подсчету) в качестве ученого, натуралиста, исследователя, Пастера или Дарвина. Он жадно собирал информацию о новых открытиях. «Ты

должен взглянуть на это, — вдруг вспоминал он и протягивал мне книгу о лечении зубов или о демонологии. — Это замечательно». Если мне случалось одолжить ему «важную» книгу, он не только принимал ее с благодарностью, но и изо всех сил старался «зачитать» (но, с другой стороны, он постоянно снабжал меня экземплярами книг, которые он не переставал получать отовсюду).

Как воссоздать, вновь вылепить его благородную голову, напоминающую каменную глыбу, добрую и жестоко одинокую, независимую, рассчитывающую лишь на себя, но в то же время открытую к миру... его уверенные многократные кивки, как будто он говорил кому-то очень близкому: «Извини, дорогой, но этот мир так устроен, и все так и должно происходить в этой жизни»; его энтузиазм, его восхищение перед всем великим, мастерски сделанным, красивым, оригинальным... И тиранию над ним «здравого смысла», который вдруг становился для него защитным коконом... Сочетание ласковой, угодливой, понимающей улыбки святого и жуткого, искаженного, изрытого лица с бледно-глинистыми губами. Суровый подвижник, способный оценить развлечения (если они начинались не раньше шести вечера, после окончания «работ на винограднике»). Иногда он жаловался на усталость и даже принимал стимуляторы, чтобы завершить свой рабочий день без перерыва. «Почему бы тебе не вздремнуть днем», — советовал я. «Нет-нет, Василий, мама бы не одобрила», — отвечал он, грустно улыбаясь.

Он любил показывать своим новым посетителям картинку какого-то механического устройства из учебника физики. Когда он находился во фрейдистском настроении, он утверждал, что этот прибор оказал на него влияние в детстве. Выглядел этот паровой механизм довольно примитивно, и я не думаю, что он мог бы сформировать у ребенка какие бы то ни было комплексы.

Другим экспонатом была фотография трех светлоголовых мальчиков, тесно прижимающихся к матери. «Совершенно ясно, кто был любимчиком!» — неизменно объявлял он и указывал на самого младшего — Уистана.

В поэзии и прозе он всегда искал новые формы, но в жизни предпочитал стереотипные фразы, которые, как и русские поговорки, навсегда расставляли точки над *i*. «Мама должна готовить». «Мама не одобрит». «Нет-нет, как есть, так и есть». «Он (она) готов(а) перейти в мир иной». Было и множество других клише, которые его успокаивали.

Его мать умерла внезапно в возрасте семидесяти одного года; его отец, сельский врач, умер, когда ему было за восемьдесят, находясь в полумаразматическом состоянии, и это длительное угасание устрашало Уистана. «Отец уже давно был готов к смерти», — пояснял он.

В моем дневнике сохранилось немало записей о наших встречах, радостных трапезах и разговорах.

10 марта 1955. Вчера у нас ужинал Уистан. Говорили о русских, о Герцене, Чаадаеве. Я процитировал ему письмо Чаадаева к Николаю Тургеневу: «Nous sommes une immense spontanéité... l'intelligence russe est l'intelligence impersonnelle par excellence»*. Уистан не понял, что Чаадаев критиковал *intelligence russe*. Перед уходом он сказал: «Почему бы тебе не напечатать что-нибудь в “Инкаунтере”[41]»?

21 февраля 1958. При каждой встрече с Уистаном у меня столько ожиданий, что в определенный момент (в середине вечера) я внезапно испытываю болезненный толчок: «Все, уже все, больше ожидать нечего... Завтра снова рутина, труд, хлопоты, скука и серость. Конец». Я испытывал подобные чувства, когда читал одну долгожданную статью

* Нам свойственна великая спонтанность... русский ум в высшей степени безличен (*фр.*).

Адамовича обо мне; где-то в середине пелена спала, и грустный голос прошептал: «Ну вот и все, ничего важного уже не последует». Я поделился этими соображениями с Уистаном, но он обратил внимание только на вторую часть моего признания. «Тебе действительно так важно читать или слышать о себе? — спросил он с серьезным (пытливым) выражением, свойственным ученому. — Но ведь это так скучно, и они всегда упускают самое главное». В ответ я рассказал ему о своем разговоре с Иваном Буниным (Нобелевским лауреатом 1933 года). «Даже теперь еще, — сказал Бунин, — а сколько уже обо мне написано! — как только увижу свое имя в печати, и вот тут, — он показал в область сердца, — что-то тут начинает трепетать, как во время оргазма». Пристальный взгляд знаменитого старика светился триумфом. Уистан не одобрил: «Русские обращают слишком много внимания на критиков; им даже нравится, когда их ругают».

16 марта 1958. Уистан приходил на ужин... Русские писатели в сопоставлении с западными; личный элемент: гражданство, мораль. Русский писатель — или пророк, или святой (или должен таковым притворяться). Англичане не способны оценить «Войну и мир». Уистан очень хвалит «Смерть Ивана Ильича». «Записки из подполья» поразили его определенными деталями, которые озадачивают и завораживают его, подобно страшному и чарующему сну. Об этом он много раз говорил.

14 апреля 1958. Мой день рождения — с Оденом и Изабеллой. Страшная головная боль от шабли. Я упрекал его за то, что в тридцатых годах он питал симпатии к коммунистам. Он: «...и, кроме того, мы думали, что это типично русское искажение, что наш коммунизм был бы иным».

21 февраля 1962. Вечеринка к дню рождения Одена. Слишком много шампанского (с тех пор как я бросил курить, на подобных сборищах мне остается лишь алкоголь). Уистан двигается взад и вперед по двум большим комнатам, из угла

в угол, с бокалом в руке — все меньше слов и все длиннее паузы между ними (его морщины сжимаются и расходятся от усилий что-то вспомнить). У него дружелюбное, тяжелое, суховатое, отсутствующее выражение. «Вот самая умная женщина в Нью-Йорке», — представляет он мне женщину с кислой улыбкой.

Много анонимных гомосексуалистов. Молодая еврейка (я никогда не видел ее ни раньше, ни позже) открыла дверь в спальню Уистана (жалкое зрелище), и Уистан буквально взорвался. Он орал злобно и яростно: в этом припадке было что-то от геноцида. Честер очень ловко его утихомирил.

Октябрь 1962. Оден, Анн Фримэнтл, много русских. Оден не очень вписался в эту компанию. Ушел рано!

1965. Ужин в ресторане с Оденом и двумя заезжими гомосексуалистами. На обрывке меню Оден написал «Мою эпитафию»:

Гм... Да.
Поэт. Кажется.
Хорошо. И христианин?
У.Х. Оден

1966—67. Под знаком «По ту сторону времени» (в Лондоне и здесь). Некоторые хорошие рецензии. Две бутылки «Моета» с Оденом.

13 ноября 1966. День рождения Изабеллы. В гостях Уистан. Хороший ужин. Зачем жаловаться (зачем на Бога мне роптать!).

13 января 1967. Русский Новый год, а назавтра — День св. Василия. Вечеринка у нас. Оден с Салусом, Эллен Прайор[42], Гринбургеры, Савиль, Алексис с подружкой. Изабелла поет арию из Dreigroschenoper*. Уистан весь внимание; полон очарования. Замечание Савиля на следующий день: «Какие у него безупречные манеры!»

---

* «Трехгрошовая опера» (*нем.*).

17 января 1967. Отнес Уистану свою «Философию науки».

30 января 1967. Вечеринка у Одена в честь молодой (сомнительной) австрийской парочки (муж с женой).

19 марта 1967. Звонил Уистан. Измотан своим лекционным турне... «никогда впредь!».

20 марта. Звонок. Рассказывал те же истории (уже выпил свой мартини). Процитировал свои строчки: «Боже, благослови Америку, такую большую, такую состоятельную и такую богатую».

11 апреля 1967. День публикации в Лондоне. Вечером — шампанское с Уистаном. Он очень оживлен. Говорил о своей якобы власти над аудиторией. «Существуют некоторые трюки, и Гитлер был не единственный, кто о них знал». Как осторожно надо обращаться с этой властью. Каким чрезвычайно удачливым он был в течение своей жизни, всю жизнь. Как он благодарен за то, что его родной язык — английский. Однажды, еще подростком, он пошел на прогулку с одним пожилым человеком, другом семьи, который спросил его, не хочет ли он стать поэтом. И внезапное озарение: о да! Безусловно! (Другой случай: впервые увидев Честера, он знал, что это навсегда.)

Я спросил его, как бы он себя чувствовал, если бы ему пришлось уехать из Англии не в Америку, где говорят по-английски, а в Китай или Россию. Он не мог представить себе подобную насмешку судьбы.

4 ноября 1967. Приснился Уистан. Власти выдворяют его из страны (как происходило с эмигрантами во Франции). Неприятный осадок.

19 ноября 1967. Изабелла была на приеме в честь племянницы Уистана Аниты, а на следующий день показывала ей город. Он обожает племянницу. У него крепкие семейные узы.

День благодарения, 23 ноября 1967. Уистан, Алексис с Кларой. После их ухода Уистан становится практичным. «У нее, конечно, есть стиль, но необходимо задаться

вопросом, какие у нее могут быть намерения». Перед уходом: «Могу я выбрать отрывок из твоей “Философии науки” для моего “Common Reader”»?

7 апреля 1968, Вербное воскресенье. Ездили прощаться с Уистаном. Говорили о «воскресении на третий день». Уистан смотрит странно, отводит глаза. У меня всегда было чувство, что протестанты не верят в воскресение Христа. В своих заметках о Толстом Горький пишет, что Толстой как будто боялся, что если Христос появится в русской деревне, девки его засмеют. Нечто подобное я ощущаю в отношении протестантов, когда речь заходит о воскресении.

21 апреля 1968. Письмо от Честера (из Австрии). Уистан не может писать после аварии. Получил мой отрывок для «Некоего мира» и «спешит заверить меня, что это именно то, что он имел в виду».

3 ноября 1968. У Уистана. Хорошо выглядит, похудел, точен, бесчеловечен. Привез черновик «Некоего мира» (частично напечатанный на машинке, частично написанный от руки, причем поврежденной рукой). Изабелла забрала его домой расшифровать и скопировать.

28 ноября 1968. День благодарения с Оденом. Алексис приезжает с небольшим опозданием. «Давай, Алексис, скорее отведай эти деликатесы...» (креветки, мясо краба). Каким очаровательным он может быть, и без малейшего усилия.

7 декабря 1968. Зашли к Одену отдать ему черновой вариант переводов Изабеллы из Лисохорского, чешского поэта, пишущего по-немецки. Уистан: «Гм. Ты уже все сделала, мне почти ничего не остается». И доволен, и сердит.

Изабелла упомянула его переводы из «Опознавательных знаков» Хаммаршельда[43]: «Они кажутся совершенными». Уистан в ответ с мягкой улыбкой: «Иногда мне казалось, что он стоит рядом и нашептывает мне на ухо. Но не следует говорить об этом», — прикладывает палец к губам и хитро, по-детски подмигивает.

13 декабря 1968. Поздно вечером звонит Уистан. Ему необходимо нам что-то рассказать! В Австрии произошла авария, друг Честера погиб в машине Уистана. Честер в отчаянии. Уистан глубоко потрясен произошедшим.

На следующий день мы приходим к нему, как было давно условлено (отметить завершение «Некоего мира»). «Разумеется, никакого шампанского», — говорит он, встречая нас в дверях.

29 декабря 1968. Уистан пришел на гуся. Уже был пьян. Неприятный, пустой вечер.

8 мая 1969. Письмо и несколько стихотворений. «Послание к крестнику»[44], «Цирцея»[45] и «Новогоднее приветствие»[46] — он просит у меня разрешения посвятить мне последнее. Последняя строфа — типичный Оден (хотя иногда он пытается завуалировать или просто-напросто вычеркивает свои типичные строчки).

Then, sooner or later will dawn
the Day of Apocalypse,
when my mantle suddenly turns
too cold, too rancid for you,
appetizing to predators
of a fiercer sort, and I
am stripped of excuse and nimbus,
a Past, subject to judgement*.

---

* Рано или поздно наступит Апокалипсис,
Когда мои покровы станут
Слишком холодными,
Слишком протухшими для вас,
Зато лакомыми для зверья
Более кровожадной породы,
И я буду стоять, не прикрытый оправданьями,
Не покрытый нимбом
Обломок Прошлого, представший пред судом.
(*Пер. с англ. Романа Дубровкина.)*

24 июля 1969. Письмо с байками о фестивале поэзии в Лондоне. «Когда мы сообщили атташе по культуре советского посольства в Лондоне, что мы пригласили Вознесенского, он недвусмысленно ответил: “Вознесенский заболеет”». В письме также было несколько коротких эпиграмм:

«...когда мне было двадцать лет, я старикам стремился досадить,

Теперь уж мне за шестьдесят, и молодых надеюсь раздразнить».

4 января 1970. Были у Одена. Опубликован «Город без стен»[47]. Отметили с шерри.

14 января 1970. День св. Василия. Уистан ужинал у нас. Принес свою «Старшую Эдду». Мы говорили о «крови и клинке». (Оба напились.)

21 февраля 1970. С 18 до 20 час. Его день рождения. Горстка гостей: несколько шведов (один принес букет, и Уистан просто не знал, куда его поставить). Мередит, миссис Кирстин. Красное вино (скучно).

8 марта 1970. Ужин экспромтом в китайском ресторане (куда мы иногда приглашаем Дороти). Я пришел в замшевой куртке. Оден: «А я думал, только блатные носят кожаные куртки». Кто-то из сидящих за соседним столиком узнал его, вышел, вернулся с его книжкой в мягкой обложке, попросил автограф. Он любезно согласился.

23 января 1971. Мы зашли к нему выпить, чтобы затем вместе пойти ужинать. Но он встретил нас словами: «Никаких ресторанов. Слишком дорого». И сам приготовил ужин.

Ранее в тот день Рут Аншен позвонила ему сказать, что она бы хотела напечатать мою «Философию науки» (хотя впоследствии она так этого и не сделала). Я сообщил ему, что уволился со своей хорошо оплачиваемой работы в больнице, так как из-за легализации абортов[48] будет около двадцати пяти таких операций в день, и я не могу этим

заниматься. Он решительно посмотрел на меня и сказал: «А я думаю, смог бы!»

30 января 1971. Уистан попросил Изабеллу перевести его оксфордскую проповедь (Карнавал)[49] на немецкий. Вскоре он должен будет читать ее в Мюнхене. Затем мы говорили о загадке Гоголя (его сексуальной жизни). Я перевел для него à livre ouvert* фантастический текст Розанова на эту тему. «Он, бесспорно, “не знал женщины”, т.е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. “Красавица (колдунья) в гробу” — как сейчас видишь. “Мертвецы, поднимающиеся из могил”, которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая на лодке мимо кладбища, поразительны. То же — утопленница Ганна. Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник — нигде не “мертв”, тогда как живые люди удивительно мертвы. Это — куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники — и Ганна, и колдуньи — прекрасны и индивидуально интересны. Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в “прекрасном упокойном мире”, по слову Евангелия: “Где будет сокровище ваше — там и душа ваша”. Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц — и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких»[50].

Одена это заметно захватило (он вообще любил спорных русских персонажей, например Розанова, Леонтьева, Чаадаева, Герцена), но после минутного раздумья его здравый смысл взял верх, и он заявил: «Отлично выражено, но не думаю, что это правда».

---

* С листа (*фр.*).

7 марта 1971. Уистан вернулся из турне. Колкий, в маразме. Говорил о том, как писают в ванну, пердят — и что можно представить себе пару, которая так общается, ковырял в носу и ел сопли («очень вкусно»). Что-то в этом огромном глиняном теле разлагается: маразм.

День благодарения, 1971. Ужин у нас. Оден. Адамович. Два полюса одного и того же западного сознания.

1 января 1972. Навестили Уистана. Честер здесь, опубликовал книгу стихов. Хочет показать нам книгу, с которой Уистан снял суперобложку. «Зачем ты это сделал?» — «Ты прекрасно знаешь, я всегда это делаю» (ощутимая напряженность). Честер: среднего возраста, с брюшком, сутулый, довольно враждебен или, по крайней мере, уклончив по отношению к нам. Я принес Уистану ксерокопию «Темных полей Венеры»[51].

Два дня спустя. Реакция Уистана на «Темные поля»: «Это очень грустная и очень хорошая книга. У нее будет успех, но, разумеется, по ложной причине».

Середиія января. Издатель, к которому направил меня Уистан, не принял книгу к публикации, сделав какие-то бессмысленные замечания. Уистан: «Я ничего не понимаю. Мне действительно симпатичен этот человек. Не могу поверить».

21 февраля 1972. Одену 65 лет. Вечеринка в банкетном зале ресторана по инициативе издательства «Рэндом Хаус»[52]. Уистан не то чтобы пьян, скорее мертв (сперва мертв, а затем, чтобы скрыть это, — пьян). Чужое раздавшееся тело, усаженное на диван или двигающееся. Все мы, несмотря на шампанское, чувствуем себя как на похоронах. Шампанское, тосты, похвалы. Я даже швыряю бокал об стену, изящно разбиваю его (с приятным музыкальным звуком). Но ничто не способно растопить мертвящий холод вокруг него. Он уходит (и не просто уезжает в Оксфорд). И все же, несмотря на все это и невзирая на жен занудных ученых, которые так жестоко его обступили, он улучил

момент представить меня Элен Вольф[53] и рекомендовать ей (с жаром) мои «Темные поля Венеры».

12 апреля 1972. Элен Вольф приняла книгу со всеми подобающими комплиментами. Я позвонил Уистану прямо из ее офиса, чтобы сообщить ему новость и пригласить его к ней на бокал шампанского 13 апреля (почти в мой день рождения). Кроме Одена там были Макс Фриш[54] и Фрэнсис Ланза[55]. Оден явился в тапочках, крайне обеспокоенный всеми предстоящими хлопотами в связи с его отъездом («ношусь, как курица без головы»). Говорил, что собирается бросить курить, не из соображений здоровья, а потому, что в Оксфорде не сможет себе этого позволить. Я подарил ему одну из своих лучших трубок. Уже через полтора часа он начал настаивать, чтобы мы отвезли его домой. Шампанское у Элен Вольф было замечательное, но нам пришлось уйти.

Праздник Вознесения. 1972. Он пишет о романе «Кимвал бряцающий», «который я прочитал не отрываясь, восхищаясь твоей технической виртуозностью, хотя и с некоторым недоумением». Жалуется, что «в первой части слишком много разговоров о душе, à la Достоевский (это всегда озадачивает англиканца)...». На оборотной стороне — его новое стихотворение «Колыбельная».

Now for oblivion: let
the belly-mind take over
down below the diaphragm
the domain of the mothers...
Sleep, Big Baby, sleep your fill*.

---

* Довольно о небытии.
Пусть побеждает мыслящее чрево,
Покоящееся под диафрагмой,
Этим средоточием материнства <...>
Спи, Гигантское Дитя, выспись хорошенько.
(*Пер. с англ. Романа Дубровкина.)*

Так я получил козырь против «озадаченного англиканца». Я ответил, что в его стихотворении не меньше рассуждений о душе (чрезмерное самокопание, душевное и телесное) и, что хуже, очевидно безнадежное свертывание (этот биологический термин я несколько раз употреблял во время наших дискуссий).

5 июля 1972. Он заканчивает письмо забавным анекдотом: «Пусть тот, кто без греха, бросит первым камень!» Христос еще не договорил этих слов, как мимо Его уха просвистел булыжник. Он оборачивается: «Мама!»

На оборотной стороне новое стихотворение, «Непредсказуемый, но провиденциальный»[56]. «Мое личное название для этого стихотворения, — добавляет Уистан, — “Contra Monod ”».

12 июля 1972. Он находит время сообщить нам, что в Вену благополучно прибыл Иосиф Бродский и что он помог ему получить грант от Американской академии[57].

Незадолго до его отъезда на лето я позвонил ему: «Знаешь ли ты, что в 1878 году Тургенев получил в Оксфорде почетную докторскую степень и произнес там речь? Ты мог бы попросить одного из твоих студентов разыскать ее, она никогда не была опубликована». Но, видимо, я позвонил в неудачное время. «Это меня не интересует», — отрезал он. Создавалось впечатление, что он был поглощен чем-то, что находилось очень далеко, и до него больше было не достучаться.

30 сентября 1972. Провожали Уистана в аэропорт Кеннеди. Его пустая квартира могла бы послужить декорацией для пьесы Беккета! Он выбежал, споткнувшись о порог, похожий на гигантского гнома, преследуемого лохматым чудовищем. Мы втроем сидим на переднем сиденье, Орлан Фокс[58] — сзади (как только поместились его ноги?). Оден одет в потрепанную одежду, нервничает, испуганно

ежится. Впечатление: это похороны (и не очень торжественные). Но в то же время не было никакой разумной причины так себя чувствовать. Я случайно упомянул Нобелевскую премию. Уистан буквально впал в ярость (его лицо превратилось в овальную искаженную топографическую карту). Потрясая своими огромными кулаками, он завопил: «Не желаю об этом говорить, не желаю об этом говорить!» Устрашающее зрелище. Мы вошли в зал отправления. Он продвигался, сутулый, на подкошенных ногах (гигантский гном), почти не глядя по сторонам. Мы выпили несколько рюмок в баре (за них заплатил Фокс) и добрались до кафетерия, так как «более приличный» ресторан был, по всей видимости, закрыт. Я повел Уистана к шведскому столу; ожидал, что он расплатится, но он даже не пошевельнулся. Мы вернулись обратно к столику, и за едой отправились Изабелла с Фоксом. Естественно, мы с Уистаном первыми выпили свои ничтожные напитки. «Ты ешь очень медленно», — сделал он выговор Изабелле ледяным, осуждающим тоном.

Его решение вернуться в свою юность, в Оксфорд, к своим корням, которое он представлял исключительно как финансовую необходимость, было неправильным, роковым, патологическим! Это было частью того процесса свертывания, который в конце концов привел его к «Колыбельной»[59] («Спи, младенец, сладко спи»).

По пути в салон первого класса он купил бутылку водки — дешевле на доллар или что-то в этом роде — и шел, держа необернутую бутылку, которая ему не потребуется в течение следующих 24 часов. Это напомнило мне замечание Рембо в адрес Верлена, который вернулся домой нагруженный продуктами. «Tu as l'air idiot avec ta bouteille et ton hareng...»* — сказал Артюр, и затем последовал семейный

---

* «У тебя идиотский вид с этой бутылкой и селедкой» (*фр.*).

скандал. Я даже хотел процитировать эти слова, но воздержался: атмосфера была слишком накалена.

Мы пришли в салон первого класса, и стюардесса, кажется, знала, кто он такой. Она наблюдала, как мы с Фоксом наполнили бокалы «Курвуазье». Уистан тоже пригубил. Он был подобен сухому бревну, лежащему на пляже, которое, вибрируя, погружается и вновь выныривает из невидимых накатывающих волн.

«Умирать лучше всего (правильнее всего) в семьдесят, — вдруг тихо проговорил он. — Хотя я, разумеется, проживу гораздо дольше, но мне бы хотелось уйти в этом возрасте».

Мы потягивали коньяк, с трудом стараясь поддерживать разговор. Как он изменился за последние пять лет. Раньше даже в состоянии опьянения он был другим, бодрым и дружелюбным. Теперь он казался роботом, скоплением разнородных клеток. Время от времени он стряхивал с себя летаргию, как выходящая из воды лохматая овчарка, и произносил осмысленную фразу или выражал какое-нибудь желание. «Нет, нет, Василий, — восклицал он, — ты не должен так говорить, веди себя хорошо...» И снова погружался в оцепенение. Неожиданно он заявил: «Теперь вам пора уходить». И мы ушли, поцеловав (или притворяясь, что целуем) его огромную, глинисто-серую щеку. По дороге обратно мы все трое чувствовали, как будто возвращаемся с похорон (и не только из-за поговорки «Partir c'est mourir»*).

В Оксфорде ему было плохо, им пренебрегали и даже оскорбляли. До нас доходили слухи, что ему не оказывают должного почтения. (Он написал, что по приезде в Оксфорд его ограбили, хотя ничего подобного ни разу не случалось с ним даже в Нью-Йорке.) Он там

* Отъезд смерти подобен (*фр.*).

по-настоящему страдал. Студенты, которые должны были приходить на занятия с ним, заставляли его ждать часами или вообще не являлись. В его дом ночью забрался какой-то мужчина, и в результате произошел скандал. Чтобы вырваться оттуда, летом он планировал лекционное турне по США.

Но он продолжал уделять внимание своим друзьям. Нам он писал: «Думаю, вы рады будете услышать, что рецензенты “Некоего мира”, и в “Обзервере”, и в “Санди Телеграф” особо похвалили главу “Анестезия”». В этот момент он, кажется, больше радовался за мой успех, чем за свой. На оборотной стороне этого письма он напечатал новое стихотворение «Разговаривая с собой»[60]:

Time we both know will decay you and already
I’m scared of our divorce: I’ve seen some horrid ones.
Remember: When Le Bon Dieu says to you leave him!
Please, please, for his sake and mine, pay no attention
To my piteous Don’ts but bugger off quickly*.

13 апреля 1973. Он пишет, что Оксфорд — это ад. Везде толпы, и шум хуже, чем в Нью-Йорке.

Его последнее письмо датировано 3 сентября 1973 года. «...Я начинаю чувствовать свой возраст. Хотя мой мозг все еще, слава богу, функционирует нормально, мое тело быстро устает. Местный врач поставил диагноз “слабое сердце”, что бы это ни значило...» И он переходит к впечатлениям от новой книги, которую он читает[61]. «Я напишу

---

* Мы оба знаем, что Время подвергнет тебя разложению.
Я боюсь развода с тобой: я видел жуткие разводы.
Помни: когда Le Bon Dieu скажет: «Адье! Брось его!» —
Умоляю, забудь мой жалостливый визг «Не уходи!» —
Ради него, ради меня тут же смывайся.
(Пер. с англ. Романа Дубровкина.)

на нее рецензию для “Нью-Йоркера”... Это шедевр...» А на оборотной стороне — «Обращение к зверям»[62]:

...distinct now,
In the end we shall join you
(how soon all corpses look alike)
but you exhibit no signs of knowing that
you are sentenced...*

Я был обеспокоен и сразу ответил, неблагоразумно процитировав в конце письма доктора Джонсона: «Больному очень трудно не быть подлецом. Пожалуйста, выздоравливай поскорее».

29 сентября 1973. В полдень за рулем автомобиля на Лонг-Айленд-Экспрессвей я включил радио и сразу же услышал: «У.Х. Оден умер прошлой ночью во сне...»

2 ноября 1973. День всех святых. После реквиема в честь Одена, организованного Анн Фримэнтл в церкви Отцов-паулистов, вечером в пятницу мне приснился сон: с Уистаном, Изабеллой, Алексисом и одной из его подруг мы все сидим вокруг нашего журнального столика. У кого-то на коленях лежит морда Бамбука; он слегка крутит головой, как он всегда делал, когда у нас бывали гости (зная, что любая дружба, счастье и изобилие преходящи и ничто не может этого изменить). Вдруг Изабелла кричит из кухни: «Они приняли твое либретто?» Уистан: «Да, оно им очень понравилось». — «Что же ты нам ничего не сказал!» — завопил я и ринулся к холодильнику за бутылкой. Мы все стоим вокруг стола, я открываю шампанское, думая: «Одной

---

* ...разложи все по полочкам:
Рано или поздно мы будем с тобой.
(Все трупы сразу начинают походить друг на друга.)
Ты знаешь, что приговорен,
Но ничем не выдаешь это.
(*Пер. с англ. Романа Дубровкина.)*

бутылки не хватит»... но Изабелла, как будто прочитав мои мысли, нежно, но уверенно берет у меня бутылку и наливает вино в очень маленькие бокалы...

С тех пор Уистан приснился мне лишь еще один раз. Он сидит на стуле, держа в руке нож, скорее маленький кинжал, и внезапно глубоко режет себя по нижней губе и подбородку. Я протягиваю руку, чтобы остановить его, но он бьет меня лезвием по пальцам. Скорее от изумления, чем от боли, я кричу: «Что ты делаешь?» — «Я очень огорчен», — отвечает он, оглядываясь. «Ну, знаешь, все там будем», — говорю я. «Да, но я уже здесь, а ты...» В оцепенении я смотрю на его бледно-глинистое лицо с глубокой раной, из которой сочится кровь, а его силуэт медленно растворяется, как в фильме ужасов.

Наверно, это был мой последний шанс в этих широтах сказать ему, как много он мне дал в течение всех этих лет, как счастлив я тем, что был его другом, и как мне не терпится поделиться с ним всем самым ценным, что я знаю... Я часто собирался ему это сказать, но сдерживал себя, думая, что еще достаточно времени, а сейчас слишком поздно. Ну а пока нам остается воплотить, воссоздать его лицо, взгляд, улыбку, голос, миллион черт, в которых отразился Уистан, — в дополнение к его творчеству, пока Великий Художник не соберет нас всех под иными небесами и иными звездами. Господи, я верую, укрепи мою веру. («Нет-нет, Василий, ты не должен так говорить».)

Перевод с английского Марии Рубинс

ЕЛЕНА И ЕЕ «ТРЕТИЙ ЧАС»

Я не помню, когда мы встретились впервые. Должно быть, в середине двадцатых или в ранних тридцатых. В зависимости от рода и размаха деятельности некоторые из нас никогда не сталкивались друг с другом в микрокосме русского Парижа, в то время как пути иных постоянно пересекались. Наши с Еленой[1] пути скрещивались денно и нощно.

Мне кажется, что я был представлен ей в доме Юрия Ширинского-Шихматова[2], редактора и вдохновителя ежеквартального журнала «Утверждения». Название говорит само за себя: уже в двадцатых годах мы не ограничивались безоговорочным отрицанием большевиков и искали разумный выход из европейского кризиса. Конечно, в «Утверждениях» сотрудничал Бердяев; его тезис о «примате духовного начала» мог бы стать девизом как этого журнала, так и всех кругов эмиграции, которые с ним соприкасались.

Позднее появились другие подобные журналы, и наиболее значительным среди них был «Новый град» Ильи Фондаминского, Георгия Федотова и Федора Степуна.

А впоследствии были еще встречи в страннoприимном доме матери Марии Скобцовой[3], вдохновленной сходными, хотя и несколько иными, принципами. Мы с Еленой постоянно сталкивались друг с другом на подобных собраниях, при самых разнообразных обстоятельствах. Такую смесь людей из разных социальных слоев, но воодушевленных и объединенных одними и теми же духовными устремлениями, можно встретить только среди эмигрантов (или после землетрясения).

Князь Юрий Ширинский-Шихматов был сыном одного из последних царских министров по делам религии; будучи членом Государственного совета, он любил говорить о себе, что правее его только стенка. Выходец из архиконсервативной аристократии, князь Юрий был женат

на вдове Бориса Савинкова[4], революционера-террориста, организовавшего покушение на Плеве, великого князя Сергея и на многих других. Мать Мария была православной монахиней, но не затворившейся в стенах монастыря, а целиком поглощенной своими благотворительными обедами, приютом и творчеством; в ранней молодости она писала стихи и была вовлечена в деятельность эсеров. У Фондаминского (также эсера) всегда можно было увидеть Керенского, главу кратковременного Российского демократического государства, закончившего свое существование в октябре 1917-го*.

Елена чувствовала себя как дома повсюду, со всеми этими людьми, и именно на этом фоне я получил первые представления о ней.

С Керенским они были закадычными друзьями. Она помогала ему в подготовке лекционных турне на французском и английском, хотя именно он, прямо или косвенно, уволил ее отца (или одобрил его прошение об отставке).

Я останавливаюсь на этих деталях, чтобы продемонстрировать, как фантастична была наша парижская жизнь в предвоенные годы, как целеустремленно и интенсивно мы жаждали нового и справедливого общества и насколько свободными мы ощущали себя в своем выборе. Вряд ли хоть один из представителей моего поколения ответил бы на вопрос о религиозной принадлежности: католик, православный, протестант. Типичный ответ прозвучал бы примерно так: я хотел бы быть «христианином».

Никогда не заостряя на этом внимания, мы были в принципе экуменической группой с ярко выраженными социальными устремлениями. «Третий час» Елены Извольской был логическим продолжением того же, но в иных условиях.

---

* Ширинский-Шихматов, мать Мария и Илья Фондаминский погибли в немецких концлагерях (*Примеч. В. Яновского*).

С самого начала я был поражен одной ее своеобразной и весьма привлекательной чертой: воспитанная в чрезвычайной роскоши, как дочь царского министра иностранных дел, Елена умела и любила трудиться. Вынужденная материально поддерживать и свою мать, она зарабатывала на жизнь разнообразной журналистской работой, сотрудничая в соответствующих нашим «духовным» журналам изданиях, таких как «Эспри» (Эммануэль Мунье) и «Тан презан» (Станислас Фюме).

Для того чтобы сводить концы с концами, ей приходилось соглашаться на разные задания. Так, она первая перевела пару моих рассказов для французского еженедельника, который по какой-то необъяснимой причине финансировался скандально знаменитым Стависским. Когда аферы Стависского были раскрыты, мы с Еленой радовались, что хотя бы очень малая часть награбленного им оказалась в наших карманах.

Разумеется, она переводила не только меня. Были и другие, с громкими именами: Бердяева и Ремизова она переводила на французский, Мунье — на русский, речи Керенского — на английский и т.д. Трехсторонняя связь! Сближение между Мунье и Бердяевым, Маритеном и Федотовым или Керенским — в этом заключалась в ту эпоху ее великая миссия.

Факт ее перехода в католицизм был абсолютно частным делом (и никогда не обсуждался). Ни одно русское религиозное движение не дискриминировало против нее, и я могу заявить по собственным наблюдениям, что в русской церкви ее ничто не стесняло. Не случайно в католической церкви она выбрала восточный обряд, соответствующий русской православной литургии.

Такова была наша жизнь до того, как начался великий исход. Мы все покинули Париж за несколько недель, дней, даже часов до вторжения гуннов (а некоторые затем вернулись туда, чтобы погибнуть). Елена временно обосновалась в По, а я находился в Монпелье, где получил от нее несколько писем. Американскую визу ей выдали задолго

до меня. Когда я прибыл в США в июне 1942 года, я узнал, что она нашла приют на Толстовской ферме[5], где можно было рассчитывать на уход за ее матерью, к тому времени совершенно больной.

В 1944 году мы вновь встретились в доме госпожи Манциарли в Нью-Йорке. Ирма Манциарли родилась в Санкт-Петербурге в семье немецких протестантов, вышла замуж за полуфранцуза-полуитальянца, после революции жила во Франции и в Гималаях, общалась с несколькими гуру, а также с Ганди. Она была последовательницей ряда эзотерических учений и посвятила последние годы жизни духовным занятиям. Собрание в ее доме, на которое я был приглашен, было посвящено обсуждению нового журнала, который должен был стать экуменическим в полном смысле слова. Название будущего журнала было выбрано заранее: «Третий час»[6]. Дело было лишь за соответствующим материалом.

Двумя другими членами первоначальной группы были композитор Артур Лурье[7], принявший католицизм, и человек с весьма неоднозначным прошлым — Казем-Бек[8]. Его мусульманские предки служили Романовым и в конечном итоге приняли православие. В эмиграции он возглавлял политическую партию, которая видела будущее России в формуле «Царь плюс Советы». Партия называлась «Младороссы». Это была чрезвычайно патриотическая группа, состоявшая главным образом из молодых аристократов. Когда немцы захватили Европу, Казем-Бек освободил своих последователей от клятвы верности и эмигрировал в Америку. (Младороссы, так же как коммунисты и евреи, оказывали сопротивление немцам во время оккупации.) Через несколько лет Казем-Бек присоединился к Московской Патриархальной церкви и, оставив жену, детей и старого спаниеля, отправился в Советскую Россию, где снова женился.

Эти пространные зарисовки характеров служат для того, чтобы показать, что столь разношерстная компания

не могла не быть экуменической в высшем смысле, без предрассудков, без лицемерия и банального предпочтения какой-либо «знакомой» церкви. В этом была ценность «Третьего часа»: подлинный экуменизм без завуалированных пристрастий. Все, что имело отношение к христианской духовности, получало место на страницах журнала. Пожалуй, мы первыми здесь опубликовали статьи о Симоне Вайль[9], Эдит Штейн[10], матери Марии, Тейяре де Шардене[11], Мунье[12] и Федорове. В журнале также сотрудничали такие теологи, как Бердяев, Маритен[13] и Карл Барт[14].

На первом собрании у Манциарли я говорил о Николае Федорове и предложил написать заметку о нем для первого номера. Как мне показалось, это всех устраивало.

Первый выпуск журнала появился в 1946 году; на самом деле в нем было сразу три номера — на русском, французском и английском. Мы пытались найти нашу аудиторию, и она оказалась американской. С тех пор я помогал Елене в ее работе, тем более что другие основатели журнала вскоре умерли или отошли от «Третьего часа». Всего вышло десять номеров. Но главная заслуга была, пожалуй, в наших собраниях, на которых мы вели споры в чисто русском стиле, бурно и до победного конца (если не до решения самой проблемы, то, по крайней мере, до исхода ночи). Совсем незаметно произошло так, что наши собрания переросли в многолюдные сборища, такие огромные, что они должны были переместиться из дома Елены в более обширное помещение. К нам присоединились американцы, друзья из Англии, Франции и Германии. Подавали красное вино, которое стало отличительной особенностью дебатов «Третьего часа».

Многие перебывали на наших собраниях в эти дни: Оден, де Ружмон, Урсула Нибур, Анн Фримэнтл, Керенский, Эйлин Иган[15], Маргарит Тжадер, Дороти Дэй[16]; выдающиеся священники из Франции и Бельгии, Африки и Индии — все они писали статьи и выступали. Бремя разыскивания этих

людей, организации наших дискуссий, поддержания постоянного общения в основном несла Елена. Конечно, ей помогали, но без нее мы не смогли бы двигаться дальше. Так, постепенно и по справедливости, «Третий час» стал ее детищем. Нередко она отчаивалась и, по мере того как старела и слабела, периодически угрожала прикрыть лавочку, но никогда она серьезно не решилась бы на это (только смерть могла разлучить ее с «Третьим часом»).

С другой стороны, постепенно движение утратило бурную интеллектуальную активность своего начального периода. Оно иссякло, стало обыденным, как любая организация. Возможно, в определенный момент оно выполнило свою историческую миссию, и другие группы, о которых мы даже понятия не имели, продолжили борьбу на ином уровне. Но до конца продолжал царить дух дружбы и экуменизма. И лишь когда какие-нибудь восторженные юнцы начинали хвалить наши собрания, тогда, как будто произнося панегирик увядшей красоте, мы говорили: «Если бы вы нас видели пятнадцать—двадцать лет назад!»

Изменилась и Елена, пытаясь во что бы то ни стало избегать острой конфронтации, будь то в теологии или в политике. Возраст брал свое. Ее положение было непростым: как дочь Извольского, она всегда верила, что исторические границы России нужно защищать и что каким-то образом Кремль и Патриархальная церковь выполняли сейчас эту функцию. Такая позиция не могла не создавать множества противоречий для эмигранта с убеждениями.

Она обожала Соловьева, и я уверен, что его участие в католическом причастии было для нее вечным примером и путеводной звездой. Тем не менее в своих последних лекциях о нем она не смогла избежать банальных прописных истин.

Жизнь на Ферме католического работника была хорошим периодом в ее жизни; переезд в новые помещения казался ошибкой. Она была одинока, хотя периодически у нее

жили разные люди. Но это не очень получалось. Временами она была несговорчивым компаньоном.

Тем не менее, несмотря на возраст и болезнь, она продолжала работать, и ее ум оставался таким же светлым и острым, как и всегда. Ее интеллектуальная энергия не иссякала. В прошлом августе она прислала мне замечательную работу о В.С. Яновском длиной около тридцати страниц, которую она написала по просьбе редактора «Квинс славик пейперс». Возможно, это было одним из ее последних дел на этой земле. Мы не всегда были в согласии друг с другом: периодически баталии разгорались вокруг противопоставления «Толстой — Достоевский». Но было у нас и неизменное взаимное уважение, основанное на знании того, что в течение сорока пяти лет ни один из нас ни разу не предал тот «примат духовного начала», который изначально нас сблизил. Из первой волны эмиграции лишь немногие никогда не отправлялись с поклоном на рю Гренель (где находилось советское посольство), никогда не помогали немцам или японцам «спасти» Россию (увы, были и такие) и никогда не служили ни в одной из множества шпионских организаций какой бы то ни было страны.

В последний раз я увиделся с ней за две недели до несчастного случая. Было очевидно, что она серьезно больна, так больна, что не имело никакого смысла это обсуждать. Затем я несколько раз позвонил ей в больницу; она попросила меня отложить мой визит до наступления Нового года, когда мы сможем принять все необходимые решения, касающиеся ближайшего выпуска журнала. Я попросил ее не беспокоиться: что бы ни случилось, я доведу дело до конца. Мы оба знали, что этот выпуск будет последним.

Она умерла накануне Рождества, сестра Ольга, терциарка бенедиктинского ордена (1896—1975).

Перевод с английского Марии Рубинс

ЭССЕ,
КРИТИКА,
ИНТЕРВЬЮ

ЭССЕ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Почему о Федорове не пишут? Даже профессиональные литераторы, еженедельно строчащие статьи — и о второстепенном и третьестепенном, — никогда или почти никогда о Федорове не заикались. Это очень симптоматично: о первостепенном, главном, трудно писать, а о сверхстепенном — совсем невозможно. Руки опускаются от страха исказить, опростить; чувствуешь значительность каждой мелочи — и боишься чрезмерной ответственности. Этим, вероятно, объясняется формальная «неудача» Федорова, самого оригинального русского мыслителя. Его «записку» от неученых к ученым («Вопрос о братстве или о родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстанавлению родства») в отрывках читали еще Достоевский, Соловьев, Толстой. Но отделывались как-то по-школьному: писали ему восторженные письма, порицали «детали» (уговаривали отказаться от воскрешения мертвых). В их же творчество, в их

сознание Ф. не вошел (осязательно): как будто они все откладывали «это» на более зрелое, на спасительное «потом».

Федоровское «дело» до сих пор еще не напечатано целиком: даже не известно, какая часть издана — двадцатая или десятая. Одни объясняют это тем, что нельзя еще всего обнародовать — не доросли,—другие отмалчиваются. Ученики же его на каждую страницу Ф. издали примерно по собственной брошюре, гладко строя плоскую систему (Ф. боялся «систем»). Мне случалось встречать людей равнодушных к Ф. (это чаще всего люди «дореволюционного» склада), но большинство из них ознакамливались с «общим делом» не по Ф., а — по его ученым ученикам. Платона же своего Федоров, видимо, еще не имеет.

А между тем федоровские идеи таинственным, иррациональным путем проскользнули в самую гущу (подчас) жизни, живут (неосознанно) во множестве людей, довлеют им. Нет, нет, в любой «глуши», в любом зале да мелькнет Ф. Встречаются энтузиасты Ф. (это особый психологический тип), они часто совсем его не читали и все же в целом «знают» его: так намагничены поля Ф., такой явственной аурой он окружен.

Учениками Ф. оказались и большевики. Пятилетка — куцая, оскопленная федоровская идея.

Плановую борьбу со смертью можно начинать только в братстве! «Они умерли, а мы остались: значит, мы их недостаточно любили. Они умерли потому, что мы их недостаточно любили». Бог не может хотеть смерти. Смерть есть следствие, завершение отсутствия любви. Отсюда федоровское «братство сынов для воскрешения умерщвленных отцов». Братство, построенное по образцу Св. Троицы: неразделенной и неслиянной. Всемирная армия, планово борющаяся со слепыми, косными силами природы. Армия, сражающаяся не за страх, а за совесть, потому что решается вопрос личного бессмертия и воскрешения личных

отцов и «дядей». Основа смерти в небратском состоянии мира. Общими усилиями братьям нетрудно обуздать, «повернуть» стихийные силы природы. Это они медленно и неуклонно работают на смерть и распад. Но если иначе «поставить паруса», то эти же косные силы начнут работать ежесекундно на воссоздание, на воскрешение.

В каждом из нас жива хоть одна «клетка» ушедших предков. И как одной искры достаточно, чтобы раздуть пламя, так этой «клетки» достаточно, чтобы «раздуть» умерщвленного. И если постигшие истину занимаются определенным делом, то всякий, занимающийся этим делом, постигает истину: такова метафизика общего (правого) дела и действия. Вся жизнь превращается в дело воскрешения (других дел нет); литургия, наконец, выносится за пределы храма — обнимает всю жизнь. И почтальон, вручающий письмо адресату, принимает участие во внехрамовой литургии: потому что и письмо это будет так или иначе связано с делом воскрешения. Бог свершит все обещанное — руками преображенных любовью людей. На этой земле все сомкнулось в порочном круге истребления. «Я убиваю себя, чтобы не убивать других» (предсмертная записка Вейнингера*). Одно пожирает другое, одно произрастает из другого, новое поколение выпирает старое — отцов. Вся земля уже повторенный, трупный прах. Нужно порвать эту цепь, уйти с этого кладбища, перейти на другие планеты — не оскверненные смертью. Естественно, что, в противоположность многим, Ф. думает, что наша техника — еще детский лепет, что она направлена на губительный вздор, что ее нужно стимулировать под определенным углом. Некоторые публицисты специализировались на канадской пшенице и на бразильском

* Отто Вейнингер (1880—1903) — австрийский философ, автор книги «Пол и характер» (1902); покончил с собой в гостиничном номере, в котором умер Бетховен.

кофе. Действительно: топят, сжигают. Но подсчитал ли кто-нибудь, что получится, если 300 миллионам индусов и 400 миллионам китайцев дать хлеба досыта: по полтора фунта на человека — и ежедневно? Надолго ли хватит канадской пшеницы? А бразильское кофе? (Кстати, к нему, кажется, полагается сахар.) А если на сегодня и хватит, то ведь один неурожай — ливни или засуха — может все изменить. А в отношении регуляции погоды после зонтика человек еще ничего не придумал. Горожанин не чувствует своей зависимости от стихийных, слепых сил природы, но в поле они господствуют всецело. Мысль Ф., в моем ощущении, следующая. Весь наш пресловутый технический прогресс касается предметов роскоши. Мы в состоянии одеть весь мир в шелковые чулки и снабдить его презервативами. Но предметов первой необходимости (хлеба, здоровья, жизни) мы дать не можем. А бесплановая наука и промышленность, толкаемая разрозненными, эгоистическими интересами, ничего, кроме раздора, дать не сможет. Эта конкурирующая промышленность «шелковых чулков» рождает войны и революции; ее же родила похоть. Ценный для творчества сексуальный момент, очищенный от похоти, Ф. направляет на другое: вместо смертоносного зачатия — воскрешение отцов. Главное зло не социальное, а биологическое: смерть и ее производные. Братство и единство поколений: молодых и старых, живых и умерщвленных — вот новые «космические» лозунги, с которыми суждено встретиться российскому максимализму.

ПУТИ ИСКУССТВА

1

Жизнь художника, удачного или великого, среднего или незначительного, полна разочарований, лишений, восторга, мук и горечи. Так что, раньше или позднее, каждый художник, вступивший на это поприще без оглядки, должен себе поставить вопрос:

— Что же такое то дело, которым я с таким волнением занимаюсь? Что толкает меня посвящать лучшие годы «сочинению» рассказов, картин, поэм, сонат (в то время как мои сверстники весело бегают за барышнями или устраиваются на доходных местах)? Что такое искусство, которым я будто бы занимаюсь?

И тогда спрашивающий вдруг постигает, что ему почти нечего сказать в ответ. На вопрос, чему он посвятил свою жизнь и зачем... писателю, живописцу, композитору почти нечего ответить. Кроме того, что, дескать, жить, не занимаясь своим делом, ему было бы еще больнее и обиднее.

Утверждение художников, что они «творят» потому, что это им доставляет удовольствие (fun), на самом деле отвечает только на вопрос, почему они занимаются искусством, а не разъясняет, чем они занимаются; причем остается все-таки невыясненным, почему им, людям совсем не аскетического склада, нравится удел подвижников и отверженных (Блок: «Искусство есть Ад»). Разумеется, каждый художник или поэт не преминет тут же разразиться страстным монологом, в котором, словно забегая вперед, он постарается оправдать, защитить и освятить именно тот характер, стиль, жанр творчества, которым он занимается (так что, по существу, его теория искусства становится формой самозащиты).

А между тем есть несметное число людей, посвятивших этому предмету по дюжине томов. Логично, казалось бы, обратиться к ним за ответом. Но тут возникает другое затруднение: большинство пространно писавших о сущности музыки, поэзии, живописи сами произведений искусства не создавали — они профессора, эссеисты, теоретики, историки культуры... Люди, не имеющие прямого отношения к искусству, лучше всего и продолжительнее толкуют о природе последнего. Само собою разумеется, что для художника, ищущего ответа на вопрос: чем я занимался всю жизнь? — домыслы этих теоретиков творчества не могут быть исчерпывающими.

Лучше и проще всего было бы, пожалуй, сопоставить мнения великих творцов относительно того дела, которым они непосредственно занимались, но и это вызывает сомнения. В конце концов, имеется множество общепризнанных гениальных деятелей искусства, которых мы лично не понимаем, не любим, не помним, ибо так случилось, что творцы эти нас и нашей души ни в каком месте не коснулись! Так что суждение этих гениев мы по совести не можем считать заслуживающим безусловного доверия.

Таким образом, путем исключения наметился план настоящей работы, в которой я поставил себе задачей собрать и рассмотреть теории искусств нескольких художников, не просто великих, а еще оказавшихся близкими и нужными многим из нас лично! Сопоставив их мнение, нам, может быть, удастся найти ответ на поставленный вопрос или хотя бы немного приблизиться к его разрешению.

Как подлинные слова и дела святых порядка Франциска Ассизского или Иоанна Креста* больше учат о сущности

---

* Хуан де ля Крус — испанский мистик XVI века, в русской литературе встречается редко; иногда по-русски его имя переводят так: Св. Иоанн Креста Господня (примеч. ред. журнала «Мосты»).

христианства, чем постановления вселенских соборов, так личный опыт писателей размаха Толстого или Пруста говорит яснее о природе искусства, чем каноны любых теоретиков и профессоров.

Известно замечание средневекового римского папы о том, что всякий новый замечательный святой до какой-то степени еретик (ибо не укладывается целиком в установившуюся до него церковную практику). Точно так же каждый новый большой художник выпирает из старых, царствующих теорий искусства, разрушая их (но в конечном счете и дополняя, обогащая, развивая). Усложнения такого порядка продвигают нас вперед, ближе к грани истины. Ибо на простой вопрос вроде «что такое электричество?» или «что такое тяготение?» можно дать только сложный и приблизительный ответ. Только при бесконечном умножении сторон вписанного многоугольника он наконец совпадает с кругом (Бергсон).

2

Во всех книгах Толстого, в его дневниках и статьях разбросаны замечания относительно того дела, которым он занимался всю жизнь, то есть искусства. Толстой был профессиональным писателем, ежедневно проводившим за рабочим столом положенное число часов, аккуратно записывавшим в дневники все движения души и мысли, достойные внимания; он долго занимался издательской деятельностью, проявляя незаурядные практические способности и смекалку (вдохновляемый, однако, не жаждой наживы, а стремлением «просветить народ»). И все же он не любил, когда его причисляли к цеху писателей, беллетристов, литераторов, уверяя, что не в этом заключается его деятельность. И многие ему поверили: по сей день находятся милые русские люди, которые почти обижаются,

если Толстого называют профессиональным литератором. Так, Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек утверждают, что они в первую очередь фермеры, охотники за слонами, рыболовы, приятные собеседники, но только не писатели (хотя они именно этой деятельности посвятили жизнь).

Характерно, что свои мысли Толстой, как всякий профессиональный писатель, бережно записывал; он это делал с примерным упорством до последнего дня жизни: останавливая лошадь во время прогулки верхом (чтобы не забыть ценной мысли), пряча наиболее интимные дневники в потайные места (от жены) и пробираясь туда украдкой. За несколько часов до смерти, уже, казалось бы, потеряв сознание и не будучи в состоянии диктовать, Толстой, по свидетельству присутствовавших друзей, автоматически все водил рукой по одеялу, точно запечатлевая на бумаге, по установившейся за полвека привычке, мысли, расшифровать которые уже никто не мог.

Высказывания Толстого относительно художественной деятельности рассыпаны на протяжении многих десятилетий его зрелой жизни, и они, естественно, противоречивы (часто даже уничтожают друг друга). Но существует большая работа, в которой он постарался точно и резко изложить свои взгляды на искусство. Для того чтобы уяснить себе теорию Толстого позднейшего периода, необходимо исследовать эту его статью («Что такое искусство»).

3

Согласно Толстому, основная функция искусства заключается в том, чтобы «заразить» чувством: художник передает читателю, зрителю, слушателю те эмоции, которые служили для него самого отправной точкой творчества.

Толстой подробно рассматривает многие теории искусства (главным образом профессоров, философов, публицистов), критикуя их и обнаруживая несостоятельность искусства как служения Красоте, Истине или как формы Игры. Но свое, близкое ему определение искусства (как «заражения») Толстой не разбирает и не обосновывает, считая самоочевидным и несомненным.

Итак, искусство должно заражать людей тем чувством, которое испытал художник; и чем сильнее (искреннее) и глубже последний пережил это чувство и чем непосредственнее сумел передать, тем совершеннее и удачнее будет его произведение. «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытывали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

И еще: «Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный — заразительность искусства. Если человек без всякой деятельности с своей стороны и без всякого изменения своего положения, прочтя, увидав произведение другого человека, испытывает состояние души, которое соединяет его с этим человеком и другим, так же, как и он, воспринимающим предмет искусства людьми, то предмет, вызывающий такое состояние, есть предмет искусства. Как бы ни был поэтичен, похож на настоящий, эффектен или занимателен предмет, он не предмет искусства, если он не вызывает в человеке того, совершенно особенного от всех других, чувства радости, единения душевного с другим (автором) и с другими (с слушателями или

зрителями), воспринимающими то же художественное произведение».

Искусство есть одно из средств общения людей между собою, и в этом оно соприкасается с другими высшими функциями человеческого духа. «Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим или производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним, прежде или после его восприняли или воспримут то же художественное произведение».

Разумеется, существует иерархия чувств: низменные эмоции, будничные и, наконец, возвышенные! Последние совпадают с идеалом общества данного периода (то есть для нас с христианским идеалом). Искусство соединяет людей, передавая им всем те же эмоции, заражая их ими. Ограниченные эмоции (патриотизм, похоть, культ) объединяют одних и в то же время отпугивают, отделяют других. Настоящее, последнее, истинно христианское, возвышенное искусство должно соединять всех людей без исключения: «христианское искусство, то есть искусство нашего времени, должно быть кафолично в прямом значении этого слова, то есть всемирно, и потому должно соединять всех людей. Соединяют же всех людей только два рода чувств: чувства, вытекающие из сознания сыновности Богу и братства людей, и чувства самые простые — житейские, но такие, которые доступны всем без исключения людям, как чувства веселья, умиления, бодрости, спокойствия и т.п. Только эти два рода чувств составляют предмет хорошего по содержанию искусства нашего времени».

Естественно, для того чтобы стать всеобщим, искусство должно быть всем доступно — то есть оно должно быть простым и понятным каждому и всякому с первой минуты.

Искусство не есть наслаждение («эстетическая» теория); оно не забава (Игра). Искусство — великое кафолическое дело, близко соприкасающееся с религией (род внецерковного причастия). В своей теории Толстой, по-видимому, не допускает мысли, что художник может заняться выяснением причин, в силу которых такая-то и такая-то обстановка вызывает именно эти эмоции, то есть изучением законов причин и следствий, соприкасаясь таким образом и с областями науки или философии...

Такова в общих чертах философская работа Толстого об искусстве. Чтобы лучше обосновать свою точку зрения и опровергнуть все мыслимые возражения, великий писатель вынужден был кропотливо доказывать, что Бодлер писал непонятные стихи (а непонятное — не кафолично!). То же и Шекспир: сочинял нелепые пьесы, ненужные русскому мужику (носителю христианских добродетелей, априори); по ходу действия в драмах Шекспира участвующие лица часто переодеваются (женщины в мужчин), и никто, даже их близкие родные, этого не узнают: не то что мужик, но любой деревенский мальчишка этому не поверит! Шекспир, таким образом, не выдерживает экзамена на «реализм» деревенских Ванек (позже мы еще вернемся к «реализму», бичу современной России).

Однако, не обращая внимания на эти странности гениального писателя, главным пробелом в его теории должно считать отсутствие даже попытки обосновать свое определение искусства как средства заражения разными чувствами. Досадно, что это определение искусства одинаково распространено как в России, так и в Соединенных Штатах и никогда не подвергалось критическому разбору, воспринимаясь на манер не нуждающейся в доказательствах аксиомы...

4

Почему цель и заслуга искусства — только в том, чтобы снова и снова сочинять и усваивать трогательный вариант про вдову и сиротку, затем прослезиться и «объединиться» (на мгновение)... Здесь граница великого и возможного для искусства? В других сферах человеческого творчества искателям надлежит выходить за пределы исследованных областей, открывая принципиально неведомые земли и законы! А искусству — одной из высших отраслей духовной деятельности — предоставляется служебная роль, наравне с клоуном: вызывать слезы и смех (пусть самые деликатные, христианские)... Такое искусство оборачивается слабой подделкой под религию, объединяя, на манер литургии, людей, в другое причастие уже не верующих (а нуждающихся в причастии и стремящихся его чем-то заменить). Но от этого искусство не становится религией, а только часто перестает быть искусством.

Однако в своем личном творческом опыте Толстой неожиданно указывает на возможность другой теории искусства, которую он, по-видимому, не заметил и не использовал в философском труде.

В дневнике и письмах Толстого имеется рассказ о том, как был начат и закончен роман «Анна Каренина». Все казалось готовым для нового большого произведения. Со времени завершения «Войны и мира» прошло уже шесть лет, и Толстой изнемогал от зрелых творческих идей: «Tout est pret, il ne reste qu'a ecrire!» (Флобер)... А все-таки последнего, граничащего с чудом толчка недоставало. И вот писатель однажды на досуге перелистывает Пушкина. Об этом подробно рассказано в письме к Н.Н. Страхову (25 марта 1873 года):

«Я как-то после работы взял этот том Пушкина и как всегда (кажется, седьмой раз) перечел всего, не в силах

оторваться и как будто вновь читая. Но мало того, он будто разрешил все мои сомнения... И там есть отрывок “Гости собирались на дачу” (В действительности “Гости съезжались на дачу” — *В.С. Я.*). Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман...»

Толстой задумал роман, но не может написать его: не выходит! Он перечитывает Пушкина и вдруг, словно получив электрическую зарядку, в несколько дней начерно набрасывает всю «Анну Каренину» («Все смешалось в доме Облонских...»).

Итак, произведение Пушкина заразило Толстого не эмоциями вообще, не слезами возвышенного порядка, а передало художественный, творческий стимул: вот о чем свидетельствует личный опыт Толстого. И если бы последний осознал этот опыт, то он бы создал другую философию искусства, родственную Бергсону, который именно утверждал, что задача и свойство подлинного искусства заключается в том, чтобы заражать творческой энергией и передавать читателям, зрителям, слушателям творческий заряд!

5

«В чем предмет искусства, — спрашивает Бергсон («Le Rire»). — Если бы действительность могла непосредственно войти в контакт с нашими чувствами и сознанием, если бы мы могли оказаться в прямом общении с предметами и с самими собою, то искусство стало бы бесполезным, или, вернее, мы все превратились бы в художников, так как в последнем случае наша душа постоянно вибрировала бы в полной гармонии с природой. Наши глаза в сотрудничестве с памятью лепили бы в пространстве и увековечивали бы во времени самые неподражаемые картины...

Эти картины повсюду кругом нас и внутри нас, а в то же время мы ничего из них не воспринимаем с точностью. Между природою и нами, да что там, между нами и нашим сознанием повисла завеса: ткань, тяжелая и непроницаемая для общего стада — тонкая, почти прозрачная для художника и поэта. Какая фея соткала эту вуаль? Делалось ли это по доброй или по злой воле?»

Полог этот явился как естественное следствие инстинкта самосохранения!

«Я смотрю и думаю, что вижу, я слушаю и думаю, что слышу; я изучаю себя и думаю, что постигаю самую глубину своей души. Но то, что я вижу и слышу во внешнем мире, на самом деле является только отбором, сделанным моими чувствами, и служит мне руководством для соответствующего поведения; я знаю о себе только то, что всплывает на поверхность, что принимает участие в моих действиях... Предметы были классифицированы с точки зрения той пользы, которую я могу извлечь для себя. И эту классификацию я постигаю яснее, чем цвет или форму предметов... Индивидуальность вещей, их сущность ускользает от нас, за исключением разве тех случаев, когда нам выгодно различать их... Даже когда мы замечаем это различие, мы замечаем не индивидуальное в целом, то есть всю первоначальную гармонию линий и красок, а только одну или две черты, которые нам могут оказаться полезными в деле практического распознавания».

(Здесь интересно вспомнить современника Бергсона, Генри Джеймса, совершенно иначе оценивавшего эту нашу ограниченность: «Действительность предлагает моему восприятию вещи, которые мы обязательно, так или иначе, раньше или позже должны познать; это только случайность нашего ограниченного состояния и одна из особенностей качества и количества этих объектов, что некоторые их лики нам до сих пор еще не раскрылись на нашем пути».)

Итак, согласно Бергсону, мы не видим действительных предметов, а только различаем ярлыки, приклеенные к ним. Но изредка природа создает людей «со слегка приподнятой вуалью». Это художники; и в каком уголку вуаль приподнята — там они видят дальше И глубже. «Один посвящает себя краскам и формам, и поскольку он любит краски и формы для красок и форм, поскольку он их воспринимает для них самих, а не для себя, постольку он постигает внутреннюю жизнь предметов, раскрывающуюся в этих красках и формах». Мало-помалу художник впрыскивает это подлинное знание вещей в наше общее восприятие их — как бы мы ни были смущены вначале и ни отбивались. Художник освобождает нас, хотя бы на некоторое время, от мнимых красок и форм, стоящих между нами и действительностью. «И таким образом он достигает высочайшей цели искусства, которая заключается в раскрытии природы».

Другие художники уходят в самих себя... «и тогда, чтобы соблазнить нас подобной же творческой деятельностью, они стараются показать нам кое-что из того, что сами узрели, пользуясь ритмическим чередованием слов, организованных и одушевленных таким образом, что последние начинают жить собственной жизнью». Такого рода художники сообщают нам — или, вернее, предсказывают — вещи, которые речь по природе своей не была рассчитана выражать.

Третьи ныряют еще глубже. Под теми радостями и печалями, которые можно походя перевести на язык речи, они ловят что-то, не имеющее ничего общего с обыденным языком, «некие ритмы жизни и дыхания», более близкие человеку, чем самые внутренние его чувствования. Освобождая и подчеркивая внутреннюю музыку, эти художники привлекают к ней наше внимание, заставляя, волей-неволей, отдаться ей: «подобно прохожим, присоединяющимся

к уличному танцу». Таким образом, они заставляют звучать в глубине нашего существа некую тайную струну, которая только ждала, чтобы начать дрожать. «Так что искусство, живопись или скульптура, поэзия или музыка, имеет только одну цель: оно отметает в стороны утилитарные символы, условные, всеми признанные места, коротко говоря, все то, что заслоняет от нас реальность и ставит нас таким образом лицом к лицу с действительностью».

(Преодолеть внешность и видимость, познать действительность и законы, присущие ей, является целью также науки.)

«Отсюда следует, что искусство всегда стремится к личному. Художник закрепляет на холсте то, что он видел в некотором месте, в памятный день, в определенный час, в красках, которые уже никогда не повторятся. Поэт воспевает определенное настроение, оно его, только его, и никогда не возвратится... Поэтому и только поэтому они принадлежат искусству; ибо общие места, символы или типы образуют ходкую монету наших будничных восприятий».

(Момент личного, по-видимому, отделяет произведение искусства от научного труда.)

«Каждое произведение искусства единственно, и в то же время, если оно несет печать гениальности, оно дождется признания другими. Почему оно будет признано? И если оно единственно в своем роде, то по каким признакам мы узнаем его подлинность? Очевидно, по тому усилию, которое оно заставляет нас, вопреки косности, проделать, чтобы разглядеть его по-настоящему. Искренность заразительна. То, что художник видел, мы, вероятно, никогда не увидим снова или, по крайней мере, никогда не узрим точно таким же; но если он действительно видел это, то попытка, которую он сделал, чтобы приподнять завесу, вызывает наше подражание. Его труд нам служит уроком и примером. И динамическая (творческая) энергия,

освобожденная этим уроком, является точным мерилом подлинности данного произведения искусства. Следовательно, правда несет внутри себя энергию убеждения или, еще лучше, обращения (conversion), и по этому признаку нам удается узнавать ее. Чем крупнее произведение и чем глубже смутно затронутая истина, тем дольше, может быть, придется ждать его воздействия; но, с другой стороны, тем универсальнее (кафоличнее) будет результат его влияния. Так что универсальность здесь определяется силой эффекта, а не характером его».

Уместно, быть может, сравнить этот текст Бергсона с отрывком из Иона, где Сократ пытается объяснить тайну искусства: «...это движет тобою божество, подобно божеству, присутствующему в камне, прозванном Эврипидом магнитом, но общеизвестном под именем камня Геракла. Ибо тот камень не только притягивает железные кольца, но также передает им подобную же способность притягивать в свою очередь новые кольца; иногда можно наблюдать множество кусков железа и колец, подвешенных друг за другом, так что они образуют довольно длинную цепь; но все они черпают свою способность притяжения от первого камня. Так Муза лично вдохновляет одного и этим вдохновением притягивает множество других людей, на манер цепи, но все они питаются вдохновением Музы».

Таким образом, теория искусства Бергсона, вместо толстовского заражения эмоциями вообще, в основу свою кладет заражение творческим чувством, вдохновением, импульсом (этот импульс является составной частью гораздо более обширного élan vital).

Но заражение человека неопределенным творческим импульсом может быть часто бесполезно или даже вредно. В конце концов, вероятно, имеются формы творчества, более нужные или ответственные хотя бы в данной зоне.

Бергсон, собственно говоря, не устанавливает иерархии творческого стимула. Пруст углубляет и развивает основные мысли Бергсона.

6

Свою теорию искусства Пруст излагает на протяжении всего «A la Recherche du Temps Perdu»*) (с особым упорством в последней книге — «Temps Retrouvé»); в последнем счете, одним из героев романа является именно Искусство, которое и раскрывается, как полагается главному действующему лицу, только постепенно на протяжении всего монументального труда.

Если, по Толстому, художник снова и снова воспроизводит знакомые, известные уже (добрые) чувства, заражая ими зрителя, читателя, слушателя, то, по Прусту, творец искусства стремится проникнуть глубже и дальше, найти законы (подобные физическим), управляющие жизнью сознания, общества, духа, — объяснить эти законы, найти для них формулу! Короче говоря, художник (как и ученый, открыватель новых земель, философ или даже основатель новой религии) тщится вырвать из мрака нечто до него еще не замеченное, не описанное, старается исследовать это, объяснить, осознать, организовать! Причем новизна заключается часто не в самих фактах, островах, субстанциях, а в их неожиданных взаимоотношениях или в расположении частей и причинно-следственной зависимости. Творить можно и нужно только принципиально новое; творить значит открывать.

Сам Пруст нашел и с точностью запеленговал добавочное измерение Времени. Он научился создавать новую реальность, вдохновенно описывая поразившие его

* Роман «В поисках утраченного времени» (*Примеч. ред. журн. «Мосты»*).

в прошлом ситуации. Это не реальность настоящего, в котором не участвует воображение, и не воспоминания только, а между: впереди или позади на пол-измерения. Мир Пруста состоит из трех с половиной измерений, или, вернее, мир, согласно открытию писателя Пруста, располагает тремя с половиною измерениями! Таким образом, задача художника принципиально ничем не отличается от задачи естествоиспытателя, океанографа, философа, экспериментатора (различие в методах).

«О, как часто в течение моей жизни бывал я разочарован реальностью, ибо в то время, когда я ощущал эту реальность, мое воображение, единственный орган, при помощи которого я мог наслаждаться красотою, не могло функционировать, согласно тому непреложному закону, по которому только то, что отсутствует, может быть воображаемо...» (цитаты из Пруста переведены мною с английского издания).

Пруст устанавливает свой закон подлинной, полной реальности: обычная, трехмерная плюс воображение. Недостаточно бессознательное настоящее; неполноценно только вспомнить памятью его потом: необходимо освятить все это чувством воображения, вдохновения (поэзии).

В жизни Пруста (или его героя) сыграли огромную роль несколько красок, звуков, запахов, постоянно возвращавшихся к нему: пяток мгновений, на быках которых стоит весь мост! И, переживая опять эту реальность, Пруст чувствовал ее гораздо острее, чем в пору первого соприкосновения... Отсюда вся его философия искусства, творчества, времени, бессмертия.

«Пусть звук, уже слышанный, или запах, пахнувший в прошлом, вдруг снова нами ощущаются (одновременно, в настоящем и прошлом, действительные без того, чтобы принадлежать настоящему мгновению, идеальные, но не

абстрактные), и немедленно вечная сущность предметов, обычно скрытая, освобождается в наше подлинное “я”, которое долго казалось мертвым, хотя не было таковым в других отношениях, пробуждается, обретает новую жизнь, поскольку ему преподнесли небесную пищу. Одна минута раскрепощения от хронологического порядка времени возродила в нас человеческое существо, а также освободило его, дабы оно могло оценить эту минуту. И легко догадаться, как такое освобожденное существо уверенно радуется; даже если самый вкус сладкого теста (madeleine), пожалуй, не содержит логического оправдания для такого ликования — легко понять, что слово “смерть” не должно больше иметь былого значения для этого существа: помещенное вне потока времени, чего оно может опасаться в будущем?»

— У смерти нет больше жала! — утверждает Пруст вслед за апостолом Павлом и Н. Федоровым.

Впечатления, оказывающие наибольшее влияние на жизнь человека, немногочисленны и преходящи — но именно они являются неотъемлемою частью вечности. «И вместе с тем я чувствовал, что удовольствие, которое они оставили во мне своим редким чередованием, было плодотворным и действительным».

Герой романа Пруста, на закате собственной жизни, окруженный у Германтов постаревшими друзьями и знакомыми, вдруг, словно по наитию, видит гигантскую протяженность человеческого тела во времени. Это ему кажется откровением. Он решает посвятить остаток своих дней изучению действительности — дабы обнаружить истинную природу вещей. «Но как я должен к этому приступить, какими средствами?»

Религия? Философия? Искусство? Что больше соответствует? Какой метод ближе для разрешения поставленной задачи... «Я должен заставить себя интерпретировать

чувства как носителей соответствующих законов и идей; я должен стараться осознать разумом, то есть вырвать из мрака, то, что я чувствовал когда-то, и превратить последнее в соответствующий духовный эквивалент. Но этот метод, который кажется мне единственно подходящим, чем он является если не попыткой создать произведение искусства?»

И еще: «Но воссоздавать при помощи памяти впечатления, которые после этого должны опять погрузиться на присущую им глубину, освещенные и превращенные в осознанные эквиваленты, разве это все не обязательное условие, не главная сущность произведения искусства?»

Внутреннюю истину, догадывается Пруст, можно выявить при помощи внешних объектов, значение которых должно искать только в себе самом; эти объекты перемешаны в голове и образуют кашу. Первая их характеристика: человек не волен в их выборе, они мелькают в сознании без порядка и без лица. В этом знак подлинности объектов, их символичности (эту истину усвоили также сюрреалисты).

7

Великая книга написана иероглифами в душе человека: это книга его бытия.

«Прочитать эту книгу странных знаков... никто не мог помочь мне в этом деле, ибо чтение этой книги является творческим актом, в котором никто не в состоянии заменить нас или хотя бы сотрудничать с нами».

Отсюда единственность, неповторимость подлинного произведения искусства: никто другой не сумел бы его создать!

Какое множество писателей, говорит Пруст, уклоняется от этой своей прямой обязанности и взваливает на себя

разнообразные ноши, только чтобы обмануть себя и избежать собственной судьбы. Любое событие, дело Дрейфуса, войны, революции, все является для такого рода художников причиной уклониться от основного дела: ведь их дело расшифровать единственную книгу, используя код, который они потом унесут с собой в могилу. Они оправдывают свое дезертирство социальными, моральными, религиозными, патриотическими причинами, но все это только отговорки: «на самом деле они не имели таланта, иначе говоря, творческого инстинкта, или потеряли то, чем раньше владели. Ибо этот инстинкт диктует обязанности, а разум подсовывает причины, позволяющие уклониться от выполнения долга. Но в искусстве извинениям грош цена, добрые намерения не в счет! Художник должен ежесекундно следовать за этим инстинктом. Так что искусство — одна из величайших реальностей — является самой суровой школой жизни, это воистину Страшный суд. Книга, которую из всех других книг труднее всего расшифровать, и является той единственной, продиктованной нам действительностью, неповторимой книгою, отпечатки которой в нашем сознании были сделаны самой реальностью...»

Идеи формируются при помощи чистого разума и несут в себе только логическую истину — потенциальную! Отбор этих идей произвольный. «Книга, написанная в символических знаках, не установленных нами, является нашей обязательной, непроизвольной книгой. Только субъективность впечатлений является критерием их истинности, поэтому единственно последние заслуживают быть осознанными разумом, даруя в результате этого процесса человеку чувство совершенства и чистой радости».

Субъективные впечатления в жизни писателя играют ту роль, которую в деятельности ученого выполняют опыты и эксперименты (с той разницей, однако, что

у естествоиспытателя работа разума предшествует всему остальному, а у художника она следует позади).

Все, что нам не пришлось расшифровать и сделать ясным при помощи нашего собственного, личного усилия, все, что было известно до нашего вмешательства, не представляет части нашей сущности. Из нас исходит то, что мы лично вырвали из мрака, что было неведомо другим. И так как искусство является верным воспроизведением всей жизни, то вокруг тех истин, к которым мы прорвались в глубине самих себя, всегда присутствует сладостная атмосфера поэзии и тайны, свойственной той полутьме, через которую мы проникали... (Момент поэзии очень важен в деле воскрешения действительности, по Прусту.)

«Таким образом, я опять пришел к выводу, что мы совсем не свободны ввиду произведения искусства, которое собираемся создавать, что мы не делаем это по капризу, нет! Произведение существовало уже до нас, и мы должны только постараться обнаружить его, как поступают в отношении физических законов».

Так называемое реалистическое искусство особенно ложно, потому что мы привыкли давать нашим чувствам условное внешнее выражение; а некоторое время спустя мы уже принимаем эти затверженные внешние выражения за саму реальность.

«Идея народного искусства, как и патриотического, кажется мне вздором, и даже опасным, поскольку суть дела заключается в том, чтобы сделать искусство доступным для народа, хотя бы пожертвовав для этого совершенством формы, нужной будто бы только классу бездельников».

Пруст высказывает догадку, что именно высшие классы «бездельников», а не «рабочие-электротехники» по-настоящему безграмотны и нуждаются в особом роде искусства; таким образом, народное искусство предназначалось бы скорее для членов жокей-клуба, а не для пролетариев

Генеральной Конфедерации Труда. «Не будем подражать революционерам, которые, исходя из гражданских чувств, отвергли или даже фактически уничтожили работы Ватто и Ла Тура, художников, делающих Франции больше чести, чем все живописцы Революции, взятые вместе».

Один разрез жизни, одно мгновение ее приносит нам зараз множество ощущений и впечатлений. «То, что мы называем реальностью, является известным взаимоотношением между этими ощущениями и воспоминаниями, окружающими нас в данное мгновение; истинное взаимоотношение уничтожается кинематографическим воспроизведением: последнее отходит тем дальше от действительности, чем с большей точностью оно будто бы заснято. Это единственно истинное взаимоотношение писатель обязан уловить, сковывая таким образом навеки в своем тексте два различных элемента. Можно перечислить легион предметов, фигурирующих в описываемом месте, но реальность начнется лишь тогда, когда художник возьмет два разнородных элемента и установит их взаимоотношение, а затем заключит их в обязательную рамку мастерства (это взаимоотношение в мире искусства аналогично единственно возможному взаимоотношению в мире науки: причины и следствия)... Взаимоотношение может быть неинтересным, предметы посредственны и стиль плох, но без этого взаимоотношения вообще нет ничего. Литература, удовлетворяющаяся только описанием вещей, составлением нищего списка линий и плоскостей, является, независимо от ее претензий на реализм, наиболее удаленной от действительности литературой, обедняющей и удручающей (даже если она повествует о величии и славе), ибо она резко отрубает все пути сообщения между нашим теперешним "я" и всем прошлым (сущность которого сохраняется в объекте), а также с будущим, в котором эти самые коммуникационные линии помогут нам опять наслаждаться прошлым».

(О взаимоотношениях в естественных науках исчерпывающе сказал Пуанкаре: «...математики не занимаются предметами, а взаимоотношением между предметами; таким образом, они вольны замещать одни предметы другими, поскольку взаимоотношение остается неизменным. Содержания для них не существует: они заинтересованы только формой».)

8

Для того чтобы закрепить, по Прусту, эту действительность, «чтобы написать эту главную книгу, единственно подлинную книгу, великий писатель не нуждается в сочинении ее в обычном смысле этого слова, поскольку она уже существует в нем: он должен только перевести ее. Писатель является переводчиком самого себя». (Кстати, Сократ в Ионе утверждает: «...поэты являются истолкователями (переводчиками?) богов, коими они всецело одержимы».)

В нашей памяти мало-помалу собирается сонм неточных отпечатков впечатлений, в которых ничто не сохранилось из того, что человек действительно пережил, и эти отголоски, искривления составляют наши мысли, нашу жизнь, нашу реальность; так называемое искусство, взятое из жизни, только попросту размножает эту ложь, создавая произведения бедные, как эта наша жизнь, без красоты: повторение того, что глаза видят и разум отмечает, — утомительное и бесплодное, безблагодатное, нерадостное, ненужное искусство.

«Величие подлинного искусства (которое месье де Норпуа назвал бы времяпрепровождением дилетантов), напротив, заключается в том, чтобы снова открыть, снова уловить и воплотить ту действительность, от которой мы отрезаны нашей жизнью и от которой мы удаляемся все

больше и дальше, поскольку формальные знания, замещающие эту реальность, растут в толщине и плотности — так что существует опасность, что мы умрем без того, чтобы познать эту реальность! А вместе с тем именно она и является нашей жизнью: это наша подлинная жизнь, открытая и наконец истолкованная, то есть наша единственная жизнь, которая воистину имела место, та жизнь, которая до известной степени должна обнаруживать себя ежеминутно у каждого человека, равно как и у художника. Но людям не удается разоблачить ее, потому что они не бросают пучка света в этом направлении. Таким образом, их прошлое загромождается бесчисленными фотографическими негативами, лежащими без пользы, потому что разум их не проявил. А ведь надлежит воспроизвести снова нашу жизнь, а также жизнь других. Стиль для писателя или живописца вопрос не техники, а внутреннего прозрения, недостижимого иными средствами; это откровение касается качественных различий, наблюдаемых в мире, различий, которые, если бы не существовало искусства, остались бы тайной для нас всех. Только при помощи искусства мы выходим из самих себя, познаем то, что другие видят в своем мире (отличном от нашего), а также замечаем множество пейзажей, которые иначе остались бы неизвестными, как те, что, может быть, встречаются на Луне. Благодаря искусству, вместо того чтобы видеть только один мир, наш собственный, мы различаем его во множественных формах, и сколько имеется оригинальных художников, стольким же количеством вселенных располагаем мы; эти миры отличаются друг от друга больше, чем те, что вращаются в бесконечном пространстве, годами после того, как раскаленный центр, из которого они истекли, давно потух, и — независимо от того, называются ли они Рембрандт или Вермер, — продолжают посылать во все стороны свои собственные лучи».

Различие между очевидностью и действительностью, занимавшее в прошлом стольких философов, отныне становится основной темой искусства.

«Работа художника, заключающаяся в том, чтобы познавать нечто иное под внешним слоем, опытом, словом, является как раз обратной тому процессу, который в течение каждой минуты жизни (когда наше внимание отвлечено) протекает в нас под влиянием страсти, логики, а также привычек, прячущих от нас все истинные впечатления, хороня их под массой ярлыков и практических рефлексов, ошибочно называемых жизнью. В конечном счете, такое искусство, хотя и трудное, является единственно живым искусством. Только такое искусство выражает для других и открывает нам самим подлинную жизнь, ту жизнь, которая не может быть наблюдаема и внешнее проявление которой должно быть истолковано и даже прочитано с конца к началу, поддаваясь расшифровке только после огромного усилия. Зато искусство это сведет на нет все порождения гордыни, духа подражания, отвлеченного разума и заставит нас найти свои собственные следы, вернуться по ним вспять к глубинам внутреннего "я", туда, где действительно бывшее лежит, не познанное нами. Воистину, сладостно снова творить настоящую жизнь и воплощать юношескую свежесть впечатлений, но для этого требуется всякого рода решимость...»

Здесь область искусства явно соприкасается не только с наукой, но и с религией; и компромисс в художественном творчестве так же невозможен, как и в исповедании веры.

«И я понял, что все эти материалы моего литературного труда не что иное, как моя прошлая жизнь; что они собирались во мне в пору легкомысленных развлечений, в часы безделья, вместе с нежными чувствами и скорбью: я откладывал их, не видя конечной цели, не зная, что они сохранятся, подобно зерну, выделяющему субстанцию для

питания ростка. И, подобно зерну, я, быть может, перестану существовать, как только растение сформируется. Я понял, что жил для этого ростка, даже не догадываясь об этом, без всякой какой бы то ни было гарантии, что я увижу когда-либо себя воплощенным в тех книгах, которые я так стремился написать, но для которых не мог найти темы, когда усаживался за рабочий стол».

9

По Прусту, «книга — это огромное кладбище, на большинстве памятников которого уже нельзя разобрать полустертые надписи». Как читать такого порядка книгу...

«В действительности каждый читатель прочитывает только то, что имеется в нем самом. Книга является только чем-то вроде оптического инструмента, который писатель предоставляет читателю для того, чтобы помочь ему найти в себе то, чего он без этой книги не увидит. Нахождение в самом себе того, что также имеется в книге и является доказательством точности последней (конечно, до известной степени, ибо некоторые разногласия в обоих текстах должно отнести за счет читателя, а не обязательно автора; кроме того, книга может оказаться слишком сложной, чересчур темной для простого читателя, являясь чем-то вроде мутного стекла, через которое читателю трудно смотреть)».

Следуя своему методу, Пруст мимоходом вскрывает мир Кафки, но не задерживается на нем...

«Мне казалось, что людское существо может проходить метаморфозы такие же полные, какие проходят некоторые насекомые».

«Мы стучали во все двери, открывавшиеся в ничто. Но та единственная, через которую можно войти и которую мы искали целую жизнь, предстает перед нами случайно; и она отворяется».

Но основное открытие Пруста в добавочном полуизмерении Времени:

«И по правде сказать, все эти различные планы, в которые Время (ибо я снова уловил значение его на этом приеме) укладывало многие периоды моей жизни, подсказали мне мысль, что в книге, которая ставит себе целью передать человеческую жизнь, придется пользоваться, в противоположность обычно применяемой плоской психологии, чем-то вроде трехмерной, плотной психологии, добавляя таким образом свежую краску к воскресению прошлого, которым моя память занималась, пока я сидел один, мечтал в библиотеке; ибо память, внося прошлое в настоящее неизмененным, точно таким, каким оно выглядело, когда само было настоящим, исключает одно великое измерение Времени и таким образом ограничивает полное осознавание нашей жизни».

Произведение искусства такого масштаба не может быть стопроцентной удачей (пожалуй, не должно ею быть).

«И в этих великих книгах имеются части, которые удалось отметить только в общих чертах, за недостатком времени, и которые, без сомнения, никогда не будут закончены по причине слишком большого размаха архитектора. Какое множество грандиозных соборов остались незаконченными».

Однако надо сооружать этот собор (пусть с некоторыми незавершенными приделами); впрочем, Генри Джеймс имел на этот счет определенное мнение: «...я же, пожалуй, предпочту меньше архитектуры, чем слишком много ее, если существует опасность, что она повлияет на мое чувство меры».

Еще Пруст:

«Но хватит ли еще времени? Сознанию тоже доступны некие пейзажи, которые ему позволено обозревать только мимолетно. Я был подобен художнику, взбирающемуся в гору, откуда видно прекрасное озеро, внизу скрытое от

глаз скалами и деревьями; с одной из площадок он наконец видит это озеро перед собой и достает кисти. Но уже наступает ночь, когда писать красками нельзя: та ночь, которую день уже никогда не сменит».

(Сравни у Томаса Вульфа: «И теперь, впервые, страшное сомнение начало проникать в мое сознание: проживу ли я достаточно долго, чтобы извлечь это все из себя, — я затеял работу такого размера, такую невозможную, что потребуется, пожалуй, энергия дюжины жизней, чтобы ее завершить». — Повесть об одном романе.)

Всякое отступление от творческого устава — грех! Для Пруста не меньше, чем для Толстого, ясно, в чем грех или святость писателя.

«С моей смертью исчезнет не только рудокоп, способный добывать ценные минералы, но и руда...»

«Человеческий альтруизм без зерна эгоизма — стерилен, как стерилен писатель, прерывающий свой труд, чтобы принять обездоленного приятеля, чтобы заняться общественными делами или чтобы строчить пропагандную литературу...»

Герой «Поисков утраченного времени» все еще слышит звонок у входной двери, возвещающий, что месье Сванн ушел и мама сейчас придет наверх к нему; этот звонок Пруст слышит, закрывая уши и глаза, чтобы отмежеваться от всех окружающих его звуков теперь у Германтов — целую жизнь спустя!

«В таком случае получается, что этот звон все еще пребывает там, а также в промежутке между тем мгновением и настоящим, во всем том бесконечно разворачивающемся времени, которое я бессознательно ношу в себе. Когда этот звонок впервые зазвучал, я уже существовал, и от той ночи до настоящего мгновения (когда я вдруг снова услышал этот звук) не было перерыва в моей целостности, не было ни одной минуты покоя, прекращения существования

или собственного осознавания, поскольку это отдаленное происшествие все еще цепляется за меня и я могу вскрыть его, вернуться к нему — если только попросту нырну достаточно глубоко в самого себя».

Отныне установлено: люди занимают во времени постоянно гораздо больше места, чем в пространстве, и факт этот не отражен в достаточной мере нашими чувствами.

И последняя фраза Пруста:

«Если бы мне было отпущено достаточно времени для завершения моего труда, я бы не преминул наложить на него клеймо того Времени, понимание которого открылось мне с такой силой сегодня; отныне я буду описывать людей — даже если это их уподобит монстрам — как занимающих во времени гораздо больше места, чем им уделено в пространстве, наоборот, безгранично растягивающихся в нем, на манер великанов: простирающихся далеко назад в годах (отделенных бесчисленными днями посередине), так что они касаются одновременно разных эпох своей жизни, столь далеко расположенных друг от друга во Времени».

10

В начале этой работы я бегло определил принцип, которого намерен придерживаться при выборе художников, чье мнение об искусстве я считаю необходимым изучить. Я писал: мы будем прибегать к свидетельствованиям художников не просто великих, а таких, которые многим из нас лично близки, нужны и внушают доверие!

Теперь, пожалуй, наступило время несколько дополнить это определение, которое может показаться чересчур субъективным и подверженным сплошным капризам.

В жизни наблюдается ряд внезапных, никем не организованных форм «франк-масонства»... Одну из них представляют ветераны тех же войн, кампаний, схваток,

иначе говоря, стихийное (и потому самое действительное) франк-масонство бойцов, штурмовавших (или защищавших) ту же крепость — пусть в разное время или с разным успехом, но под тем же небом, в виду того же врага! Они все воистину братья. «For he today who sheds his blood with me shall be my brother!» — утверждает один из шекспировских королей, обращаясь к черни.

Братья по духу: братья короля. Высшее упразднение классовых, кастовых, биологических и расовых подразделений. Боевое братство, спаянное победой над страданиями и шаблоном смерти (высшая форма творчества). И гений, может быть, только доброволец, удачно пробежавший к рубежу крепости или бастиона. Заслуга его перед неудачным соратником принципиально не бог весть как велика! Оба одинаково проявили добрую (творческую) волю, а счастье (или дар) от Бога! Сравнение это усложняется еще тем, что штурм любой цитадели происходит предварительно внутри нас (и победа, поражение — там). А также: в душе нашей много фортов, и человек может оказаться победителем на одном участке фронта и раненым или убитым (даже дезертиром) на другом... Все эти знакомые соблазны, опасности и предательства таинственным образом сближают активных участников славного похода; равно генералов и солдат, сильных и слабых. (Вспомним Данте: «Но столь велики тягости труда, и так для смертных плеч тяжка натуга, что им подчас и дрогнуть — нет стыда». Рай — XXIII, 64.)

Итак, художники, которых я назвал нужными и близкими и чьи мысли об искусстве разбирал, связаны между собой метафизическими узами на манер отважных офицеров, штурмовавших (или защищавших) с большим успехом некую крепость. Поэма одного эмигрантского поэта (представляющая тоже своего рода теорию искусства) может еще несколько пояснить мою мысль:

ДАРДАНЕЛЛЫ...

«Дарданеллы — это узкий пролив, по которому может плыть только одно крупное судно, не садясь на мель и не задевая берегов.

На берегу установлены батареи с таким расчетом, что всякий идущий мимо корабль попадает в фокус артиллерийского огня: достаточно нажать кнопку, и смертельный шквал свинца низвергнется на смельчака.

В жизни любого человека есть такие Дарданеллы: когда его курс лежит через узкое горло и тяжелые орудия готовы обрушиться на него — яростно, сразу. Все проблемы... Социальная: честный гражданин вдруг обнаруживает, что он проживет и умрет нищим, а вот другим доступно многое, благодаря деньгам. Сексуальная: он женат и привязан к семье, а все-таки неудовлетворен... хочется любви еще, так и кончит, разминувшись с обещанным даром. Биологическая, религиозная: молодость прошла, начались недомогания, а впереди неминуемая пустыня, смерть, и душа бунтует.

Этот период обыкновенно наступает после тридцати лет, возраст Господень. Как у Данте: посередине странствия земного.

У кормчего на выбор несколько возможностей... Одни тушат котлы, выключают машины, бросают якорь поблизости (или возвращаясь немного назад), мелкими тружениками, добрыми отцами заканчивают свой рейс, бессознательно перекладывая тяжесть прорыва на плечи потомства. Другие, с поднятыми флажками, мечутся, снуют, петляют, жульнически вертятся у опасного пролива, создавая иллюзию движения, предприимчивости, творческой удали. Если это поэт, он избирает себе звучный псевдоним и, вылущивая у трагических современников или предков самое доступное, поддающееся популяризации, преподносит толпе, пожиная плоды

подвигов безвременно погибших героев. Если это ученый или философ, то он крадет две-три мысли у часто враждебных друг другу учителей, сплавляет их, со вкусом сглаживает углы, создает оригинальную теорийку и, выслужив орден, достойно и обеспеченно доживает свой век, ревниво следя за успехами многочисленных, понятных ему конкурентов. Если это акробаты-циркачи, то они повторяют опасный номер, даже подняв чуть повыше трапеции — с той разницей, что внизу тщательно прикрепляют спасательную сетку.

Есть еще выход: юных, одержимых, Артуров Рэмбо. Восторженно, налегке они кидаются очертя голову и, получив смертельный удар, идут ко дну, оставляя о себе память и песни в грядущих поколениях.

Наконец, Бетховен, Толстой, Пастер, Микеланджело... Вооруженные всеми дарами зрелости и техники, богатые опытом своим и чужим, закаленные в борьбе и походах, эти дредноуты уверенно, ночью, с потушенными огнями, осторожно подкрадываются к узкому горлу (память об этом часе жила в них еще до рождения) — и неожиданно бросаются на прорыв. Раньше, чем дежурные посты догадываются зазвонить тревогу, тяжелый броненосец, сразу сумев лечь на правильный курс, полной мощью своих винтов успевает прогрести уже полпути. Получив первое накрытие, ему, однако, удается развернуться, и двубортным огнем своих чудовищных башен он мгновенно заливает, давит сторожевые батареи. Подбитый, с пробоиной, потеряв часть экипажа, — в трюме хлещет вода, палуба в крови, на корме вспыхнул пожар, — дредноут проносится через опасную зону. Содрогаясь от стука машин, в огне и дыме, с предательским креном он гордо врезается в открытую чистую воду, где море, небо и земля уживаются без противоречий. Внушительный, изуродованный, красавец-великан, он скользит вдоль

обетованных, заказанных берегов, грозный и всем чужой, скрывая свои пробоины и ужасающий опыт. Но тут происходит скверное чудо. В образовавшуюся дыру вслед за победителем устремляется всякая дрянь, плотва, посредники, контрабандисты, торговцы белым товаром: религии, науки, искусства. Они мечутся у высоких обгоревших бортов гиганта, аплодируют, объясняют, даже учат, пишут воспоминания, критику, историю. Многие из этой наглой братии удосуживаются без труда заплыть подальше самого броненосца, возвращаются назад с коммерческой прибылью, снова отлучаются, и внешность у всех благообразная, сытая, общественно полезная, при верных женах и дорогих любовницах.

Дредноут постепенно начинает гнушаться совершенным подвигом. И когда на суше, учитывая последний разгром, ставятся новые батареи с большей кучностью огня, у него нет уже причин или охоты немедленно подавить их орудиями своих почерневших башен...»

11

Я разобрал свидетельства нескольких близких нам великих художников о том деле, которому они посвятили всю жизнь.

Я мог бы излагать и цитировать их речи еще на десятках страниц, и, вероятно, это было бы полезно. Ибо ничто так не взрывает сущности угрожающего миру тоталитарного порядка, как мысли о большом искусстве. Недаром всякая диктатура, чтобы уцелеть, должна утвердить выгодную для себя философию искусства и подавить враждебную. Достаточно было бы писателям и художникам современной России заговорить и заспорить о теории искусства Пруста, и социалистический реализм был бы сметен (а вместе с ним и многое другое). Недаром в странах-сателлитах тяжесть

борьбы против кремлевских богдыханов в первую очередь несут писатели и художники, знакомые с новейшим европейским искусством.

Но социалистический реализм утвердился на Руси не случайно. Критерий Толстого: то, что мужику нужно и полезно (в искусстве), то хорошо и замечательно... признан также большевиками! Это народу нужно, а это народу не нужно! — решают они, и тогда спор об искусстве закончен (слово предоставляется чекисту).

Согласно Толстому, произведение искусства должно заражать определенной (доброй) эмоцией читателя, зрителя, слушателя. Социалистический реализм не спорит! Он только добром почитает то, что облегчает путь «социализма».

Теория Толстого, в силу которой мужик в кабаке, тоскливо выводящий «ух» и «аах», создает произведение искусства, потому что это искренне, понятно и заражает грустью, тоской, удалью, — а Шекспир не художник, потому что непонятен, вычурен и не заражает мужиков соответствующей эмоцией, эта теория не нуждалась бы в тщательном анализе и опровержении, если бы не тот грустный факт, что в Соединенных Штатах она тоже (сознательно или бессознательно) общепризнана. Любой литературный агент или преподаватель creative writing скажет по поводу очередной книги: «Я ничего не почувствовал... Автор не внушил мне эмоций!»

Внушать эмоции, или необходимость «идентификации», склоняют на разные лады редакторы, издатели, администраторы, чтецы, профессора, Голливуд и Бродвей. Неискушенному читателю остается только подчиниться.

Если Советский Союз во власти такого примитива и если его главный противник, Соединенные Штаты, во власти того же примитива, то чего можно ожидать в результате столкновения обоих станов? Архипримитива!

А между тем совершенно непонятно, почему заражением чувствами (пусть даже благородными) должна исчерпываться роль искусства.

Исследователь, экспериментатор, мыслитель, открыватель скрытых законов и земель ищет нового соотношения сил, тайной причинно-следственной связи, верных средств в борьбе с роковыми силами природы. А искусство, высшее выражение человеческой деятельности, должно сознательно исключить себя из этого творческого потока?..

Гораздо более понятной кажется теория Бергсона, утверждающая принцип не вообще заразительности любыми чувствами, а передачей одного, исключительного — именно творческого импульса! Но и здесь искусству уделяется неопределенная роль: оно стимулирует всякое творчество, в любой форме, — а там дальше произойдет отбор, и только некоторые избранные отрасли творчества смогут освободить человека из тюрьмы (раскрыв природу действительности).

Теория искусства как Игры (стоики, Шиллер) в конце концов укладывается в теорию творчества для творчества, ибо игра есть форма творчества (даже у детей, животных, дикарей). Однако не следует забывать, что игра по-гречески называлась агонос, что равнозначаще нашей агонии. Так спор о том, можно ли искусство унижать до степени игры (русский спор), теряет всякий смысл, ибо теория эта интимнейшим образом переплетается с философией и религией, для которых смерть (агония) единственная реальность. Игра (с соблюдением правил) это агонос. И агония нас всех ждет. В искусстве, в трагедии, в спорте мы создаем образчики этой агонии (игру). Как себя выражает наша душа в процессе этой игры, подчиняясь законам последней, точно так же она себя будет вести в пору последней агонии, «ибо великая и страшная борьба ждет человеческую душу» (Плотин).

Но это опять-таки означает отделение искусства навсегда от освобождающего потока завоевания, исследования, осознавания, организации и воскресения (всего того, что принесло подлинное христианство) и удовлетворение героическим, языческим стоицизмом (и тупиком).

Теория искусства Джойса, вдохновляемая в своих отправных точках античными понятиями вечной Красоты-Истины, упирается, наконец, в тупик прометеизма.

«Первый шаг по направлению обнаружения истины заключается в том, чтобы познать рамки и размеры самого интеллекта, то есть понять самый акт познавания», — вслед за Аристотелем весьма здраво замечает Джойс («A Portrait of the Artist as a young Man»).

«Говорить об этих вещах и пытаться понять их природу, а поняв, медленно и скромно и равномерно выразить: извлечь опять из туши земли или из ее плодов, из звуков, линий и красок (которые суть ворота из тюрьмы нашей души) образ красоты, который мы наконец усвоили, — это искусство».

«Эстетический образ в драматической форме — это сама жизнь, очищенная и отраженная вновь человеческим воображением. Тайна эстетики, подобно тайне творения материального мира, на этом завершается. Художник, подобно Богу, остается внутри, или позади, или над, или снизу своего творения, невидимый, отрешенный, безразличный, занятый своим маникюром...»

«Да, да, да! Он сотворит гордо из свободы и мощи своей души, подобно великому мастеру, имя которого он носит, живое произведение, новое и взлетающее и прекрасное, неприкосновенное, неистребимое».

«Жить, заблуждаться, падать, опять творить жизнь из жизни...»

Но это значит часто (в случае Джойса) творить хаос из хаоса, а иногда хаос из организованного мира! Лишь бы

творить — разбивать бутылки из-под пива, развинчивать, раскручивать целое и составлять его шиворот-навыворот: почему нет? Творить! Всегда, в любой форме, на манер божества.

Что искусство должно служить красоте (раскрывать ее), подразумевалось уже давно и никаких возражений не вызывало. Истина красива и Красота истинна — что может быть проще и справедливее этого. Однако конфуз произошел, когда обнаружилось, что обе эти богини не всегда дружно уживаются, а часто попросту начинают себя взаимно пожирать. Тогда возник соблазнительный вопрос: Милостивый Государь, в случае конфликта на чьей стороне Вы?.. Можно ли сомневаться, какой ответ дал бы апостол Павел. Но большинство «христиан» избрали почему-то красоту.

Сюрреалисты избрали Истину (но не соглашались ее очищать, осознавать, интерпретировать). Началось все это, пожалуй, как и многое другое, с Рэмбо: «Un soir, j’ai assis la Beauté soir mes genoux. — Et je 1’ai trouvée amère. — Et je 1’ai injuriée».

Ницше и Рэмбо в XIX веке помогли церкви Христовой больше, чем сонм благочестивых священников. Вся дальнейшая эпопея искусства напоминает древнюю сказку — герой пробирается темным лесом к трясине, захваченной жабой, которая в действительности является его прекрасной, целомудренной и богоданной невестой; вместо того чтобы (как советовал маг) спешить до петухов, не останавливаясь и не обращая внимания на монстров, открывающих пасти кругом, рыцарь медлит, оглядывается, сражается с тенями и застревает в лапах чудовищ, которые к утру оборачиваются сухими ветвями, лианами, корнями (Дарвин, Маркс, Фрейд, Павлов). Такова судьба всего последующего натуралистического, «реалистического» искусства, парализованного тенями и призраками ночи.

Одним из виновников падения искусства является также психологизм! Ибо процессы жизни души и тела вне «психологии» — они не исчерпываются ею. Это понял досконально Пруст (диалог символов), хотя философски обосновал несколько позже Гуссерле (диалог феноменов).

Поиски Истины привели новое искусство непосредственно к лицезрению и жажде чуда. Ибо истина оказывалась часто неожиданной и чудесной (преображая опять жабу в принцессу). Отсюда современный неогностицизм, ибо гностики тоже знали, что природа полна тайн и чудес. (Малларме о Гогене: «Il est extraordinaire qu'on puisse mettre tant de mystère dans tant d'éclat».)

Отныне если обыватель ждет чуда, если священник свидетельствует о нем, то художник и ученый его преподносят; однако гений, их вдохновляющий, — не Прометей, а Вулкан. Прометей против воли Зевса украл огонь и принес его в мир, вероятно заставив нагайками принять его дар; Гефест-Вулкан, кузнец и металлург, по приказу богов выковал щит Ахиллеса и многое другое. Христианская культура вулканическая; Прометей вдохновляет тоталитарных недоносков.

12

Уже Бергсон доказывал, что искусство есть форма познания действительности; это основная мысль Пруста тоже, поставившего искусство в одном ряду с наукой, религией, философией (разница методологическая) и создавшего на таких предпосылках свой гениальный роман.

Для разоблачения реальности и для воскресения ее (или утверждения в вечности) есть только один путь: опуститься на дно собственной души. Но тут Пруст почему-то ограничивает нас определенным прошлым... Материал этот, руда, за которой Прусту надлежало нырять, накоплялся в его

прошлом (только за период очевидной жизни) и упирается в день, когда творчество завершается, как в тупик: не идет дальше! Иначе говоря, Пруст, допуская бессмертие человека, не догадывается, что в последнем случае он не имеет и начала. Следовательно, уходить за рудой надо гораздо глубже в космическое прошлое (и дальше — в будущее). Антехаос и постапокалипсис — две области реального еще не существуют для Пруста.

Таким образом определился путь развития той теории искусства, которую я поставил себе задачей здесь истолковать.

Мы начинаем с Толстого, который видел в искусстве только средство заражения других высоким чувством, пережитым художником.

Дальше вносится поправка... Искусству нет смысла единственно вызывать слезы и смех, прививая жажду добра и подвига: это в первую очередь функции общины, семьи, школы, церкви. Главное чувство, которым подлинное искусство должно заразить, — это творческое! (Бергсон).

Но передать человеку вообще творческий стимул — мало! Он может заняться игрой в шашки, битьем посуды, флиртом, рукоделием — неужели такой результат достаточен, как критерий подлинного искусства... Единственное творчество, на которое следует обратить внимание, это то, что помогает открывать законы подлинного бытия, описывая все существующее в душевном, духовном и физическом континууме (и в правильном чередовании), помогая человеку осознать реальность, организовать ее, освободиться от стихий случайных и обязательных, социальных, биологических, гравитационных, тем самым приравнивая роль поэта в нашем обществе к роли естествоиспытателя, физика, философа, мудреца. «Позна́ете истину, и истина сделает вас свободными!» — утверждает в свою очередь Пруст.

Но Пруст хотя и уверяет, что складом действительности (куда следует за ней спускаться) является исключительно душа человека, однако он ограничивает эти залежи, полагая, что только в прошлом своем вплоть до раннего детства душа занималась накоплением этой руды. Не правильнее ли раздвинуть рамки бессмертной, неповторимой личности до своих «естественных границ»; в самом деле, не началось же все для Пруста на рю Ла Фонтэн в 1871 году?!

Таким образом, область разработки, промывки, осознания и преображения действительности раздвигается в оба конца ад инфинитум: в антехаос и постапокалипсис, поскольку они существуют для человека. Отныне надлежит также познать ту действительность, где душа наша, не имеющая начала, должна была обретаться до первого сгущения космических газов. А также заглянуть вперед, поскольку нет шаблонного конца (по Прусту, тоже): надлежит вспомнить реальность, существующую там дальше за воображаемой линией настоящего, и осветить новые возможности выбора.

Это трансреализм, единственно учитывающий все измерения времени, освобождая интуицию времени от искажений и аберраций. К такому пониманию сам Пруст подошел довольно близко (не догадываясь); а Бергсон почти догнал Пруста (не зная того); и Толстой на личном опыте засвидетельствовал правду Бергсона (не осознав ее).

Совершенно очевидно, что путь к познанию трансреалистической действительности может быть нащупан в первую очередь только в искусстве (философ, ученый, администратор придут позже). Как вырвалось однажды у Ницше: «Никаких больше выдумок для нас: отныне мы рассчитываем! Но чтобы иметь возможность рассчитывать, мы должны были раньше заниматься выдумками».

Инстинктивно некоторые великие художники уже давно штурмовали эту цитадель. Что, собственно, подразумевал

Малларме, говоря о Великом Труде поэта, состоящем из многих томов: «...я даже скажу короче: книга! Ибо я убежден, что существует только одна Книга, та, которую пытались составить все писатели, даже гении. Речь идет об орфическом истолковании Земли, что является единственной обязанностью поэта и подлинным назначением искусства». (Термин «орфический» обязателен для того времени, как для нас словечки из арсенала Маркса или Фрейда, но существенно одно: открытие, описание и истолкование космической реальности.) В конце концов, заявляет Малларме, «все земное существование должно содержаться в этой книге». Справедливо отметить, что новая английская литература (Джойс, Вирджиния Вульф) шла по этому пути; но не веря в бесконечность человека, они не могли расширить его опыт в сторону обеих бесконечностей и в конце концов отступили.

Наглядным примером такого нового, нужного романа можно было бы считать библию (антехаос), художественно объединенную великим беллетристом с Новым Заветом (апокалипсис) и защищенную подобием диалогов современного Платона, вооруженного всем естествознанием.

Из философов в этом направлении шел одно время Юнг, расширяя область личного за пределы индивидуального сознания, но он споткнулся о «миф» племенного, расового, народного, аморфного существования.

Вся наша история, по-видимому, — дорога от потерянного, бессознательного рая к раю найденному, осознанному, обретенному нами en connaissance des cause. Искусство играет ведущую роль в этом процессе.

Искусство стремится сделать невидимое видимым. В христианском «Верую» всех толков говорится о Боге — Творце мира видимого и невидимого. В конечном счете, раскрытие полноты мира есть раскрытие Бога, и любовь ко всей трансреальности есть любовь к Богу.

КРИТИКА

ЮРИЙ ОЛЕША. «ЗАВИСТЬ»

Одно из самых своеобразных произведений советской России. Яркое и в каком-то смысле неожиданное. Об этом романе в зарубежной прессе появилось много лестных рецензий. Но странное дело, эта книга пользуется большим успехом и в СССР. Вот отрывки из отзывов советской печати: «...Это произведение ставит Олешу в ряд лучших писателей» («Правда»).

«...Книга Олеши — большой вклад в современную литературу» («Молодая гвардия»).

И т.д., и т.д.

Если мы вспомним, что «принятый» здесь гоним там, то факт такого единодушия в оценке книги Олеши становится интересной и чрезвычайно ответственной во многих отношениях темой для исследования возможностей сближения психологии находящихся по разным сторонам границы... Это некий мост!

Роман Олеши написан в выражениях, которыми сейчас изъясняется и мыслит Россия в своей массе. Вместе с тем слова тщательно отобраны, и ни разу не встречается

«трактор», «электрификация», «сектор» и т.п. Словарь богат, и — что важно! — это не существительные, списанные у Тургенева, Лескова, Ремизова и Бунина, тщательно сохраняемые и преподносимые под новым или полуновым соусом, это — живая речь новой России!

Недавно Леонов обмолвился приблизительно так:

— Мы не можем рассчитывать наши произведения на столетья; от нас требуют писать на злобу дня...

Один из героев романа Иван Бабичев (немного Мармеладов, немного «стрелок» Куприна) — трибун харчевен, мечтает собрать и представить новой эпохе «старое барахло» — чувства! В последний раз выстроить их и заставить вспыхнуть хоть на мгновенье, как перегоревшую электрическую лампу. Парад чувств!.. Безрассудный храбрец, верный друг, блудный сын, самоубийца, перерезывающий себе горло... все полно выражающие характерные, отживающие чувства, прежде чем исчезнуть навсегда, пройдут пред мерцающей маской истории. Об этом мечтает Иван. Себе он оставляет скромную роль командующего парадом.

Но трудно найти людей исчерпывающе, полно выражающих чувство! Только один найден: Кавалеров — Зависть.

Впрочем, апологет этого живописного представления скоро мякнет, устает.

— Дело в том, — объясняет он, — что эти чувства не отмирают, не исчезают; они только перешли к представителям новой, сильной эпохи. Для нас же осталось одно чувство: Зависть. Пейте, Кавалеров.

Однажды утром, встретившись с Кавалеровым у незастеленной кровати вдовы Анички, неодетый Бабичев успокаивающе и объясняюще говорит:

— Выпьем, Кавалеров... Мы много говорили о чувствах. И главное, мой друг, мы забыли... о равнодушии. Не правда ли?

В самом деле... Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будьте равнодушны, Кавалеров...

Так бесславно опускается «прекрасный хлам» старого; а дитя новой эпохи — Андрей Бабичев, комиссар-партиец, занимается футболом и изготовляет телячью колбасу, которую можно будет продавать по тридцать копеек килограмм.

Это талантливое произведение написано под сильным влиянием Достоевского. Кажутся знакомыми фразы, которые Юрий Олеша подписал своим именем: «Я говорил, ужасаясь тому, что говорю».

Или:

«Вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: да, вот вы так, а я так».

Или:

«Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться...»

Достоин внимания также характер речи героев этого романа. Они говорят в одном «ритме». Каждый говорит свое. Никто не повторяет другого. Партитуры тоже хорошо распределены, и каждый поет со своего голоса. Но вместе с тем голоса эти как-то сливаются все — в один! Будто у всех у них одно сердце, один пульс, одно дыхание, и поэтому «паузы» приходится им делать в одно и то же время.

Я хочу сказать, что эти люди скорее и больше рисуют нам лицо автора, чем автор — облик своих героев.

Это не упрек. Это — констатирование факта.

МИХАИЛ ОСОРГИН. «СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ»

О М. Осоргине можно было бы написать обстоятельное исследование. Если бы мне предстояло сделать это, я бы начал с определения основной сущности Осоргина — с его способности любить!

Без любви нет надежды приблизиться к истине.

Мне кажется, что лучшая — на мой взгляд, очень хорошая — книга Осоргина — это «Повесть о сестре». Это сдержанно-страстное, напряженное, «бесхитростное», недоумевающее повествование о гибели молодой, красивой, умной, по внешним признакам, казалось бы, созданной для всяческих успехов женщины. Она умирает от рака. И так как никому не понятно, зачем она жила, зачем была красива и талантлива, когда ей предстояло погибнуть такой ранней, такой мучительной смертью; и так как никто, даже сам автор, и вопроса такого не задает, то ощущение мучительного сожаления, горесть утраты, человеческой незначительности еще больше усугубляются. Эта повесть перекликается со «Смертью Ивана Ильича» и с «Жизнью» Мопассана. Несмотря на это, «Повесть о сестре» живет самостоятельной, полной и значительной жизнью законченного художественного произведения.

Конечно, Осоргин — писатель о личном, об окружающем его, о своем. Поэтому хороши «Вещи человека», «Там, где был счастлив» и куда бледнее пытающийся уже перейти в эпос «Сивцев Вражек».

«Свидетель истории» — роман еще не оконченный, вышел только первый том, поэтому писать о нем можно только с оговорками. В том виде, в каком книга теперь представляется, можно сказать, что это вещь малоудачная. По-моему, в двух случаях можно писателю обращаться к историческим фактам: когда он пишет о делах, в которых лично принимал участие, воспоминания (напр., «Записки террориста» Савинкова), там пристрастие искупается ответственностью; или же так называемый исторический роман, где, отойдя далеко в сторону, пытается определить свой взгляд на события. М. Осоргин решил пройти посередине: оттого ли, что русская революция — событие слишком свежее и сказать нам что-нибудь интересное для нашего современника трудно, или почувствовать всю неблагодарность исторического

романа. Остроты же личного участия автор придать своей вещи не мог или не захотел. «Свидетель истории» посвящен жизни Наташи Калымовой, той самой, которая бросала (или помогала бросать) бомбу, бежала во главе 12 заключенных из тюрьмы, пересекла пустыню Гоби и умерла во Франции. Читая ее письмо из тюрьмы (когда она ждала казни), Толстой написал свое «Не могу молчать», и не без связи с Наташей Калымовой писался, мне кажется, «Рассказ о семи повешенных». Осоргин обстоятельно рассказывает о бомбах, об ограблении почты, о том, как связывали надзирательниц и пр., а ведь это малозначительные, потому что внешние, вещи. Но где приходится коснуться жизни души, хотя бы самой героини Наташи Калымовой, там Осоргин неубедителен. Она была осуждена на смерть, ей сообщили, что ее муж Медведь-Олень — казнен; что она почувствовала, что подумала, какой душевный сдвиг должен был произойти? Впрочем, подождем конца «Свидетеля истории».

ЮРИЙ ГЕРМАН. НАШИ ЗНАКОМЫЕ

Какая это радость — хорошая книга. Но как редко нам делают такие подарки. Книга Юрия Германа, мне кажется, еще не полная удача, но все же из нее тянутся нити подлинной, таинственной жизни («протоплазмы»), которые подделать и забыть не хочется.

Некой Антонине в результате всяческой, впрочем знакомой, гимнастики в какую-то пору ее жизни больше уже нечего делать. Анна Каренина, мадам Бовари, чуточку Настасья Филипповна. В противоположность установившемуся обычаю, Юрий Герман решил свою героиню спасти — и растянул роман на шестьсот с лишним страниц. Когда Антонина уже «готова» (под поезд, стрихнин, кабак или так, подобно Ивану Ильичу, протянуть ноги), в книгу входит новая сила (или старая, но по-новому направленная). Наши

знакомые. Не всем знакомые обыватели — собутыльники, партнеры по винту, великосветские дуры и пр., — нет, а люди со сложной биографией, бойцы за новую жизнь, строители, комиссары. Они спасают Антонину, выводят ее на широкий путь творчества (о котором она всегда мечтала). Она учится по ночам. Конечно, немного смешна «Анна Каренина», которая алгебры не знает и от формулы квадратного уравнения получает нравственное удовлетворение (этакую спасти легче). Ей поручают ответственную работу: организовать ясли, больницу, «комбинат». Трибуна, музыка, приветствия, благодарность «раскрепощенных» матерей и хозяек. Антонина чувствует: она нужна, она любима, она полноправный член нового общества.

Попутно люди в бесконечных диалогах рассказывают свои путаные биографии. Болтливы, болтливы «непреклонные бойцы» (или это авторы болтливы?). В своей последней книге «Дорога на Океан» Леонов на 625 страницах рассказывает устами героев чью-то бесконечную биографию, которую нет ни сил, ни оснований дочитать.

Наконец Антонина встречает своего суженого. И читатель расположенно закрывает книгу. Теперь Антонине тридцать лет, алгебру она уже знает, в сущности, конфликт лишь теперь и начинается: что дальше? что ждет ее впереди?

Но за первую часть, где юность и рост, благодарность к автору остается. «Одна ее рука была поднята немного кверху ладонью наружу, а другая была чуть опущена, щеки ее разрумянились, глаза ласково и тепло блестели, и вся она излучала такое сияние молодости, силы, легкости, такую благостную и подлинную красоту, такую юную и напряженную жизнь...» Это почти толстовское описание — колдовство. Да, толстовская тайна — смесь, подлинная ткань жизни, не однородная, а переплетающаяся, противоречивая и добротная, — веет над этой частью книги. Роман начинается 1925 годом. Характерно, что «толстовская», благодатная часть

книги соответствует годам НЭПа. А там дальше, с пятилеткой, начинается схема. Радоваться тут нечему; я только описываю факт.

«МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ»: О КНИГЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Вот книга, наделавшая много шуму. Правда, прошумела она благодаря своему несколько скандальному характеру. Андрей Белый уже перед своею смертью (вероятно, чувствуя ее) рассказывает «всю правду»: о людях, с которыми ему приходилось встречаться, и об их различных взаимоотношениях. Часть из этих людей мертва, часть жива (в эмиграции или в России), люди это всем известные, примелькавшиеся, — ну как же не быть скандалу?!

Андрей Белый был одним из зачинателей и теоретиков русского символизма. Истории борьбы за него, за «чистоту риз», против загибов и перегибов и посвящена эта книга; этим объясняется страстный, полемический тон ее и частичная несправедливость — хотя бы по отношению к Блоку. Вообще с Блоком Андрею Белому не повезло. Уже в 1909 году вся петербургская группа (Блок, В. Иванов, Чулков) начала прятаться за какой-то неопределенный «мистический анархизм». Против него, в защиту правоверного символизма ратовал Белый. И все же в российскую словесность как лучший, «первый» поэт-символист вышел Блок. Андрей Белый первый начал сотрудничать в социал-демократических газетах, а Блок «поставил не на ту лошадь», сотрудничал у эсеров; и все же первым революционным, октябрьским поэтом (из символистов) благодаря поэме «Двенадцать» оказался Блок. В довершение «бед», тронутый мучительно смертью Блока, Белый в Берлине написал свои воспоминания о нем, где, по собственному выражению, «вычистил его, как самовар»; а теперь задним числом пришлось ему перечеркивать, ради

правды класть пятна, тени на этот «вычищенный самовар». «Расцвет модернизма в российском мещанстве собирал новые угодья на мою разгромленную голову; последующее четырехлетие есть рост славы — Мережковского, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Блока, Ауслендера, Кузмина, В. Иванова; Андрей же Белый к концу 1909 года стоял едва ли не за порогом литературы. Понятен мне такой сговор мнений: я сам его вызвал... Травле меня я был обязан "друзьям" — символистам!» — так характеризует создавшееся положение Белый.

Борьба за символизм превратилась в борьбу за ясность, четкость в моральных установках; далекий от мещанских пережитков, Андрей Белый приходил в ярость от сонма демонов, порождаемых его вчерашними друзьями. «Ин вино веритас — в вине истина — додумался в своей "Незнакомке" Блок; "оргиазм" В. Иванова на языке желтой прессы понимался упрощенно: "свальным грехом"; почтенный же оргиаст лишь хитренько помалкивал: "Понимайте, как знаете!" Я ставил точки на i: "Отмежуйтесь: раскройте 'объятья', чтобы стало ясно, во что жаждете преодолеть символизм: в народ или — в хлыстовскую баню?" Не раз я получал ответ, шепотком, на ушко: "Как можешь ты думать так?.." После чего писалось стихотворение, смысл которого вызывал во мне вскрик: изнасилование девушки называлось громко "причастием"; не нравились и филологические комментарии на смысл евангельской любви с неизменным припевом: любовь дерзновенна; хотелось воскликнуть: в каком же смысле? ...В петербургских газетах разоблачали писателей-хулиганов: где-то стали пропадать кошки — что же оказалось? Компания литераторов... собираясь пьянствовать у какого-то фрукта, истязала-де кошек, которых для этого раздобывал фрукт; в каком-то салоне кололи булавкой кого-то и кровь выжимали в вино, называя идиотизм "сопричастием" (слово В. Иванова); публика называла имена писателей-кошкодавов...

Я — требовал внятности. — Нельзя было писать о фактах и слухах, сопровождавших двусмыслицы преодолевателей символизма — я знал: в “модном” публичном доме выставлен портрет его почетного посетителя, известного всем писателя (для заманки “гостей”); я знал: в одном доме супруг и супруга преследовали барышню: супруга лесбийской любовью, супруг — ..? — Таков был грубый, огарочный вывод из утонченных двусмыслиц. — Ставка моего выздоравливающего сознания была на четкость: в искусстве, в политике, в философии, в этике...»

Таков анализ общества того времени («между двух революций»). В борьбе за «внятность» Белый постепенно остался один, всеми преданный и травимый, — «бешеной собакой». Приходилось обороняться на все четыре стороны, не хватало рук, сил, времени.

Андрей Белый был последователем Риккерта[1], потом антропософом; в его архиученой и архисимволической голове мелькали десятки «измов» и систем. К сожалению, пришлось ему кончить полумарксистом; и всю жизнь свою предыдущую он вынужден был представить как сознательное движение к «диамату»; для этого пришлось обкорнать себя, пропустить целые этапы как несущественные или ошибочные. О том, чем могли бы стать его воспоминания, если бы не было этого пресса режима и цензуры, можно только догадываться. Косвенно на это указывает ряд мастерских описаний лиц и городов, непосредственно к его основной теме отношения не имеющих. «Бритый юноша, выпучивши чувственно красные губы и вылупив пуговицы безресничатых глаз, изгибался, качаясь локтями, кистями, бросая и вправо и влево огромный, изломанный нос... — Аш... Аш... Еврейский писатель... Шолом: это — я! И показывал белые зубы, заранее радуясь, точно дитя, моему восхищению; к стыду моему, о нем даже не слыхивал... Заставил меня много выпить, то он шлепал ладонью меня по плечу и давил

подбородком; то, отъехав со стулом, валился назад, свои ноги вытягивая... Аш пришел! Не то пупс, пожирающий сласти, не то арлекин, замахавший из цирка по улицам; выпуклый лоб в поперечных морщинах, как плакал; а белые зубы — оскалены; не темперамент, а Этна, взорвавшая скатерть, чтоб пепельница покатилась по скатерти... Мы хватались руками; он под потолок запускал горловые какие-то песни, а я при попытке стихи прочитать оказался раздавленным в кресле коленкой; рука заковалася пальцами Аша, который рубил перекуренный воздух другою рукою, крича наизусть во все горло свое, свои... — Ну что, что? Вы, вы слышите? Не слова, а серебряные колокольчики. Был бы смешон в этом диком восторге пред собственным гением, если бы не доброта, откровенность и молодость...» К сожалению, беспощадно рисуя своих сверстников, нынешних корифеев (эмигрантских и советских), Андрей Белый не находит никаких «смягчающих их вину» обстоятельств.

«СИЯНИЯ» — СТИХИ ЗИНАИДЫ ГИППИУС

В Париже образовалось новое издательство, которое на свой счет (и в убыток) собирается издать серию книг зарубежных поэтов — «Русские поэты». Нечего и говорить, что одним из инициаторов этого дела является И. Фондаминский: «они и в войске, и в совете, и на воеводстве, и в ответе». На русском Монпарнасе существует поговорка: «Когда эмиграции понадобятся публичные бани, то построит их Фондаминский»... так велика в нем тяга к созиданию — вопреки разрушительным стихиям, господствующим ныне.

Книга З. Гиппиус вышла в этой серии «Русских поэтов»; объявлено еще 12 авторов — ведущая головка.

Читаешь стихи Гиппиус и остаешься равнодушным. «Да, да, не то!» — думаешь. Ведь, бывало, какое место она

занимала в твоей жизни! Но, к сожалению, нет под рукой сборников ее старых стихов (может, если их почитать сейчас, то разочаруешься и в старом).

Как будто ничего не случилось. Мережковские продолжают пить чай в Башне у В.И. Иванова и декламировать: «В полусверкании зеленом, Как в полужизни — по, Иду по крутоузким склонам, По бело блещущей стене» (стр. 17). Весь набор символистических отмычек налицо в этой книге (слегка ржавчиной покрытый): злобствующее христианство, Слово, мать — невеста — дочь, сияния, порхания.

Мне — о земле — болтали сказки: «Есть человек, Есть любовь».

А есть — лишь злость. Личины. Маски.
Ложь и грязь. Ложь и кровь.
Когда предлагали мне родиться,
Не говорили, что мир такой.
Как же я мог не согласиться?
Ну, а теперь — домой! домой! —

легкомысленно заключает Зинаида Гиппиус. Впрочем, о «доме» у поэта странные представления:

Пускай! Когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.
И если нет игры в раю,
(сразу и в рай...)

Скажу, что рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.

(В некотором роде шаловливое богоборчество.)

Какая-то лягушка (все равно!)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она — о самом важном?..

Увы, до сих пор Зинаида Гиппиус еще не научилась различать важное и неважное. А все-таки, спору нет, умна, и главное: «Злая, злая, злая» (Достовский. «Идиот»).

НИНА БЕРБЕРОВА. «БОРОДИН»

После Чайковского Берберова заинтересовалась другой колоритной фигурой из русского музыкального мира — гениальным Бородиным — и дает нам опыт его художественной биографии.

Жизнь каждого художника — до какой-то степени трагедия. Творчество без страдания немыслимо, и даже так называемый аполлоновский дар знает минуты отчаяния и раздвоения. В Бородине это особенно заметно благодаря одной «случайности»: он талантливый и знаменитый ученый, химик, это его главное дело (кажется ему и другим)! Музыкою он занимается в минуты досуга (так, блажь), и только под конец жизни обнаруживается (решает он сознаться), что ошибался. Наука была для него законной женою, с которой он прожил десятилетия, полагая, что ее любит, пока не произошла чудесная встреча!

Бородин — незаконный сын князя Л.С. Гедеаношвили, прижитый последним с девицею Антоновой.

— А ведь подумать только: барыня-то едва Сашеньку не скинула, и не было бы Сашеньки, спаси Бог, — подслушал однажды Сашенька Бородин разговор прислуги и испугался сильно за свою жизнь:

«Его не было бы? Как странно и страшно было представить мир без себя. Этот дом со львом на чугунном подъезде стоял бы как стоит, и вот так же падал бы снег на последнего марширующего солдата... а его не было бы, и кого бы тогда она любила?»

Он говорил о себе в женском роде: «Я сошла с подоконника!» (не такого ли же характера была его позднейшая вера в свое «химическое» призвание?). Мать он называл тетушкой.

В гимназии ему говорят: «Вам, Бородин, все открыто. Таких, как вы да Менделеев, в России немного». В шестнадцать лет мать записывает его купцом 3-й гильдии, и он поступает в академию (медицинскую). Концерты, оперы.

— Бородин, поменьше занимайтесь романсами, — скрипит профессор Зинин, — вас ожидают большие труды по алкалоидам, а вы все выводите ваши нотки. За двумя зайцами погонишься...

«Это правда, правда!» — твердит он себе. Не хватает долгой петербургской зимы. Но иногда время вдруг останавливалось: сели, например, за бетховенские квартеты как-то вечером, сели в восемь, а опомнились к вечеру следующего дня: что-то иногда брали пожевать с тарелок в столовой, запивали теплым пивом, остывшим чаем. А с календаря слетел листик.

Злой рок тяготел над его научными работами. Его работа об ангидридах вышла в то же время, когда появилась о том же знаменитая сейчас работа Шюценбергера. Все помнили, как однажды он явился на заседание, чтобы сделать свое сообщение об альдоле, и уже в зале увидел в руках у кого-то только что вышедшую работу об альдоле Вюрца; так же встретился он на альдегиде с Кекуле и уступил ему первенство не споря. «Это чертова музыка мешает!» — думал он. А именно в музыке никто его опередить не мог и заменить не мог.

Писал он много только потому, что много болел. Несварение желудка, ангина, простой насморк удерживали его дома. Он сидел за фортепиано с компрессом на шее, поминутно сморкаясь. «Вот был насморк», — говорил он потом, усмехаясь, и ставил на

пюпитр «Плач Ярославны». «Слава богу, болел расстройством», — и появлялась ария Владимира Галицкого. Так рождался «Князь Игорь».

Лист, сразу оценивший Бородина, ругал этого варвара, требовал продолжения, систематического труда, волновался. А Бородин только смущенно отмахивался, вздыхал: университетские работы запущены, лекции, профессура (даже неловко — «композитор»).

«На Масленице 1887 года был бал, — на этот раз костюмированный. Собралось человек тридцать гостей... Бородин был одет мужиком — в кумачовую рубаху и высокие сапоги... Он много танцевал и смеялся, плотно ужинал, пел хором, подражая кому-то. В аудитории, где гремел рояль и где отплясывали (сдвинув скамьи) кадриль... он внезапно запнулся на полуслове и со всего громадного роста со всею своею (барственною) важностью рухнул на пол. Это был разрыв сердца. Сперва у плясавших мелькнула мысль, что он шутит, — многие, хохоча, продолжали кадриль, особенно дальние, и не сразу остановили тапера».

Корсаков и Глазунов разбирали его последние работы. В день смерти он что-то подчищал в 3-й симфонии, а накануне сидел над хором половецкого дозора. Тут же валялся чей-то доклад по гигиене, просмотренный и одобренный Бородиным. На докладе был нарисован камертон. (Характерная подробность!)

Если целью Берберовой было растолковать, логично объяснить жизнь Бородина, то надо сказать, что цели этой она не достигла. Именно прочитав ее книгу до конца, чувствуешь: загадка личности не разрешена, а, наоборот, утверждена (в книге Берберовой тайна Бородина как бы собрана в фокусе). Но если целью искусства является вырвать из неведомого героя, заставить читателя необъяснимо его полюбить, сродниться с ним, грустить, то Берберова вышла из этого испытания победительницей.

ФРАНСУА МОРИАК.
«ВОЛЧИЦА» («ГЕНИТРИКС»)
(*Перевод Г. Кузнецовой; с предисловием Ив. Бунина*)

Мориак — один из самых «удачливых» современных писателей. На его долю, можно сказать, выпал успех, который, в сущности, принадлежит не ему, а тем, что до него «неуклюже» пробирались по болотам, дебрям и бурным морям, — великим открывателям новых литературных миров. Так, Колумб, открывший Америку, возвращается оттуда в цепях и, ошельмованный, умирает в нищете. А те, что пришли вслед за ним, собирают золото и генерал-губернаторские знаки отличия. Богатый чужим опытом, умело его усвоив (от Паскаля до Пруста), Мориак подает его умеренными дозами в изящных периодах и без стилистических погрешностей. Один культурный, хотя и неумный, критик сказал про него: «Он имеет все качества тех, великих, но не имеет их недостатков». Лучшие его произведения — «Тереза Декеру», «Поцелуй прокаженного» и «Змеиный узел». Эти книги, безусловно, большого писательского размаха, напряжения и даже некоторого подлинного страдания.

«Волчица» — повесть о матери, которая полюбила так своего сына, что изуродовала его, исковеркала ему всю жизнь, почти убила его жену и даже после своей смерти продолжает держать его душу в тисках. Перевод Г. Кузнецовой безукоризненен. Можно вообще сказать, что она наиболее поэтична из всех наших зарубежных писателей. И в мориаковский изящный, мастерский текст ей удалось вкропить долю своей задушевности и доверчивости. Из двух страничек предисловия Бунина можно догадаться, что ему хотелось бы похвалить Мориака (но похвалы, по-видимому, даются Бунину нелегко).

ПАВЕЛ ТУТКОВСКИЙ. «АРАБЕСКИ»

Каждая книга, изданная за рубежом, — настоящая диковинка. Увы, их становится все меньше и меньше: «Не до жиру, быть бы живу!» — сказал однажды в связи с этим Д.С. Мережковский.

«Арабески» — очерки, путевые наброски. Тутковский от лица героя — коммивояжера — делится с читателями своими впечатлениями. Очерки посвящены главным образом жизни русских эмигрантов в Югославии, Далмации, на побережье Адриатического моря. Черты Корсики и Крыма (быть может, Малороссии) встречаются и переплетаются здесь. Контрабанда, месть, леса, снег, водка. Так, однажды герой за одно утро продал весь свой товар: оказалось, что торговцы этого местечка приняли его за знаменитого в ту пору бандита. Написанные просто, без ухищрений, не претендующие на «большую литературу», эти очерки читаются легко; они пригодятся, вероятно, будущему историку или автору большого романа из нашего рассеяния.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. «ЗЕРКАЛО»

Новый роман И. Одоевцевой представляет собою, безусловно, шаг вперед на ее творческом пути. После «Ангела смерти», произведения удачного для начинающего писателя, И. Одоевцева во второй своей книге («Изольда») несколько померкла; сейчас своим третьим романом «Зеркало» она выходит на первые места молодой эмигрантской литературы.

Основная тема «Зеркала» — любовь. Люка уходит от своего мужа к знаменитому кинорежиссеру Ривуару, который «сияет своей электрической улыбкой». Эта «электрическая

улыбка», в разных формах проходящая через каждую главу романа, могла бы очень раздражать, если бы не вся атмосфера книги — синема, студия, рестораны, салон-вагоны, дансинги и пр., — оправдывающая такие образы и эффекты. В этом, собственно, вся необычайность книги. Все, что происходит в романе, происходит как в зеркале; мы, читатели, смотрим в ровно отполированный кусок зеркала и видим: край неба, вокзал, людей, гостиную, Люку в ванне, в постели, в студии.

Обычный путь искусства: нашу апперцепцию, то, что преломляет наш «кристаллик», повторить, воспроизвести в книге, полотне, музыке, перенести туда жизнь (или один из ее аспектов). И. Одоевцева проделывает как раз обратное; она выкачивает весь жизненный воздух, истребляет всякое наследие реальности из своего произведения, она строит «Зеркало», где в одном плане, вдвойне удаленные от нас, движутся, скользят, страдают силуэты, залитые «электрическим сиянием». Подчас эти искусственные, стеклянные улыбки, цвета и запахи даже удручают, но это сделано искусно, автор сам назвал свое произведение «Зеркалом»: он именно этого хотел. И надо признать: то, что было им задумано, выполнено отлично.

Ривуар смотрит, как играет Люка, и решает: бездарна. Он ее прогоняет от себя. Люка умирает, трогательно, как в «Травиате»; тут планы перепутаны, ибо в том фильме, что они «крутили», Люка тоже умирает: крылатым, хрупким ангелом возносится на небо. После самоубийства Люки Ривуар смотрит этот фильм, видит крылатую Люку, понимает вдруг, что он ее любил и любит; в результате — второе самоубийство — Ривуара. Мелодрама? Может быть. Но сделано это так, что к концу испытываешь подлинное волнение, и это несмотря на всю раздражающую искусственность изобразительных средств.

Под псевдонимом В. Мирный

МИХАИЛ ОСОРГИН.
«ПРОИСШЕСТВИЕ ЗЕЛЕНОГО МИРА»

В своем предисловии автор считает долгом объяснить то чувство, которое легло в основу этого произведения: «Мы только часть Природы. Нельзя ощутить и познать жизнь, не научившись слушать, как растет трава, и не пожав дружески (со всей осторожностью) лапку божьей коровке. Чистая правда только в куполе старой цветущей липы, где гудят пчелы... Напрасно утомляя голову вымыслами необычного, мы не видим, что мечемся в сплошном кольце чудесного, неразгаданного, насыщенного прекрасной тайной...»

Трудно передать и растолковать мироощущение автора «Происшествий». Осоргин ненавидит и презирает город, цивилизацию, машину, воспевает луг, жизнь букашек, огурцы... Зовет к ним. Руссо, Толстой, казалось бы, так же понимали и разрешали этот вопрос: надо только увести человека из города и городской культуры, вернуться «к истокам», — и мир и добро воцарятся на земле.

Увы, Осоргин в добрую природу человеческого существа, кажется, не верит; он осуждает и высмеивает не только горожанина, наведавшегося к нему на огород, но и соседку, хозяйку петуха Василь Васильича, и вообще все человеческие особи. В своем предисловии М.А. Осоргин прямо так и говорит: жизнь «царя природы» — только маленький и случайный феномен жизни мировой...

Но все же, несмотря на этот скептицизм, разочарованность и даже мизантропию, совершенно непонятным образом и как бы отрицая порой эту надуманную и мертвящую философскую концепцию, от книги в общем веет любовью, доброжелательством и какой-то благородной, слегка недоумевающей чистотой.

Недаром Осоргин так любит копаться среди цветов и овощей, любит мотыльков и птиц. И впрямь есть что-то

облагораживающее, безгрешное в обществе зверей и растений. Автор нашел нужный тон, в котором выдержана вся книга.

К сожалению, М.А. Осоргин и в этой книге не освободился от часто раздражающей досадной особенности. В России реки были чище, очертанья берегов благороднее, сено сочнее, салат больше: «Французские соловьи болтают, врут, но не заливаются. Наш же иной раз так зальется, так заврется, так задерет голову, что едва не кувыркнется с ветки...»

На двадцатом году эмиграции это психологически понятно, даже слишком понятно, но именно поэтому, нам кажется, не следует себе давать волю в этом направлении.

БОРИС ЗАЙЦЕВ. МОСКВА

В подотчетной книге Бориса Зайцева собраны воспоминания о людях и событиях, близких сердцу каждого русского гражданина: Чехов, Художественный театр, Леонид Андреев, Литературный кружок, Иван Бунин, М.О. Гершензон и, наконец, война, революция, бегство. Названа книга «Москва», ибо написана москвичом о москвичах в Москве. В этом сила книги и некоторая ее слабость. Ибо «атмосфера, климат» Москвы — крепкий фундамент, на котором можно строить: вода не подмоет; но, запершись в воротах Москвы, глядя на войну и революцию только из этого окошка, Б. Зайцев в данной книге сам ограничил себя и свою тему.

В противоположность многим, часто весьма знаменитым писателям Борис Зайцев вспоминает о своих современниках с любовью и нежностью. Лучший, пожалуй, очерк посвящен Леониду Андрееву. Этот несчастный, когда-то гремевший, а сейчас совершенно забытый художник еще

ждет своего ренессанса; статья Б. Зайцева, быть может, содействует «приближению сроков».

Любопытны военные «мемуары» Б. Зайцева («Записки шляпы»). В 1916 году Б. Зайцев (ратник ополчения 2-го разряда) поступил юнкером в Александровское училище. Там он встретил «великую, бескровную»; как полагается, отказывался стрелять в народ, был избран в совет солдатских и офицерских депутатов, ходил с красным бантом. На войну он не попал: заболел воспалением легких; но зато побывал в тюрьме (по делу «Комитета помощи голодающим»); впрочем, и тут Б. Зайцеву «не повезло»: его скоро выпустили. Читая эти воспоминания о весьма бурном времени, невольно задаешь себе вопрос: какая связь между большим писателем и его биографией (по крайней мере, в России)? Ведь неслучайно Толстой побывал на фронте, а Достоевский шагал к виселице! Часто писателя делает значительным какое-либо событие его личной жизни (неслучайное) в большей степени, чем его литературные произведения: это, нам кажется, произошло с Гаршиным, необъяснимо прочно вошедшим в российскую словесность (всем памятно его ночное драматическое объяснение с «диктатором сердца» Лорис-Меликовым и просьба помиловать первомартовцев[1])!

Интереснейший случай «из практики» писателя рассказывает Б. Зайцев в той же главе — о тюрьме. Госпожа N была арестована, влюбленный в нее X переслал ей в тюрьму книгу, «Голубую звезду», которую они вместе читали на воле; подчеркнув буквы слов, X дал понять, что каждый вечер, когда звезда Вега появляется, он думает о своей любимой N — пусть и она поступит так же. Так по вечерам, при появлении звезды, они мечтали друг о друге. Г-жу N расстреляли. За ней смерть пришла, когда она читала о голубой звезде. «Встав, перекрестившись, она с книгой в спокойствии пошла навстречу Вечности».

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. «НЕКРОПОЛЬ»

Эта книга составлена из написанных в разное время статей и воспоминаний. Брюсов, Андрей Белый, Гумилев, Блок, Гершензон, Сологуб, Есенин, Горький. Один перечень этих имен — оглавление — показывает замысел автора. Из внешнего множества лиц проглядывает единство — эпоха: то страшное и загадочное время, начало нашего века, когда русская интеллигенция еще продолжала традиционно поднимать тост «за здравье тех и той», а из-под их ног апокалиптически уходила земля.

Искусство этого времени — литература, поэзия — жило под знаком символизма. Он-то и есть главный герой «Некрополя». Символизм привлекал и будет привлекать многочисленных исследователей и историков эпохи. В известном смысле он загадка. Поражает это несоответствие пышного дерева и блеклых цветов, анемичных плодов: дерево познается по плодам. От символизма по-настоящему остался ведь один только Блок; да и он остался не как символист, а несмотря на символизм, преодолевая в себе нечто от этого поветрия.

В. Ходасевич чувствует необходимость как-то определить символизм. В одном из лучших своих очерков — «Конец Ренаты» — он и делает это: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, — найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений

такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции».

Нам кажется, что В. Ходасевич ошибается, и эта блестящая характеристика нисколько не определяет специально символистов. Найти сплав жизни и творчества старались все высокоодаренные люди во все времена и во всех отраслях творчества. (Элементы этого можно найти даже у Суворова.) Толстой не мог и не хотел отделить в себе писателя от человека, литературную биографию от личной; а ведь Толстого нельзя назвать символистом. Правда, в других местах Ходасевич роняет ряд замечаний, догадок, которые несколько ближе определяют сущность символизма. Благодаря богатству фактического материала и несомненному таланту мемуариста «Некрополь» читается с неослабевающим интересом. К сожалению, статьи о Сологубе и Есенине, где Ходасевич занимается отвлеченным разбором их творчества, несколько нарушают стройность книги. Лучшие очерки: о «Ренате» и «Муни»! Очень интересна глава, посвященная Андрею Белому. Автор находит в его жизни и творчестве вполне выраженный комплекс Эдипа; насколько это верно, покажут будущие исследователи, но в своих обоснованиях В. Ходасевич очень тонок и убедителен.

FRANZ KAFKA. «LE CHÂTEAU»

Для первого своего романа — «Тяжба» — Кафка взял героем маленького человека, обывателя, конторщика, в чью жизнь неожиданно, с грубой силой, врываются

таинственные силы («высшие инстанции»), судят его и жестоко наказывают; маленький человек хочет защищаться — он ни в чем не виноват! — но это ему не удается, ибо судят его не в обыкновенном суде, а в таинственном, высшем, и все его доводы не имеют обычного смысла; так он и погибает, не зная точно, в чем его обвиняют: на рассвете его выводят на пустырь, и двое штатских ненароком отсекают ему голову (а может быть, он всего только сходит с ума)...

Последний роман Кафки «Замок» по замыслу представляет противоположность «Тяжбе»; здесь герой (господин К., землемер) — новый Гамлет, Фауст, своею волею врывается в таинственный, высший иерархический мир и заявляет, что не уйдет, не отстанет, пока «силы» не примут его, не ответят на все его вопросы и не устроят его судьбы.

В таинственный, мрачный, нищий, Богом забытый поселок приезжает господин К. с твердым намерением в нем устроиться прочно, войти в сношение с хозяевами поселка — с Замком. Но это ему не удастся; всякая попытка связаться с Замком обречена на неудачу: он не может добраться до Замка по зимним горным дорогам, там холодно и так быстро темнеет; он самим воздухом этим дышать не в состоянии; чиновники Замка, приезжающие в поселок, не хотят ему дать аудиенции: вид вульгарного обывателя для них невыносим. Посланец, приносящий ему письмо из Замка, весь светится и чем-то похож на ангела; впрочем, когда он снимает праздничные одежды и берется за свою сапожничью колодку, сходство пропадает. Ура, К. получил письмо из Замка; торжествуя, он бежит к мэру поселка, требуя для себя соответствующего места, оклада, положения. Но мэр ему объясняет, что это письмо — неофициальное; с одной стороны, это больше чем казенная бумага, ибо устанавливает частные отношения между К. и Замком, с другой стороны, это — меньше, ибо

не прошло через книги, не занумеровано, юридически не существует даже. Все двойственно, расплывчато, страшно в мире-поселке, и тщетны все попытки неугомонного землемера К., этого нового Данте (без Вергилия), добраться до благодатного Замка. Только когда К. уже на смертном одре, приходит наконец бумага, до известной степени регулирующая его положение.

Эту последнюю вещь свою Кафка не успел закончить: смерть подстерегла его. При жизни он почти ничего не печатал; после смерти «объективные» условия не благоприятствовали его книгам: уроженец Праги, неариец, писавший по-немецки. А между тем время его придет! Совершенно неповторимой особенностью Кафки является то, что наряду с символикой, звучащей под сурдинку, дающей глубину и вышину, книги его существуют, захватывают и сами по себе, без всякой символики, как описание нового, чудовищного и смешного мирка! Если бы надо было одной фразой определить Кафку, я бы сказал: узко, но гениально!.. Я не припомню другой книги XX века (включая Пруста и Джойса), читая которую, с первой строки создавалось бы столь твердое убеждение: гениально (и безумно)...

Русского перевода вещей Кафки, насколько мне известно, еще нет.

ВЛАД. ГУЩИК. «ЗАБЫТАЯ ТРОПА»

Влад. Гущик — автор десятка произведений, романов, повестей, рассказов. И вместе с тем, надо ли обманываться, мало кто слышал имя Гущика или читал его книги. Объясняется это тем, что В. Гущик «провинциал» и в Латвии или Эстонии он, вероятно, более известен, чем многие писатели парижской школы (мне даже случилось в варшавской газете встретить такое сочетание имен: Тургенев и Гущик).

Рассказы, включенные В. Гущиком в его «Забытую Тропу», — их около 30, написанных в разное время, в разных условиях, — не ровные. Попадаются и совсем слабые (не формально, а по существу), попадаются и средние. Есть 2—3 и совсем хороших.

Однако все эти рассказы объединены единым духом, ритмом, тоном. Если определять «линию» Гущика в русской литературе (судя по «Забытой Тропе»), она ближе всего к творчеству И.С. Шмелева. Охота, собаки, рыбная ловля, монастырь, конокрады — вот тема его рассказов. То, что В. Гущик живет в лимитрофах, где быт еще в какой-то степени старорусский, придает его повествованию особую положительность, убедительность: он пишет не по памяти.

Лучший, кажется, рассказ «Вася» посвящен «безбрежному Чудскому озеру». Вася — юродивый, не спросясь, отвязал чужую лодку и ночью в бурю поехал по озеру, не зная фарватера; суровые, нищие рыбаки его жестоко наказали; а потом из несвязного лопотания юродивого выяснилось, что это Христос ему велел взять лодку и грести: а Сам сидел на корме и держал рулевое весло. Рыбаки слушали юродивого и покаянно плакали.

Разумеется, этот трогательный рассказ что-то напоминает; эта тема не раз использована русской литературой. Да, Влад. Гущик — эпигон, в хорошем смысле этого слова, со многими проистекающими отсюда качествами и недостатками.

В.С.Я.

С.К. МАКСИМОВ. «ЧУДО РЮМИНА.» РОМАН

«Чудо Рюмина» несколько странная, явно неудавшаяся книга, и все же о ней стоит поговорить.

Наряду с тем, что французы называют grand art, существует, назовем его, искусство малое: множество картин, повестей, арий — для армии неискушенных, но жаждущих

возвышенного: в некотором роде интеллектуальный «ширпотреб». Это «малое искусство» имеет полное право на существование: исполняет важную культурную функцию, пропагандируя гениальные образы, идеи больших художников и творцов.

К сожалению, в России такие скромные культуртрегеры, честные, но недостаточно талантливые художники, всегда были в загоне. Их даже презирали; от писателя требовалось нечто под стать непременно Толстому или Достоевскому, что и привело к постепенному исчезновению этого типа скромных и средних писателей, коими так богаты великие западноевропейские литературы. Позволителен даже вопрос, чем определяется великая литература: двумя-тремя замечательными писателями или наличностью большого числа менее значительных, но художественнокультурных дарований, популяризирующих чужие видения, пророчества, образы?

Роман Максимова имел бы некоторые шансы войти в эту последнюю категорию — книг безвредных, занимательных и в меру культурных, если бы автору, по неистребимому русскому литературному обыкновению, не захотелось вдруг попытаться создать нечто равное творениям Достоевского. Несмотря на всю вздорность основной линии повествования, роман С. Максимова заслуживает некоторого внимания; автор не лишен дарования — некоторые главы весьма занимательны, знает быт людей, которых описывает, и описывает их на хорошем русском языке.

В.С.Я.

АЛЬМАНАХ «КРУГ»

Три года тому назад в Париже начались собрания так называемого «Круга»[1]. На этих собраниях присутствовал целый ряд видных писателей, поэтов (главным образом

«молодых», хотя многим уже перевалило за 40 лет), общественных деятелей, философов, публицистов, были также представители православного клира.

Благодаря одному этому перечню участников можно уже догадаться, что задача этих собраний выходила далеко за предел обычно литературных и просветительных интересов; очевидно, эти «беседы» имели своею целью разрешение основных вопросов современности, выработать общее мировоззрение, которое бы было можно противопоставить надвигающемуся одичанию и хаосу.

Читая отчеты закрытых собраний «Круга» (напечатанные в журнале «Новый град»), мы убеждаемся, что такого рода догадка вполне правильна. Вот заглавия некоторых докладов: Бердяев — «Мысль изреченная есть ложь»; Федотов — «Святость и творчество»; Шестов — «Перерождение идей у Достоевского»; монахиня Мария — «Злое Чудо»; Адамович — «Что делать»; В. Варшавский — «Социализм Рамакришны и Вивекананды»; Фондаминский — «Метафизика интеллигентского ордена»; Вейдле — «Умирание искусства».

Одного такого перечня имен и тем достаточно, чтобы вызвать крайний интерес к этим собраниям. Когда же стало известно, что «Круг» начинает издавать альманах (под тем же названием)[2], это показалось вполне естественным: наконец-то «Круг» получил возможность выразить свой внутренний лик. Но, к общему удивлению, ни в первом номере, ни во втором не оказалось никаких прямых указаний на основную жизнь «Круга», — на его собрания. Вот самый существенный упрек, который можно сделать редакции «Круга»: полный разрыв, отсутствие связи между беседами и альманахом. Если за три года участники «Круга» ни до чего «общего» не договорились, с чем бы они могли выступить перед широкой аудиторией, можно ли надеяться, что они сумеют вообще к чему-то прийти? Не кончится ли обычной интеллигентской

болтовней («мир», «Европа», «Россия»)? Для окончательного суждения подождем, однако, еще одного номера; а пока займемся беллетристическим отделом альманаха.

Номер второй (как и первый) начинается отрывком из романа покойного Бориса Поплавского — «Домой с небес»[3]. В большой одаренности Поплавского, в его необычайной талантливости сейчас — на некотором расстоянии — уже никому не придет в голову сомневаться. Это имя надо запомнить; оно войдет в русскую словесность и займет там подобающее место среди некоторых других одареннейших неудачников. Ибо Б. Поплавский, насколько можно уже судить, принадлежит именно к этой категории: несмотря на свой огромный дар, как-то мало что конкретно сумев сделать! От него осталась тоненькая книжка прелестных стихов («Флаги») и два романа.

Читая последний его роман, «Домой с небес», беспрерывно негодуешь и сожалеешь: зачем слепая смерть так скоро подступила, не дала возможности автору завершить начатый, столь значительный труд. Ибо впечатление такое, словно недостает еще одной, последней редакции! Местами похоже на черновик, изобилующий описками, где не все связано, подогнано (а как жаль)! Но странное дело, первый роман Поплавского («Аполлон Безобразов»), давно им законченный и оставленный, имеет те же особенности: отдельные главы необычайно хороши, блестящи, творчески насыщены, а в целом бледновато, сумбурно и — недоделано! Вот почему нам кажется, что Поплавский вообще, органически, не был способен закончить произведение. В этом неудача его; и, если угодно, сила: отдельные места выигрывают от этого, становятся огненными, напряженными.

«Домой с небес» — это картина гибели эмигрантского молодого человека. Медленно и неуклонно выветривается душа, линяет, осыпается. Хулиганскими рывками

герой, Олег, пытается войти в жизнь, врасти в нее, раствориться, быть как все; пробует любить, веселиться, работать. Но этот удел для других «счастливцев». Что-то в нем есть, в Олеге, хорошее, что мешает ему опуститься до уровня «всех», обывателей, рвачей. Но путь святости, подвижничества тоже не для него: кишка тонка. «Один. Один. Один. Свободен, как лев в пустыне, лев-вегетарианец, но кто он... Студент? Нет, Олег, на первом же экзамене, о позор, на сочинении о Гоголе... Писатель?.. Да, в отхожем месте, пальцем на стене в мечтах, в дневниках, в отрывках, без головы и хвоста... Монах с грязными ногами и наодеколоненной головой. Пролетарий, нет, безработный буржуй, нет, нищий идеолог буржуазии... Бездельник?.. Нет, Олег целый день занят чем-то... Философ?.. Но ведь он ни единой книги не дочитал до конца... Дурак?.. Нет, потому что ему казалось, что это он сам мог написать... Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... политической партии, вероисповедания... И вместе с тем какая неповторимая русская морда с бесформенным носом, одутловатыми щеками, толстыми губами...» — так автор-Олег сам себя изображает и покаянно анализирует положение эмигрантского молодого человека, недоросля-профессора.

— Домой с небес! — решает Олег к концу романа. Но, полно, знает ли Олег точно, где дом, где небеса. Поплавский тоскует о любви, он отличает добро от зла, но порою дьявольская красота последнего соблазняет его.

«Отступление» — повесть Татищева[4]. Автор довольно беспомощно (хотя и почитав новейших французских авторов) рассказывает о гражданской войне. Бой, отступление. Офицер неслышно молится, уходя под шрапнельным огнем, дает обеты: «Меня надо сохранить. Я еще могу быть полезен. Боже, клянусь, обещаю Тебе, что я это сделаю.

Если я дойду до хутора, я уйду от них. Р-р-раз». На этот раз ему удалось уйти. Но опять приказ: его часть снова вводят в сферу огня. И т.д. Добросовестно, честно и не без дарования рассказано. Хорошо передана угарная обстановка такого боя, где не знаешь, где авангард, где тыл, где свои, где чужие. Можно ли негодовать на Татищева за то, что он не граф Толстой?

Отрывки Шаршуна[5] и Алферова[6] очень хорошо написаны, но, к сожалению, слишком коротенькие, чтобы можно было судить о целом.

«РУССКИЕ ЗАПИСКИ». ИЮНЬСКИЙ НОМЕР

В отчетной книге журнала «Русские записки» дано начало новой повести М. Осоргина «Детство». Почти нет писателя, который раньше или позже не обращался к этой теме. Психологически это понятно: каждому хочется «освободиться» от тех впечатлений, которые (помимо других причин), будучи первыми, кажутся особенно убедительными. Но именно это и делает данную тему чрезвычайно трудной и среди общего мирового потока, так сказать, «детских» повестей выделяется всего два-три избранных произведения (считая от «Исповеди» Руссо). Я бы сказал, что эта тема служит оселком для испытаний гения писателя, и удается она только гению.

Герой М. Осоргина родился на берегу Камы, в тех азиатских просторах вод, лесов и пейзажа, которые ему кажутся характерными для России. «Мое семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянин, блондин, всебожник, анархист, поэт и старовер. У нас, людей речных, иначе видят духовные очи; для других река — поверхность и линии берегов, а мы свою реку видим и вдаль и вширь и непременно вглубь, с илистым дном, с песком отмелей, с водорослями, раками, рыбами, тайной подводной жизнью,

с волной и гладью, прозрачностью и мутью, с облаками и их отражением, с плывущими плотами и большими судами, и с накипью и щепочками, прибитыми к берегу. Воду, которую мы отпили и в которой до локтя мочили руку, перегнувшись за борт лодки, — мы эту воду потом пьем всю жизнь, куда бы нас судьба ни забросила, и подливаем ее для цвета и сравнения и в море, и в горное озеро Неми близ Рима, и в священный Иордан, и в Миссисипи, и в светлый ручей, и в Тихий океан, и в Рейн, и в каждую европейскую лужу, если в ней отражается солнце».

Нам кажется чрезвычайно характерным для всего пути Осоргина следующий эпизод:

«Меня наказали один раз, не знаю, за что, но, вероятно, за что-нибудь исключительно серьезное, потому что наказанье было жесточайшим: я был лишен свободы. Слезы лились в три ручья: плакала мать, плакал я, и плакала моя старшая сестра, которую посадили вместе со мной в чулан, чтобы мне одному не было страшно... Вряд ли мое заключение продолжалось больше пяти минут, но это все равно, впечатление о пережитом осталось навсегда: четыре стены, за которыми идет жизнь, и я из этой жизни изъят: полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери. Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меня сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь таганской тюрьмы в Москве, выбил дверную форточку и оконные стекла, когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно одного из заключенных. Я и теперь нередко просыпаюсь от удара кулаком в стену, когда мне снится тюрьма, а иногда, наоборот, проснувшись добродушно смеюсь, потому что мне кажется, что таких случаев не бывает, что человека нельзя запереть против его воли... В университете я изучал право — государственное, уголовное, гражданское,

изучал философию права, хорошо сдавал экзамены, стал адвокатом. Не будь в моем детстве чулана, я мог бы сложить для себя из всех этих книжных кирпичей сносное жилище, пробить в нем окошечко с решеткой и спокойно глядеть на мир, как смотрят многие отличные люди. Этого не случилось, и когда муха бьется в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови, — все равно! Не потому, что я такой милостивец, — я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишить не способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за комара!»

Рассказ Газданова «Бомбей» — это банальный рассказ из жизни «детракированных»*, обездоленных людей, эмигрантов, среди которых по необходимости вращается некто — автор — с высоким складом мыслей и чувств.

Ординарность сюжета понятна самому автору, и чтобы несколько освежить, обновить декорации, он переносит героя в Индию. Но это не спасает положения: ибо не декорации решают судьбу литературного произведения. В Индии Газданов не бывал, и чтобы не писать наобум и не слишком напрягать свое воображение, Газданов устраивает так, что за несколько месяцев своей жизни в Бомбее герой его встречает всего пять человек: одну француженку и... четырех русских[1].

Все это можно было встретить и на Монпарнасе: стоило ли уводить нас в экзотические страны. Впрочем, попутно Газданов сообщает нам ряд ценных сведений: так, в аденских водах не рекомендуется купаться, — акулы! Попал герой в Бомбей благодаря случайной встрече с шотландцем на улице: тот пригласил, — билет, визы и все прочее. Нечего и говорить, что шотландец малоречив, честен и пьет джин,

* От фр. «détraqué» — сумасшедший, тронутый, не в своем уме.

его друг Грин всегда в смокинге, пьет виски с содою и рассказывает эпизоды из Бурской войны; завзятый охотник и добродушный врун. Трудно сказать, что это напоминает, но несомненно, что мы уже встречали неоднократно шотландцев, которые пьют джин, и Гринов, завирающихся про охоту: Газданов оперирует штампованными литературными типами. Газданов начинал когда-то очень удачно; его «Вечер у Клэр»[2] вызвал одобрение; больше ничего равного этой книге он не написал...

«ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ»
[19 февраля 1938]

В объявленном почти год назад новом, толстом журнале — «Русские записки»[1] — была одна характерная особенность: адрес издателя и типографии был указан в Шанхае, а редакция в... Париже. Эмигрантская пресса по необходимости должна пускаться на разного сорта уловки и ухищрения, чтобы достигнуть желанной — и неуловимой — рентабельности. Это понятно, если дело касается издания книг. Но журнал, периодическое издание, каждые два месяца сборник, печатается в Шанхае, сидя в Париже (в 16-м аррондисмане), — когда почта идет туда и назад 4 месяца, — в этом было что-то от фокуса или от квадратуры круга.

С первой минуты становилось понятным, что в таких условиях дело не может идти. А оптимизм редакции, застарелый, хронический, мог только усилить беспокойство. На этот оптимизм не могла повлиять даже война, вспыхнувшая на Дальнем Востоке. Осада Пекина, штурм Шанхая? «Не посмеют,—успокаивала своих сотрудников редакция. — Мы на территории международной концессии!» Но японцы, как известно, посмели.

Пришлось спешно оставлять шанхайскую типографию и найти подходящую в Париже. Заодно издатель решил поменять и редакцию (оптимистическую). Во главе дела становится П.Н. Милюков. Будет собственно новый журнал с иным руководством и обликом. Вот почему мы можем уже дать о вышедших в Шанхае двух номерах «Русских записок» вполне подробный и объективный отчет: в сущности, это уже история, прошлое.

Беллетристический отдел 1-го номера открывается пьесой Алданова «Линия Брунгильды». Действие происходит в 1918 году в небольшом местечке, служившем тогда пограничной станцией между большевистской Россией и занятой немцами Украиной. Актеры, бежавшие из советского ада, находят себе приют у заштатного смотрителя (кажется, сумасшедший дом); едят его котлеты (давно забыли про существование котлет), пьют настоящий чай с подлинным лимоном, восклицают, суетятся и говорят нарочитые пошлости. К актерам еще «на той стороне», в России, пристал некто Иван Александрович, выдающий себя за актера. На самом деле он революционер, пробирается в подполье, имеет какие-то «задания». Комендант станции фон Рехов с проницательностью влюбленного очень быстро расшифровывает двойную роль Ивана Александровича (дело в том, что оба они влюблены в молоденькую актрису Ксану). Они ходят вокруг Ксаны, объясняются в чувствах, целуются и под разными видами глубокомыслия говорят ей пошлости. Надо отдать справедливость автору за его редкий психологический дар диалога: достаточно Алданову вложить 2—3 фразы в уста своего героя, чтобы сделать из него пошляка. Ивану Александровичу надо бы ехать дальше — на «работу», а он тут околачивается, готов бросить все, следовать за этой девочкой; фон Рехову надо бы арестовать Ивана Александровича, а он вдруг готов отпустить его в Варшаву, — что делает любовь! Но в утешение себе фон

Рехов рассказывает Ксане про линию окопов в душе каждого человека: у каждого человека есть своя линия Брунгильды, которую он ни за что не сдает, — лучше смерть!

Те читатели, что помнят «Десятую Симфонию» Алданова, знают уже, что, по мысли последнего, каждый человек имеет в жизни **свою** 10-ю симфонию: незаконченное, недоделанное и в то же время лучшее творение своей жизни. Из пьесы же мы узнаем, что у всякого есть и своя линия Брунгильды: лучше умереть, но не отступить! Может быть, 10-я симфония всякого (ее неудача) и заключается в том, что он свою линию Брунгильды в конце концов сдает? По крайней мере, герои алдановской пьесы.

Место действия эпилога — Париж. Ксана — содержательница ресторана. В ресторан случайно попадает спекулянт, бывший в ту осень 1918 года на той же пограничной станции. Узнают друг друга, вспоминают прошлое и неожиданно приходят к выводу: «А хорошее тогда было время».

Пьеса, можно сказать, очень сценична: как полагается, с песнями и плясом. В ней себя Алданов показал недюжинным драматургом. Пьеса шла в Париже 9 раз и имела вполне заслуженный успех. Но ошибка редакции «Русских записок» заключалась в том, что она эту пьесу напечатала. Пьеса пишется для сцены; если она хороша, надо ее посмотреть в театре, если дурна, не надо смотреть. Но печатать — рискованно. И, во всяком случае, нельзя было **начинать** новый журнал, открывать **первый** номер — пьесой! Заняв 100 страниц такого рода произведением, редакция отпугнула и без того немногочисленных своих энтузиастов.

Номер 2-й «Русских записок» составлен в этом отношении гораздо ровнее и искуснее. Бросается в глаза одна особенность: из 6 авторов, участвующих в беллетристическом отделе, только один (Д.С. Мережковский) принадлежит к поколению так называемых старых писателей; остальные пятеро (Сирин, Ладинский, Зуров, Волков и т.д.) — новые

писатели, молодые (т.е. начавшие печататься уже за рубежом).

Открывается книга главою из нового произведения Мережковского: «Жизнь Данте». Подождем конца, чтобы дать связный отзыв об этой вещи. Данте, Беатриче, Флоренция Возрождения — кто может остаться равнодушным к этим именам? И как всегда у Мережковского, обилие боговдохновенных цитат, украшающих его собственный текст. «9 раз от моего рождения Небо Света возвращалось почти к той же самой точке своего круговращения (Данте хочет сказать, что прошло 9 лет. — Примечание автора заметки), когда явилась она впервые... облеченная в одежду смиренного и благородного цвета, как бы крови, опоясанная и венчанная так, как подобало юнейшему возрасту ее, — Лучезарная дама души моей, называвшаяся многими не знавшими настоящего имени ее — Беатриче».

Рассказ Сирина «Озеро, облако, башня» заслуживает самого серьезного внимания. Но так как за ним стоит, несомненно, Кафка — гениальный австрийский романист, чьей книге «Тяжба» («Ле Просэ») мы намерены посвятить специальную статью, то лучше не говорить о рассказе Сирина, а также о его «Приглашении на казнь» поговорим потом (чтобы не быть голословным).

Ладинский недавно издал роман из жизни Древнего Рима (XV Легион). Теперь он пишет новую книгу из жизни Византии и Киевской Руси. Это упрямство автора в его поэтических экскурсиях в прошлое само по себе уже достойно похвалы. Из его отрывка «Борисфен, река Скифов» мы узнаем, что некто Ираклий Метафраст, поэт и воин, влюблен в «багрянородную дщерь базилевса», сам отвез ее в Херсон и Киев, отдал ее в руки князю Владимиру. «Но в печальное время посетила мир душа моя. Что я? Червь... Смотрите, вот ползает перед вами во прахе патриций и двунгарий ромейского флота,

раздавленный несчастной любовью» — таким языком обязаны изъясняться герои Ладинского. Посочувствуем автору: задача не из легких.

«Дозор» Зурова едва ли не самая зрелая и современная в каком-то смысле вещь из всего им написанного до сих пор. Юноша-офицер возвращается с фронта в родную усадьбу. Идет уже братание, развал, отступление, все гибнет, тает, горит: уже поджигали родную усадьбу, стреляли в сумерки, били в набат. Надо уходить из родного гнезда: погрузить скарб, иконки, усадить больного отца, хлопотливую мать и ночью, первыми заморозками по целине, — к немцам, в неизвестность, в ничто. На селе пьют и гарланят песни; огромная страна, Россия,—котел бурлит, переливается через край, — устоит ли она, уцелеет ли?! «Мать перекрестилась на дом. Он тронул коня. Наган был у него за пазухой, ружье — на коленях. Острый мороз он почувствовал на лице, когда конь выбежал за постройки. Он выбрал бездорожье, подлесный путь. У леса свернул. Наст был крепкий, ружья заряжены нарезанной свинчаткой. Никто не видел их отъезда. На болоте, поросшем неясным в свете месяца березняком, блестел обливной наст... Слева остались скрытые болотной порослью постройки усадьбы. Он последний раз на нее оглянулся и увидел черное лицо отца».

Под псевдонимом В.С. Мирный

«ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ»

[7 мая 1938]

Знаменитый археолог, профессор М. Ростовцев, недавно посетил Индию. В своей статье «Индия и ее искусство» он делится своими новыми впечатлениями. Особенно

поражает аналогия, проводимая автором, — ученым с всемирным именем, — между Индией и Россией.

«Как русского, меня поразило сходство Индии с Россией. Не надо его преувеличивать, но нельзя и обойти этого сходства молчанием. Колоссальная страна с многомиллионным, многоязычным населением. Страна тысяч племен, языков, говоров. Страна многих религий и резких религиозных противоположностей. Страна бесконечных плодородных равнин и могучих рек. Страна миллионов мужиков, тысяч деревень и немногих городов, большинство которых большие деревни. Страна волов, скрипучих телег, проселочных дорог, бесконечных обозов, огромных пространств. Страна пыли, грязи, фантастических болезней, страна мириадов мух, комаров, клопов, блох и всякой нечисти. Страна резких противоположностей во всех отношениях: климатическом, социальном, экономическом. Небольшая, полная добрых желаний, но оторванная от почвы интеллигенция и миллионы неграмотных и полуграмотных. Страна неограниченных возможностей, таящихся в душе народа, не привыкшего говорить правду. Страна, поражающая своей глубокой религиозностью, с ее тысячами храмов и сотнями тысяч жрецов, с ее миллионами богомольцев, с ее роскошными религиозными церемониями и процессиями. Страна аскетизма и умерщвления плоти. Страна мистики и религиозных самоуглублений. И все-таки перед русским, смотрящим на эти храмы, на богомольцев, на жрецов, назойливо встает вопрос: все это так, но прочно и глубоко ли это? В этой стране контрастов и неограниченных возможностей, в стране глубокой, затаенной ненависти не настанет ли момент, когда миллионы богомольцев превратятся в миллионы разрушителей храмов и масса верующих отречется от своих богов, растерзает своих духовных вождей и от энтузиазма религиозного экстаза перейдет к голому отрицанию, от преклонения к глумлению?» Страшные слова.

* * *

Серен Киркегард — датский философ, творец так называемой экзистенциальной философии, т.е. философии, обращенной к жизни, облегчающей жизнь («я мыслю, чтобы жить, а не наоборот» — его слова), за последние годы стал очень популярен в Европе.

Он умер в забвении, был «открыт» немцами. Во Францию и Россию его ввел, с обычной страстностью, Лев Шестов. Из книги последнего мы черпаем некоторые данные о жизни великого философа; она очень бедна «внешними» событиями.

«Серен Киркегард родился 5 мая 1813 года в Копенгагене, от второго брака его отца, Михаила Киркегарда, с его бывшей служанкой Анной Лунд. Теперь же отмечу, что этот брак был несколько поспешным: Михаилу Киркегарду нужно было, как говорится, покрыть грех. Это обстоятельство сыграло большую роль в истории духовного развития сына, который еще в ранней юности узнал, что строгий и набожный отец его вскоре после смерти первой жены поддался искушению. Воспитание Киркегарда вначале было всецело в руках отца и носило строго религиозный характер. Он кончил школу и поступил в университет для изучения теологии. Пока жил отец, занятия Серена шли плохо: сына отвлекали от теологии другие интересы, — он вел, как выражаются, рассеянный образ жизни. Но по смерти отца Серен, вопреки общему мнению, сдал экзамен в 1840 году с отличием и, кроме того, получил диплом магистер артиум... В год окончания университета произошла его помолвка с молодой девушкой — Региной Ольсен, которой было всего 17 лет и которую Серен знал с детства. Но через год он без всякого повода порвал с невестой — к великому негодованию как его близких, так и близких его невесты и всего Копенгагена.

Копенгаген сто лет тому назад был большой деревней: все обыватели знали дела всех обывателей, и ни на чем не основанный разрыв Киркегарда с невестой сделал его притчей во языцех. Регина Ольсен была потрясена неслыханно; она не могла понять, чем вызван был неожиданный поступок Киркегарда. Но еще больше был потрясен и раздавлен своим поступком Киркегард. Его разрыв с невестой приобрел для него размеры великого, исторического события и определил характер его философии. Что заставило его порвать с Региной Ольсен?.. Он постоянно строжайше возбраняет будущим читателям его допытываться истинной причины, которая принудила его сделать то, что для него (равно как и для Регины Ольсен) было труднее и мучительнее всего... В своих книгах и дневниках он постоянно повторяет: если бы у меня была вера, я никогда бы не покинул Регины Ольсен. Слова загадочные... 2 октября 1855 года он упал — от истощения сил — на улице; одинокого, его перенесли в госпиталь, где он и скончался через 2 месяца». Написанное им составило 28 томов — 14 сочинений и 14 дневников. Вот важнейшие заглавия: «Все или ничего», «Страх и трепет», «Повторение», «Болезни к смерти», «Жало в плоть», «В праве ли человек ради истины отдать себя на растерзание»... и много других.

* * *

СОВЕТСКИЙ ПРЕСС

Из рассказа Анны Караваевой: «Вхождение»:

«Да пойми же ты, Митя, нравственность у нас тоже политическая. Я шершаво выражаюсь — это от волнения».

В связи с разного рода перегибами, загибами, уклонами левения, кривения и с наказаниями, связанными с оными, выработался особый стандартный тип обращения

к общественности, — покаянного письма в редакцию писателя с отказом от своего предыдущего произведения. Приблизительно так: «Настоящим считаю необходимым совершенно ясно и открыто признать, что написанный мною роман является произведением халтурным. Я сделал недобросовестную работу. Больше так не буду. Маркс, Ленин, Сталин...» Советские журналы уже обратили внимание на характер такой самокритики и покаяния и клеймят их довольно остроумно:

Сообщаю читательским массам,
Что «роман», именуемый «Квасом»,
Я писал в состоянии бреда,
Подстрекаемый пьяным соседом.
Призываю вас, будьте культурны:
Не читайте «роман» мой халтурный!

Куда податься бедному сочинителю!..

Сталин, сусальный Сталин в литературе.

Колхозница в Кремле. Стесняется. Вдруг одухотворяется непонятной силой. То незаметно вошел Сталин. Милостивый разговор с вождем: даже руку пожал. «Вбежала я в раздевальню, молода-молодешенька, и, видно, такое лицо у меня было, что все на меня оглядывались... Вдруг глянула я в зеркало, фу, как нехорошо: на ногах-то у меня старенькие сапожонки с заплатами... Тьфу, стою я перед заркалом, корю себя на чем свет стоит и воображаю: чтобы это я в лаковых туфлях шла, то-то бы товарищ Сталин, головушка наша золотая, лишний раз порадовался: вот, мол, как наши колхозницы живут, культуру уважают» (из рассказа бедняги Анны Караваевой).

Под псевдонимом В.С. Мирный

ИНТЕРВЬЮ

ВОЗВРАЩЕННАЯ МОЛОДОСТЬ
Стенограмма радиопередачи о В.С. Яновском на радио «Свобода»

Ведущий: Недавно в издательстве «Норзен Иллинойс Юниверсити Пресс» вышла в переводе на английский язык книга мемуаров одного из самых значительных прозаиков первой эмигрантской волны Василия Семеновича Яновского[1]...

(Далее Б. Парамонов, если сочтет нужным, выскажет свои соображения о книге «Поля Елисейские», которую он читал в русской версии и которая, насколько я знаю, ему понравилась.)

Ведущий: Отрадно и показательно, что эта книга, так тесно связанная с русской историей и русской культурой, заинтересовала американских издателей, а следовательно, она, по их мнению, представляет интерес и для массового американского читателя...

Довлатов (*перебивает*): Тут, в общем-то, нет ничего удивительного. Наоборот, странно, что эта книга так долго не выходила по-английски...

Ведущий: Минуточку, я вас представлю. Это Сергей Довлатов, один из участников нашей сегодняшней передачи...

Довлатов: Я тут беседовал с профессором Колумбийского университета Марком Раевым[2], он автор предисловия к американскому изданию мемуаров Яновского, и вот я задал ему такой же вопрос: может ли заинтересовать американского читателя книга мемуаров о первой русской эмиграции? И Раев мне уверенно сказал, что может. Интерес в Америке к русской истории и культуре достаточно велик, тем более что первая эмиграция — это продолжение, если не завершение, российского Серебряного века, если можно так выразиться, — филиал традиционной русской культуры на Западе. Кроме того, мемуары Яновского — это отличная проза, отличная мемуарная проза, которая по ее сугубо художественным качествам (я не говорю сейчас о фактографии) достойна перевода на любой цивилизованный язык...

Василий Семенович Яновский родился в 1906 году в Полтаве, юношей оказался в Польше, окончил там гимназию, в 26-м году перебрался в Париж, окончил Сорбонну, стал врачом, с 42-го года живет в Нью-Йорке, пятьдесят с лишним лет работает в литературе, пользовался вниманием Бунина, дружеским расположением Георгия Адамовича и Михаила Осоргина. Знал всех, беседовал с Джойсом, общался с Луи Селином, дружил с Уистаном Оденом, который, кстати, написал к одному из романов Яновского восторженное предисловие... Я скороговоркой привожу эти беглые данные, потому что в советских источниках сведений о Василии Яновском пока что нет...

Ведущий: Может быть, что-то изменится в связи с гласностью. В Союзе публикуют Ходасевича, Набокова, Мережковского, Гиппиус, заговорили наконец о Зайцеве и Шмелеве. Будем надеяться, что дойдет очередь и до Яновского...

Довлатов: У меня нет в этом никакого сомнения, только хотелось бы, чтобы эти времена поскорее наступили. Ведь

при всех этих единичных публикациях, пусть даже очень ярких, целый пласт русской культуры остается недоступным пока для советского читателя... Я тут недавно виделся с Василием Семеновичем Яновским и спросил, кого из замечательных современников он мог бы с полной ответственностью рекомендовать советским издательствам. При этом я включил микрофон. Вы слышите голос писателя.

Голос Яновского (запись):

/011/ ...Идея заключается в том, что первая эмиграция в каком-то смысле была необычайно богата, и когда-нибудь Россия будет благодарна этим верным ее сынам, которые вопреки всем объективным условиям продолжали великую миссию России — выражать гуманитарные идеи под новым небом и новыми звездами...

...Проза у нас была бедная, это объясняется объективными условиями, для того чтобы писать прозу, требуется время, а кто из нас имел время, надо было как-то жить... Этим и объясняется, что я могу назвать, скажем, Фельзена... Вторым я бы назвал Зурова... Еще замечательным по своему языку и по своей верности гуманизму был Осоргин Михаил Андреевич, его «Повесть о сестре» я считал лучшей книгой того времени. Это был бы большой подарок для советского читателя — издать ее сейчас в Советской России...

/262/ ...Я забыл сказать, что королем нашей поэзии был Поплавский. Поплавский соединил в себе изнутри французских «поэт-моди»* и лучших русских символистов, как он это сделал и что получилось — это дело будущего большого литературоведа...

/075/ ...Я назову, конечно, замечательные стихи Адамовича. Адамович за месяц до смерти сидел у меня за столом и говорил: «Как это странно (а он мог бы сказать — больно), все говорят о моих эссе, о моих статьях, которым

* От фр. poète maudit — проклятый поэт.

я не придаю большого значения, а стихи мои — никто не обращал внимания на них, а вместе с тем, я думаю, они останутся и имеют ценность...»

И я думаю, переиздать его сборник стихов — это неотлагательная нужда...

Недавно появилось одно стихотворение Адамовича в одном журнале советском, не помню, как называется, это замечательное стихотворение, там сказано, что нужно после многолетних раздумий написать несколько строк, чтобы влюбленный их повторял, идя на решительное свидание, а обреченный на казнь повторял бы их, когда его ведут в смертную камеру... Вот задача поэзии, все остальное — хлам, и хламом, конечно, мы много занимались...

/293/ Кроме Поплавского я должен назвать Штейгера, Гингера, Червинскую...

/060/ ...Еще бы я назвал, не будучи слишком скромным, и Яновского Василия Семеновича, я автор двенадцати-тринадцати романов и повестей, и в том числе четырех-пяти, написанных по-английски, о них писали с большим пиететом и уважением в американской прессе...

Довлатов: Яновский выпустил несколько романов по-русски и по-английски, опубликовал ряд книг и брошюр, связанных с медициной, а его воспоминания об Одене Иосиф Бродский считает лучшим, что написано об этом выдающемся англоязычном поэте...

Ведущий: Вы ведь лично, и уже не первый год, знакомы с Яновским?

Довлатов: Да, и отношусь к этому человеку и писателю с огромным уважением и даже, я бы сказал, с трепетом, потому что он — человек прямой и резкий, прочитал мои рассказы и говорит: «Когда же вы напишете что-то серьезное?..» Да что говорить обо мне, Яновский и к писателям иного калибра относится весьма требовательно. Между

прочим, я спросил его при нашей последней встрече, что он думает о Набокове. Вот послушайте.

Голос Яновского (запись):

/308/ ...Я могу сказать, что не люблю его и не питаюсь им, есть писатели: читаешь и восхищаешься, а потом закрываешь книгу и не знаешь, к чему это все... Он, конечно, очень талантлив в смысле словесном, но он не первый это делал, Джойс открыл дорогу в этом направлении... А потом, я не знаю, какова тема, есть ли у Набокова большая тема?.. Я его хорошо знал и думаю, что это был благородный человек... Я помню, как мы часто сидели в «Селекте», в кафе, в Париже, играли в бридж с Ходасевичем, с Адамовичем, и я тихо шептал, но так, что Ходасевич оборачивался — что это вы?! — «Друзья, друзья, быть может, скоро, и не во сне, а наяву, я нить пустого разговора для всех нежданно оборву...» Вот таких строк у Набокова нет...

Довлатов: Знаете, мне даже внешне Яновский очень импонирует. Ни в его физическом, ни в его нравственном облике нет ничего мешковатого, расплывчатого, бесформенного, по внешности — это какой-то странный гибрид английского капитана и российского земского врача, в духовном плане — сочетание русского идеализма с западной интеллектуальной свободой... Мне даже нравится в нем традиционное для русской (и не только русской) литературы совмещение двух профессий, двух поприщ — врачебного и писательского...

Набоков в одном из писем Эдмунду Уилсону назвал Яновского «Хименом», что означает «супермен», что-то в этом роде. Так вот, нечто подобное сохранилось в Яновском даже в преклонные годы... Отсюда и работоспособность его, и мужественное сопротивление болезням, и цепкая память... Кстати, во время нашей последней встречи мы говорили с Яновским о советских писателях, которые сейчас зачастили в Нью-Йорк, которые без опасений встречаются с эмигрантами, и я спросил, было ли что-то такое на его памяти в 30-е годы в Париже.

Голос Яновского (запись):

/201/ ...Нет, к сожалению, мы смотрели в то время на всех таких туристов как на врагов, или же они с первой минуты чурались нас, боялись встречаться... Приезжали, помню, Бабель, какой-то один, которого потом расстреляли тоже, мы ходили на их вечера, слушали их доклады, как все замечательно обстоит в Советском Союзе, потом я подавал записку Бабелю: «Как Вы смотрите на эмигрантскую литературу?» и он отвечал: «Что же, это технически замечательно, но если бы кто-нибудь так писал у нас, то на него смотрели бы как на сумасшедшего...» Он имел в виду романы Сирина, которые тогда печатались в «Современных записках». Сирин — это был тогда псевдоним Набокова...

Довлатов: Что ж, времена меняются, Набокова читают в Советском Союзе, и никто вроде бы не считает его сумасшедшим, наоборот, безумцами сейчас кажутся те, кто считал, что талантливую книгу можно запретить, арестовать, обречь на несуществование. Если представить себе русскую литературу XX века в виде географической карты, то все меньше становится на ней белых пятен, но они еще есть, и где-то там видится мне остров, перешеек или горный пик Василия Яновского. Того, кто побывает в этих краях, ждут интересные открытия.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Интервью с Василием Яновским

Я родился на Полтавщине. В начале 20-х годов ребенком я оставил Советский Союз и уехал во Францию. Я окончил медицинский факультет в Париже, я — доктор медицины. Всю взрослую жизнь я работал как доктор медицины. В 1942 году я переехал в Соединенные Штаты Америки.

Я все время писал. Я начал писать восемнадцатилетним мальчиком. Моя первая книга «Колесо» — подразумевается

колесо революции — была написана восемнадцати-девятнадцати лет, а вышла в 1929 году в издательстве «Новые писатели». Осоргин Михаил Андреевич создал это издательство. Первая книга, выпущенная ими, была книга Болдырева, очень талантливого писателя, ученика Ремизова, он умер совсем молодым. Второй была моя книга.

Потом я издал «Мир» — роман, «Любовь вторую» — парижскую повесть, которая переводилась на многие языки. «Колесо» тоже вышло по-французски. Потом я написал большой роман «Портативное бессмертие». Это, может быть, самая значительная моя вещь. Она печаталась отрывками в парижских журналах, но отдельным изданием вышла только в Нью-Йорке в Чеховском издательстве. После этого был «Американский опыт». Это были мои первые годы в Америке. Я был потрясен Америкой во всех смыслах — и в хорошем, и в дурном, — что выразилось в этой книге. Она не могла быть напечатана отдельной книгой до сих пор, но она целиком печаталась в «Новом журнале». Потом я написал книгу «Заложник» — о, так сказать, заложниках добра, les hommes de bonne volonté, людях доброй воли. Мы — заложники, я причисляю себя к ним. Отрывки из этого романа также печатались в «Новом журнале», но не целиком. После этого я написал еще два романа по-русски, но они никогда не могли выйти при условиях нашего рынка и при полном отсутствии культурного, интеллигентного читателя. У нас есть довольно много культурных писателей, но читателей у нас нет.

Сейчас мои книги негде печатать, никто не хочет их печатать. Я мог бы напечатать их на собственный счет, но у нас нет читателей, и тогда получается абсурд. А что касается американцев — я совсем не в их духе, не в их потоке. Они крутят этот объект или субъект, который я фабрикую, они сомневаются, роман ли это, рассказ ли это, то, что я пишу, что с ним делать, есть ли его, нюхать ли? Но все же они издают мои книги. В русской среде у меня никогда

не было таких неприятностей — все знали, что это роман, что это литература.

Я принадлежу к русским мальчикам, идеалистической молодежи с седыми висками, которая готова еще бороться и бунтовать и мечтает о каких-то идеальных условиях жизни. Да, я с ними связан и для них пишу — я думаю, только они могли бы с удовольствием меня читать и ценить.

«Челюсть эмигранта» — это рассказ об эмигранте. Каждый раз, когда он теряет зуб, он вспоминает, при каких обстоятельствах ему выдергивали этот зуб. И так проходит целая жизнь, и в последней главе ему будто бы возвращаются эти зубы, у него какое-то видение, во время легкого паралича он видит всех людей, которых потерял в жизни, все ключи своих комнат, в которых он жил, и все зубы, которые ему выдергивали. В каком-то плане ему это все возвращается. Там у меня есть разделение между линейной и вертикальной памятью. Эту мысль оценил Ф. Степун. Федор Степун был очень интересный человек, философ, друг Андрея Белого, и эта моя вертикальная память его очень заинтересовала. Он писал о ней в «Новом журнале».

Линейная память — это то, что связано с ассоциациями непосредственно. Вы видите, например, красный цветок, и вы вспоминаете красное бальное платье, скажем, любимой девушки. Это все линейная память, которая никуда не ведет. В общем, это память Пруста, связанная с ассоциациями. Конечно, он «выпрыгивал» из них, он всегда старался сопоставлять вещи из различных планов, и это главная заслуга Пруста, который нам объяснял, что только если сравнить метафоры разных планов, как, скажем, яблоко и закон Ньютона, если сопоставляются какие-либо явления из разных планов, что-то новое из этого выходит. А если сравнение в том же плане, ничего нового не получается.

Вертикальная память — это тоже память ассоциативная, но ассоциации здесь из какой-то тайной, оккультной

жизни, которую душа вела, может быть, до настоящего существования. Мне не хочется входить в вульгарные теософские сферы, и я не об этом говорил и думал, но я считаю, что есть какое-то воспоминание, как бы сказать, начальное воспоминание, то, что я называю Протопамятью. Где-то у меня сказано, что Протобог создал Протомир из Протопамяти. Память — это София, святая София, Премудрость Божья, в конце концов связанная с Логосом.

Вы не должны удивляться, что я об этом говорю, потому что мы этим жили. Во всяком случае, писатели парижской группы, встречаясь на Saint Michel, начинали разговор о блаженном Августине. Блаженный Августин приехал в Рим из Карфагена студентом римского права и купил себе рабыню, и с этого момента началось, в общем, его падение, а потом, скажем, воскресение. Я приехал в Париж тоже, может быть, из Карфагена, и я тоже покупал себе рабынь, и тоже чувствовал себя падшим, мы все проходили этим путем, и для нас это была реальность, а не какой-то «опиум для народа» и всякая другая чепуха. И мы тоже жили этим, и из этого вышла в каком-то смысле замечательная культура, носившая отпечаток одного стиля. Без стиля нельзя создавать культуру.

Культура всегда имеет стиль, и у нас был свой стиль, который можно было в первую минуту распознать, шел ли человек из тех же источников или совсем других, чуждых нам.

Самым удачным, самым талантливым в смысле оригинальности, с ветром гениальности вокруг был Борис Юлианович Поплавский. Он, конечно, прежде всего поэт, но он также писал статьи и романы. И некоторые страницы его романов выше, чем у Набокова — чемпиона романов. Набоков на семь лет старше меня и, конечно, очень талантлив, но я думаю, что отдельные страницы прозы Поплавского несравненно лучше набоковской прозы. Набоков часто отделывался шуткой, иронией, сатирой — это очень легко высмеять несчастного, падшего человека, а вот увидеть, как Поплавский, «святые

головы людей», мне кажется, трудно. Надо преодолеть очень много боли и конструктивно преодолеть, чтобы прийти к такому образу — святые головы людские.

Шаршун был художником; опять-таки, как я — медициной, Поплавский — стихами, он занимался живописью. Его полотна продаются по очень большой цене. Но его романы — это, в общем, наивные романы, что называется, примитивы. Хотя мне кажется, в них есть своеобразная прелесть.

Еще был у нас Газданов. Это был блестящий писатель словесный, скажем, внешний, но, мне кажется, без определенной глубокой темы. Ведь это очень важно, чтобы кроме фона была и своя тема, обычно это идет одно с другим. Я верю, что надо так писать, чтобы не замечалась форма. Если вы замечаете форму, если вы говорите: ах, как плохо написано, — это плохо; если вы говорите: ах, как чудно написано, — это тоже плохо. Вы должны освободиться полностью, чтобы прийти к содержанию, чтобы сделать видимым невидимое — в этом, так сказать, мой завет искусства. И подобное же в религии, науке, живописи, музыке — во всем надо стремиться открыть пласты, которые закрыты, скажем, одеждой или вуалью, — это есть у Бергсона — открыть завесы, тяжелые, непроницаемые завесы, которые закрывают мир сверху. До него апостол Павел сказал: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу» — увидеть при вспышке мгновенной какой-то молнии гениальности в окружающей тьме то, что неразличимо для простого глаза и пошляков.

На днях у меня выходит книга по философии науки, она называется «Медицина, наука и жизнь», там я высказываю некоторые свои основные идеи о раскрытии сущности, о прорыве завесы и стараюсь ввести постквантовую физику в гуманитарные науки. Так же как Нильс Бор установил, что материя — это зерно, частица и волна и — не зерно, и не волна, а еще что-то третье, — неужели это не звучит

точно, как Символ веры, что Троица, Святая Троица едина и неделима и в то же время неслиянна? И теперь уже ясно, что все наши творческие функции соединены в одно. Наша старая борьба за единое поле энергии становится конкретной. Эта книга написана по-английски. Отрывки из нее печатались в русском журнале в Париже.

Кроме того, у меня написана книга воспоминаний «Поля Елисейские» о тридцатых годах в Париже: Бердяев, Бунин, Федотов, Фондаминский, мать Мария, Вильде — мой друг, ну, не друг, а, в общем, сокашник, мы вместе жили, вместе ели, вместе фотографировались, вместе участвовали в собраниях. Теперь есть улица Вильде в Париже.

Это поколение, это десятилетие — необыкновенные. Если вам известно, Анненков написал «Необыкновенное десятилетие» — о Белинском, Герцене, Некрасове. Я бы мог назвать свою книгу тоже «Необыкновенным десятилетием»: до чего были замечательные, творчески настроенные во всем люди в то время. Недавно скончался Варшавский. Я должен его назвать тоже — он был честным писателем.

Мое поколение — это поколение людей, которые родились с таким расчетом, что они не могли принять участие в войне: я имею в виду и в Первой войне, и в Гражданской. Мы были слишком молоды. Скажем, в 1917—18 годах нам было двенадцать-тринадцать лет. Вот это поколение, которое не могло исчерпать себя в войне, и пережило все, что связано с войной, и потом смогло включиться в Запад, полюбить его. Мы стали европейцами, мы оценили эти камни, и они не были для нас мертвыми, и мы простили Западу его скупость или, не знаю, ограниченность, то, что Герцен никогда не мог простить.

Мы это простили ему благодаря чувству свободы, которую мы обрели здесь. И эта свобода не только паспортная, и не только потому, что мы не должны отвечать на вопросы: «Сколько вам лет?», не только то, что вы можете, подобно

принцу Уэльскому, проезжать по Франции инкогнито или, как Андре Жид, прописываться в отелях под чужими именами. Но кроме того, это какой-то воздух свободы, который так потрясающ для русской души и в то же время кажется нам родственным. Почему он нам родственен, я понять не могу, потому что никогда ничего подобного не было и, вероятно, не будет на великой Святой Руси.

«ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ?»

Ответ Василия Яновского на анкету журнала «Числа»

Творят, разумеется, все. И если плоды различны, то «механика» творчества, надо полагать, у всех сходна. Тот факт, что кристаллик Толстого преломлял лучи под тем же оптическим углом, что и кристаллик капитана 2-го ранга Лукина, имеет свои последствия.

А думаю, что акт творчества — это единственный и последний путь к свободе. С-в-о-б-о-д-а. Для меня, как медика по образованию, не может существовать иных надежд на биолого-физиологическую свободу (более «реальную»). И радость творчества (это нелегкая радость!) именно в лихорадочной свободе создателя. Это тем более замечательно, что начать работу над давно уже обдуманной вещью («засесть писать») всегда заставляешь себя; это почти насилие!

В каждой неплохой книге есть «острова». Это места непреложные, жившие годами, составляющие душу книги; изменить здесь ничего нельзя! «Острова» соединены между собой мостами, кладками и паромом (тире: мостик!). Иногда вот наводишь такой «мост» и вдруг отчаешься... Надо иметь благородство отложить работу; мужество продолжать любить недопреодоленный труд.

СОВРЕМЕННИКИ О ВАСИЛИИ ЯНОВСКОМ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Елена Извольская

В.С. ЯНОВСКИЙ: МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Хотя он живет в Америке, где его основные произведения публикуются по-русски и по-английски, о В.С. Яновском часто говорят, вторя ему самому, как о писателе, принадлежащем «парижской школе» русской эмиграции. И действительно, его литературный дебют состоялся во французской столице, где я с ним и познакомилась, и хотя стиль и содержание его произведений естественно эволюционировали в течение последующих лет, некоторые аспекты его творчества до сих пор отражают настроения 1930-х годов, когда и сформировалась «парижская школа». Она объединяла молодых людей и девушек, которые лишились родины еще подростками. В отличие от старшего поколения русских эмигрантов, у них почти не сохранилось воспоминаний о благополучной жизни дома. Они покинули Россию, когда ее раздирали война и революция, а после жизнь для них превратилась в бесконечные странствования, бедность, нескончаемые трудности и борьбу. Затем, как только они начали приживаться в новой стране,

их безопасность и культурный рост опять оказались под угрозой. В то время как их собственная страна была для них недоступна из-за сталинизма, тоталитарные доктрины начали принимать иные чудовищные формы (фашизм и гитлеризм), и опять замаячил призрак войны. Все это объясняет мрачные нотки, чрезвычайную ранимость и скепсис, свойственные молодым русским авторам Парижа, многие из которых были талантливы, но страдали от глубокого осознания трагедии и потери.

И все же атмосфера французской столицы с ее интенсивной культурной жизнью вдохновляла и стимулировала. Здесь был центр великой современной литературы, искусства, философии и религиозных исканий. Это была эпоха Жида, Бернаноса, Валери, Джойса и целой плеяды авангардных художников и музыкантов. Париж также предоставил убежище многим русским интеллектуалам старшего поколения, выдающимся писателям, поэтам и литературным критикам, которые внесли свою лепту в формирование молодых. Периодические издания русской диаспоры публиковали, правда нечасто, произведения младшего поколения, которое, кроме того, само издавало некоторые из собственных книг и стихотворных сборников.

Что касается духовных ценностей, особое значение имели круги, связанные с религиозным мыслителем Николаем Бердяевым и великим теологом, отцом Сергием Булгаковым: они оба преподавали в Париже. Эти круги следовали традициям русского православия, но в то же время модернизировали свой подход к вере. Их вдохновляли религиозные учения Соловьева, Достоевского, Толстого и Николая Федорова. Последний, о чем пока еще не очень известно на Западе, ратовал за «реставрацию родственных уз всего человечества» и за «общее дело» христиан. Для Яновского, по его собственному признанию, он был

одним из тех, кто повлиял на его религиозное восприятие человека, общества и мира.

Непосредственный толчок к пущему русскому православному расцвету парижских дней дал друг и последователь Бердяева Илья Бунаков-Фондаминский[1], который пытался вытащить молодых писателей из темницы пессимизма и агностицизма к свету трансцендентной жизни. Эти молодые писатели, а также студенты приходили в кружок Фондаминского, где они встречались и с некоторыми из старших: теологом и историком церкви Георгием Федотовым[2], матерью Марией Скобцовой, русской монахиней, организовавшей приют для беднейших русских эмигрантов. Одновременно она делилась знаниями о русской литературе и философии. Я присутствовала на многих подобных собраниях. С В.С. Яновским, который учился тогда в парижской медицинской школе и уже был автором нескольких опубликованных книг, я познакомилась именно в учебном кружке Фондаминского. Уже тогда, как и в последующие годы, он размышлял о взаимоотношениях плоти и души, материи и духа и о смысле медицинской профессии. Мы все были заинтересованы в экуменическом диалоге и приглашали на наши собрания католиков и протестантов. Когда в 1940-х годах мы с Яновским оказались в Нью-Йорке, наши групповые дискуссии возобновились. С помощью нескольких друзей, которые помнили парижские дни, мы основали журнал, озаглавленный «Третий час», для которого Яновский написал несколько эссе. Кроме того, мы организовали экуменические собрания, которые продолжаются до сих пор. И журнал, и собрания выросли из нашего парижского опыта: стремления к гуманизму, социальной справедливости и преображению грубого материального мира через трансцендентную философию в совокупности с действием.

Такова тематика произведений Яновского. В его книгах читатель находит бок о бок ничем не приукрашенную

современную реальность и ожидание parousia* — надежды на то, что основанные на любви и нежности отношения, освященные «общей целью», смогут одержать победу над механической и автоматической цивилизацией. Именно это придает произведениям Яновского целеустремленность и глубину никогда не кончающихся поисков правды.

Перевод с английского Марии Рубинс

Георгий Адамович

«НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ»
(«Колесо», повесть В. Яновского)

Еще совсем недавно существовали у нас здесь, в эмиграции, одни только молодые поэты. Молодых прозаиков не было. Они, во всяком случае, не проникали в печать, а если одному-двум счастливцам это изредка и удавалось, то такие одиночки не давали еще возможности говорить о «смене», о «юной поросли», короче, о новом поколении беллетристов.

Теперь положение меняется. Молодые беллетристы появились — хотя их еще и немного. Ни для кого не тайна, что сейчас вся наша зарубежная печать прямо-таки жаждет новых талантов, готова отнестись к ним со всяческим вниманием и с радостью «предоставить им свои столбцы». Если бы действительно среди здешней молодежи были выдающиеся и заметные беллетристические дарования, им пробиться сейчас было бы вовсе не трудно. Но «спрос превышает

---

* Parousia (паруся, греч.) — «присутствие», теологический термин, означающий сошествие и присутствие в мире Иисуса Христа, ожидаемое в конце времен.

предложение». Не говоря уже о вещах выдающихся, вещей средних присылается в редакцию мало. Беллетристическая «поросль» у нас очень скудная. Но все-таки она есть и, когда знаешь, в каких условиях огромное большинство здешней молодежи живет, не аллегорически, а действительно в поте лица зарабатывая свой ежедневный хлеб, да и не всегда зарабатывая его, — приходится удивляться и этому. Литературу, конечно, надо бы ценить и судить, не внося в нее посторонних соображений. Но за литературой есть человек. И сама жизнь, история, судьба, — не знаю, как сказать яснее, — требует сейчас литературного снисхождения для этих в своем роде «беспризорных детей» России. Очень легко указывать с высокомерием: то-то неумело, то-то малограмотно. Но когда, откуда и взяться бы умению с грамотностью? Очень эффектно принять позу защитника «наших славных традиций». Но если традиции действительно крепки, они свое в конце концов возьмут, беспокоиться за них нечего. И неужели традиция есть величайшая ценность в литературе? Надо же все-таки понять истину простую и жестокую, что без родины, без привычного, устоявшегося воздуха, привычной, устоявшейся жизни, без положенной людям меры труда и отдыха, без какой бы то ни было уверенности в завтрашнем дне никакая «поросль» процвести не может. Если она не умирает, то и за это слава Богу.

Иногда это забываешь. И тогда судишь о книге, выпущенной здешним молодым автором, как будто бы это была книга вообще «вне времени и пространства». В узколитературном смысле подобное суждение, может быть, и правильно, но по существу оно все же глубоко ошибочно, и только какой-нибудь идолопоклонник, фетишист литературы способен это отрицать: для него, очевидно, литература важнее и выше жизни, а главное, представляет нечто замкнутое от нее, наглухо отделенное. Достаточно будто бы возделывать свой

угол, а остальное приложится. Но ведь может оказаться, что в неумелом бормотании взыскательный «ценитель» не расслышит сейчас поистине живых слов и, наоборот, благосклонно отзовется о тысяче слов мертвых только потому, что они гладки и не лишены некоторого лоска.

С какими надеждами начинает свою деятельность то издательство («Новые писатели»), которое решило заняться исключительно молодыми беллетристами? Рассчитывает ли оно просто-напросто выпустить несколько интересных книг? Ищет ли действительно «смену»? Думает ли вызвать из литературного небытия людей, которые писать могли бы и должны бы, но не пишут потому, что некогда, негде, не до того? Все это, как говорится, «покажет будущее». Издательство имеет, вероятно, какие-нибудь общие мысли и намерения, но пока ограничивается лишь скромным заявлением, что желало бы дать возможность «новым талантам выступить на суд литературной критики и читателей». Оно выпустило пока только две книжки. Обе книжки неплохие, а главное — не пустые. О «Мальчиках и девочках»[1] писала не так давно Е.Д. Кускова. «Колесо», повесть В. Яновского, — вещь совсем другого рода, в документальном отношении менее интересная, но, пожалуй, внутренне более содержательная. Небольшие рассказы этого автора уже не раз появлялись в газетах. Они были полны недостатков, что и говорить: грубовато написаны, с мелодраматическими подчеркиваниями, с каким-то леонидо-андреевским стремлением непременно, по любому поводу взять тон скорбно-трагический... Но сразу мне показалось, что автор в конце концов «допишется», станет настоящим писателем, хотя потрудиться и подумать ему до этого придется немало. У него, во всяком случае, есть над чем работать, что очищать и приводить в порядок. «Колесо» это впечатление укрепляет. Повесть легче и свободнее, чем другие вещи Яновского, в ней меньше напыщенности.

Это именно повесть, а не теорема, в которой автор прежде всего старается что-то доказать. В ней есть внимание к жизни, а не только к собственным авторским домыслам о жизни. Люди в ней настоящие. Центральный образ Сашки, русского бездомного мальчика, попавшего под «колесо революции» и всячески изворачивающегося, чтобы под этим колесом не погибнуть, чуть-чуть слащав, но много меткого есть и в нем. Нехорошо только пристрастие Яновского к литературным «штампам». Лучше совсем не уметь писать, чем сообщать, что «встало солнце, и кто-то холодный дул большим ртом, разгоняя тучи». Но это со временем пройдет. И тогда в писаниях Яновского не только все будет интересовать, но и ничего не будет отталкивать.

В.Л. [Левицкий]

Рецензия на:
ЯНОВСКИЙ В.С. КОЛЕСО.
Париж; Берлин: Новые писатели, 1930

Наивно и неумело написанная повесть В.С. Яновского заслуживает внимания по теме. Автор делает попытку дать нам наглядное описание жизни и настроений мальчиков-подростков из интеллигентных семей в первые годы коммунизма.

Одна за другой проходят картины жуткого, чисто звериного быта несчастных, брошенных всеми детей.

Герой повести Сашка потерял всех — его сестра умирает от голода и тифа у него на глазах. Голодный и одинокий Сашка начинает, как умеет, спасаться от неумолимо давящего всех слабых и беззащитных «колеса» русской революции. Уличный торговец, вор, картежник — вот профессии, которые он меняет одну за другой.

Лучше всего автору удались сцены походов несчастной, голодной городской интеллигенции в пригородные деревни за продовольствием. Он передает яркие сцены преследования крестьянами изможденных людей и не раз останавливается на характеристике той страшной ненависти, которая накапливалась в городе к нагло обиравшим его скупщикам хлеба.

К сожалению, потеряв всякое художественное чутье, В. Яновский в нескольких главах своей книги переходит все границы дозволенного и рисует такие подробности звериной жизни советского быта, которые делают его повесть неудобочитаемой.

Страшный советский быт внушил герою повести ужас перед страшным, неведомым врагом жизни и сознание своего полнейшего бессилия. Ужас жизни, равнодушие близких к страданиям, грязь и смрад, жестокость, преступления, окружавшие Сашку со всех сторон, доводят его до галлюцинаций.

Страдания героя кончаются неожиданным приглашением друга его покойного отца приехать в деревню. Здесь та же жестокость, те же страдания, но почти всегда есть или кусок хлеба, или полусырая картошка. Сашка после долгих приключений пробирается за границу...

Однако г. Яновский заканчивает свою повесть довольно странным резюме: «Так ковались и расковывались молодые жизни в то родное, скорбное время, когда земля наша неумолимо близко огибала мечту свою и неумолимо много пролилось крови».

На самом деле г. Яновский не только не показал никакой «мечты», а все нарисованные им картины говорят только о зверином одичании, безысходных страданиях и неумолимом коверкании коммунистическим бытом как самого героя, так и всех окружающих его лиц.

Лазарь Кельберин

Рецензия на: ЯНОВСКИЙ В. КОЛЕСО. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930

«Колесо» — первая большая повесть Яновского, появившаяся в печати. Тема повести — жизнь мальчика-подростка в России во время военного коммунизма. От других книг, написанных на ту же тему — дети во время революции, — повести Болдырева «Мальчики и девочки» или «Дневника Кости Рябцева» — повесть Яновского резко отличается. У Яновского действие происходит в почти нематериальной среде. Несмотря на описание множества внешних фактов, как то: работы в поле, прохода войск и т.д., читатель не ощущает среды, в которой все это происходит. Все внимание Яновского сосредоточено не на быте, а на внутреннем, душевном мире своего героя, Сашки, который все — и смерть от тифа сестры, единственного близкого ему человека, и голод, и лишения — переносит легче других; который находит в себе какую-то моральную силу не разлагаться, как его сверстники и окружающие люди; любить, стремиться к чему-то лучшему и высшему, благодаря тому, что он «понял». Понял же он, что все ужасное — должно быть, что так нужно, потому что — «колесо». Колесо революции, и когда оно прокатится, всем будет хорошо. Но время идет, и лучше не становится. В тоне Яновского чувствуется что-то от Горького. Но, к сожалению, имеются также влияния сомнительных литературных течений. Такие перлы имажинизма, как «кровать белела в темном углу, как компресс» или «кто-то холодный дул» вместо «ветер дул», мне кажется, просто плохи. Яновскому нужно еще много поработать над очищением стиля. Имеются также

места немного слишком приторные, но общее впечатление хорошее, и книга читается с интересом. Яновский психологически глубок, может быть, слишком глубок для темы «Колеса». Подождем дальнейших его произведений.

Владимир Зензинов

Рецензия на: ЯНОВСКИЙ В.С. КОЛЕСО. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930

...Книжка В.С. Яновского «Колесо» — значительно другого порядка. Прежде всего она написана гораздо проще, без нарочитости и специальной изломанности. Совсем также другой быт. В центре рассказа — Сашка, мальчуган <...> [Б]лагодаря тому, что все события и описания связаны с этой центральной фигурой, весь рассказ жизненнее и цельнее. Гораздо значительнее и тема. Она окрашена в трагические тона. Сашка тоже знал в прошлом лучшие времена, когда у него <...> не было забот об устройстве своей жизни. Но отец умер, умерла мать, на глазах читателя умирает и его старшая сестра Надя. Мальчик остался один. Он должен устраивать свою жизнь своими собственными силенками. И, может быть, как раз это придает ему большую жизненность...

«Колесо» — это повесть о детях улицы. Но вместе с тем это и больше — повесть о детях «испепеляющих годов».

«“Мы должны погибнуть, которые уже родились. Потому, колесо революции!” — тихо шепчет Сашка. И видит он это колесо, большое, большущее, а внутри как бы ложи сделаны, и сидят важные люди, с усами и без усов, все пишут: как, и что, и когда. А около них, как в саду, оркестр

играет вальс. “Красивый такой!” — жмурится Сашка. А колесо крутится, все крутится; музыка играет, а под колесом только ноги чьи-то да руки видны. Вон узнает и себя Сашка под колесом, вон мама, старший брат; только головы видны, а музыка красиво так играет: “Вы жертвою пали в борьбе роковой”...»

Повесть В.С. Яновского начинается сразу с «проходного двора», с забот о куске хлеба. <...> Здесь <...> много растрепанности, но это не растрепанность фразы, а реальной жизни, действительности. Цепляясь за жизнь, Сашка посещает притон, который содержит его бывший учитель, играет там в карты. Копает для комхоза картошку, ворует на огородах капусту, за что его бьют мужики (дело происходит, по-видимому, в каком-то маленьком провинциальном городе). Собирается убить старуху, чтобы овладеть ее мешочком на шее, служит сторожем во фруктовом саду комхоза, одно время — пока разрешали — замещает буржуев на общественных работах, наконец достигает высоких степеней — места курьера в совнархозе. Но всегда голодный, всегда — «привычное, одуряющее состояние голода».

Есть очень сильные страницы, напр., рассказ молодого парня Сашке «о жизни, войне, людях». Этот молодой парень рассказывает о расстрелах немцами пленных и о своеобразной игре, придуманной немцами. Для сокращения числа пленных немцы расстреливали каждого пятого, при этом перед расстрелом разрешали меняться местами — начиналась страшная лотерея, когда почти все перебегали с места на место, чтобы не быть «пятым».

Много страшного понял в своей безрадостной трагической жизни Сашка. [...] Спасает Сашку — физически и духовно — в конце концов случайный отъезд в деревню.

<...> [«Колесо»] — повесть о принесенном в жертву поколении. Повесть об «испепеляющих» годах, повесть о «детях страшных лет»... Они размалываются страшными

жерновами, плавятся страшными огнями. Будут ли размолоты окончательно, сгорят ли дотла? Но есть <...> что-то почти невысказанное, что позволяет надеяться на будущее для этого поколения...

Владимир Унковский

«НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ»: ПИСЬМО ИЗ ПАРИЖА

Полгода назад в Париже организовалось издательство «Новые писатели», которое поставило себе цель отыскивать молодые дарования и выпускать в свет книги начинающих, помогая пробиться впредь по тернистой литературной тропе.

Цель прекрасная, комментариев не требует. Дело само говорит за себя.

Пока издательство напечатало две книги: роман И. Болдырева «Мальчики и девочки» и повесть В.С. Яновского «Колесо».

«Мальчики и девочки» Болдырева недостойны строгого внимания. Автор подражает А. Ремизову в языке, стиле, манере, даже в мыслях. Поэтому этот роман не литература, а только игра в литературу. Напоминает гимназическое сочинение.

Ремизовским языком Болдырев пересказывает что-то разное, вычитанное из советских книжек и навеянное советскими писателями. Кто вдохновитель: Леонов, Бабель, Федин, Пильняк, Замятин... Шарада разгадывается просто: все понемножку.

Другая книга — «Колесо» В.С. Яновского — повесть о советском Сашке, после смерти сестры Нади ставшем беспризорным и борющемся за свое существование.

Автор не выдумывает. Все, о чем говорится в книге, — подлинная жизнь, неприкрашенная действительность. При чтении многих страниц читателю становится страшно. Ему открывается жуткая правда: таких ведь, как Сашка, там, в России, миллионы. Погибшие дети, у которых душа исковеркана, нет ни стыда, ни совести, атрофированы все моральные понятия и только властвует инстинкт.

Мальчуган Сашка впрямь в каких-нибудь пять минут решает убить старушку-соседку потому, что увидел у нее на груди край шнурка, а на грязном шнурке висел полотняный мешочек.

«Деньги там, деньги!» — закричало там, бессмысленно замелькало.

Он совсем решился на преступление; с кухонным ножом подкрался к окну, за которым спала старуха, и только помешала случайность.

Тысячи других таких же Сашек там, в советской России, убивали беззащитных старух, насиловали и душили девушек, а то шпионили, провокаторствовали и подводили невинных людей под расстрел или по причине внушенной с младенчества слепой ненависти к «буржуям», или за корку хлеба, «чтобы пожрать малость».

Сашка не погиб, он выплыл. Сердобольный старик Нил Фомич, у которого сын умер от чахотки, решает увезти Сашку вместо сына за границу... Повесть обрывается...

Конечно, за границей Сашка выйдет на верную дорогу. Но что ждет тысячи, десятки тысяч других Сашек, коими кишмя кишит СССР?.. Каково будущее этих «бывших людей с пеленок...»?

Многие страницы повести написаны под влиянием Максима Горького. Но винить за это молодого автора пока не будем. Ведь Яновский отнюдь не подражает Горькому, как Болдырев Ремизову. Нечто горьковское ощущается помимо воли автора. Наоборот, он старается быть

самостоятельным, что красноречиво подтверждают десятки страниц.

Автор наблюдателен, подметил очень много интересного и характерного, красочен быт. Мешает иногда фразерство, самое слабое место книги (17 стр.) — Сашкины фантазии о колесе революции. Но в общем «Колесо» — удачный дебют.

Георгий Адамович

ЧИСЛА. КНИГА 7—8

<...> Рассказ В. Яновского, человека одаренного, но воспитанного на сомнительных образцах и находящегося не в ладу с русским языком, называется «Преображение». Вопреки праздничному заглавию, это один из тех грустных и тяжелых эмигрантских рассказов, которых в нашей здешней литературе накопилось уже немало (последний и едва ли не самый живой — «Тело» Бакуниной). Нищета, беспросветная скука, унижения, страх, голод — Яновский повествует обо всем этом с кропотливой и безжалостной правдивостью. Художник обнаруживается в рассказе редко, впрочем, такова тема, что «преобразить» ее под силу было бы, пожалуй, только Достоевскому и Гоголю. Кое-где, однако, в мимолетных замечаниях и в отдельных фразах чувствуется талантливость и внутренняя «содержательность» автора. Например: «Скажу кратко: думаю, самое жестокое разочарование для женщин — брак. Разумеется, я понимаю, хорошо полюбить, иметь сына. Но есть в этом чувстве та смиренная горечь, с какой поздней осенью человек покупает печь (хорошую “feu continu”): если бы солнце грело, он бы о ней не подумал». Мысль старая, но выражена она с тем личным своеобразием, с тем внезапным оживлением, которое не подделаешь и в котором заключена, в сущности, вся тайна писательства. <...>

Георгий Адамович

Рецензия на: ЯНОВСКИЙ В.С. ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930

В книге Яновского две темы, а связь между ними, вероятно, ясная автору, осталась невоплощенной.

Темы эти — нищета и духовное просветление. На первый взгляд, мостик перекидывается сам собой. Десятки случаев из повседневного быта, в особенности быта теперешнего, у всех перед глазами. Бедность, встреченная сначала как несчастье, для многих стала утешением, почти что «путем к небу». Евангельские слова о верблюде и игольном ушке наполнились новым, менее лаконическим, менее формальным смыслом: не потому богатый осужден, что он не помогает другим, а потому, что от холода у него очерствело сердце, устраивай он какие угодно больницы и убежища.

Но книга Яновского не об этом. Те распространившиеся теперь случаи просветления — от слабости, от отчаяния. Религия — последний костыль, на который опирается падающий, больше у него ничего нет. Не надо осуждать. Нельзя иронизировать. «Да сияют образа эти вечно», — правильно писал Розанов в предисловии к «Лунному свету»... Но только — как бы это осторожнее сказать — случаи эти неубедительны. Неубедителен выбор, когда, в сущности, ничего другого и нельзя выбрать. Неубедителен путь, если все остальные пути завели в тупик. Лучше поздно, чем никогда — не «рано» было бы все-таки еще лучше.

По тону и внутреннему строю «Любви второй» можно предположить, что Яновский с этим согласен. Он пишет о страсти в вере, а не о соломинках, за которые хватаются изнемогшие руки, он пишет о духовной буре, которая не

оставила бы камня на камне ни в каком сознании. Зачем ему надо было терзать свою героиню нищетой? Какая связь, повторяю? Где переход? Сцена на колокольне Нотр-Дам сама по себе прекрасна. Но художественный замысел есть не мозаика, а живой организм — и только то, что одушевлено единым дыханием индивидуальной его жизни, имеет в нем значение. Иначе получается не роман, а сборник ужасов или анекдотов.

«Любовь вторая» не представляется мне поэтической удачей автора. Но если я позволяю себе откровенно и решительно это сказать, то лишь потому, что предъявляю Яновскому не совсем обычные, средне-беллетристические требования. Он сам на такое отношение к себе вызывает. Он многого хочет от творчества и не довольствуется пустяшным удовольствием от ничтожных успехов. Поэтому срыв его замысла творчески интереснее и значительнее многих эфемерных «достижений», местных или советских.

Если оставить эту мерку, надо сказать, что в «Любви второй» — особенно в «нищенской» ее части — много превосходных, трудно забываемых страниц.

Александр Бем

О «ЛЮБВИ ВТОРОЙ» ВАСИЛИЯ ЯНОВСКОГО

В.С. Яновский своим новым романом, открывшим недавно серию «Парижского объединения писателей», выходит на большую дорогу русской литературы. Я этим не хочу еще сказать, что само произведение В.С. Яновского является крупным вкладом в эту литературу; в нем еще очень много недостатков и шероховатостей, немало и просто литературной безвкусицы, но основной тон, способ

преломления действительности, звук писательского голоса, слышимый за повествованием героини, — все это с несомненностью приобщает автора к традиционному русскому роману, давшему миру непревзойденные образцы. Произведение В.С. Яновского заслуживает сугубого внимания еще и потому, что выросло оно на чужой почве, что и сейчас еще в нем сильно сказывается влияние современного французского романа. Это преодоление чужеродного воздействия, высвобождение из-под чуждого пленения, выход на традиционную дорогу русского романа представляются нам явлением симптоматичным и значительным. На нем следует остановиться и значение его следует вскрыть.

Но сначала несколько об отрыжках прошлого. В.С. Яновский все еще не может освободиться от модной сейчас любви к «физиологии». Ему, очевидно, это кажется все еще литературной смелостью и новаторством, хотя как будто на этом пути уже все перепробовано. Говоря о таком общеизвестном явлении, как ослабление удерживающих центров мочеиспускания во время нервного напряжения, автор впадает в ложный тон литературного откровения: «Знаю, многие предпочитают не останавливаться на таких подробностях, но внутренний голос, голос совести и правды учит меня другому». Автор, конечно, говорит здесь не устами героини, которой незачем было думать о литературных проблемах «принятого и непринятого» в записях своего дневника, а желает подчеркнуть свою литературную смелость. И отсюда этот приподнятый стиль с его «голосом правды и совести» по поводу нарушения физиологических отправлений. Смелость не бог весть какая, а в итоге пострадала художественная правда. Автор при этом не замечает, что он допускает крупную художественную погрешность в выборе языкового материала. Он пишет от имени героини:

«Без четверти час мое нетерпение начало достигать крайних точек. Обычно за этим зудящим, знобящим

подталкиванием времени приходила некая досадная потребность — оправиться».

Но ведь автор — женщина, и трудно себе представить, чтобы она в своем дневнике воспользовалась термином, принятым в военной среде. Многим женщинам, вероятно, и само слово «оправиться» в этом его специфическом значении неизвестно. Вряд ли характерен для женщины и сам по себе удачный образ: «И снова лестницы ровный нарез, словно дуло винтовки, отлитой для большой пули». С таким явным тяготением к военной психологии не следовало бы вдаваться в объяснения переживаний женщины во время приступа месячных. Уж лучше бы это предоставить писательницам в духе Ек. Бакуниной, которая об этом может и больше, и вернее рассказать. Но искушает все то же пристрастие к литературной смелости: «Об этом, — пишет автор, — стоило бы многое рассказать, но не принято, бог знает почему».

Вот в том-то и весь вопрос: «стоило» ли включать в роман, в основе своей психологический, физиологические подробности? Нужны ли они для основного хода его действия и внутреннего смысла? Есть ли это требование художественной правды или только дань литературной моде? Селин в своем нашумевшем «Путешествии на край ночи» в одном месте дает такую художественную подробность: «Потом мы пошли по набережной, вдоль наполовину разгруженных барж; мы долго мочились в воду длинной струей».

Здесь незаинтересованное любование физиологическими отправлениями доведено до последних пределов. Если хотите, в этом еще чувствуется вызов: ни к чему это не нужно, так, подробность пейзажа, неплохо подмеченная; почему не щегольнуть наблюдательностью и не поразить воображение смелостью?

У Яновского эта смелость уже второго сорта, подержанная и — столь же ни к чему.

Связь Яновского с «физиологическою» школой, назовем ее условно так, все же случайна. Может быть, она объясняется его профессией, которую выдает эпилог романа, разыгрывающийся в больнице. Врачу ведь простительно переоценивать значение физиологических факторов.

Более опасна для него как для писателя другая слабость — кокетничанье пренебрежительным отношением к требованиям языка. Мне все же хочется объяснить такие строчки, как «чувственно сося свое отчаяние» или «бежа от немцев в глубь России» не утратой языкового чутья, а все той же страстью к новшествам. Но всякое языковое новаторство, не говоря уже о требованиях считаться с духом языка, допустимо лишь на известном уровне общей языковой культуры. Если же этого нет, то оно воспринимается как простое невежество. Андрею Белому, А. Ремизову прощаешь многое, так как внутренне признаешь за ними право экспериментаторства. Знаешь, что за этим стоит высокая культура языка, которая несовместима ни со штампами, ни с безвкусицей. В. Яновский еще далеко не отвоевал себе права на вольность обращения с русским языком. «Я шла... на аркане мрачных предчувствий...», «в ней русская кровь, закаленная "Анной Карениной" и Софией Перовской», «пушки бьют по Монголии», «приводными ремнями жадности... вращались поршни существования», «каторжное, одиночное заключение» — такие и много подобных оборотов, во всяком случае, не говорят о высокой культуре языка автора. Ему еще много надо над собой поработать, прежде чем реформировать русский язык. А пока ему можно только посоветовать избегать оборотов с так называемыми деепричастиями, ибо всякие «сося» и «бежа» к украшению его творчества не послужат.

Не стоило бы и говорить о подобных срывах в языке В. Яновского, если бы мы не имели перед собою автора, который временами достигает большой выразительности и художественности. Так, за некоторыми исключениями,

мне представляется превосходным следующее описание парижского вечера:

«Зимний день умирает, незаметно разливается вечер; только что он робким гостем подошел к порогу, а вот уж грубо развалился хозяином и задрал ноги. Моросит дождь. Туман, смешиваясь с дымом города, образует сырой студень, где вязнут и слепо бьются шумы улицы. Зажигают фонари. Как жалостно это последнее колебание весов — переход — первое мгновение искусственного света. Сгущаются тени, вокруг ламп виснут пепельные, мглистые шары, наполненные порхающей водяной пылью...»

Явные недостатки нового произведения В.С. Яновского все же не заслоняют его «подлинности». Я не подберу иного слова для передачи основного ощущения, которое «Любовь вторая» оставляет после себя.

Не жалость, как под давлением тех же модных парижских теорий думает автор, продиктовала ему его произведение, а подлинная боль за человека и художественное стремление выйти за пределы этой боли, подняться над нею. Автор еще литературно молод, он еще не всегда умеет связать начала и концы, но общая устремленность его творчества направлена именно к этой освобождающей силе искусства. И в этом его сила, и в этом залог его дальнейшего роста.

Пусть для читателя остается малоубедительным духовный рост героини, зарождение в ней нового человека, внезапно понявшего смысл существования. Пусть внутренне неоправданным останется ее гибель и гибель зарожденной в ней новой жизни, младенца, зачатого в позоре случайного насилия, новой жизни, которая внесла смысл в ее существование, заставила по-новому увидеть и жизнь, и людей. Пусть, наконец, ненужным окажется весь эпилог, искусственно к основной теме присочиненный. Но само по себе так отчетливо звучит уже в самом «инферно» это будущее просветление, так настойчиво прорывается тоска

по праведной и осмысленной жизни в самом сгущении ее пошлости и греховности, что предчувствие освобождения невольно преподносится как неизбежное освобождение из парижского эмигрантского ада. И когда, наконец, приближается это освобождение, когда двоится ожидание между возможным самоубийством и религиозным просветлением — в замечательной главе восхождения на Нотр-Дам, — вместе с безымянной героиней романа переживаешь напряжение внутренней борьбы, вместе с нею заглядываешь с высоты площадки в бездну, которая влечет к себе, обещая последнее разрешение всех сомнений. Но что-то подсказывает, что возможен и иной исход, что неслучайно же это «восхождение» все дальше и дальше от земли, все ближе и ближе к небу. Как художественно сильно передано это порывание души к освобождению от мрака отчаяния, как поразительно верно найдены слова для передачи этих смутных ощущений.

«Я царапала перила, металась по каменной вышке, пробуя физическим усилием освободиться из плена, что-то порвать, вылупиться из какой-то скорлупы. Потом застыла недвижно, вся напрягаясь чем-то внутри, чему название только — душа; я чувствовала, что могу сейчас упасть замертво, но в то же время знала: меня окружает завеса, все путающая, скрывающая правду, однако если хорошо теперь напрячься, то она может рухнуть, взвиться, и я увижу то, без чего нет жизни».

И дальше следует описание такого религиозного напряжения, я сказал бы, прямо экстаза, равного которому мало найдется в литературе.

Это религиозное напряжение к концу несколько разряжается. Есть что-то в последних страницах дневника от Толстого. Даже в слоге:

«И еще я поняла, что важнее всего самого главного и серьезного — это любить. Всех и все, без сомнения о достоинстве, так как не для них любишь, а для себя: как в миру тело, чтобы жить, должно есть, так душа, чтобы не

замерзнуть, стремится любить — до конца, непрестанно; а без этого: стойло».

Да, это настоящая книга! С таким чувством закрываешь ее и с этими мыслями возвращаешься к ней. Много в ней еще наносного, много от неопытности и молодости, но это — болезнь роста. Если по первым опытам В. Яновского еще нельзя было судить о пути, по которому он пойдет, ибо слишком плотно облегла шелуха ядро его дарования, то теперь стало совершенно ясно, что эта шелуха спадает и здоровое ядро пробивает себе путь. Это путь высвобождения и освобождения, которому мы можем только радоваться.

Владислав Ходасевич

«ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ»

Несколько лет тому назад я писал о романе «Мир» молодого писателя В.С. Яновского. В этом романе было очень много персонажей, которые все, или почти все, отличались резкими нравственными недостатками, возникавшими отчасти на физиологической почве. Яновский тогда показал читателям целую вереницу грубых, нравственно и физически неопрятных людей, озлобленных, истерических, на все лады терзающих себя и других. Однако все эти измученные люди напряженно искали незримую первопричину, которая им объяснила бы жестокую свару, в которую превратилась их жизнь. Перед ними вставала проблема религиозная, к которой они, в сущности, непрестанно были обращены мыслью и чувством, но к которой были не в силах подойти вплотную.

В новом, недавно вышедшем романе того же автора общий колорит событий значительно высветлен. Сами события, которые в первом романе автор сознательно запутал в сложнейший клубок неразрешимых противоречий

и неразвязуемых узлов, теперь протекают гораздо более плавно, будучи сосредоточены вокруг главной героини. Персонажей уже не так много, они, пожалуй, не менее несчастны, чем герои «Мира», но порочность и злобу как бы утратили. На сей раз Яновский изображает жизнь не менее, пожалуй, жестокую, чем изображал ее прежде, но ее жестокость более мотивирует порочностью социального слоя, нежели индивидуальными качествами отдельных людей. Наконец, что особенно отличает нынешний роман от предыдущего, его героиня в себе обретает то религиозное осмысление жизни, которого тщетно искали действующие лица в «Мире». К сожалению, однако, этот важнейший пункт романа оказывается наиболее уязвимым местом в отношении чисто литературном. При всем сочувствии героине Яновского, нельзя не заметить и не указать, что ее религиозное просветление для читателя оказывается слишком неожиданным. Мы, правда, не видим в ней ничего, что делало бы такое просветление для нее невозможным, но этого мало, потому что нам не показано и то, из чего могло бы оно, наконец, возникнуть. В результате читатель оказывается настолько не подготовлен к этому кульминационному моменту романа, что вся сцена на башне Нотр-Дам, когда происходит духовное перерождение героини, кажется недостаточно убедительной, я бы даже решился сказать — недостаточно правдоподобной, хотя я уверен, что автор в этом месте глубоко искренен и внутренне последователен. Но в том-то и трудность словесного искусства, что явное и нужное автору должно стать настолько же явно и нужно читателю. Яновский этого не достиг — и потому Бог, являющийся его героине, читателю является всего только как deux ex machina.

Со всем тем я должен сказать с большим удовольствием, что роман производит отрадное впечатление. При некоторой художественной неопытности автора, особенно сказавшейся в общем построении вещи, при явных и порой

неприятных погрешностях языка, все же его роман подкупает внутреннею серьезностью, а еще более — теплотой, сердечной правдивостью и глубокой человечностью, с которыми он написан.

В заключение отмечу, что книжка Яновского — первая в той серии романов, которую начало издавать «Парижское объединение писателей». Таким образом, положено хорошее начало очень важному делу, которое должны бы поддержать все, кому судьба зарубежной литературы и молодых эмигрантских авторов небезразлична. Напомню, что цена этих изданий исключительно низкая: всего десять франков.

Зинаида Шаховская

«L' AMOUR SECOND» (EN RUSSE)

Имя Василия Яновского известно нам по двум его предыдущим книгам: «Колесо», о котором, как помнится, я уже писала в журнале «Тирс» и которое представляет собой еще очень неумелое произведение, и «Мир», длинный и запутанный роман «в духе Достоевского» с огромным количеством персонажей, серьезно рассуждающих о вечных проблемах. Оба эти произведения продемонстрировали, кроме того, что автор находится не в ладах с русским языком.

«Любовь вторая» — это, без сомнения, шаг вперед. Стиль улучшился, а композиция произведения уже гораздо более изысканная. Если действительно об авторе должно судить не по первому произведению, а по тому прогрессу, которым отмечена каждая последующая книга, то о В. Яновском мы можем сказать следующее.

«Любовь вторая», с подзаголовком «Парижская повесть», — это история молодой одинокой русской

женщины, приезжающей в Париж из Латвии на поиски новизны. Она проходит обычный путь невзгод, который выпадает на долю всем существам, затерянным в огромном городе, и ее бедствия приумножены тем, что у нее нет родины. Бесконечные походы в различные отделы префектуры в ожидании удостоверения личности, которое все никак не выдают, упорные поиски работы, на которую нет права, так как в разрешении на работу было отказано, встречи с другими людьми, возможно, в меньшей степени сломанными жизнью, но покореженными ею каждый на свой манер, голод, холод, унижение, страх, стыд...

Та, от чьего имени говорит Яновский, опускается все ниже и ниже, через мрачные дыры ночных приютов и мокрые парижские мосты все глубже погружаясь в бездну отчаяния.

Затем, в самый последний момент, когда она поднимается на башню Нотр-Дам, решившись распрощаться с никчемной жизнью, ей во вспышке озарения предстает иной мир, не похожий на тот, который она знала до сих пор, и в этом мире для нее есть место.

Некоторые найдут это внезапное духовное преображение искусственным, сочтут, что читатель оказался совсем не подготовленным к такой экстремальной трансформации, но автор, наверное, прав. Если Дух способен низойти куда угодно, наивно было бы ограничить его действия узкими рамками человеческой логики. Итак, невозможное возможно.

Автор завершает свою книгу жестокой сценой, которая понравится всем некромантам на свете. Впрочем, все его произведение полно физиологическими и клиническими деталями, многие из которых могли бы быть вычеркнуты без какого-либо ущерба для текста.

Перевод с французского Марии Рубинс

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ

ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ
Парижская повесть

Впервые опубликовано: *Яновский В.С.* Любовь вторая: Парижская повесть. Париж: Парижское Объединение Писателей, 1935.

[1] «Только раз бывают в жизни встречи» — русский романс (слова П. Германа, музыка Б. Фомина); приобрел особую известность в исполнении А. Вертинского.

[2] Неточная цитата из стихотворения Н. Гумилева (1886—1921) «Шестое чувство» (1919). В оригинале последняя строфа читается следующим образом: «Так век за веком — скоро ли, Господь? — / Под скальпелем природы и искусства / Кричит наш дух, изнемогает плоть, / Рождая орган для шестого чувства».

[3] Неточная цитата из стихотворения А. Ахматовой (1889—1966) «Песня последней встречи» (1911). В оригинале эти строки читаются следующим образом: «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки».

[4] Святой Витт — христианский святой, римский мученик; был убит в 303 году. С XVI века в Германии существовало поверье, по

которому больной мог обрести выздоровление, исполнив ритуальный танец перед статуей святого. Впоследствии пляской св. Витта стали называть нервное заболевание хорею (синдром, характеризующийся отрывистыми, беспорядочными движениями).

КОЛЕСО

Повесть

Впервые опубликовано: *Яновский В.С.* Колесо: Повесть. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930.

[1] Традиция джентльменских клубов зародилась в Англии, где в 1693 году членами консервативной партии (тори) был основан лондонский клуб Уайтс (White's), а оттуда распространилась по всей Европе и Америке. Первый Английский клуб в России появился в 1770 году в Санкт-Петербурге, однако самым известным стал не он, а основанный два года спустя Английский клуб Москвы. В члены клуба принимали путем тайного голосования и исключительно по рекомендации. Быть членом Английского клуба, который объединял многих именитых людей, было чрезвычайно престижно, и существовали жесткие критерии отбора новых членов. Московский клуб был временно закрыт при Павле I, но вскоре возобновил свою деятельность. С 1831 года Английский клуб арендовал дворец графов Разумовских на Тверской улице (дом 21), а к концу XIX века дворец перешел в его собственность. Во время Первой мировой войны в его помещениях располагался военный госпиталь. После революции Английский клуб был закрыт, его здание было передано московской милиции, а с 1924 года в его залах был открыт Музей Революции. Английские клубы существовали также и в других городах Российской империи: Одессе, Кишиневе, Керчи. Главным занятием членов клуба помимо обедов и светского общения была карточная игра, что объясняет ироническую ссылку на Английский клуб в повести «Колесо».

[2] Фридрих Фребель (1782—1852) — немецкий педагог, основатель системы воспитания детей, основанной на утверждении

главенства духовного начала над материальным. Воспитание понималось Фребелем как развитие у человека четырех врожденных инстинктов: деятельности, познания, художественного и религиозного. Цель воспитания — выявление заложенного в ребенке божественного начала, присущего всем людям. Именно такое толкование Фребель дал и принципу природосообразности. Он считал, что воспитание ничего не добавляет к тому, что дано природой, а лишь развивает заложенные в человеке качества. Особое значение в воспитании Фребель придавал игре и общению со сверстниками.

[3] Смит-Вессон (от англ. Smith&Wesson) — название крупнейшей американской фирмы, производящей огнестрельное оружие. Была основана Хорасом Смитом и Даниэлем Вессоном в 1856 году. Данное словосочетание также используется для обозначения револьвера системы «Смит-Вессон».

[4] Мачтет Григорий Александрович (1851—1901) — русский прозаик, революционер-народник.

[5] Возможно, имеется в виду слово «чусоснабарм», обозначающее чрезвычайного уполномоченного Совета по снабжению Красной армии и флота — должность, учрежденную декретом ВЦИК 9 июля 1919 года.

[6] Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре» (1905). В оригинале первая строка звучит так: «И голос был сладок, и луч был тонок».

РАССКАЗЫ

ГОРЕСТНЫЙ БРЕД…

Печатается по: Последние новости. [Б.г.] № 3788.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СТУДЕНТА КУРЛОВА

Печатается по: За свободу! [Б.г.] № 1117. С учетом авторских поправок в тексте газетной публикации; под псевдонимом Цеяновский.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Печатается по: Последние новости. 1932. № 4078. С учетом авторских поправок в архивной копии.

ЕЕ ЗВАЛИ РОССИЯ

Печатается по: Круг. 1936. Вып. 2. С. 55—66.

[1] Штундист — последователь Штунды, или Штундизма (от нем. Stunde — «час»), христианского движения протестантской направленности, получившего распространение в России в XIX веке в среде немецких колонистов и части населения южнорусских губерний.

[2] Хотя существует диалектное слово «наловка» (уменье, сноровка), в тексте первой публикации рассказа, скорее всего, была допущена опечатка и имелось в виду слово «наволока» (то есть «наволочка»).

РАССКАЗ МЕДИКА

Печатается по: Числа. 1933. № 7/8. С. 149—152.

[1] Яновский, видимо, описывает часовню во дворе самой старинной больницы Парижа, так называемой Отель Дье, расположенной рядом с собором Парижской Богоматери. Больница на этом месте существовала с VII века. Здание, в котором работает герой рассказа, сохранившееся и по сей день, было построено в 1877 году. На фасаде часовни, находящейся в просторном внутреннем дворе больницы, находится скульптурное изображение головы Христа и надпись на латыни: «Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me etiam si mortuus fuerit vivet».

ТРИНАДЦАТЫЕ

Печатается по: Числа. 1930. № 2/3. С. 129—147.

ВОЛЬНО-АМЕРИКАНСКАЯ

Печатается по: Современные записки. 1937. № LXIII. С. 88—118.

[1] А.С. Стависский (1896—1934) — одесский еврей; после эмиграции во Францию стал крупным банкиром. На протяжении ряда лет занимался финансовыми махинациями, в которые втягивал влиятельных французских политиков. После разоблачения Стависского нашли мертвым в Шамони. Его смерть объясняли как убийством, так и самоубийством.

[2] «Любовник леди Чаттерлей» (1928) — модный роман английского писателя Д.Г. Лоуренса. Скандальную славу роман приобрел из-за откровенных эротических описаний и обсуждения роли секса в жизни женщины.

[3] Сожжен по приговору католической церкви как еретик был не Галилей, а Джордано Бруно (1548—1600), создатель теории множественности миров и бесконечности Вселенной. Галилео Галилей (1564—1642), сторонник гелиоцентризма, подвергался преследованиям инквизиции. Против него был возбужден судебный процесс, в результате Галилей был приговорен к тюремному заключению, замененному затем домашним арестом.

[4] МОПР (Международная организация помощи борцам революции) — коммунистическая благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна в 1922 году. К 1932 году МОПР объединяла семьдесят национальных секций. До 1936 года МОПР имела право на выдачу разрешений на въезд в СССР.

[5] Телефонный справочник, Боттен (*фр.*). Название происходит от фамилии Себастьяна Боттена (*Sebastien Bottin*, 1764—1853), французского администратора и специалиста по статистике, наладившего публикацию первого справочника, в котором указывались адреса, а со временем и телефоны предприятий и частных лиц.

ДВОЙНОЙ НЕЛЬСОН

Печатается по: Русские записки. 1937. № 2. С. 43—58.

[1] Горгулов Павел Тимофеевич (1895—1932) — русский эмигрант; опубликовал несколько книг стихов и прозы под

псевдонимом Павел Бред; 6 мая 1932 года застрелил президента Франции Поля Думера на благотворительной книжной ярмарке. Казнен по приговору французского суда в сентябре того же года.

[2] Бёме Яков (1575—1624) — немецкий теософ, визионер, христианский мистик.

ПУТИНА

Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 22 января. № 5 (663). С. 6—8.

Редакция «Иллюстрированной России» предпослала рассказу Яновского следующее сообщение: «Автор печатаемого ниже рассказа, В. Яновский, принадлежит к поколению русских писателей, начавших работу в эмиграции, и среди этого поколения занял уже почетное место. Редакция “Иллюстрированной России” с особым удовольствием уделяет ему место на своих страницах и впредь имеет в виду широко предоставить их для произведений этой молодой русской литературы, родившейся в эмиграции, но кровно связанной со всей русской культурой и ее заветами».

ПОСЛЕ ГОЛГОФЫ

Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 23 апреля. № 18 (676). С. 6—7.

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА

Один из ранних рассказов, опубликован под псевдонимом Цеяновский, видимо, в эмигрантском издании в Польше. Печатается по архивной копии.

БЕСОВ ЯР

Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 19 марта. № 13 (671).

ВОСПОМИНАНИЯ

У.Х. ОДЕН

Печатается по машинописной копии на английском языке с авторскими поправками (Бахметевский архив Колумбийского университета: Bakhmeteff Archive. MsColl Yanovsky. Box 19). В сокращенном виде эти мемуары были опубликованы в 1976 году в журнале «Antaeus».

[1] См. воспоминания Яновского о Е. Извольской («Елена и ее “Третий час”»).

[2] Дени де Ружмон (1906—1985) — швейцарский писатель, публицист, общественный деятель, сторонник персонализма, философского течения, разработанного Э. Мунье. В книге «Любовь в западном мире» (1938) отстаивал политический союз, основанный на уважении к культурному многообразию. В 1950 году основал в Женеве Европейский центр культуры.

[3] Эссе «Ироничный герой» («The Ironic Hero») было напечатано в журнале «Horizon» (1949. August. P. 86—94).

[4] Честер Каллман (1921—1975) — американский поэт, опубликовавший несколько сборников стихов, либреттист, переводчик. Друг и соавтор Одена, с которым он познакомился в 1939 году после эмиграции последнего в США (среди совместных проектов — либретто к опере И. Стравинского «Похождения повесы» (1951), к опере Н. Набокова «Бесплодные усилия любви» (1973) и др.).

[5] «Address to the Beasts» — текст этого стихотворения был напечатан на оборотной стороне последнего письма Одена Василию и Изабелле Яновским от 3 сентября 1973 года.

[6] Оден, в частности, переводил стихи Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Винокурова, используя подстрочный перевод Макса Хейварда (переводчика «Доктора Живаго», «Одного дня Ивана Денисовича» и др.). Эти переводы вошли в специальный номер журнала «Инкаунтер», «Новые голоса в русской литературе» под редакцией поэта

Стивена Спендера и Мелвина Ласки (Encounter. 1963. Vol. XX. № 4).

[7] Манихейство — религиозное учение перса Мани (216—273/276), синтезирующее ряд иудейских, зороастрических и гностических представлений. Основная доктрина манихейства, ставшего одной из влиятельных религий Ирана, основывается на дуализме света и тьмы, добра и зла, духа и материи.

[8] Сесил Дэй-Луис (1904—1972) — британский поэт-лауреат (в 1967—1972 годах), романист, публиковавшийся под псевдонимом Николас Блейк, эссеист, автор перевода «Энеиды» Вергилия, директор издательской фирмы «Чатто энд Уиндус». По рекомендации Одена опубликовал роман Яновского «No Man's Time» («По ту сторону времени», 1967), но отказался от публикации нескольких его последующих романов на английском языке.

[9] «A Certain World: A Commonplace Book» («Некий мир: Книга общих мест») — опубликованная в 1970 году книга, составленная из организованных в алфавитном порядке цитат и отрывков из различных авторов, сопровождающихся комментариями Одена. Оден называл эту книгу «картой моей планеты», которая в некоторой степени является его духовной и интеллектуальной автобиографией. По просьбе Одена Яновский поместил в этом сборнике отрывок из своей неопубликованной англоязычной книги «Философия науки», озаглавленный «Анестезия» (*Yanovsky V.* Anesthesia // W.H. Auden. A Certain World: A Commonplace Book. New York: Viking Press, 1970. P. 18—19).

[10] Конноли Сирил (1903—1974) — британский писатель, литературный критик, издатель. После окончания Оксфорда занимался журналистикой, совместно с поэтом Стивеном Спендером основал литературный журнал «Горизонт» (1939—1949). На протяжении многих лет писал рецензии для журналов «Нью Стейтсман» и «Санди Таймс». Дружил с Оденом, хотя и критиковал его за эмиграцию в Америку.

[11] День благодарения — национальный праздник США, отмечается в четвертый четверг ноября. Впервые английские

переселенцы воздали благодарность Богу за избавление от нападения индейцев и за обильный урожай на плантации Плимут (Массачусетс) в 1621 году. Изначально религиозный в своей основе, День благодарения постепенно превратился в светский семейный праздник. Традиционное блюдо, которое подается в этот день к столу, — запеченная индейка под клюквенным соусом.

[12] Джон Антерекер (1923—1989) — поэт, литературовед, специалист по английской и американской поэзии, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке с 1958 по 1974 год.

[13] Алексис Левитин (р. 1942) — сын второй жены Яновского, Изабеллы Левитин.

[14] Эдмунд Уилсон (1895—1972) — американский писатель, журналист и один из наиболее известных литературных критиков XX века.

[15] Эдит Луиза Ситуэлл (1887—1964) — английская поэтесса, писательница, автор многочисленных биографий. Многие знаменитые художники писали ее портреты, включая Дж.С. Сарджента, Павла Челичева, Роджера Фрайя и др.

[16] Марианн Мур (1887—1972) — американская поэтесса и писательница периода модернизма.

[17] Роберт Грейвс (1895—1985) — британский поэт и писатель.

[18] Дженни Турелл (урожденная Давидович, 1900—1973) — оперная певица русского происхождения, меццо-сопрано; эмигрировала во время революции, выступала в парижской Русской опере и в Опера Комик; в конце 1930-х годов переехала в США, где продолжила сценическую деятельность. В опере И. Стравинского на либретто Одена и Каллмана «Похождения повесы» исполняла роль Бабы-Турка.

[19] Лотте Леня (урожденная Каролин Бламауэр, 1898—1981) — австрийская актриса и певица, жена композитора Курта Вайля.

[20] Урсула Нибур (1907?—1997) — создательница и декан факультета теологии колледжа Барнард; жена известного

христианского теолога и профессора Теологической семинарии Нью-Йорка Райнхольда Нибура (1892—1971).

[21] Анн Фримэнтл (урожденная Анн-Мари Хут Джексон, 1909?—2002) — британская писательница, художественный и литературный критик, эссеист; автор многих работ о католицизме; после 1942 года около пятидесяти лет прожила в США. Редактор книги «Протестантские мистики» (1962), предисловие к которой написано Оденом.

[22] Элизабет Майер (1884—1970) — переводчик и редактор; вместе с мужем, психиатром Уильямом Майером, эмигрировала из нацистской Германии в США, где ее дома в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде стали литературно-артистическими салонами. Одену ее представил друг композитора Б. Бриттена Питер Пирс, с которым она познакомилась на пароходе, везшем в Америку беженцев из Европы. Вместе с Оденом перевела на английский «Итальянское путешествие» Гете (1962) и немецкие стихи. Оден заявлял, что Элизабет напоминает ему покойную мать, и проявлял о ней нежную заботу.

[23] Ханна Арендт (1906—1975) — известный политолог, философ. Родилась в Германии в еврейской семье, в тридцатых годах эмигрировала в Париж, затем, после оккупации Франции немецкими войсками, — в США. На протяжении нескольких десятилетий Арендт читала лекции в ряде американских университетов, а в 1959 году получила профессорское место в Принстоне. Ее наиболее известный труд — «Истоки тоталитаризма» (1951).

[24] Николя Набоков (1903—1978) — композитор, двоюродный брат Владимира Набокова. Набоков эмигрировал с семьей из Крыма и после краткого пребывания в Берлине переехал в Париж, где учился в Сорбонне. В 1933 году уезжает в США для чтения лекций о музыке. В 1939 году получает американское гражданство. На протяжении всей жизни Набоков периодически преподавал в различных колледжах и университетах. В конце Второй мировой войны работал в Германии в качестве советника американской армии по вопросам культуры. В 1971 году создал оперу на либретто

У.Х. Одена и Ч. Каллмана (премьера состоялась в 1973 году). С Оденом Набокова познакомил Исайя Берлин в 1943 году.

[25] Линкольн Кирстейн (1907—1996) — американский писатель, импресарио, меценат, любитель искусства. В 1946 году основал совместно с Г. Баланчиным Общество балета (с 1948 года — Балет города Нью-Йорка).

[26] Павел Челичев (1898—1957) — русский художник и театральный дизайнер. Эмигрировал из России во время революции, жил в Берлине и Париже, где оформлял «Русские балеты» С. Дягилева; в начале 1930-х годов поселился в США, где работал с Г. Баланчиным и другими хореографами.

[27] Луиз Боган (1897—1970) — американская поэтесса. В 1934 году была удостоена звания «Поэт — лауреат Библиотеки Конгресса США».

[28] Роман «Кимвал бряцающий» написан Яновским на русском языке; опубликован в 1972 году в английском переводе под названием «Of Light and Sounding Brass» (1972).

[29] Мохаммед Али (род. в 1942) — легендарный американский боксер.

[30] См. примечания к воспоминаниям «Елена и ее “Третий час”».

[31] Курт Вайль (1900—1950) — немецкий композитор; из-за своего еврейского происхождения в 1933 году вынужден был покинуть Германию, где его музыка была отнесена нацистами к «дегенеративному» искусству. После пребывания в Париже эмигрировал в США в 1935 году.

[32] «Похождения повесы» — опера в трех актах (музыка И. Стравинского, либретто У.Х. Одена и Ч. Каллмана). Сюжет навеян одноименной серией гравюр Уильяма Хогарта. Премьера оперы состоялась в Венеции в 1951 году.

[33] «Дом для престарелых» («Old People’s Home», 1970).

[34] Из стихотворения «The Art of Healing (In Memoriam David Protech, M.D.)») («Искусство исцеления (Памяти доктора Давида Протеча)» опубликованного в журнале «Нью-Йоркер» (1969. 27 сентября. С. 38).

[35] Стихотворение «One Circumlocution» было напечатано в журнале «Третий час» (The Third Hour. 1951. Issue V. P. 77).

[36] The Elder Edda: A. Selection / Translated by W.H. Auden with Paul B. Taylor. London: Faber, 1969.

[37] «Hunting Season».

[38] «Moon in X».

[39] «The Garrison».

[40] «The Sea and the Mirror».

[41] «Encounter» — литературно-политический британский журнал, основанный по инициативе поэта Стивена Спендера в 1953 году.

[42] Эллен Прайор — подруга Изабеллы и Василия Яновских с начала 1950-х годов; библиотекарь; жила неподалеку от Яновских.

[43] Даг Хаммаршельд (1905—1961) — шведский политический деятель, поэт, эссеист; с 1953 года — Генеральный секретарь ООН; лауреат Нобелевской премии мира 1961 года, присужденной посмертно после трагической гибели Хаммаршельда в результате авиакатастрофы над Северной Родезией во время его визита в Конго. Оден познакомился с Хаммершельдом незадолго до его гибели. По подстрочникам Л. Себерга Оден создал стихотворные переводы мыслей из записной книжки Хаммаршельда, которая была опубликована в Швеции.

[44] «Epistle to a Godson».

[45] «Circe».

[46] «New Year's Greeting».

[47] «City without Walls».

[48] В штате Нью-Йорк аборты были легализированы в 1970 году.

[49] Оксфордская проповедь (Карнавал) — Яновский имеет в виду одну из речей (по традиции называемых «проповедями»), которые Оден произнес в Оксфорде; ее темой были карнавал, смех и молитва.

[50] Цитата из «Опавших листьев (Короб второй и последний)» В. Розанова. Оден продолжал интересоваться Розановым

и в дальнейшем. В письме к Изабелле и Василию от 20 июня 1972 года из Австрии он пишет: «Только что получил от княгини Романовой ее перевод “Апокалипсиса нашего времени” Розанова. Это безумие, но впечатление очень сильное. Я был рад убедиться, что к 1918 [году] он полностью изжил свой ранний антисемитизм» (Бахметевский архив Колумбийского университета: MsColl Yanovsky. Box 1).

[51] «The Dark Fields of Venus. From a Doctor's Logbook» (1973).

[52] Random House (*англ.*) — американское издательство.

[53] Элен Вольф (1906—1994) — американский издатель и редактор. Элен Мозель родилась в Македонии в немецко-австрийской семье. В 1933 году вышла замуж за немецкого издателя Курта Вольфа (который был первым издателем Ф. Кафки); вместе они покинули Германию и в 1941 году эмигрировали в США. В 1942 году Вольфы создали издательство «Пантеон», а в 1961 году — импринт «Книга Элен и Курта Вольфов» при издательстве «Харкур Брейс Янович». За свою долгую профессиональную карьеру Элен Вольф издала произведения многих писателей с мировым именем (Г. Грасса, Ж. Сименона, М. Фриша, С. Лема, У. Эко, А. Оза), а также выпустила роман Б. Пастернака «Доктор Живаго».

[54] Макс Фриш (1911—1991) — один из крупнейших швейцарских романистов и драматургов второй половины XX века.

[55] Фрэнсис Ланза — переводчица с итальянского; публиковалась также под псевдонимом Фрэнсис Френей.

[56] «Unpredictable but Providential».

[57] Летом 1972 года, после выдворения из СССР, Иосиф Бродский оказался в Вене, откуда вместе с американским профессором Карлом Проффером сразу же направился к Одену, проводившему летние месяцы в своем доме в деревне Кирхштеттен. Оден и Бродский уже несколько лет переписывались, Оден написал предисловие к сборнику Бродского, а после эмиграции последнего приложил немало усилий, чтобы помочь ему устроиться на Западе. Вот как вспоминал первую встречу со своим кумиром сам И. Бродский: «6 июня 1972

года, примерно через сорок восемь часов после моего вынужденного поспешного отъезда из России, я стоял с моим другом Карлом Проффером, профессором русской литературы Мичиганского университета (прилетевшим в Вену, чтобы меня встретить), перед летним домом Одена в деревушке Кирхштеттен <...> Карл Проффер пытался объяснить причины нашего пребывания там коренастому обливающемуся потом человеку в красной рубашке и широких подтяжках, с пиджаком в руках и грудой книг под мышкой. Человек только что приехал поездом из Вены и, поднявшись на холм, запыхался и не был расположен к разговору. Мы уже собирались отказаться от нашей затеи, когда он вдруг уловил, что говорит Карл Проффер, воскликнул "Не может быть!" и пригласил нас в дом. Это был Уистан Оден, и было это меньше чем за два года до его смерти. <...> В течение этих недель в Австрии он занимался моими делами с усердием хорошей наседки. Начать с того, что мне необъяснимо стали поступать телеграммы и другая почта с указанием "У.Х. Одену для И.Б.". Затем он отправил в Академию американских поэтов просьбу предоставить мне некоторую финансовую помощь. Так я получил первые американские деньги — тысячу долларов, если быть точным, — на которые я протянул до моей первой получки в Мичиганском университете. Он поручил меня своему литературному агенту, инструктировал меня, с кем встречаться, а кого избегать, знакомил со своими друзьями, защищал от журналистов и с сожалением говорил о том, что оставил свою квартиру на Сент-Маркс-Плейс, — как будто я собирался поселиться в его Нью-Йорке» (*Бродский И.* Поклониться тени / Пер. Е. Касаткиной. СПб.: Азбука-классика, 2002. С. 156—159).

[58] Орлан Фокс (1939—1987) — секретарь и друг Одена, с которым он познакомился в 1959 году.

[59] «Lullaby».

[60] «Talking to Myself».

[61] Как явствует из письма Одена, речь идет о книге Оливера Сакса «Пробуждения» (Oliver Sacks. «Awakenings»)

(Бахметевский архив Колумбийского университета: MsColl Yanovsky. Box 1). Оливера Сакса представил Одену Орлан Фокс в 1971 году.

[62] «Address to the Beasts».

ЕЛЕНА И ЕЕ «ТРЕТИЙ ЧАС»

Печатается по: *Yanovsky V.S.* Helen and Her «Third Hour» // The Third Hour: Helen Iswolsky Memorial Volume. New York, 1976. P. 3—7.

[1] Елена Александровна Извольская (1896—1975) — дочь российского дипломата Александра Петровича Извольского, министра иностранных дел России (1906—1910), посла России во Франции (1910—1917), и датчанки по имени Маргарита. Елена родилась в Баварии, провела раннее детство в Японии, а затем оказалась с семьей во Франции, где и осталась после революции. Занималась журналистикой и переводами. В 1923 году приняла католичество. В 1941 году переехала в США, где основала экуменическое общество и журнал «Третий час». Писала для англоязычных христианских изданий. Присоединилась к социально-христианскому движению «Католический работник». В постсталинский период дважды посетила СССР. В конце жизни стала терциаркой бенедиктинского монастыря (терциарии — члены существующих при некоторых католических монашеских орденах общин, предназначенных для людей, желающих принять на себя обеты и жить в соответствии с духовностью данного ордена, но не покидать мир). Скончалась в городке Колд-Спринг, куда окончательно перебралась из Нью-Йорка в возрасте 77 лет, чтобы быть поближе к монастырю. Похоронена на кладбище Тиволи. Автор биографии Бакунина, книг об американских святых и о традициях русской православной церкви, о мужчинах и женщинах Советской России, мемуарных очерков о Марине Цветаевой, книги собственных мемуаров и др.

[2] Кн. Юрий Алексеевич Ширинский-Шихматов (1890—1942) — политический деятель русской диаспоры в Париже.

[3] Мать Мария (Елизавета Юрьевна Пиленко, по первому мужу — Кузьмина-Караваева, по второму — Скобцова, 1891—1945) — поэт, активный христианский деятель, в эмиграции с 1919 года. В 1932 году приняла монашеский постриг в храме Сергиевского подворья в Париже, став «монахиней в миру». По ее инициативе и при самом непосредственном участии были открыты женский пансионат, дом для выздоравливающих и ряд других приютов. В годы оккупации участвовала в Сопротивлении, была арестована в 1943 году и отправлена в концлагерь. Погибла в газовой камере 31 марта 1945 года.

[4] Борис Викторович Савинков (1879—1925) — один из лидеров партии эсеров, революционер-террорист, принимавший участие в подготовке покушений на министра внутренних дел В.К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и иных официальных лиц Российской империи.

[5] Ферма была организована дочерью Л.Н. Толстого Александрой Львовной (1884—1979) вскоре после ее эмиграции в США в 1930-х годах. А.Л. Толстая до конца жизни занималась благотворительной деятельностью, помогая русским эмигрантам, которые жили на ферме; многие также пользовались поддержкой созданного ею в 1939 году Толстовского фонда.

[6] Название журнала взято из «Деяний апостолов»: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать... Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились... А иные насмехаясь говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: “...Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать...“» (2:4—17).

[7] Артур Лурье (Наум Израилевич Лурья, 1892—1966) — композитор; в эмиграции с 1921 года.

[8] Александр Львович Казем-Бек (1902—1977) — политический деятель, после революции в эмиграции, с 1923 года — лидер движения младороссов. После Второй мировой войны жил в США, затем вернулся в СССР, где работал в издательском отделе Московской патриархии.

[9] Симона Вайль (1909—1943) — философ и общественный деятель.

[10] Эдит Штейн (1891—1942) — немецко-еврейский философ. В 1922 году приняла христианство, а в 1934 году стала монахиней кармелитского ордена. Погибла в Освенциме. В 1998 году была канонизирована как св. Тереза Бенедикта Креста.

[11] Пьер Тейяр де Шарден (1881—1950) — французский философ и иезуитский священник. По образованию палеонтолог и геолог, принявший участие в открытии «пекинского человека». Автор учения о пункте Омега, к которому, по его представлениям, стремится развитие Вселенной. Шарден также развил понятие ноосферы В. Вернадского. Его основной труд, «Феномен человека», подверг ревизии библейскую историю происхождения мира, а также поставил под сомнение концепцию первородного греха св. Августина, в результате чего был запрещен Римской католической церковью. Идеи Шардена повлияли на ряд русских эмигрантов, в частности, он был любимым мыслителем Владимира Варшавского.

[12] Эммануэль Мунье (1905—1950) — французский философ, адепт индивидуалистского течения, основатель журнала «Эспри».

[13] Жак Маритен (1882—1973) — французский христианский философ, основатель неотомизма.

[14] Карл Барт (1886—1968) — один из крупнейших швейцарских теологов XX века. Основатель доктрины, изначально названной диалектической теологией, которая иллюстрирует парадоксальность отношений между Богом и человеком (Бог является одновременно источником милосердия и кары).

[15] Эйлин Иган (1912—2000) — активистка пацифистского движения внутри католицизма.

[16] Дороти Дэй (1897—1980) — американская журналистка, общественный деятель, анархист. После периода увлечения коммунистическими идеалами приняла католицизм и всю жизнь придерживалась строго католических взглядов. Вместе с Питером Морином создала движение «Католический работник», основанное на принципах ненасилия, пацифизма, прямой помощи бедным. Основала приют для бездомных в южной части Манхэттена, которым руководила до конца своих дней. В 1956 году должна была заплатить штраф в размере $250 из-за нарушения пожарной безопасности в приюте. Чек на всю сумму ей передал Оден. О жизни Дороти Дэй был снят телевизионный фильм.

ЭССЕ, КРИТИКА, ИНТЕРВЬЮ

Олеша Ю. Зависть. М.: ЗИФ, [Б.г.]. Печатается по: Числа. 1931. № 4. С. 272—274.

Осоргин М. Свидетель истории. Париж: Скл. изд. «Москва», 1931.

Печатается по: Числа. 1933. № 7/8. С. 264—265.

Герман Ю. Наши знакомые. М.: [Б.и.], 1936.

Печатается по: Круг. 1937. № 2. С. 158—159. Подписано В. Я-ский.

«Между двух революций»: О книге Андрея Белого. Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 26 марта. № 14 (672). С. 11.

[1] Генрих Риккерт (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства.

«Сияния» — стихи Зинаиды Гиппиус.

Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 28 мая. № 23 (681). С. 19. Под псевдонимом В.С. Мирный.

Нина Берберова «Бородин» — *Франсуа Мориак* «Волчица» — *Павел Тутковский* «Арабески».

Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 18 июня. № 26 (684). С. 21—22. Под псевдонимом В.С. Мирный.

Одоевцева И. Зеркало: Роман. Bruxelles: Petropolis, 1939. Печатается по: Современные записки. 1939. № 69. С. 390—391.

Осоргин М. Происшествие Зеленого Мира. София: [Б.и.], 1938.

Печатается по: Русские записки. 1939. № 15. С. 197—198.

Зайцев Б. Москва. [Б.м.]: Русские записки, [Б.г.]. Печатается по: Русские записки. 1939. № 16. С. 200—201.

[1] Первомартовцы — группа террористов-народовольцев, подготовившая и осуществившая покушение на императора Александра II 1 марта 1881 года. В группу входили: И. Гриневицкий, А. Желябов, С. Перовская, Н. Рысаков, Н. Кибальчич, Т. Михайлов, Г. Гельфман, Н. Саблин.

Ходасевич В. Некрополь. Bruxelles: Petropolis, [Б.г.]. Печатается по: Русские записки. 1939. № 18. С. 198—199.

Kafka F. Le Château. Paris: N.R.F., [Б.г.].

Печатается по: Русские записки. 1939. № 14. С. 201—202.

Влад. Гущик. «Забытая тропа». Берлин: Петрополис. 1939. Печатается по: Русские записки. 1939. № 19. С. 203—204.

С.К. Максимов. Чудо Рюмина. Роман. Париж, 1939.

Печатается по: Русские записки. 1939. № 20/21. С. 202.

Альманах «Круг».

Печатается по: рубрика «Литературная неделя», Иллюстрированная Россия. 1938. 29 января. № 6 (664). С. 18.

[1] «Круг» — литературное общество под руководством И.И. Фондаминского, возникшее в 1935 году и задуманное как место встречи «отцов и детей» эмиграции. Собрания общества, посвященные различным литературным, философским и религиозным темам, проходили в квартире Фондаминского на 130-й, Авеню де Версай, каждый второй понедельник месяца.

[2] С 1936 по 1938 год вышло три выпуска альманаха «Круг».

[3] Отрывки из романа Б. Поплавского «Домой с небес» печатались во всех трех выпусках альманаха (Круг 1. С. 3—20; Круг 2. С. 3—54; Круг 3. С. 97—120).

[4] Н. Татищев «Отступление» (Круг 2. С. 74—91).

[5] С. Шаршун «Вожирар» (Круг 1. С. 32—49) и «XII. Письмо другу» (Круг 2. С. 67—73).

[6] А. Алферов «Рождение героя. Отрывок из романа» (Круг 2: С. 92—100).

Русские записки, июньский номер.

Печатается по: рубрика «Литературная неделя», Иллюстрированная Россия. 1938. 2 июня. № 28 (626). С. 18.

[1] Ср. с откликом на этот рассказ жены редактора журнала «Современные записки» В. Руднева: «Да когда же Газданов успел побывать в Индии?!»

[2] Первый роман Гайто Газданова «Вечер у Клэр» (1930) сразу принес славу писателю.

Литературная неделя [19 февраля 1938].

Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 19 февраля. № 9 (667). С. 16

[1] Журнал «Русские записки» издавался с 1937 по 1939 год, за это время вышел 21 номер. Создан он был по инициативе четырех членов редколлегии наиболее значительного толстого журнала эмиграции — «Современные записки» — Н.Д. Авксентьева, И.И. Фондаминского-Бунакова, М.В. Вишняка и В.В. Руднева, которые провозглашали одной из целей нового периодического издания включение произведений

писателей-эмигрантов, проживающих в «провинции», т.е. непарижан. Впоследствии единственным редактором стал П.Н. Милюков. Изначальная ориентация на «Современные записки» нашла отражение и в названии нового журнала.

Литературная неделя [7 мая 1938].

Печатается по: Иллюстрированная Россия. 1938. 7 мая. № 20 (678). С. 17

ИНТЕРВЬЮ

Возвращенная молодость

Стенограмма радиопередачи о В.С. Яновском на радио «Свобода»

Запись радиопередачи о В. Яновском. Радио «Свобода»: Из цикла «Поверх барьеров», Нью-Йорк, 14 марта 1988 (?). Автор: Сергей Довлатов. Редактор: Ю. Гендлер. Стенограмма передачи хранится в Бахметевском архиве университета Колумбия (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 17.

[1] Английский перевод мемуаров В. Яновского «Поля Елисейские» вышел в 1987 году (*Yanovsky V.* Elysian Fields: A Book of Memory. Dekalb: Northern Illinois University Press, 1987).

[2] Марк Исаакович Раев (1923—2008) — один из крупнейших специалистов по русской истории и культуре русской эмиграции, профессор Колумбийского университета, куратор Бахметевского архива.

Необыкновенное десятилетие

Интервью с Василием Яновским. Печатается по: Гнозис. Нью-Йорк. 1979. № V/VI. С. 16—21.

«Что вы думаете о своем творчестве?»

Ответ Василия Яновского на анкету журнала «Числа»

Печатается по: Числа. 1931. № 5. С. 289.

СОВРЕМЕННИКИ О ВАСИЛИИ ЯНОВСКОМ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Елена Извольская. В.С. Яновский: Мысли и воспоминания.

Печатается по: *Iswolsky H.* V.S. Yanovsky: Some thoughts and reminiscences // TriQuarterly Fall. 1973. Js. 28 (Special issue: Russian Literature and Culture in the West: 1922—1972). P. 490—492.

[1] Фондаминский (Фундаминский) Илья Исидорович (1880—1942) — общественно-политический деятель, публицист, член партии эсеров, активный участник эмигрантских организаций и изданий христианской направленности («Круг», «Новый град» и др.), масон. Арестован немецкими оккупационными войсками в июне 1941 года. Погиб в Освенциме.

[2] Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — религиозный мыслитель, историк, философ, критик, публицист. С 1926 по 1940 год преподавал в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. В 30-х годах редактировал журнал «Новый град». В 1940 году эмигрировал в США, преподавал в православной семинарии в Нью-Йорке.

Георгий Адамович. «Новые писатели» («Колесо», повесть В. Яновского)

Печатается по: Последние новости. 1930. 20 февраля. № 3256.

[1] «Мальчики и девочки» (1929) — повесть писателя Ивана Болдырева (наст. имя и фамилия — Иван Андреевич Шкотт, 1903—1933); вышла в издательстве «Новые писатели» одновременно с повестью В. Яновского «Колесо».

В.Л. [Левицкий]. Рецензия на: *Яновский В.С.* Колесо. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930.

Печатается по: Возрождение. 1930. 10 февраля. № 1714.

Лазарь Кельберин. Рецензия на: *Яновский В.* Колесо. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930.

Печатается по: Числа. 1930. № 2. С. 251—252.

Владимир Зензинов. Рецензия на: *Яновский В.С.* Колесо. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930.

Печатается по: Современные записки. 1930. № 42. С. 525—529.

Владимир Унковский. «Новые писатели»: Письмо из Парижа.

Печатается по: Новое русское слово. 1930. 20 апреля.

Георгий Адамович. Числа. Книга 7—8.

Печатается по: Последние новости. 1933. 19 января. № 4320. С. 2. Рецензия на отрывок из повести «Любовь вторая» — «Преображение».

Георгий Адамович. Рецензия на: *Яновский В.С.* Любовь вторая. Париж; Берлин: Новые писатели, 1930.

Печатается по: Круг. 1936. Вып. 1. С. 187—188.

Александр Бем. О «Любви второй» Василия Яновского.

Печатается по: Меч. 1935. 29 сентября.

Владислав Ходасевич. «Любовь вторая».

Печатается по: Возрождение. 1935. Август.

Зинаида Шаховская. «L' amour second» (en russe).

Печатается по: Le Thyrse. Bruxelles, 1935. 1 octobre.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭССЕ, КРИТИКА, ИНТЕРВЬЮ

Эссе

Критика

Интервью

СОВРЕМЕННИКИ О ВАСИЛИИ ЯНОВСКОМ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Василий Яновский

ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ

Избранная проза

Дизайнер *С. Тихонов*
Редактор *Н. Зиновьева*
Корректор *Л. Морозова*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва
а/я 55
Тел./факс: (495)229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 19. Тираж 1000. Зак. №
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
“Ульяновский Дом печати”»
432980, г.Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»
можно приобрести в интернет-магазине издательства
www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495) 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Волхонка, д. 18/2 (здание Института русского языка им. В.В. Виноградова), (495) 201-3645
- «Гараж» — ул. Крымский вал, 9 (Парк Горького, магазин в центре современной культуры «Гараж»), (495) 645-05-21
- «Медленные книги» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «MMOMA ART BOOK SHOP» — Петровка, 25 (в здании ММСИ)
- «MMOMA ART BOOK SHOP» — Красная площадь, 3 (ГУМ), 8 (916) 979-54-64
- «MMOMA ART BOOK SHOP» — Берсеневская наб., 14, стр. 5 (Институт Стрелка)
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «У Кентавра» — ул. Чаянова, д. 15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27, (495) 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — ул. Большая Молчановка, 8, (495) 691-51-16, (495) 691-56-28
- «Додо» на Солянке— ул. Солянка, 1/2, стр. 1, 8 (926) 063-01-35
- «Додо» в ТЦ «Филион» — Багратионовский проезд, 5 (ТРЦ «Филион»), 8 (929) 579-53-22
- «Додо» в кинотеатре «Пионер» («Омнибус») — Кутузовский проспект, 21 (кинотеатр «Пионер»), 8 (915) 418-60-27
- «Додо» в КЦ Зил — ул. Восточная, 4, к. 1, (495) 675-16-36 (позовите Додо к телефону)
- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 579-50-04, (952) 278-70-54
- «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Все свободны» — наб. р. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- «Исткнига» — Кадетская линия ВО, 27/5, (812) 986-82-51
- Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в фойе главного здания «Ленфильма» — Каменноостровский, 10
- «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книжная лавка» — в фойе Академии художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный Окоп» — Тучков пер., д. 11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
- «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- «Книжная лавка писателей» — Невский, 66, (812) 314-47-59
- Книжные салоны при Российской национальной библиотеке — Садовая ул., 20; (812) 310-44-87
- Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13, (812) 232-33-07
- «Мы» — Невский, 20 (на третьем этаже проекта Biblioteka), (981) 168-68-85
- «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4-й этаж), (911) 935-27-31
- «Росфото» (книжный магазин при выставочном зале) — ул. Большая Морская, 35, (812) 314-12-14
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Свои книги» — 1-я линия ВО, 42, (812) 966-16-91
- «Университетская лавка» — 7-я линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
- «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10

в ИРКУТСКЕ:

- Интернет-магазин «Лавка чудесных подарков» — ул. Свердлова, 36 (ТЦ Сезон, офис 514), (3952) 95-44-45, www.lavchu.ru

в КРАСНОДАРЕ:

- Специализированный магазин «Книжный Кабинет» — ул. Пашковская, 52 (2-й этаж), (861) 255-34-94, 8-918-191-27-53

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60

в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71

в НОВОСИБИРСКЕ:

- Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
- Магазин «BOOK-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2-й этаж, (383) 362-18-24; — Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30

в ПЕРМИ:

- «Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51

в РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:

- «Деловая Литература» — ул. Серафимовича, 53Б, (863) 2-404-889, 282-63-63

в ЯРОСЛАВЛЕ:

- Книжная лавка гуманитарной литературы — ул. Свердлова, 9, (4852) 72-57-96

в МИНСКЕ:

- ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
- ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1-й этаж, +375 (17) 284-36-21

в СТОКГОЛЬМЕ:

• Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32, Stockholm, 08-651-1147

в ХЕЛЬСИНКИ:

• «Ruslania Books Oy» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland, +358 9 272-70-70

в КИЕВЕ:

• ООО «АВР» — +38 (044) 273-64-07
• Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед, +38 (068) 358-00-84
• Книжный интернет-магазин «ArtLover» (www.artlover.com.ua): +38 (067) 91-51-281, info@artlover.com.ua
• Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (http://lavkababuin.com/) — ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43; +38 (050) 444-84-02
• Магазин умной книги и хорошего винила «Хармс», ул. Михайловская 21б (www.xar.ms)
• Интернет-магазин «Librabook» (http://www.librabook.com.ua/) (044) 383-20-95; (093) 204-33-66; icq 570-251-870, info@librabook.com.ua

в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ:

• в разделе «Интернет-магазин издательства “Новое литературное обозрение” www.nlobooks.mags.ru
• www.ozon.ru
• www.artlover.com.ua
• bestbooks.shop.by
• www.bolero.ru
• www.cafemart.ru
• www.esterum.com
• www.lavchu.ru
• www.lavkababuin.com/shop
• www.librabook.com.ua
• www.libroroom.ru
• www.mkniga.com
• www.ruslania.com
• www.shopgarage.ru

Имя Василия Яновского (1906–1989), одного из самых противоречивых писателей русского зарубежья, знакомо российским читателям главным образом благодаря его колоритным, дерзким мемуарам из жизни русского Парижа тридцатых годов «Поля Елисейские. Книга памяти», а также не так давно опубликованным романам послевоенного периода «Портативное бессмертие» и «По ту сторону времени». Между тем литературное наследие этого автора очень многообразно и до сих пор неизвестно в полном объеме. В данный сборник включены ранние произведения Яновского, большинство из которых были впервые напечатаны ничтожно малыми тиражами в русскоязычных издательствах или в эмигрантской периодике довоенного Парижа и с тех пор не переиздавались. Эти ранние повести и рассказы не только проясняют истоки и диалектику творчества писателя, но и существенно дополняют наши представления о литературном вкладе «младшего» поколения первой волны эмиграции, которое нередко называют «незамеченным поколением» или «русским Монпарнасом». Помимо художественных сочинений, в книгу вошли воспоминания Яновского об англо-американском поэте У.Х. Одене, с которым он дружил на протяжении трех десятилетий, и писательнице, журналистке и известном деятеле русской диаспоры Елене Извольской, а также его эссе, интервью и рецензии. В приложение включен ряд откликов на творчество Яновского в эмигрантской критике и воспоминания о нем.


ISBN 978-5-444-80164-2

9 785444 801642